Ольга.
Запретный дневник

Ольга Бергольц

Дневники 1939–1949 годов

Фрагменты второй части книги «Дневные звезды»

Письма

Избранные стихотворения и поэмы

Документы и фотографии

Материалы следственного дела №П-8870 из Архива УФСБ

Издательская группа «Азбука-классика»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной», она была «голосом Города» почти все девятьсот блокадных дней. «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых» (Д. Гранин). По дневникам, прозе и стихам О. Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные годы.

Берггольц — поэт огромной лирической и гражданской силы. Своей судьбой она дает невероятный пример патриотизма — понятия, так дискредитированного в наше время.

К столетию поэта издательство «Азбука» подготовило книгу «Ольга. Запретный дневник», в которую вошли ошеломляющей откровенности и силы дневники 1939–1949 годов, письма, отрывки из второй, так и не дописанной части книги «Дневные звезды», избранные стихотворения и поэмы, а также впервые представлены материалы следственного дела О. Берггольц (1938–1939), которое считалось утерянным и стало доступно лишь осенью 2009 года. Публикуемые материалы сопровождены комментарием.

В книгу включены малоизвестные и ранее не известные фотографии и документы из Российского государственного архива литературы и искусства, из Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, из Музея Дома Радио. Также публикуются письма к отцу, предоставленные для этого издания Рукописным отделом Пушкинского Дома. Впервые читатели увидят верстку книги «Узел» с авторской и цензурной правкой (архив Н. Банк в РНБ). Впервые в этом издании представлены фотографии уникальных вещей, хранящихся в семье наследников. В книгу включены также воспоминания об О. Берггольц.

- Берггольц О. Ф. Ольга. Запретный дневник
  - К читателю
  - Основные даты жизни и творчества Ольги Берггольц
  - «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
    - ИЗ ДНЕВНИКОВ 1939–1942 годов[1]

- ЗАПИСИ О СТАРОМ РАХИНЕ[165] КОЛХОЗ, 1949 год
- ЗАПИСИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ ОКТЯБРЬ 1949 года

○ «Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ…»[198]

○ «АЩЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, ИЕРУСАЛИМЕ…»
- ПИСЬМА Г. П. МАКОГОНЕНКО[259]
- ПИСЬМО М. С. ДОВЛАТОВОЙ[274]
- ПИСЬМО Н. Д. ОТТЕНУ[278]
- ПИСЬМА М. Ф. БЕРГГОЛЬЦ[283]
- ПИСЬМА Б. Л. ПАСТЕРНАКУ[299]
- ПИСЬМА О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ ОТЦУ, Ф. Х. БЕРГГОЛЬЦУ (1942–1948)

○ ГОЛОС
- ГЕОРГИЙ МАКОГОНЕНКО[395]
- ЛЕВ ЛЕВИН[396] Фрагменты из воспоминаний «Жестокий расцвет»
- АЛЕКСАНДР КРОН[397]
- АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ[398]
- НАТАЛЬЯ БАНК[399]
- ОЛЬГА ОКОНЕВСКАЯ[400]
- ФЕДОР АБРАМОВ[401]
- ДАНИИЛ ГРАНИН[402]
- МИХАИЛ КУРАЕВ[403]

○ АРХИВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № П-8870
- НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ
- АЛЕКСАНДР РУБАШКИН

○ ПАМЯТЬ
- КАМЕННАЯ ДУДКА
- БЕАТРИЧЕ
- "Вот затихает, затихает…"
- "О, если б ясную, как пламя…"
- ПЕСНЯ
- "Потеряла я вечером слово…"
- ПОСВЯЩЕНИЕ
- "Вешний утренник прянул по грядкам…"
- "Какая мне убыль, какая беда…"
- "Мне многое в мире открыто…"
- "Я не куплю воскресного венка…"
- ОСЕНЬ
- "Будет весело тебе со мною…"
- ПОРУКА
- ПЕСНЯ
- МАЙЯ

- ПАМЯТЬ
- ВСТРЕЧА
- КАТОРГА
- ПЕРЕЛЕТНАЯ
- ГОРОД
- ТРИ ПЕСНИ
- СИДЕЛКА
- "Как много пережито в эти лета…"
- ПРИЯТЕЛЯМ
- ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ДОЧЕРЯМ
- ПРЕДЧУВСТВИЕ
- "Ты у жизни мною добыт…"
- "Я уеду, я уеду по открытию воды!.."
- "Не утаю от Тебя печали…"
- ПАМЯТЬ
- <СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКА>
- "Нет, не наступит примиренья…"
- ЛИСТОПАД
- "Знаю, знаю — в доме каменном…"
- ИСПЫТАНИЕ
- ВОЗВРАЩЕНИЕ
- "На асфальт расплавленный похожа…"
- РОДИНЕ
- "Поздней ночью, февральской, унылой…"
- ПЕСНЯ
- ИРЭНЕ ГУРСКОЙ
- "Виденье паруса возникло в море…"
- БОРИСУ КОРНИЛОВУ
- "Что я делаю?! Отпускаю…"
- "Синеглазый мальчик, синеглазый…"
- "Это всё неправда. Ты любим…"
- "Не сына, не младшего брата…"
- "Еще редактор книжки не листает…"
- "Подбирают фомки и отмычки…"
- АЛЕНУШКА
- "Откуда такое молчание?.."
- "О друг, я не думала, что тишина…"
- "Не может быть, чтоб жили мы напрасно!.."
- ДОРОГА В ГОРЫ
- "Не знаю, не знаю, живу — и не знаю…"
- "И все неодолимее усталость…"
- "Мы предчувствовали полыханье…"
- НАЧАЛО ПОЭМЫ
- "Я говорю с тобой под свист снарядов…"

- ИЗ БЛОКНОТА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
- "И под огнем на черной шаткой крыше…"
- РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ
- ВТОРОЕ ПИСЬМО НА КАМУ
- 29 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА
- ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
- ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭМА
- ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ
- МОЛИТВА
- ТВОЙ ПУТЬ
- "Так вот она какая. Вот какой…"
- "О да — простые, бедные слова…"
- СТИХИ О СЕБЕ
- "Я никогда не напишу такого…"
- СТИХИ О ЛЮБВИ
- "О, не оглядывайтесь назад…"
- ФЕОДОСИЯ
- "На собранье целый день сидела…"
- "Сегодня вновь растрачено души…"
- ПЯТЬ ОБРАЩЕНИЙ К ТРАГЕДИИ
- ОБРАЩЕНИЕ К ПОЭМЕ
- ОТРЫВОК
- ОБЕЩАНИЕ
- ОТВЕТ
- ИЗ «ПИСЕМ С ДОРОГИ»
- ИЗ ЦИКЛА «ВОЛГО-ДОН»
- ТОТ ГОД
- "Здесь лежат ленинградцы…"
- БАБЬЕ ЛЕТО
- ЕВГЕНИЮ ЛЬВОВИЧУ ШВАРЦУ
- "Рассыпали набор…"
- ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ
- "Но я всё время помню про одну…"
- "Вновь тебя увидала во сне я…"
- ИЗ ЦИКЛА «АННЕ АХМАТОВОЙ»
- "О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!.."
- ЛЕНИНГРАДУ
- "Вот обижали и судили…"

- Иллюстрации
- Слова благодарности

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47

- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91

- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135

- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179

- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223

- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267

- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311

- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355

- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399

- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405

Берггольц О. Ф. Ольга. Запретный дневник

К читателю

Дневниковые записи, записи на полях, проза как вечный черновик, где смешается прошлое, настоящее и будущее, и, конечно, стихи…

Такой видела вторую, ненаписанную часть своей главной книги «Дневные звезды» Ольга Берггольц. И добавляла: «Начать на разбеге…»

Только так, безоглядно, на разбеге, можно рассказать историю любви: «*Дорогой мой, ты не узнаешь этого. Это было уже после тебя… О, ничего, ничего, пусть они все это слышат, мне не стыдно, мне надо, чтобы они знали, слышали о тебе, о моей, нашей любви…*»

Только так, безоглядно, на разбеге преодолевая «глухонемое время», можно рассказать о крестном пути поколения, *«прошедшего зоною пустыни»: «…Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37–38 гг. — значит, я не расскажу главного… <…> Великая, печальная, молчаливая вторая жизнь народа!..Эта вторая жизнь. Если б мне только написать о ней…»*

Только так, безоглядно, на разбеге, можно обратиться к Родине, «жестокой матери своей, на бесполезное страданье пославшей лучших сыновей», и просить ее, без надежды быть услышанной: *«Не искушай доверья моего. / Я сквозь темницу пронесла его… / Ни помыслом, ни делом не солгу. / Не искушай — я больше не могу».*

Только так, безоглядно, на разбеге, не позабыв годы «гонения и зла», можно воскликнуть в первый день войны: *«…Вот жизнь моя, дыханье. / Родина! Возьми их у меня!»* — преподав урок непостижимого в наши дни патриотизма.

Только так, безоглядно, на разбеге, можно обращаться к потомству — к нам: *«…Черт тебя знает, потомство, какое ты будешь… И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу… а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей — и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить…»*

Вот так, на разбеге — «от сердца — к сердцу» — мы и делали эту книгу. Такой путь «прям и страшен», но именно его выбрала для себя Ольга Берггольц. Читатель, вы, несомненно, сумеете

оценить щедрость и величие этого человеческого и поэтического жеста.

* * *

«*…Прекрасно, что ранняя жалость / не трогала наших сердец»,* — сказала Берггольц в сороковом году о начале тридцатых, чтобы спустя годы и годы эхом, как через бездну, самой себе отозваться: «*Так мало в мире нас, людей, осталось, / что можно шепотом произнести / забытое людское слово: жалость…»*

Между этими стихами лежит время, которое Берггольц назвала своим *«жестоким расцветом»,* подразумевая необыкновенный взлет творчества. Это время началось в 1937–1939 годах, когда Берггольц сначала проходила свидетелем по очередному сфабрикованному процессу и после допроса попала в больницу с преждевременными родами, а спустя полтора года была арестована уже как «активная участница контрреволюционной террористической организации» и, после очередного допроса, в тюремной больнице опять потеряла ребенка.

Это время «жестокого расцвета» продолжилось в войну, о которой Ольга Берггольц скажет — с высоты своего знания — *«на вольном и жестоком языке»,* дарованном ей страшным опытом конца тридцатых: *«Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней».*

К войне — наверное. Но к блокаде… «*Небывалый опыт человечества»,* — скажет она о блокадной трагедии.

«Я здесь, чтобы свидетельствовать…» Этому вольно или невольно следует любой писатель. Вопрос в том, *чему* свидетелем он оказался, *какой* Атлантиде не должно позволить *«утонуть в забвении…».*

Свидетельства О. Берггольц — это не только ее стихи и проза, но в первую очередь блокадные дневники, страшные и обжигающие, как ленинградский лед 1941–1942 годов. Дневники эти тоже о «великой, печальной, молчаливой второй жизни народа», о *мученичестве* Города, *принявшего пытку голодом.* Города, который — может быть, единственный в мире — оправдал приставку «*санкт*» в своем имени.

Знаменательны и свидетельства Берггольц о поездке в Москву, куда ее, предельно истощенную, друзья отправили в марте 1942 года. Она провела в столице меньше двух месяцев, постоянно порываясь вернуться: дышать там — после «высокогорного, разреженного, очень чистого воздуха» ленинградской «библейски грозной» зимы — было нечем.

«Здесь не говорят правды о Ленинграде…» «…Ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город… Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода…» «…Заговор молчания вокруг Ленинграда». «…Здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая все же!» «Смерть бушует в городе… Трупы лежат штабелями… В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациям в Ленинград. Это, мол, „вызывает нехорошие политические последствия“». «По официальным данным умерло около двух миллионов…» «А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время… Придет ли оно вообще?…»

И — через все дневниковые записи и письма этого периода рефреном идет: «В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней… Скорей бы в Ленинград!»

Именно Ольгу Берггольц Ленинград выбрал в те годы *своим* поэтом.

И когда власть, сначала в 1946-м, а потом и в 1949-м, решила осадить Город, выживший *несмотря ни на что* и осознавший свое *самостоянье* («залог величия»), — перед Берггольц опять замаячила «разлуки каторжная даль» («…не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать „идеологом“ ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами, вплоть до тюрьмы»). Именно к этому периоду относится история «пробитого дневника», рассказанная в нашей книге.

И что с того, что ее, острую на язык, «неудобную», городские власти никогда не приглашали 9 мая на трибуну во время парадов Победы… Ольга Берггольц всегда оставалась *народным* поэтом «по праву разделенного страданья».

* * *

Именно дневники времени «жестокого расцвета», 1939–1949 годов, легли в основу этой книги. В нее вошли письма этого

периода, отрывки из второй части книги «Дневные звезды» и подготовительные материалы к ней и, конечно, избранные стихотворения и поэмы.

В книге впервые публикуются материалы хранящегося в архиве ФСБ следственного дела О. Берггольц, доступ к которому был получен лишь в 2009 году. Приводятся редкие фотографии и документы из Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ, личный архив О. Берггольц, ф. 2888), фотографии и письма из Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (личный архив О. Берггольц, ф. 870), впервые публикуются материалы Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (личный архив Н. Банк, ф. 1397), материалы из Музея Дома Радио, материалы из личного архива Д. А. Гранина, фотографии из семейного архива наследников О. Берггольц. Включены также воспоминания об О. Берггольц.

* * *

Человеческая память — самый надежный носитель наших страданий и радостей. Тема памяти проходит через всю эту книгу, вышедшую в год 100-летия О. Берггольц и в 65-ю годовщину Победы, доставшейся Великой ценой.

«Никто не забыт, и ничто не забыто…» — слова О. Берггольц, высеченные на мемориальной стене Пискаревского кладбища, в контексте и ее жизни, и жизней миллионов наших соотечественников обретают смысл, выходящий за пределы войны и Блокады.

«Но даже тем, кто все хотел бы сгладить / в зеркальной робкой памяти людей, / не дам забыть…»

Память — главное действующее лицо этой книги.

Наталия Соколовская

Основные даты жизни и творчества Ольги Берггольц

А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет…

О. Берггольц

1910. *16(3) мая.* В Петербурге в семье фабричного врача родилась Ольга Берггольц. Отец — Федор Христофорович Берггольц. Мать — Мария Тимофеевна Берггольц (урожд. Грустилина).

Детство прошло в рабочем районе, за Невской заставой.

1918. Мария Тимофеевна с дочерьми, старшей, Ольгой (Лялей), и младшей, Марией (Мусей), укрылись от разрухи и голода Гражданской войны в Угличе. Здесь, на Волге, они жили в келье Богоявленского монастыря. На втором этаже храма находилась школа, где училась Ляля. Колокола древнего Углича отзовутся в будущей прозе и стихах О. Берггольц.

1921. Пройдя через две войны, Первую мировую и Гражданскую, доктор Берггольц приезжает за семьей и вывозит ее в Петроград «за родную Невскую заставу». Спустя двадцать лет, выступая по радио в начале ленинградской блокады, О. Б. будет говорить о своих истоках: о маленьком зеленом палисаде возле дома на Палевском (ныне пр. Елизарова) проспекте и школе, которая в начале двадцатых называлась «117-я, трудовая».

1924. *Январь.* Девочка со светлыми косичками, одной из первых ставшая пионеркой, впервые «напечатала» в стенгазете фабрики «Красный ткач» (где в амбулатории работал доктор Берггольц) стихотворение, подписанное *Ольга Берггольц.* Стихотворение называлось «Ленин».

1925. *1 мая.* В газете «Ленинские искры» напечатано стихотворение «Песня о знамени». Позже в «Красной газете» она работала курьером.

В этом же году О. Б., ученица выпускного класса девятилетки, пришла в дом на Невском, д. 1, где под самой крышей собирались «настоящие поэты»: входившая в ЛАПП (Ленинградская ассоциация пролетарских писателей) литературная группа «Смена». Адреса менялись. Заседали на Мойке и в бывшем Юсуповском дворце, потом на Фонтанке, в Доме печати.

1926. О. Б. на заседании Союза поэтов, которое вел маститый

Чуковский, прочитала стихотворение «Каменная дудка». Корней Иванович похвалил «хорошую девочку», сказал, что со временем она станет настоящим поэтом.

В эти годы в «Смене» особенно выделяются молодые поэты и прозаики — Борис Корнилов, Александр Гитович, Борис Лихарев, Леонид Рахманов, Геннадий Гор. О. Б. — моложе всех. Во главе группы — широко известный тогда поэт Виссарион Саянов.

1927. Самый яркий из поэтов «Смены» Б. Корнилов и начинающая поэтесса О. Б. учатся на Высших государственных курсах искусствоведения (ВГКИ) при Государственном институте истории искусств, что располагался в особняке графа Зубова на пл. Воровского (Исаакиевской пл., д. 5). Слушают лекции профессоров Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, И. Соллертинского, выступления В. Шкловского, приезжавших из Москвы И. Уткина и В. Маяковского.

1928. О. Б. и Б. Корнилов становятся мужем и женой.

13 октября. Рождение дочери Ирины. Молодая семья живет в доме родителей Берггольц на Палевском проспекте.

1929. Корнилов везет О. Б. и маленькую Ирину в город Семенов знакомиться со своими родителями. Но семейная жизнь О. Б. и Б. Корнилова уже тогда начала разлаживаться.

ВГКИ закрыт. Часть студентов, включая О. Б., переведена в Ленинградский государственный университет (тогда четырехгодичный).

Знакомится с однокурсником и сверстником Николаем Молчановым.

1930. *Июнь.* О. Б. расстается с Б. Корниловым. Вскоре становится женой Н. Молчанова (официально — в начале 1932 года).

Лето — осень. Учебная практика во Владикавказе (газета «Власть труда»).

Декабрь. Окончив Университет и оставив дочь на попечение матери, О. Б. вместе с Молчановым уезжает на работу в Казахстан, в Алма-Ату (газета «Советская степь»). Ездит по глубинным районам, пишет стихи, очерки, рассказы. Бытовые условия тяжелые. Мироощущение радостное. Она становится профессиональным журналистом.

Выходит детская книжка «Зима-лето-попугай» (Л., 1930). С этого времени О. Б. ведет отсчет своей литературной деятельности.

1931. Осенью О. Б. и Н. Молчанов возвращаются в Ленинград.

Редактор первых детских книжек О. Б. Самуил Маршак знакомит молодую поэтессу с Максимом Горьким, поддержавшим

ее.

В конце года приходит на работу в многотиражку завода «Электросила», пишет историю этого завода и завода им. Козицкого.

1932. Н. Молчанова призывают в армию, он служит на границе, в Туркестане. В том же году комиссован из армии с тяжелой формой эпилепсии.

Выходит книга «Глубинка. Казахстанские рассказы-очерки».

Рождение дочери Майи (умерла в 1933).

1934. Выходит первая «взрослая» поэтическая книга — «Стихотворения» (редактор Н. Тихонов).

Принята в Союз советских писателей.

1935. В журнале «Литературный современник» опубликовано первое трагическое стихотворение «На Сиверской, на станции сосновой…», посвященное памяти младшей дочери.

1936. Выходит «Книга песен. Стихотворения» (Л., 1936).

14 марта. Умерла старшая дочь — Ирина.

1937. Начало Большого террора.

Февраль — март. Пленум ЦК ВКП(б). Доклад Сталина «О недостатках партийной работы и о мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников».

18 марта. В «Ленинградской правде» вышла статья Л. Плоткина «Высоко поднять знамя политической поэзии». Критик называл уже разоблаченных «врагов народа», критиков З. Штейнмана, А. Горелова, М. Майзеля, Е. Мустангову. Отдельной строкой разоблачался «кулацкий последыш», поэт Б. Корнилов. Это уже прямо касалось О. Б.: она хорошо знала А. Горелова, он возглавлял Ленинградскую писательскую организацию и был редактором журнала «Резец», где печаталась О. Б. Отрицать «связь с врагом народа» Б. Корниловым она не могла.

Март. О. Б. лежит на сохранении («…лучше всего было бы родить толстого, милого Степу…», из письма Н. Молчанову).

Апрель. Сообщить еще об одном «враге народа» доверили критику Анатолию Тарасенкову. В «Ленинградской правде» от 23 апреля Тарасенков назвал бывшего генерального секретаря РАППа Леопольда Авербаха («ныне разоблаченный враг народа»). С Авербахом О. Б. общалась в начале 1930-х годов.

Кампания за «искоренение авербаховщины в Ленинграде» коснулась трех человек: Е. Добина, Л. Левина и О. Б.

Май. О. Б. исключили из кандидатов в члены ВКП(б).

16 мая. Исключили из Союза писателей.

О. Б. ждет ребенка.

Июль. Вызвана в качестве свидетеля на допрос по «делу

Авербаха». В результате оказалась в больнице, где на большом сроке потеряла ребенка.

Осень. Уволена с завода «Электросила».

7 Ноября. Пришла на «Электросилу», чтобы участвовать в праздничной демонстрации. Допущена не была.

Декабрь. С 19 декабря работает в школе № 6 Московского района учительницей русского языка и литературы в седьмых классах.

1938. *14 января.* Состоялся Пленум ЦК ВКП(б), принявший Постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков».

19 января. «Правда» публикует постановление Пленума.

Вероятно, это подтолкнуло О. Б. подать заявление в Контрольно-партийную комиссию ЦК ВКП(б) о восстановлении ее в правах кандидата ВКП(б).

Апрель. Восстановлена без взысканий, за необоснованностью обвинений.

Июль. Восстановлена в Союзе писателей с признанием ошибочности ранее принятого решения (одновременно с критиком Л. Левиным, с той же формулировкой).

1 сентября. Увольняется из школы.

Возвращается на «Электросилу».

Ночь с 13 на 14 декабря. Арестована как «участница троцкистско-зиновьевской организации». Доставлена в «Шпалерку», тюрьму Большого дома (Ленинградское управление НКВД, Литейный, 4. Тюрьма находится на ул. Шпалерной, 25 (с 1918 г. по 1991 г. — ул. Воинова). В Постановлении об аресте сказано, что О. Б. входила в террористическую группу, готовившую террористические акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства (т. Жданова и т. Ворошилова). Лживо указано, что она уже «б<ывший> канд<идат> ВКП(б)» и исключена из Союза писателей.

Во время первого допроса отвергла свою причастность к контрреволюционной деятельности.

1939. Находясь под арестом, 5 января решением бюро РК ВКП(б) была «исключена из кандидатов в члены ВКП(б)». «Арестованная и разоблаченная» не могла остаться ни в комсомоле, ни в профсоюзе, ни в Союзе писателей.

В общей камере № 33 и в одиночках написала стихотворения, составившие цикл «Испытание».

Апрель. Самое трагическое событие тех дней отмечено в стихотворении, написанном О. Б., когда она попала в больницу

при женской тюрьме («Арсеналка») на Арсенальной улице (д. 9 и 11) «Двух детей схоронила / Я на воле сама, / Третью дочь погубила / До рожденья — тюрьма».

2 июля. Постановлением Управления НКВД ЛО следственное дело по обвинению О. Б. за недоказанностью состава преступления производством прекращено.

3 июля. Освобождена из-под ареста.

Сразу после этого обратилась в бюро РК ВКП(б) Московского района с просьбой о восстановлении ее кандидатом в члены ВКП(б).

17 июля. Бюро отменило прежнее решение от 5 января 1939 года. О. Б. восстановлена кандидатом в члены ВКП(б).

В этом году написано стихотворение из цикла «Родине»: «Не искушай доверья моего. / Я сквозь темницу пронесла его…»

К этому году относится начало работы над прозой, которая потом войдет в книгу «Дневные звезды».

1940. В феврале О. Б. стала членом ВКП(б).

С 1937-го до июня 1941-го О. Б. напечатала лишь несколько стихотворений в журналах «Звезда», «Ленинград» и «Литературный современник». Отдельным изданием вышла повесть «Мечта». На эту повесть приходят благодарные отзывы читателей. Вышла книга рассказов «Витя Маманин. Подарок. Лучший друг» (Л., 1940). «Тюремные» и «после-тюремные» стихи тщательно скрывались. Мало кто знал об истинной силе поэтического дара О. Б.

Осень. Написано стихотворение «Нет, не из книжек наших скудных…».

В этом же году написано еще одно стихотворение из цикла «Родине»: «Гнала меня и клеветала…» Заканчивается строками: «…Не знай, как велика надменность / Любви недрогнувшей моей».

1941. *Апрель.* Не оправдываются надежды на то, что сценарий фильма «Первороссийск» будет принят. «Это был бы мой подарок к 25-летию Советской власти, дар нашим знаменам, нашей Мечте, нашим идеалам — храму оставленному и кумиру поверженному, которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены» (из дневника от 26 апреля).

22 июня. Война

«Мы предчувствовали полыханье / этого трагического дня. / Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. / Родина! Возьми их у меня!»

В конце июня О. Б. направили на работу в Радиокомитет (Дом Радио), ул. Пролеткульта, 2 (ныне Малая Садовая ул.). Попала в отдел, где работал Георгий Макогоненко, ее будущий муж.

Август. Первое выступление у микрофона. «Я говорю с тобой

под свист снарядов…»

5 сентября. «Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба». Вызов к прокурору связан с «анкетными данными» доктора Берггольца (26 августа 1941 года под грифом «совершенно секретно» вышло Постановление Военного совета Ленинградского фронта об обязательной эвакуации немецкого и финского населения, к чьим представителям Ф. Х. Берггольц не принадлежал).

8 сентября. Вражеские войска захватили Шлиссельбург. В 18 часов 55 минут — чудовищная массированная бомбардировка города, во время которой, в частности, сгорели продовольственные Бадаевские склады. Начало блокады Ленинграда.

12 сентября. Запись в дневнике: «Фугас уже попал в меня». Там же: «…я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение…» Стихотворение «Сестре» О. Б. прочитала по радио: «Машенька, сестра моя, москвичка…»

17 сентября. В дневнике отмечает ухудшение наших позиций на фронте: немцы заняли Стрельну, они под Пулковом, речь идет о баррикадных боях. «Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды… Если выживу — пригодятся, чтобы написать всю правду».

24 сентября. Навещает Ахматову. «…Живет у дворника, убитого артснарядом на улице Желябова, в подвале, в темном, темном уголку прихожей… матрасишко, на краю, закутанная в платки, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, Муза плача, гордость русской поэзии…» О. Б. способствовала эвакуации Ахматовой. Ей предлагали сопровождать Ахматову, но она принимает решение остаться в городе.

4 октября. Написано стихотворение «Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец…»

20 ноября. Последнее понижение продовольственных норм: рабочим — 250 граммов хлеба. Служащим, иждивенцам и детям до двенадцати лет — 125 граммов.

5 декабря. Написано стихотворение «Разговор с соседкой» («Дарья Власьевна, соседка по квартире, / сядем, побеседуем вдвоем…»), имевшее огромный отклик у слушателей.

29 декабря. После короткого прямого обращения к слушателям поэтесса прочитала два стихотворных послания матери, которая находилась в эвакуации в Чистополе: «Первое письмо на Каму» (написано в сентябре) и «Второе письмо на Каму» (декабрьское).

31 декабря. Встрече Нового года посвящен специальный выпуск «Радиохроники». О. Б. читает стихи. Эта передача и голос

О. Б. были восприняты ленинградцами как чудо.

В декабре началось «смертное время» — массовые смерти ленинградцев от голода. «…Зимой 41–42 г. как бы по клятве апокалипсического ангела „времени больше не стало“…» (О. Б.)

1942. «Год Ленинграда, год его зимы…» (О. Б.)

Начало января. Н. Молчанов с тяжелой формой дистрофии и обострением эпилепсии попадает в госпиталь.

О. Б. переходит на казарменное положение в Радиокомитет. «Здесь, как в бреду, все было смещено: / здесь умирали, стряпали и ели…» (из поэмы «Твой путь»).

Ночь на 10 января. Сотрудники Радиокомитета обсуждают план книги, в которую войдут лучшие радиопередачи. Предложено название: «Говорит Ленинград»

14 января. «Держись! Скорее бы утро, чтобы узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя» (из письма-обращения к умирающему Н. Молчанову).

Январь. «29 января 1942 года» — день смерти Н. Молчанова и название стихотворения, посвященного его памяти.

В конце января О. Б. поручают написать поэму ко дню Красной Армии. Поэма получила название «Февральский дневник».

8 февраля. «Папу держали вчера в НКВД до 12 ч. <…> Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии» (из дневника).

22 февраля. О. Б. прочитала «Февральский дневник» в очередном, 195-м выпуске «Радиохроники» вопреки запрету партруководства (секретаря горкома ВКП(б) Н. Шумилова). Ответственность на себя взяли художественный руководитель Радиокомитета Яков Бабушкин и его председатель Виктор Ходоренко.

25 февраля. По Дороге жизни через Ладожское озеро пробивается на грузовичке живущая в Москве сестра О. Б., Мария Берггольц, с продовольственными посылками для писателей.

1 марта. Несмотря на сопротивление, друзья отправили О. Б. в Москву (у нее начала развиваться тяжелая форма дистрофии).

О. Б. с отчаянием понимает, что и столица, и страна не знают правды о ленинградском смертном голоде. «Февральский дневник» читать не разрешают, слово «голод» не дают произнести даже в стихах.

О своих впечатлениях О. Б. писала в Ленинград Г. Макогоненко («…Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично, но как объяснить тебе, что это еще вовсе не жизнь — это

СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ — нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи…»).

17 марта. Ф. Х. Берггольц выслан из Ленинграда в Красноярский край. О. Б. и М. Берггольц узнали об этом в Москве.

29 марта. Присутствует на первом исполнении в Москве Седьмой (Ленинградской) симфонии Д. Д. Шостаковича.

20 апреля. Возвращается в Ленинград.

В апреле становится женой своего коллеги по Радиокомитету Г. Макогоненко.

1 мая. Прилетевшие из Москвы писатели А. Фадеев, М. Алигер и Н. Тихонов встретились с О. Б. и ее коллегами в Доме Радио. Об этой встрече и блокадном радио Фадеев напишет очерк «Хорош блиндаж, да жаль, что седьмой этаж». Героями очерка стали О. Б. и не названный по фамилии рассказчик (Я. Бабушкин). В тот же день вместо В. Ходоренко, спасшего многих работников, Радиокомитет возглавил И. Широков, партийный функционер.

2 мая. Диктор Д. Беккер объявил выступление О. Б. Оно было посвящено московским впечатлениям и особенно исполнению Седьмой симфонии, о работе над которой композитор сообщил ленинградцам по радио впервые еще 17 сентября 1941 года.

Июнь — июль. Работа над «Ленинградской поэмой».

2 июля. Летчик Литвинов доставил в Ленинград и принес в Радиокомитет партитуру Седьмой симфонии Шостаковича.

3 июля. Написано стихотворение «Севастополю», отклик на официальное сообщение о потере города («О скорбная весть — Севастополь оставлен…»). Сведений, что стихотворение было прочитано, нет. Первая публикация в 1951 году.

В тот же день. Выступление «Ленинград — фронт», о поездке на передний край Ленинградского фронта.

5 *июля.* В «Комсомольской правде» опубликован «Февральский дневник».

24–25 *июля.* «Ленинградская правда» в двух номерах опубликовала полностью «Ленинградскую поэму». Строки «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам» сразу же стали знаменитыми.

9 августа. В Большом зале Филармонии оркестром под управлением Карла Ильича Элиасберга была исполнена Седьмая симфония.

20 сентября. Большое выступление по радио. В конце были прочитаны два стихотворения: «Печаль войны все тяжелей, все глубже…» и «Я хочу говорить с тобою / о тяжелой нашей

вине…»).

В конце года в блокадном городе выходит книга О. Б. «Ленинградская поэма».

В Москве выходит книга стихов «Ленинградская тетрадь».

1943. *Январь.* В ночь на 18 января пришла весть о прорыве Ленинградской блокады. Сообщить об этом первой доверили О. Б. Горожане услышали ее голос: «Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья! Блокада прорвана!» («…мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательно нашу судьбу… немцы-то еще на улице Стачек; 156…»; из дневника).

24 января. Из письма сестре: «У нас всё клубилось в Радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали — правда!» В этот же день в продажу поступила книга «Ленинградская поэма» («…покупали за хлеб, от 200 до 300 грамм за книгу. Выше этой цены для меня нет и не будет»; из «Автобиографии»).

7 февраля. Встречает на Финляндском вокзале первый пришедший в Ленинград поезд (с 27 августа 1941 года железнодорожное движение было прервано).

1 мая. Многочасовой обстрел района неподалеку от Дома Радио. Погибли сотни людей.

3 июня. О. Б. вручена медаль «За оборону Ленинграда».

В газетах и журналах публикуются стихи О. Б. («Чернигов» и «Победа» в «Ленинградской правде» от 23 и 28 сентября; «Смоленску» в газете «Во славу Родине» от 29 сентября; «Ленинградке» и «Весна в Ленинграде» в журнале «Октябрь» № 8–9; «Армия» в журнале «Октябрь» № 9–10).

Совместно с Г. Макогоненко работает над сценарием, а затем и пьесой «Они жили в Ленинграде» (после переработки называлась «Рождены в Ленинграде»).

1944. *14–27 января.* Слышен гром орудий под Ленинградом. Идут бои по окончательной ликвидации блокады. 27 января в честь снятия блокады был дан салют из 324 орудий. О. Б. была вместе с горожанами на улице в час торжества.

Февраль. В журнале «Знамя» (№ 1–2) опубликована пьеса О. Берггольц и Г. Макогоненко «Они жили в Ленинграде».

Апрель — май. По просьбе Нины Ониной, сестры погибшего в последних боях за город бойца Владимира Онина, пишет реквием «Памяти защитников».

В 1944 году вышли книги «Ленинградский дневник» (стихи и поэмы) и «Ленинград» (стихи).

1945. *27 января.* В эфир вышел радиофильм «900 дней». Его создали Г. Макогоненко, Л. Маграчев (сценаристы), О. Берггольц, Л. Спектор, Н. Свиридов, М. Блюмберг. Используя трофейный

магнитофон, смонтировали разные формы звукозаписи. В фильм вошли репортажи 1942–1944 годов. Звучит метроном, отрывки из Седьмой симфонии, объявления о тревоге. Слышны голоса уже ушедших людей. Так средствами радио возникла «звуковая картина» блокады.

Апрель — май. О. Б. пишет поэму «Твой путь» — четвертую за войну. «Это чистейшая, исповедальная вещь, плоть от плоти Ленинграда нашего… Вещь высокая, безупречная в каком-то внутреннем смысле» (из отзыва Вс. Вишневского, редактора журнала «Знамя», где в № 5–6 была опубликована поэма).

Конец мая. На X пленуме СП СССР А. Прокофьев сделал О. Б. объектом критики. «Я хочу сказать, что Берггольц, как и некоторые другие поэты, заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанную с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Ответом ему звучат стихи О. Б.: «…И даже тем, кто все хотел бы сгладить / в зеркальной робкой памяти людей, / не дам забыть, как падал ленинградец / на желтый снег пустынных площадей».

Лето. О. Б. спросила Илью Эренбурга: «Может ли повториться 1937 год?» Эренбург ответил, что нет. «А голос у вас неуверенный», — заметила О. Б.

Осень. Вышла книга «Твой путь». Журнал «Ленинград» (№ 10–11) публикует выступление поэта Прокофьева на писательском пленуме с критикой поэмы.

В Московском Камерном театре поставлен спектакль «Верные сердца» по пьесе «Они жили в Ленинграде».

1946. Год, не оставивший послевоенных надежд на смягчение общественного климата.

Январь и июнь. Присуждение Сталинских премий в области литературы и искусства. Из ленинградцев получили: В. Инбер, в частности за поэму «Пулковский меридиан», А. Прокофьев — за стихи. Первый поэт блокады Ольга Берггольц не была отмечена.

2 апреля. В Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел вечер поэтов Ленинграда. Выступили: А. Ахматова, О. Берггольц, М. Дудин, А. Прокофьев, Н. Браун.

14 августа. Принято «Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах „Звезда“ и „Ленинград“». В нем, в частности, были осуждены «чуждая народу» поэзия А. Ахматовой и «пошлые» произведения М. Зощенко.

22 августа. Опубликована резолюция общего собрания писателей Ленинграда. Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди (Берггольц, Орлов, Герман, Добин и др.), «раздувавшие» авторитет Зощенко и Ахматовой и пропагандирующие их «писания».

Осень. Из характеристики, подписанной 2 ноября секретарем партбюро ЛО Союза советских писателей Л. Браусевичем: «… допустила крупную ошибку, восхваляя безыдейно-эстетское творчество Ахматовой».

«…Так как я не „разоблачила“ Ахматову, меня отовсюду повыгоняли — из Правления, из редсовета издательства…» По свидетельству И. Н. Пуниной: «Больше всех, рискуя всем, открыто помогала Ольга Федоровна Берггольц».

Выходит сборник блокадных выступлений О. Б. «Говорит Ленинград» (21 очерк-радиоречь).

В этом же году — начало работы над трагедией «Верность».

Написано стихотворение «Я никогда не напишу такого», в котором опять звучит тема блокадной памяти: «…Но на асфальте нашем — след кровавый, / не вышаркать его, не затоптать…»

1947. В начале года в Ленинград возвращается Ф. Х. Берггольц.

О. Б. работает над трагедией «Верность».

Написаны стихотворения «Я тайно и горько ревную…», «О, не оглядывайтесь назад…». В стихотворении «Прошло полгода молчания…» опять звучит обращение к Родине: «Как трудно к тебе прорваться, / как трудно к тебе пробиться, / к тебе, которой вручила / всю жизнь свою — до конца».

Вместе с Г. Макогоненко завершила пьесу «У нас на земле».

1948. В Москве вышло «Избранное».

В «Автобиографии» сказано: «К концу 48 года я закончила трагедию в стихах, пять актов с прологом, — о Севастополе» (трагедия «Верность». После доработки стоят даты: 1946–1954).

7 *ноября.* Умер Ф. Х. Берггольц.

1949. Этот год напоминает О. Б. уже пережитые 1937–1939 годы. В 1949-м начались аресты «повторников», т. е. уже закончивших свои сроки, идет волна арестов по «анкетным данным», набирает обороты «Ленинградское дело».

О. Б. пишет знаменательные стихи: «Друзья твердят: все средства хороши…», «На собранье целый день сидела, / то голосовала, то лгала…», <Триптих 1949 года> («Меня не покидает страх знакомый, / что по Следам Идущие — придут»), «Сегодня вновь растрачено души…» и др.

Она создает не только «подсудные» стихи, но и «подсудную» прозу о сталинском колхозном ГУЛАГе: «Записи о Старом Рахине. *Колхоз. 1949 г.*».

Разгром Музея обороны и блокады Ленинграда (во дворе музея жгут документы и подлинные экспонаты).

Книга О. Б. «Говорит Ленинград» изъята из открытых фондов библиотек и отправлена в спецхран.

Начата работа над поэмой «Первороссийск» — о первом российском обществе землеробов-коммунаров, основанном после революции рабочими Обуховского завода на Алтае, о городе, который О. Б. сравнивает с легендарным Китежем.

1950. Первый вариант поэмы «Первороссийск» опубликован в журнале «Знамя» (№ И). В дальнейшем текст значительно менялся.

1951. В январе подписана в печать книга «Стихотворения и поэмы». Открывается книга двумя стихотворениям о Сталине. Его же именем (только в первой редакции) завершается поэма «Первороссийск». Поэма выходит отдельным изданием в Москве. О. Б. награждена за нее Государственной (Сталинской) премией.

Написано стихотворение «К песне» («…Но дай мне знак, что ты еще жива»).

1952. Поездка на строительство Волго-Донского канала (строился преимущественно силами заключенных). Написаны стихотворения «Из цикла Волго-Дон».

В мае в психиатрической лечебнице (лечилась от алкогольной зависимости) написана «Автобиография».

К тому же году относятся стихотворения «Отрывок» («… Молчание душу измучит мне, / и лжи заржавеет печать») и «Обещание» («Я недругов смертью своей не утешу…»).

1953. Смерть Сталина. «О, не твои ли трубы рыдали / четыре ночи, четыре дня / с пятого марта в Колонном зале / над прахом, при жизни кромсавшим меня…» («Пять обращений к трагедии»).

16 апреля. Напечатана статья «Разговор о лирике» (В защиту традиций русской лирической поэзии, основанных на личностном, индивидуальном мировоззрении).

1954. *Октябрь.* В журнале «Новый мир» публикуется «Поездка прошлого года» — фрагмент «Дневных звезд», книги, которую О. Б. называла своей Главной книгой. (В книгу позже вошла под названием «Поездка в город детства».)

В «Ленинградском альманахе» № 8 опубликована трагедия «Верность». В этом же году трагедия выходит отдельной книгой. В начальных строках сформулировано поэтическое кредо О. Б.: «От сердца к сердцу. Только этот путь / я выбрала себе. Он прям и страшен. / Стремителен. С него не повернуть. / Он виден всем и славой не украшен».

28 октября. Напечатана статья «Против ликвидации лирики» («Литературная газета»).

Декабрь. Принимает участие во Втором съезде советских писателей (на съезде говорилось о необходимости снижения партийного контроля над литературой, было положено начало реабилитации репрессированных писателей). О. Б. говорит о том,

что к литературе у нас подходят «не с позиций мастерства и художественности, а совсем с других позиций, нередко конъюнктурных». Говорит о писателях, которые «не входят в обойму»: М. Светлове и Е. Шварце. Стенограмма ее выступления содержит ремарки: «Движение в зале» и «Аплодисменты».

1955. Написано стихотворение «Тот год» (опубл. в 1956): «…В тот год, когда со дна морей, с каналов / вдруг возвращаться начали друзья…».

В Москве выходит поэтический сборник «Лирика».

1956. *14–25 февраля.* В Москве состоялся исторический XX съезд КПСС.

15 июня. О. Б. выступает на собрании Московской писательской организации. «Мы действительно очень много лгали». Говорит о необходимости пересмотра печально знаменитого постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»: «Этим постановлением был нанесен удар по обоим крылам искусства, по трагедии и комедии, по двум его великим маскам — трагической и комической» (об Ахматовой и Зощенко). Называет «Литературную газету», «грубо пнувшую Зощенко», реакционной.

Создан текст для мемориальной стены Пискаревского кладбища со ставшей знаменитой строкой «Никто не забыт, и ничто не забыто» (впервые опубликован 20 февраля 1960 года в «Литературной газете»).

1957. Год пятидесятилетия Б. Корнилова. О. Б. пишет очерк-воспоминание «Продолжение жизни», вошедший в виде статьи в книгу Б. Корнилова «Стихотворения и поэмы» (составители О. Б. и М. Бернович).

Этим годом датировано окончание работы над повестью «Та самая полянка», вошедшей второй главой в «Дневные звезды».

1958. В Москве выходит Собрание сочинений в двух томах.

1959. Завершена работа над первой частью «Дневных звезд».

Поездка в Восточную Сибирь. Написана серия очерков «На Енисее». «Я ехала твоей дорогой, / Отец мой милый, / До Красноярского острога, / Вплоть до твоей могилы» (из набросков ко второй, ненаписанной части «Дневных звезд»).

Июль. В «Новом мире» опубликована третья глава «Дневных звезд» — «Поход за Невскую заставу».

Декабрь. В ленинградском отделении издательства «Советский писатель» выходит отдельным изданием книга «Дневные звезды».

Рассыпан набор юбилейной книги «Встреча» (не соглашалась с изъятием ряда стихотворений).

О. Б. и Г. Макогоненко расстаются (официально в 1962 г.).

1960. Написаны стихотворения «…Пусть падают листки календаря…» (1960), «Я все оставляю тебе при уходе…» (1956, 1960), «Бабье лето» (1956, 1960).

Книга «Дневные звезды» выходит в Москве.

Этим годом датирована глава «Доброе утро, люди!», продолжение «Дневных звезд».

1961. *31 марта.* В Театре им. В. Ф. Комиссаржевской состоялась премьера спектакля «Рождены в Ленинграде».

«С Родиной в пути» — статья о поэме А. Твардовского «За далью даль» («Литература и жизнь», 26 апреля).

Выходит монография Г. Цуриковой «Ольга Берггольц».

1962. *Апрель.* Эта дата стоит под рассказом «Блокадная баня» (из второй, ненаписанной части «Дневных звезд»).

Выступает на научной сессии в ИМЛИ им. М. Горького с докладом «Слово о гуманизме» («…Человеколюбие — деяние двустороннее, любовь разделенная…»).

Выходит книга Н. Банк «Ольга Берггольц. Критико-биографический очерк».

Выходит книга А. Павловского «Стих и сердце. Очерк творчества».

1963–1964. Стихотворение «Но я все время помню про одну…» («Я столько раз сердца терзала ваши / неумолимым перечнем утрат. / Я говорила вслух о самом страшном, / о чем и шепотом не говорят»).

В 1964 г. в Русском драматическом театре им. Луначарского (Севастополь) поставлена трагедия «Верность».

1965. Осенью вышла книга «Узел», в которой были собраны ранее не печатавшиеся стихотворения 1937–1964 годов. О. Б. считала ее лучшей своей книгой («Теперь не страшно умереть»). Предполагала печатать ее вместе со второй частью «Дневных звезд».

12, 19 и 26 ноября. В газете «Литературная Россия» впервые опубликован литературный сценарий «Первороссиян».

1966. *10 марта.* Выступает на церемонии прощания с А. А. Ахматовой в Доме писателя.

11 марта. В газете «Литературная Россия» опубликовано «Слово прощания» с Ахматовой.

В этом году на Мосфильме идут съемки фильма «Дневные звезды» по книге О. Б. Авторы сценария О. Б. и И. Таланкин, композитор А. Шнитке, в главной роли А. Демидова.

1967. Год шестидесятилетия Б. Корнилова. О. Б. едет в г. Семенов на закладку памятника поэту. Встречается с Ириной, дочерью Б. Корнилова от второго брака.

На студии «Ленфильм» завершена работа над фильмом

«Первороссияне». Режиссер А. Иванов, сценарий О. Б. Премьера прошла в кинотеатре «Колизей» при участии О. Б.

1968. 20 декабря состоялась премьера фильма «Дневные звезды». Фильм, как и книга, вызывает массу восторженных откликов. Оба фильма — замечательные образцы поэтического кинематографа.

1969. Фильм «Дневные звезды» с успехом представлен на Международном кинофестивале в Венеции.

Концом 60-х — началом 70-х годов датированы отдельные стихотворения из неосуществленных книг «Великие поэты века» и «Книги восстановления».

1970. *16 мая.* Ольге Федоровне Берггольц — 60 лет.

29 мая. Юбилейный вечер в Доме писателя им. Маяковского. Выступили В. Кетлинская, М. Дудин, П. Антокольский, А. Межиров, Л. Маграчев (репортер блокадного радио дал отрывки из записей военной поры), З. Паперный. Ответное слово произнесла О. Берггольц.

Выходит книга стихотворений и поэм «Верность».

Написаны стихи из цикла «Анне Ахматовой» («…Что же мне подарила она?…Окаяннейшую свою, молчаливую гордость… Волю — тихо, своею рукой задушить подступившее к сердцу отчаянье, / Волю — к чистому, звонкому слову. / И грозную волю — к молчанию»).

1970-е. Написаны стихотворения «Ленинграду» («Теперь уж навеки, теперь до конца / незыблемо наше единство. / Я мужа тебе отдала, и отца, / и радость свою — материнство»); «Вот обижали и судили…», «О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!..».

1971. Участвует в работе V съезда писателей СССР. Вместе с критиком В. Лакшиным навещает больного А. Твардовского на даче.

Декабрь. Будучи больной, едет в последний раз в Москву на похороны Твардовского. Прощание проходило 21 декабря в Центральном доме литераторов.

24 декабря в газете «Литературная Россия» опубликовано слово прощания с Твардовским «Какое сердце биться перестало!».

1972. В Москве вышла книга стихотворений «Память».

1975. *13 ноября.* Скончалась Ольга Федоровна Берггольц, Муза блокадного Ленинграда, ставшая за годы войны по-истине *народным* поэтом. Она просила, чтобы похоронили на Пискаревском, «со своими». Власти отказали. Похороны прошли 18 ноября на Литераторских мостках Волкова кладбища Ленинграда.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» из дневников 1939–1949 годов

ИЗ ДНЕВНИКОВ 1939–1942 годов [1]

Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, — связанных с ней испытаний души — тягчайший грех. Недаром в древности говорили: — Если забуду тебя, Иерусалиме…[2]

О. Берггольц. Из подготовительных записей ко второй части «Дневных звезд»

15/VII-39[3]

13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю[4] и родных, — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, — но я живу… подкрасила брови, мажу губы…

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего…

4/IX-39

Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку стихов. «Да, взлета, колодца — все еще нет, да и будет ли он у меня?»)[5]

21/IX-39

Тупость проходит понемногу-понемногу. Но все еще пресно. Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хоть чувствую от этого свою неискренность и сухость. Много по ночам с Колей о жизни, о религии, о нашем строе. Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость, ну, а потом, что? Не знаю. Пока все, практически, остается так же незыблемо, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.

А мне не страшно, никаких мыслей; как было страшно, скажем, три года назад… Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет — значит, ничего нет.

15/X-39

Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми — о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью…

6/XI-39, 2 ч. ночи

Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили[6] — коммунистки, беспартийные *честные* товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!

Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!

14/XII-39

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б<ольшой> дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

…Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)?

И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым»: «Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него „запечатана“».

«Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: „не нужно“».

Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?

Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено.

А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна «система»? Может быть, раздробленность такая появилась оттого, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенны фетиши и сама система была системой фетишей? Остается путь, остается история, остается наша молодость, наши искания, наша вера — все остается. Ну, а вывод-то какой мне сделать — в романе, чему учить людей-то? Экклезиастическому «так было — так будет»? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по разным поводам — и всё? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное — последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя… уже по причинам «запеча-танности». А последние годы — самое сильное, самое трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю.

Ну ладно. Кончу — обязательно к Новому году, кончу правку истории и возьмусь только за художественное, и буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы (включая человечность,

приобретенную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому), а там видно будет, к концу…

Да, но вот год назад я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева[7], потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (это главное!), и я — уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей… (Это хорошо все, но не главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К<удрявцев> говорил мне: «Ваши преступления, вы — преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии».

Сегодня — все наоборот.

Значит, я — победитель? О нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрьмой, такого признания я не могу сделать, несмотря на все бремя в душе и сознании.

Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то… Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отрава. Мне непонятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вот вещи кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами — со всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объяснят? Будет — исключение, осуждение <…> и, вероятнее всего, опять тюрьма.

О, как это страшно и больно! Я говорю себе — нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь Программу и Устав душою разделяешь полностью? Ведь все поручения стремишься выполнить как можно лучше? Последствия тюремного отравления не сказываются на твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

23/XII-39

…Степка не шевелится. Это удручает меня. Неужели опять — авария? Я знаю, что это почти безрассудно заводить сейчас ребенка: война, болезнь Коли, материальная необеспеченность, а сколько будет забот, и тревог, и быта! Но я рвусь к этому как к спасательному кругу: мне кажется, что тот, кто должен был появиться, как-то примирит нас с жизнью, наполнит ее важным, действительным смыслом.

Я говорю о действительном, вечном, не зависимом от «вражды или близости с Наполеоном»[8], смысле.

Недействительный смысл есть, но этого для жизни мало. Вот 21 декабря я выступала на собрании о Сталине, выступала неплохо, потому что готовилась к докладу очень добросовестно, потом прочитала свой стишок о Сталине. Гром аплодисментов, все были очень довольны и т. д. Ровно год назад я читала этот стишок в тюрьме, будучи оплеванной, низведенной на самую низшую ступень, на самое дно нашего общества, на степень «врага народа» …Как этот слабый стишок там любили! Плакали, когда я дочитывала до конца, и сама я так волновалась, когда читала… Пока не стала думать: «Твоя вина!» Но даже думая так о нем, не могла без волнения читать, я доклады делала с волнением, искренне. Где, когда, почему мы выскочили из колеи?

25/XII-39

Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины[9] в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л.[10], — тоже не принявший стишка, — «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие, — величию людского представления о нем.

И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина», — я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Рымшан, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, — это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор — в тюрьме. И когда подошла к этому разделу — потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, о том, как его пытали, — ответа не получил. Рымшан писал тому же Сталину о своей жене — ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне?

Утешить самое себя сознанием своего благородства?

Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении… Но я знаю — это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе — «идёть, идёть и придёть».

В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме…».

Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне… Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь…

25/I-40

…Машу Рымшан осудили на 5 лет… Все статьи сняли, осудили как «социально опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие, и всё.

О, как подло.

Даже тот факт, что продолжают выпускать людей, не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда — двойной обман.

«Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелье, мы — его боль родов», — писал Герцен[11] в 1848 г. Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату? Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток безмерной веры — «Клочок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?».

1/III-40

…Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты!

А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе[12] искал за словами о Кирове[13], полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «для следователя» — или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя…

О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было…

Писать свое — пьесу, рассказы…

Не думать, не думать об этом хотя бы пока… Все равно никуда не уйдешь от этих мыслей…

25/XII-40

Сегодня в клубе Эренбург[14], живший во Франции, в Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.

Отрывки — до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.

Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.

На вечер пришли Таня и Юра Прендели[15], Таня мне — все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может окончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.

Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра — «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем более, что Юра Г.[16] написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском[17].

Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо. Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.

Потом подсел Зонин[18] с пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелко-лестно (чего мне надо и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да,

читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.

Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах…

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи![19]

Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.

Вот с Лидой Ч<уковской>[20] сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказики.

Безвременье души, — вообще.

Была в Москве. Встречалась с Сережей[21]. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно, потому что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.

13/III-41

Иудушка Головлев[22] говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное, — зачем, зачем?!

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова[23], — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки[24].

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб.

Превосходное стихотворение «Соловьиха» было посвящено им Зинаиде Райх[25], он читал его у Мейерхольда[26]. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.

Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть…

На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке видела сегодня Виктора Яблонского[27], с которым связано ощущение целого периода в жизни — знакомство с Горьким[28], ЛАПП, история с

Авербахом[29]. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин[30] погиб на финской войне. Володя Эрлих[31] в концлагере. Юрий Либединский[32] разошелся с Муськой. Виктор очень постарел, — значит, и я так же страшно постарела…

Где всё?! Где всё?..

А Ирка, Ирка, господи… А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям… Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал… Где же, где всё?

26/III-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маразма. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск»[33], а потом уж пускай.

Сейчас я в Доме творчества, в Детском[34]. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого[35] машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой[36]: «Моя дочь умирает, дайте мне машину» — и поняла, что она действительно умирает… Со смертью ее началась моя смерть, тем более что Я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.

Второй раз из этого дома — меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть — смерть «общей идеи» во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрестанных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя.

Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т. к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне?

Я круглый лишенец[37]. У меня отнято все, отнято самое

драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее… «Как и жить и плакать без тебя?!»[38]

Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилен. У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, — хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»…

Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!

Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет… Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница… В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства.

Я все ругаю себя разными словами — «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей», — но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех пор…

Что же может тут сделать психоневролог? Одурить меня процедурами так, чтоб ложь эта, и гибель идеалов, и ужасный процесс перерождения стал мне безразличен? Но это последняя смерть, и уже настоящая… Лучше мучительное это безвременье, лучше горький этот кризис, буду думать, что кризис, и буду бесстрашно идти на него…

1/IV-41

Может быть, мне просто нравится так страдать, нравится эта тога «гражданской скорби»? Я просто нравлюсь себе в ней? Но разве я одна так терзаюсь? Все, кого я знаю, особенно коммунисты — Галка[39], Ирэна[40], Мара[41], — живут с таким же трудом, как я. Вчера цензура сняла из верстки «Лит. современника» мое стихотворение «Тост». Оно кончалось:

Так выше бокал новогодний,
Наш первый поднимем смелей
За тех, кто не с нами сегодня,

За всех запоздавших друзей…

Очень корявое, оно было дорого мне по внутренней своей мысли — хоть слабый сигнал «им»: «мы помним о вас, мы ждем вас», хоть слабый знак привета. Они — т. е. цензора — догадались. Но формально это причина — «за тех, кто не с нами, — значит, за тех, кто против нас? Значит, за наших врагов?» Суки! Они не имеют права запрещать, — здесь нет ни малейших формальных оснований. Хорошо, я напишу: «за тех, кто далеко сегодня…», и если он (Троицкий[42]) опять зарежет, — полезу на рожон вплоть до горкома. Буду говорить о «травле писателя-коммуниста», о том, что Троицкий не имеет права «пересматривать решение гос. органов в отношении меня…».

С трусами и двурушниками надо говорить на их языке, и — главное — никаких формальных оснований для трактовки моих стихов так, как это трактует цензура, нет. Они не смеют ставить мои стихи в связь с моим пребыванием в тюрьме! Ведь же «открытые» стихи о тюрьме я и не показываю никому. Я вся разворошена этим. Это запрещение — точь-в-точь как лязг тюремного ключа там, напоминание о том, что ты — невольник.

Лязгнуло… И вот от этого лязгнувшего звука опять вышла из равновесия, опять впереди — бесперспективность, тьма…

Надо закончить эту муру — «Ваня и поганка», она даст мне наконец возможность вплотную сесть за роман, а может быть (страшно мечтаю об этом), — съездить на Алтай, по маршруту первороссиян, — м. б., буду писать о них повесть.

Написала стихотворение, которого сама боюсь[43].

13/IV-41

Вот я и опять в Ленинграде. Да и давно уже, седьмого числа. Может быть, все-таки обратиться к психоневрологу?

Вот, отправлен сценарий, денег есть еще на два месяца, даже если еще тысячу истрачу, надо браться за роман, и вдруг меня одолел страх: мне кажется, что я уже ничего не могу, душевные силы иссякли, да и просто так — трясучка, мерзейшая трясучка одолевает…

Все вроде как куда спешу, все вроде как страх одолевает, невнятный, глупый. Или это все та же утрата общей идеи дает себя знать? Но Коля дал верный совет: писать «без идеи», записывать, как жили, и идея возникнет. Да, писать — вот так мы жили, вот так мечтали, страдали, радовались, отдавали себя. И… ну, — и? И? «И ничего не вышло; они все передрались, ничего не нашли и вернулись обратно», — как сказал один мальчик в ответ

на предложенный мною сюжет, как дети отправились искать живую воду. Нет, нет; так рано еще говорить, не надо так думать! Может быть, еще и выйдет. Может быть, этот тяжелый период пройдет, там вздохнем, после войны.

Все-таки пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знаменам. С верностью знаменам и писать. Но высылка Ирэны? Ведь ее все ж таки высылают, доламывают ее жизнь, доканывают прекрасного, верного человека, ничто, ничто не помогло ей, никакие хлопоты, никакие заступничества… Зачем? Разве это хоть кому-нибудь нужно?

Нет! Как только я прикасаюсь к вопросам этого круга, так перестаю дышать.

20/IV-41

Явная дегенерация: куда-то засунула записную книжечку с телефонами Москвы и не могу найти, а отлично помню, что еще вчера держала ее в руках и даже думала: «кладу сюда — и забуду…» Вот глупо.

Колька как долго не идет от Молчановых, наверное, сердится на меня за то, что пришла вчера от Анфисы пьяная. А когда он так пыжится, я совершенно теряю способности к деятельности и жизни.

У меня — серия подозрительных удач. Принят сценарий «Ваня и поганка», говорят, что очень там всем понравился, еду завтра по вызову «Мосфильма» в Москву для доработки сценария. Получу, видимо, вторые 25 % и затем, довольно быстро, остальные 50.

Но главное — на «Ленфильме» вдруг зажгла «Первороссийском» Мессер[44] и Кару[45], завтра они посылают либретто в комитет с просьбой разрешить заключить со мной договор. Конечно, мне надо располагаться на то, что либретто утверждено не будет и придется посылать его Сталину… Но оно все равно пойдет через Ц. К., так что инстанций, где его могут задержать, — очень много.

Вероятностей, что сценарий будет убит, — больше, чем того, что он пройдет. Но хорошо хоть то, что хоть где-то пробита стенка. Ах, как славно было бы, если б получилась к юбилею картина! Это был бы мой подарок к 25-летию Советской власти, дар нашим знаменам, нашей Мечте, нашим идеалам — храму оставленному и кумиру поверженному[46], которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены. Не нами, о, не нами!

Но неужели действительно оставлены и повержены?

Не перехватываю ли я в этом отношении?.. Может быть, это

только такой временный жуткий период?

Успехи немцев подавляют меня. Падение — Югославии, на днях несомненное падение Греции.

Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..

Кроме того, завтра, наверное, будет разговор у Герасимова [47] относительно заключения предварительного договора на «Заставу»[48]. Вообще, благоразумнее не замечать.

5/V-41

Идут очень пустые, нерабочие и даже безмысленные дни. Была в Москве по вызову «Мосфильма» насчет «Вани и поганки». У «Вани и поганки» — огромный успех. Птушко[49], шумный и неумный пошляк в быту, в восторге, рвется ставить, все хвалят, сценарий едет пока без задержки. Это почти оскорбляет меня, потому что «Первороссийск» уже зарезан в кинокомитете на первой же инстанции. («Ленфильм» послал с просьбой о разреш.) Некто Маневич сказал: «Слишком огненная тема. Она на острие — так остра. Политически неверно ставить картину о коммуне, в то время как коммуна — осужденная форма сельского хозяйства. Т. Сталин на XVII съезде осудил ее», — и т. д.

Ну что ж, я ожидала именно этого — отказа. Правда, я думала, что мотивировка будет иная — там что-нибудь насчет того, что много народу гибнет и т. д. О, какая непроходимая тупость и косность! Какое отношение к искусству имеет то, что «коммуна — осужденная форма»? Да нет, просто немыслимо в таких условиях существовать искусству — жгучему, искреннему, правдивому. Авария с «Первороссийском» причинила мне не острую, но тупую боль, — точно вновь ударили по больному, избитому месту, уже «привыкшему» к ударам…

А-ах, как тупо и как, в сущности, страшно! Ну, что ж поделаешь?

Пошлю в Секретариат Сталину, все равно, терять нечего, не посадят же меня за это…

Видела, разумеется, Сережу. Вот еще одна утрата. Не надо было мне вовсе встречаться с ним после Коктебеля, какое бы чудесное, горьковатое, ясное воспоминание осталось. Но нет еще этой мудрости, а есть тупая жадность. И вот. — Бог с ним.

Мне не жаль ни нежности, ни дум, которые посвятила ему. Он неплохой мальчишка, но — все. Внутренний «роман» с ним — окончен. Да и внешний — тоже.

Надо приняться за роман[50], силы уходят. Вот напишу заявление Ирэне и примусь. Ирэну все еще томят и терзают. А брат ее Миши[51], освобожденный из польской тюрьмы в сентябре

39 года, написал о Мише такое заявление, что, читая его, чувствуешь, будто тебе на сердце капают раскаленным свинцом. И больше того: он собрал о Мише справки тамошних людей, знавших его по подпольной работе в Польше, и это тоже, как капли свинца в душу. Хороший, видно, человек был этот Миша, если о нем, осужденном Советской властью, так пишут люди! И они — смелые, хорошие люди! О, дай им всем Бог, дай им Бог силы вынести все испытания, которые им еще, наверное, предстоят… Ну, надо написать заявление…

12/V-41

Сегодня позвонила мне Наташа, жена Марка Симховича, человека, с которым у меня был хороший роман в Гаграх в 1934 году. Я до сих пор помню, как, подъезжая к Гаграм, первый раз в жизни увидела море, и все внутри просияло и затрепетало от радости. И эта радость длилась весь месяц отдыха, я бежала к морю, как на любовное свидание, а Марк был очень влюблен, дарил мне розы, мы читали стихи, философствовали, целовались.

После Гагр я его больше не видела, не переписывалась с ним. В 39 году Наташа, с которой он познакомил меня в Москве, позвонила мне, сказала, что Марк умер от дифтерита и что она очень хочет видеть меня. Встреча состоялась только сегодня. Оказывается, Марк (по ее словам) относился ко мне серьезнее, чем я думала. В дневнике у него было записано, что я — самое сильное его увлечение, сразу вслед за Наташей, которую он очень любил.

А у нее теперь с Марком так, как у меня с Иркой: все еще не верит, все еще не понимает, как это вышло, чудовищность, бессмысленность утраты подводит к безумию, к прозрению ТУДА… Она ищет его в жизни, и я для нее была — частица его.

Да, да, — ИЩЕТ его, — может быть, он еще где-то здесь, может быть, его еще можно увидеть, догнать, вернуть, — как же так, вот Ольга Берггольц жива, а Марка нет? Не может быть, тут что-то не так. Мурашка Чумандрина[52], ровесница и подружка Ирки, жива и учится в школе, но ведь и Ирка могла бы жить и учиться, как Мурашка, почему же этого нет?! Непонятно, несправедливо. О, знаю, знаю, все знаю, больше, чем можно сказать…

Она говорила: «Я многих слов ваших не запомнила, я только слушала ваш голос, смотрела на вас, и всё». Ограбленный человек. В 37–38 году она б месяцев сидела в тюрьме, ее там били страшно, сломали даже бедро. Она говорила: «Но знаете, самое ужасное, когда плюют в лицо. Это хуже, чем побои». Зачем ей плевали в лицо?! Разве когда-нибудь она забудет это, сотрет с

души, с лица? Сколько у нас ОСКОРБЛЕННЫХ, сколько! Через два месяца после того, как она вышла из тюрьмы, после такой отсидки — умер Марк, который был для нее всем. Нет, бог не бог, а какая-то злобная сила, смеющаяся и издевающаяся над людьми, наверное, есть…

А что я могла сказать ей? Она спрашивала: «Ну что же делать, с чего начать-то, как жить?» А я отвечала: «Я тоже так всех спрашиваю, я сама не знаю. Живу вот…» И еще умничала чего-то, рассказывала о мелочах, своих дурацких стычках с цензурой… Но что сказать, что дать ограбленному, оскорбленному человеку?

> Сам я и беден и мал,
> Сам я смертельно устал, —
> Чем помогу?![53]

Стоит она у меня перед глазами, — чувствую я за всем этим больше, чем она говорила, — ну что, что вынуть, вырвать из себя — и подарить?! Обманываю я их всех, приходящих ко мне, чем-то, а чем — сама понять не могу. Если ей выговориться надо было, — я слушала. Все мои умные слова — ей ничто. Но успокаиваю себя тем, что по себе знаю: в горе и в смятенье человеку не столько другого, сколько себя, и, м. б., только себя, слушать надо. Другой человек тебя терпеливо выслушает, скажет самое обычное: «Да, да, понимаю», и вот уж кажется тебе, что это самый хороший человек на свете…

Надо больше слушать людей. Я слушала, а потом о себе барабанить стала. Мелко! Я о себе слышала последнее время столько восторженных отзывов — и об «уме», и о «красоте», и о «душе», и так мне это нравится (ужас-то!), что уж иногда чувствую, что должна поддерживать свое звание и, говоря с людьми, обращающимися ко мне, больше думать о себе, чем о них. Это бесконечно мизерно и отвратительно!.. Что делать с этим? А на самом деле я внутренне обеднела, очень мало читаю, размениваюсь на судьбу, хвастаюсь и треплюсь…

Но что же делать с Наташей? Что же дать ей, — не для того, чтоб самой думать о себе хорошо, а для нее, для нее! Она просила прислать ей моих стихов. Пошлю побыстрее — об Ирке, из «Испытания»[54]. Там ведь есть подлинное.

Это жалкое внимание ее тронет, чуть-чуть, м. б., согреет, м. б., беднейшие мои строчки что-нибудь скажут ей… Больше-то ничего не могу… Где-то есть еще хороший портретик Марка — м. б., послать?

Надо, вообще говоря, ответить Гуторовичу, Кужелеву, написать Лене Польскому, — я сухой, черствый человек, дерьмо,

что так долго не пишу им. Володьке Дм.[55] еще надо написать…

20/V-41

О, бедный homo sapiens!
Существованье — бред![56]

Томление.

Все-таки придется, наверно, обратиться к психоневрологу, своими силами не справиться с «трясучкой»… Если это даже и распущенность, то явно болезненная.

Но помню: довольно заказов, «Ваней и поганок», песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей или неудачей он кончится. У меня нет мудрости для него.

Сегодня почитала кое-что из Герцена. Боже мой, для того чтобы писать то, что я задумала, то, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мысли и надо иметь точку зрения… У меня же ее сейчас нет. Надо умудриться, надо разобраться в каше жизни — и до нас, и при нас, и видеть вперед, а у меня туман перед глазами…

О, бедный homo sapiens!

Одна эта европейская война чего стоит. Какой крах человеческих усилий: был пример жуткой бойни 14–18 гг., был образец — революция 17 г. и Сов. Союз, была могучая, страшная пацифистская литература, была широкая коммунистическая пропаганда — и ничего! Ничего и ничто не предотвратило бойни еще более страшной, омерзительной и преступной, чем в 14–18 гг. А мы говорили — «пролетариат не допустит», «начало новой мировой войны — начало мировой революции»… Ею пока и не пахнет! И если б Гитлер повел их всех на нас — они бы пошли и громили бы нас! Западный пролетариат работает на войну и воюет так, что диву даешься.

Хорошо, воюют «всего» два года… «Всего» несколько миллионов людей уложили. «А потом они одумаются». Значит, мало было жертв 14–18 годов? Значит, нужны еще горы и горы трупов, чтоб заставить трудящихся одуматься и повернуть оружие против тех, кто их посылает убивать друг друга, чтоб понять, что им не просто воевать. Все еще мало, все еще мало?!

Опять, как уже во многом, разъехалась наша теория с практикой, и очень обидно за ее «необязательность». А главное — люди гибнут… Теория наша не учитывала этого. Для нее людей

нет. Для нее люди, как для Ивана Карамазова[57], существуют на отдалении…

Безумие и безумие творится в мире, и ничто от людей не зависит.

22/V-41

Продолжается трясучка.

Сейчас надо идти на собрание писателей-коммунистов — относительно перевыборов правления Союза. Вот то-то уж никчемное занятие! Да, Союз влачит жалкое существование, он почти умер, ну, а как же может быть иначе в условиях такого террора по отношению к живому слову? Союз — бесправная, безавторитетная организация, которой может помыкать любой холуй из горкома и райкома, как бы безграмотен он ни был. Сказал Маханов[58], что Ахматова[59] — реакционная поэтесса, — ну, значит, и все будут об этом бубнить, хотя НИКТО с этим не согласен. Союз как организация создан лишь для того, чтоб хором произносить «чего изволите» и «слушаюсь». Вот все и произносят, и лицемерят, лицемерят, лгут, лгут, — аж не вздохнуть!

Но раз мы все поставлены в такое положение, «чтоб не иметь свое суждение»[60] — о чем же говорить? Что «улучшать» в Союзе? Систему лицемерия? Способы завинчивания гаек?

Предлагают писать очерк о днях финской войны у нас на заводе, соблазняют деньгами… Нет, не буду! Конечно, люди вели себя геройски, но ведь правды — жестокой, нужной, прекрасной — об этом все равно нельзя написать, а сопли разводить — что за смысл. Да и не могу, не могу я больше! Надо роман писать. И «не принимала» я эту войну…[61]

Уж лучше попробую сделать заявку — предельно честную — о Мартехове[62]. Это и само по себе интересно, без всяких, и в смысле базы — тоже, если выйдет, будет нечто солидное. Сегодня отправлю маму в Москву и буду писать завтра, 24 и 25 целые дни.

Нет, откажусь от очерка. А на собраниях буду молчать, чего зря говорить-то. Все равно никто правды не скажет, — лучше «честно молчать».

30/V-41

Второй раз сегодня смотрела «Двадцать лет спустя»[63], вместе с Колькой. Прекрасная пьеса!

О, если б мне удалось с такой же поэтичностью, жгучестью и скрытой глубиной написать о нашем поколении, — так, как написал свою пьесу Миша. А какие простые и хорошие там у него стихи. После них мне мои (особенно последние) кажутся такими вычурными, надуманными, «вумными». Литература — не сердце.

А Колька правду сказал, эта пьеса — отходная поколению… О, да, да. Потому-то так грустно и страшно смотреть ее и так хочется крикнуть: «нет!» Надо читать и работать, работать.

1/VI-41

Этюд с А. Его наскок, я думаю, можно считать в конечном счете неудачным, несмотря на мою непоследовательность. Нет, нет — это скучно! Это прежде всего скучно. Он — из удивительного мира «Светлого пути»[64], мира женщин, «подцепляющих» богатых мущин, мира непременно-заграничных вещей, отсутствия идеалов, опустошенности безыдейной, той бездны, где уже нет ни адского огня смятений, резких светотеней, а ровный полумрачок, из мира опустошенности, уже не осознающей себя. По-видимому, по всему судя. Бог с ним. То, что он будет думать обо мне — «нигилистка», «синий чулок», — мне должно быть безразлично.

Если я не сяду неизбежнейшим образом за роман, то его у меня не будет. Размен меня съест[65]. Завтра сяду с утра.

А то опять может быть «Федя Никтошкин»[66], — то, сё, а ведь и так уж 5 месяцев 41 года прошли абсолютно бесплодно.

4/VI-41

Я существо из разряда ничтожнейших. Роман стоит и — о, ужас — вроде как и писать его неохота. Я переношу его. Нет, сейчас хоть немножко напишу.

На уме — коммерческие предприятия. Их, собственно, надо бы осуществить. Надо денег. Надо одеться хорошо, красиво, надо хорошо есть, — когда же я расцвету, ведь уже 31 год! Я все думала — время есть, вот займусь собой, своим здоровьем, внешностью, одеждой. Ведь у меня прекрасные данные, а я худа как щепка, и все это от безалаберной жизни, от невнимания к себе. У меня могли бы быть прекрасные плечи, — а одни кости торчат, а еще года 4 — и им уже ничто не поможет. И так и с другим. Надо поцвести, покрасоваться хотя бы последние пять-семь лет, ведь потом старость, морщины, никто и не взглянет, и на хер нужны мне будут и платья, и польты…

О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет ее, которого, собственно, еще не было. А когда же дети? Надо, чтоб были и дети. Надо до детей успеть написать роман, обеспечиться…

А надо всем этим — близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких, — и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная

жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе — очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей…

Не успеть! О, боже мой, не успеть!

М. б., я зря отказалась от партии, предложенной А.?

Чувство временности, как никогда. Чувство небывалого надвигающегося горя, катастрофы, после которой уже не будет жизни.

Если наше правительство избежит войны — его нужно забросать лавровыми венками. Всё — только не она, не Смерть. Только бы не «протягивать руки помощи», — пусть они там разбираются, как умеют.

Войны не избежать все равно. Мы одни в мире. Наши отказы, отступления, перерождения ничему не помогут. Мы все равно одни. Но не надо ввязываться ни во что. Это не обеспечит нам будущего — спокойного. Если бы еще советизация Европы — любой ценой, но она невозможна. Да и «любая цена»… Это значит — моя погубленная жизнь, во мне и в миллионах «меня», т. к. я теперь знаю, что все — как я, что все — только Я.

Оттолкнув от себя все это, попытаюсь работать над разделом «Углич», очень далеким от сегодняшнего, два дня отдам роману и, если пойдет, напишу заявку «Феди Никтошкина» и на сценарий «Жена», по Мартехову, для Ленфильма.

12/VI-41

О боже мой, какая трясучка.

Покою не дает понедельник, та пьянка с Ю. Г.[67] Надо объясниться, задушевно и просто сказать: «Не будем больше так ломаться и плевать друг в друга». Звонила — его нет дома, в Келомяках[68]. Роман идет мучительно, я тороплюсь, порчу, вязну в деталях, пропускаю главное, выдумываю, — а настоящая-то жизнь была во сто крат страшнее и сложней. Главное — эта торопливость, это стремление догнать что-то главное, ускользающее, что обязательно впереди, а не в том, что пишешь. Форма, избранная мною, — полная свобода и независимость от рассказчика, перебивка стилей: то детский рассказ типа «киноглаза», то почти протокольное повествование — кажутся

мне окрошкой, пересмешничеством, чужим. Тон все еще не найден, хотя в том, что пишу, он уже ближе к искомому, чем в том, что было написано в 38 году. Там просто плохо.

И это все почти не доставляет творческой радости, за исключением крох.

Но если есть в чем смысл — то именно и только в этой мучительной, медленной работе.

Должна приехать Муська[69], чтоб сделать аборт, и я мучительно боюсь, что это кончится неблагополучно, что она умрет, что, наконец, меня просто «накроют» за организацию этого дела. Но что же делать — нельзя же ей оставлять ребенка в ее теперешнем положении — без работы, с полуразрушенным здоровьем…

Ой, ой, ой, как все ужасно, как все мучительно.

Только одна отрада — Колька.

20/VI-41

…Может быть, это наступает новая полоса страшного горя для нас всех — ее смерть, суды и т. д. Нечто остановилось за углом и ждет с обухом в руке. Пройдет или нет? Нас или кого-нибудь другого ударит оно?..

Нет, нет, нет!

Все обойдется благополучно, мы поедем с нею в Келомяки, она отдохнет, м. б., устроится к Радловой[70]. М. б., я встречу там человека, с которым чудесно, «кислородно» покручу. Там сосны, там море, там буду работать над романом.

Ах, скорей бы уж оно кончилось, — положим ее в постель, она уснет, я тоже посплю — я нанервничалась за эти дни, недосыпаю…

Но что же делать? Ах, говорили же, говорили люди, что нельзя этот закон так круто и свирепо вводить![71]

P. S. Все благополучно.

22/VI-41

14 часов. ВОЙНА!

2/IX-41

Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда[72]. Папа — военный хирург, верой и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД

просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.

Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что старик и подобные ему люди (а их, кажется, много — по его словам) либо будут сидеть в наших казармах, или их будут таскать в теплушках около города под обстрелом, не защищая — нечем-с!

Я еще раз состарилась за этот день.

Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты.

Сейчас — полное душевное отупение. Ходоренко[73] обещал позвонить Грушко (идиот нач. милиции), а потом мне — о результатах, но не позвонил.

Значит, завтра провожаю папу. Вижу его, видимо, в последний раз. Мы погибнем все — это несомненно. Такие вещи, как с папой, — признаки абсолютной растерянности предержащих властей…

Но что, что же я могу сделать для него?! Не придумать просто!..

5/IX-41

Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба. Я бегала к т. Капустину[74] — смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.

Вот заботилась всю жизнь о Счастье Человечества, о Родине и т. д., а Колька мой всегда ходил у меня в рваных носках, на мать кричала и никого, никого из близких, родных и как следует не обласкала и не согрела, барахтаясь в собственном тщеславии…

Ленинград, я еще не хочу умирать,
У меня телефонов твоих номера,
Ленинград, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса[75].

Но за эти три дня хлопот за отца очень сблизилась (кажется) с Яшей Бабушкиным[76], с Юрой Макогоненко[77]. О, как мало осталось времени, чтоб безумно покрутить с Юрой, а ведь это вот-вот, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую темную прорубь.

Это я знаю: любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне. А город сегодня

обстреливали из артиллерии, и на Глазовой разрушило три дома… Я узнала это уже вечером. Смерть близко, смерть за теми домами. Как мне иногда легко и весело от этого бывает…

8/IX — 9/IX-41

В ночь на 7/IX на Л-д упали первые бомбы, на Харьковской. В это время (23.25) мы были у меня — я, Яша, Юра М. и Коля. Потом мы пили шампанское, и Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел.

Сегодня, в 22.45, был налет на Л-д, я слышала, как свистели бомбы — это ужасно и отвратительно. Все 2 ч. тревоги у меня тряслись ноги и иногда проваливалось сердце, но внешне я была спокойной. Да и сознанием я ничего не боялась, а вот ноги тряслись — б-р-р…

После тревоги (бомбы свищут ужасно, как смерть!) я позвонила в [Дом] радио[78], Юра говорил со мной… лояльно.

Я хочу успеть. Дай мне еще одно торжество — истинное и превосходящее любую победу, дай мне увидеть его жаждущим, неистовым и счастливым. Это немногое, о чем я прошу тебя перед свистящей смертью.

Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе — я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят. И ведь еще одно, и мы — вся Жизнь.

Мне надо к завтрему написать хорошую передовичку. <…> Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков веры.

Сейчас мне просто трудно водить пером по бумаге. И все же вожу — есть мысли, завтра окончательно оформлю. Хуже всего, что с утра тюкает в голову — ужасно, как весной. Только бы не это, а то выйду из строя.

Начав работать, совершенно остыла к Юре.

Я знаю, что Юра — блажь, защита организма, рассредоточение, и только.

12/IX-41

(Они прилетели в 9.30, но у нас не грохало.)

Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унизительное ощущение — этот физический страх.

И все на моем лице отражается! Юра сегодня сказал: «Как вас свернуло за эти дни», — я отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, что они смотрят на меня с жалостью и состраданием. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не хочу потерять в глазах Юры. Выручает то, что пишу последнее время хорошие (по военному времени) стихи, и ему нравится.

Он и Яшка до того «проявляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, заявив, что не нуждаюсь в ней.

Но, боже мой, я же знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в меня.

Нет, нет — как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело — так, что каждый бы думал: «Это мне» — и умирал заранее. Умер — а она пролетела, но через минуту будет опять — и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание — воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо — убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню… О-о, боже мой!

Сегодня в 9.30, когда начала писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то очень далеко. Ложусь спать — а может быть, они будут через час? Через 10 мин.? Они не отвяжутся теперь от меня. И ведь это еще что, эти налеты! Видимо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегодня на Палевском[79] в дом как раз напротив нашего дома попал снаряд, много жертв.

Я чувствую, как что-то во мне умирает.

Когда совсем умрет — видимо, совсем перестану бояться. Нет, я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, артобстрел, бомбы где-то вблизи… Но ведь это же ненормально! Человек должен зарыться в землю, рыдать, как маленький, просить пощады. Правильнее бы всего — умертвить себя самой. Потому что кругом позор, «жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»…[80] Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось — «Мы готовы к войне».

О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!

Боже, опять надвигается ночь,
И этому не помочь.
Ничем нельзя отвратить темноту,
Прикрыть небесную высоту…

13/IX-41

О, как грустно, как пронзительно грустно.

Уже почти не страшно — это неплохо, но грустно — именно не тоска, а покорная, глубокая, щемящая грусть. Как о ком-то милом, но очень близком, с кем давно разлучился.

Десять часов, скоро будет тревога.

Сегодня весь день артиллерийский обстрел, и сейчас где-то грохает, но это похоже на нашу. А в половине седьмого, когда я сидела в райкоме, во Дворец пионеров попал арт-снаряд, и осколок влетел к нам в комнату, разбив стекло. (Я сказала, будто сидела под этим окном, но я сидела под соседним. Похвасталась, как дура, — смешное тщеславие.)

Снаряды ложились на площади Нахимсона[81], это за несколько домов от нас.

Вчера у меня ночевала Люся, так как на Палевском против нашего дома упал снаряд и стекла в нашем доме вылетели. В этом доме я родилась, жила до 20 лет, здесь был Борька[82], здесь родилась Ирка. Теперь по нему стреляют.

Ну как же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом смерть. Свищет и грохает…

А на этом фоне — жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Напр., сегодняшнее собрание. Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание — острое — уже налицо… Да ведь люди скоро с ног падать начнут!.. Конечно, осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена! Ведь немцы все идут и идут вперед, сегодня напечатали, что сдан Чернигов, говорят, что уже сдано Запорожье — это почти вся Украина.

У нас немцами занят Шлиссельбург, и вообще они где-то под Детским Селом…

О, неужели же мы гибнем?

Неужели я уже сдалась — иначе откуда же эта покорная грусть, — и подобно мне сдались также тысячи ленинградцев. Эта грусть, эта томительная усталость — она и у Коли, и, я по глазам вижу, — у Яшки, у многих…

Она еще оттого, что, собственно, ты лишен возможности защищать и защищаться. Ну, я работаю зверски, я пишу «духоподъемные» стихи и статьи — и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь. Подала докладную на управхоза, который не обеспечивает безопасность населения, но кем заменишь всех этих цырульниковых, соловьевых, прокофьевых и пр. — все эти кадры, «выращенные» за последние годы, когда так сладострастно уничтожались действительно нужные люди?

Ничтожность и никчемность личных усилий — вот что еще дополнительно деморализует… Нам сказали — «создайте в домах группы в помощь НКВД, чтоб вылавливать шептунов и паникеров». Еще «мероприятие»! Это вместо того, чтоб честно обратиться к народу вышестоящим людям и объяснить что к чему. Э-эх! Но все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота…

Вот что убивает!..

Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет — ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное.

Хорошо, хоть это мучительно трудно — буду.

Попробую обеспечить подвалом наших жильцов.

А самой мне во время бомбежки надо быть «на посту», в трухлявом беззащитном доме, надеясь только на личное счастье — авось не кокнет фугасом…

Артиллерия садит непрерывно, но теперь дальше от нас… Буду сейчас работать — стишок и начало очерка для Юры, затем для спецвещания.

17/IX-41

Сигнал В. Т.[83]

Теперь тревог на дню раз по 8–10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегаю вниз — совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры — о моих слушателях. Мой Васильев[84] погиб — господи, какой это ужас, когда узнаешь о гибели знакомого человека. (Тихо, не слышно даже зениток — странно.) Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.

Аж руки опускаются от немого удивления — да как же допустили до всего этого… (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)

Организм защищается безумно: просто не могу думать, что город будет взят, убьют Колю, Юрку, Яшку, что я не буду приходить в радио, радоваться Юре и малейшим знакам его внимания, сердиться, что он медлит (не потому ли, что в хороших отношениях с Колей, или просто не влюблен ничуть?), что не будет, вдруг не будет всей этой жизни. Настолько не верю в иное, что даже последние дни спокойна: «вздор, ничего не случится».

Но это самозащита организма, я знаю.

Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается. Мы еще счастливы, что их от Пулкова-то чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои — да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц…

Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз — это рядом, над головой немец) приближается к финалу.

Сегодня Коля закопает эти мои дневники[85]. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления — казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей лжи (зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте — несомненно, прямо над моей головою. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им») — годы страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике — все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, отчаянно пытались верить. (Ох, это немец… Да, по нему пальнули. Он опять над нашим домом, очень высоко, но над нашим… Тоненький свист… бомба? Нет… Бросило в жар… Нет, нет, не бомба… Это немец — почему его не преследуют? Или наш? Взрывов не слышно…)

Зачем я тороплюсь записать все это — все равно я ничего не успела. Т. т. — знайте, я ничего не успела, а могла бы — много!

А Юру хотят забрать «политбойцом» на фронт — ой, не хочу, не хочу, не хочу… И глупо это до бесконечности, как… все, что есть.

Я могла бы жить в Доме радио, работать и спать в хорошем бомбоубежище, но я не иду туда без Коли — стыдно и позорно бросать вернейшего товарища в трухлявом доме, а самой спасаться. А его туда нельзя из-за диких его припадков, он будет пугать и без того измотанных людей. (Самолет смолк.)

Мы будем у мамы. Мне совестно тоже, что я, политорганизатор дома, ухожу из него. Но, черт возьми, я же здесь абсолютно бесполезна, на 100 % бесполезна, моя санитарная сумка и прочее — это та же видимость, та же ложь, что была и есть повсеместно. И стыдно отказываться даже от этой

видимости — такова инерция подчинения уже отрицаемой системе. Но — очень стыдно. Не знаю, что и делать. Конечно, надо позаботиться о себе — хотя бы во имя того, что ведь знаю: смогу, смогу принести истинную пользу людям. А стыдно. (Опять низкий рокот самолета над самой головой — все-таки, наверное, это наш, по нему не бьют… А напротив моего окна прямо на крыше сидит мальчишка… Ну, и я буду сидеть и писать очерк, надо, чтоб был близок к настоящему. Эти мальчишки на крыше напротив нашего окна всегда меня успокаивали. В окно видела — низко сейчас пролетели бомбардировщики с нашими звездами… А сердце-то, подлое, как затряслось, пока не отличила звезд…)

Ну из обращения к потомству перед запечатыванием дневников ничего не вышло.

Да и черт тебя знает, потомство, какое ты будешь… И не Для тебя, не для тебя я напрягаю душу — у, как я иногда ненавижу тебя, — а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей — и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить… Как нежно заботятся обо мне Юрка и Яша, как дрожит за меня Николай, как боюсь я за них, как жажду их жизни, как люблю их, и Мусю, и отца, и маму, и Мишку[86], и умерших моих детей, и стихи, и людей — ведь люблю и хочу, чтоб они перестали мучиться хотя бы немного.

Воскреси меня хотя б за это!..
Не листай страницы!
Воскреси!..[87]

Тревога все еще длится, изредка что-то ухает — не то далекая бомба, не то зенитка. Теперь далекий гул самолетов. После войны надо уничтожить все самолеты, все, чтоб люди забыли о них! О, неужели те, кому суждено выжить, выдержат все это? Видимо, на днях в городе будет нечто ужасное.

Отбой.

22/IX-41. Три месяца войны

Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева… А население? А я? (Я решила записывать все очень безжалостно.)

Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!.. А может быть,

именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, черт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде шумиловы[88], везде махановы, кадры помета 37–38 годов, но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться.

О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни — настоящая и официальная.

Где-то глухо идет артиллерийская стрельба.

Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много жертв и разрушений в центре города, невдалеке от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («образно») даже мне не разрешили сказать в стихах. Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз — «на подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15.40 была самая сильная за это время бомбежка города. Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась — во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что в меня не попадет, а во-вторых, не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти — ее ожидание. А если неожиданно — то пожалуйста. Но я до сих пор не могу прийти в себя от удивления — почему именно бомба упала в дом 12, а не в дом 14, где была я? Значит, все-таки она может попасть и в меня? Значит, мне нигде, нигде нет спасения? Очень странно! Но я не могу ничего написать о своем состоянии, потому что оно с сильной примесью: четвертый день грипп, ломает и лихорадит, да еще очень сильно ударилась головой в бомбоубежище — так что трудно определить, что в самочувствии от войны, а что от вневременной настоящей жизни — болезни.

Наверно, если б не было этой головной боли, страшнейшего кашля и насморка, настроение было бы хорошее — насколько оно может быть хорошим в окруженном, осажденном, бомбардируемом и обстреливаемом городе.

Надо оторваться от земли, отрешиться от нее, понять, что

тебя преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему извлекая из нее драгоценности жизни. Но это противоречит одно другому — отрешиться и извлекать. (Девятый час, скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами… Я на Троицкой[89], пойду вниз, если б не лихорадило, я бы, наверное, не боялась и не тряслась — все равно уж.)

Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, у меня б было приличное состояние. Он странно держится со мною, я не могу понять — есть ли это полное равнодушие или наоборот. Дает массу заказов, я справляюсь с ними прилично (потом обычно портит цензура), разговаривает в шутливо-приказном тоне (сегодня что-то особо, даже с оттенком некоторой злобы — подлинной), очень внимателен — и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что может распоряжаться мною, что ему достаточно протянуть руку, чтоб я рассыпалась мелким бесом. Так, между прочим, и будет, но я хочу показать ему, что я от него не завишу, что мне, вообще говоря, наплевать на него в специфическом отношении… А зачем все это? Но я робею перед ним, сегодня пикировала очень неудачно. Я бываю такая страшненькая, жалкая. М[ежду] п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку — за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, — от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров — Ленинград еженощно в кольце пожаров.

Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это — самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало — оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не

в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому[90] и прочим.

А завтра детей закуют… О, как мало осталось
Ей дела на свете: еще с мужиком пошутить,
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На белую грудь равнодушной рукой положить…[91]

А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я — живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее — немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города — и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, — и вот рухнет все с Юрой… Тем более что его и Яшку все время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, — мне рассказывали об этом сегодня, это «Письмо Мусе». Да. Оно хорошее. Не хуже было и «Обращение» — да изуродовала цензура и милые мои редакторы. Как бы написать еще что-либо подобное «Машеньке — письма Мусе»? (Ого, артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас — это немцы. Интересно, откуда бьют? Может ли хлопнуть по дому? Но я их боюсь почему-то меньше… Черт возьми, ну совершенно рядом лопаются, наверное на Нахимсона.) Пойти вниз, Колька на дежурстве у подъезда, узнать — как и что, и, м. б., сходить в райком за материалом для Юры или самой придумать этого отрядника, ведь придумаю все равно лучше? (Сволочи, они и в темноте бьют, значит, даже не боятся обнаружить свои точки? Господи, да как часто пошли! Ежеминутно! Схожу вниз, узнаю.)

А завтра детей закуют…

Жить! Жить!

24/IX-41

Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич[92] — я ее очень давно знаю, она была славная,

приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела. Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать туда, сломя голову, как только завоет сирена… Надо спасаться, спасаться, спастись можно… О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль — о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю — так у всех. И верно А. О. говорила: ахнет бомба, и первая, подленькая мысль — не в меня!.. Оправдание лишь в том, что еще не в меня! А работники «Сов. писателя» — это уже мы. Это мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно введенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе — хотя я всегда терпеть не могла Семенова, впрочем, он жив (но поражен). Значит, меня все-таки убьют? (Вот опять гремит артиллерия.) Не помню, записывала ли, что при ужасном отступлении из Таллинна погибли Филипп Князев[93], Цехновицер[94], Лозин, Инге[95], Гейзель[96] — все наши. Непонятно.

Все, как зачарованные, говорят о бомбах, бомбах и бомбах. Ночью сегодня опять были бомбы — на Лиговке и углу Невского и Лиговки — рядом с Пренделями. Говорят, что вчера (вчера было 11 тревог) фашисты били с воздуха Кронштадт — значит, пытались уничтожить флот. (Интересно, эта артстрельба — по нам или наша?) Ой, какой у меня кашель, убийственный. Это-то еще к чему?

Я трушу, я боюсь, мучительно боюсь — это очевидно. Как и 99, если не 100 % живущих. Вернее, не смерти боюсь, а жить хочу так, как жила, в основном. Как это так: ворвутся немцы или засыплют нас бомбами — и вдруг Коля будет лежать с выбитым чудесным, прекрасным его глазом (мне почему-то гибель его рисуется именно так, что глаз у него будет при этом выбит), и Юра будет убит с залитым кровью лицом, и Яшка ляжет где-нибудь за камушком, маленький и покорный…

(А артиллерия-то не наша и бьет где-то поблизости.)

Я совершенно не боюсь; в наш дом не попадет, мы за домами, вот на Троицкой — другое дело, там под самой крышей, дом жилой, если туда упадет даже не очень большой фугас — вся середка его рухнет «по винтику, по кирпичику». О, зачем мы сбежали оттуда! Ведь живут же там люди, а я еще политорганизатор дома. Но ведь это липа, липа, это райкомы придумали от беспомощности своей, да и некогда мне заниматься этой липой. Какие тут политорганизаторы помогут, когда государство бессильно?! Конечно, надо брать судьбу в свои руки — а руки связаны мертвой системой управдомов, РЖУ, штабов, райкомов и т. д. Бюрократическая железная система сковывает

все…

Нет, все же попробую хоть что-нибудь сегодня сделать для дома — подать еще раз всякие докладные и т. д.

Кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда… о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем… Мне не дали даже никакого материала, что я буду писать? Их на декламации не надуешь. Я хотела бы написать от сердца, от себя, — даже пусть подписное бы шло. (Тревога, идти в убежище или нет? Подожду, пока не будут палить… О-о!..) Хотелось бы объясниться с нею, сказать: «Ну, что ж ты, спаси нас, помоги нам, мы почти на краю гибели»… Но ушла в убежище.

Ночью, 3 часа.

Вот когда умирала Ирочка, я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном.

День прошел сегодня бесплодно, но так как времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящих друг на друга, — матрасишко, на краю — закутанная в платки, с ввалившимися глазами — Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии — неповторимый, большой сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова…

А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.

Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную…» О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы — «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств — сами, сами будем жить»… А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом сбили и нашли ее там, — м. б., конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с

собой — это самое честное. Я уже столько налгала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать «братайтесь» — невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?

Все эти учения — бред, они несут только кровь, кровь и кровь.

О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, — уж теперь-то я это вижу… Кончится одно — начнется другое. И все будет кровь.

Надо выжить и написать обо всем этом книгу… (Только что припадок у Кольки — зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стенкой, дрался страшно.)

Зачем мы с ним живем, Господи, зачем мы живем, разве мы мало еще настрадались, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?

Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллинна, на их пароходишко было 38 воздушных налетов с бомбежкой) — он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю»…

Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадки у Кольки), в том же нашем плане, — еще туда-сюда… А мне не дадут даже прочесть письмо маме так, как оно есть, — уж я знаю.

Нет, нет… Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, — ложь)… Надо пойти в госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах — вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях…

Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.

Я дура — просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра — тревоги, страхи, боль…

28/IX-41

Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала

совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться — не слышно было, как они свистели, — предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.

Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и — конечно, над нами — вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»…

14/XI-41

Записываю что-то такое кое-как, на разных листках. Хотя и очень поздно, и ночь спокойная, — хочу урвать у себя время — чуть побыть одной с бумагой, пером и черным кофе. Нерационально, — все время поступаю нерационально: не экономлю кофе, — а голод сверхреален, — что буду делать потом? Не сплю, когда бомбят, — а предыдущие ночи все время выло — и спать было трудно… Ну а иначе — совсем не жизнь…

Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал мне — «любовь моя», — и у меня все рвалось внутри.

Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его как жизнь, — и хотя эти слова истерты, в данном случае только они точны. Пока он есть — есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет — кончится жизнь.

14/I-42

О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь?

Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно…

Оно страшнее той дикой ледяной ночи, которую я провела с тобой 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобой — я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью, — быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твое лицо — нет, я не могу, это гибель и мне, и тебе.

Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.

Да еще эта проклятая бюрократическая машина, из-за которой тебя до сих пор не могут отправить туда, где бы тебе могли оказать реальную помощь.

Завтра буду звонить Никитскому, буду звонить в Смольный, звонила Хамармеру[97], — но Охта не работает уже второй день… Ленинград, блокада, развалившаяся жизнь города душат нас с

тобой своими чудовищными обломками.

Радость моя, и жизнь, и гордость, если ты погибнешь, я хочу погибнуть с тобою.

Вот я оставила тебя на попечение добрых людей, сама сижу на радио и что-то пишу, пытаюсь вынырнуть из бездны ужаса и смерти, куда меня и тебя тянет.

Или мне надо сидеть над нею, над твоим безумным, страшным лицом?

Но мы оба должны выжить. Я только истерзаюсь рядом с тобою, только потеряю последние силы, нужные для тебя, — и всё. И всё, что будет в результате.

Даже если это твои последние часы на земле…

НЕТ!

Не может этого быть! Инстинкт подсказывает мне правильно, — мне нужно сберечься, выжить, потому что нужно вытащить тебя, а если ты погибнешь, я жить перестану. Даже не умерев, — перестану существовать. Боюсь, что не хватит сил покончить с собою. Ну, умру так…

О, боже мой… О, что же делать, что делать, как поскорее помочь тебе?

Держись! Ничего, я вытащу тебя… Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов — и бешено работать, чтоб иметь деньги, мы устроимся у Линки[98], и, господи, — ведь скоро конец блокады!

Скоро мы вздохнем с пищей… Но все равно — мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине… Держись! Держись еще немного, мой единственный, мое счастье, изумительный, лучший в мире человек!

Держись!..Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя.

А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь…[99]

Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу. Да, мы должны выжить, и я буду писать — работать, потому что иначе — смерть.

7/II-42

…А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта — и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М. б., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?

Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман — а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в

одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке — спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».

Кругом говорят о смертях и покойниках.

Неужели мы выживем — вот я, Юра, Яша, папа?

……

Пол-одиннадцатого — папы нет. О, Господи…

Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти — я приготовила ему 2 плитки столярного клея, кулек месятки[100], бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?

Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами…

8/II-42

Папу держали вчера в НКВД до 12 ч, а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в ДР была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело — ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей.

Я ходила к отцу несколько дней назад, как он трогательно и хлопотливо ухаживал за мною, как горевал о Коле. И никогда не забуду я его лица при свете свечки, ставшего вдруг каким-то необычайно милым, детским, когда он сказал мне:

— А у меня, понимаешь ли, какая-то такая жажда жизни появилась, — сам удивляюсь. Вот я уже думаю, как мой садик распланировать, — весной. Деревянный-то забор мы уже сожгли, но я тут моток колючей проволоки присмотрел — обнесу садик колючей проволокой… Понимаешь, мне семена охота покупать, — цветы сажать, розы. Покупать вообще хочется. Я вот пуговиц накупил зачем-то, пряжек, обои хочу купить, комнату оклеить. Страшная какая-то жажда жизни появилась, черт ее возьми…

В его маленькой амбулатории — тепло, чисто, даже светло — есть фонари и свечи. Он организовал лазарет для дистрофиков, — изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет — уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.

Естественно — мужественно, без подчеркивания своего

героизма человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно — несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собрались высылать, жил общей жизнью с народом — сам народ и костяк жизни города, — и вот!

Что-то все-таки откопали и допекают человека.

Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии.

Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов, — «и мы пахали!» О, мразь, мразь!

Практически лучше, чтоб отец уехал из этого морга (говорят, что умерло уже около полутора миллионов ленинградцев). Если обида — только обида, черт с нею, — пусть едет. Доберется до мамы, там устроится, только бы вынес дорогу…

С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере, а сейчас, из-за отца, вновь все кажется ложью и фальшью.

К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?

Ни к чему! Ни к чему.

Друг мой, ты честен: покинь этот край!

25/II-42

…Утром, когда уходили, на район был дикий артналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагазине птицы. Нас не убило, хотя ложились везде, близко. Мне было страшно, я хотела жить и, очень стыдясь своей трусости, уговорила его обождать налет в подъезде…

А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.

Она приехала к нам на грузовике, с продовольственными посылками для Союза писателей, мне тоже — большая посылка, и она кое-что привезла.

Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобожденных от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.

Горжусь ею и изумляюсь ей — вздорной моей, сварливой

Муське — до немоты, до слез, до зависти.

Хочет как можно быстрее выволочь меня отсюда — и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила, и такой жалкой себе кажусь!

Она привезла много отличных вещей — 3 кило шоколаду, 4 банки сгущенного молока и т. д.

Кое-что возьмем обратно в Москву — там тоже плохо, — порядочно отдаем папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой[101].

А в свой отъезд — тем более на самолете — все больше не верится. Ну, могу и на машине — с Муськой, что было бы лучше всего, но рискованно — могу вытрясти ребенка…

Надо собрать Марусе подарок. Хорошо было бы дать ей банку молока — да жалко все же…

Мы идем над Дорогою жизни.
Неумолчно гудит самолет.
Как тиха и печальна отчизна —
Только ели, сугробы да лед.
А равнины пусты и безлюдны,
Точно нет ни войны, тишина.
О, как бьется жестоко и трудно
В этом диком молчанье страна.
Неумолчное слышу страданье
Ненаглядной России моей.
Не поют молодые пилоты,
Пролетая над тихой страной.
За туманным стеклом самолета
Только снежное поле одно[102].

1/III-42. Москва

Вот я и в Москве, на Сивцевом Вражке[103].

О, поскорее обратно в Ленинград.

Моего Коли все равно нигде нет.

Его нет. Он умер. Его никак, никак не вернуть. И жизни все равно нет.

Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, — неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов[104]. Я была у него сегодня, он все же чудесный.

Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио — «Февральский дневник», ни издать книжки стихов так, как я

хочу… Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «героев» фильма «Светлый путь»…

Я попытаюсь издать книгу (не ради себя), и выступить, и читать свои стихи, где можно, но это все на 50 % напрасно, они все равно ничего не понимают, а главное — ни на миг это не исправит ничего!

О, Коля… О, как же это случилось… Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождавшись его… Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым…

Господи, хоть бы скорее приехала Муся.

Жива ли она? Жив ли Юрка? Господи, Господи… Нет, нельзя жить…

9/III-42. Москва

Аще забуду тебе, Иерусалиме…

Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны. Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради. Как все, что было до войны, — эта тетрадь со всеми ее записями мучительно ранит меня. Впрочем — пусть ранит, пусть. Я не заслужила ничего лучшего, кроме ран и муки. То, что люди любят меня, заботятся обо мне, — их глубокое заблуждение. Да и мне и не надо ничего этого.

За это время, ничтожные записи о котором уместятся между двумя страницами, — …хотела перечислить, что было за это время, но просто перечислять — немыслимо, и даже для простого перечисления нужны тома.

Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так и вышло: война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь. Я страдаю отчаянно.

11/III-42

Я совершенно не понимаю, что не дает мне сил покончить с собою. Видимо — простейший страх смерти. Этого-то страха мы с Колей и боялись, когда думали о смерти друг друга и о необходимости, о потребности умереть после смерти одного из нас. Но он бы все-таки не струсил, а я медлю; люминала, который остался после него, наверное, хватило бы на то, чтоб отравиться.

Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него.

Меня корчит мысль о том, как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил — я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, — только пусть бы жил, пусть бы жил…

Нет! Нельзя, недостойно, бессмысленно жить!

12/III-42

Живу в гостинице «Москва». Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.

В Ленинград! Только в Ленинград… Тем более что вовсе не беременна — опухла просто.

В Ленинград — навстречу гибели… О, скорее в Ленинград! Уже хлопочу об отъезде…

14/III-42

И все-таки живу.

Сегодня — новая издевка жизни, я бы сказала, какая-то даже непристойная: оказывается, я не беременна. Был врач, обследовал и заверил, что никакой беременности нет. А я растолстела немыслимо, и живот, живот — на добрые 6 месяцев с виду…

Господи, столько шумела, Шолохову[105] хвасталась, он очень доволен этим был, в кумовья просился, я всем об этом раззвонила и ходила, не убирая живот, — и вот, будьте любезны — блеф.

М. б., это уже просто климактерия — бесполость, бесплодие? И вот жирею на этой почве… А на морде появились какие-то пятна, но главное — этот отвратительный (если не беременность) — живот и раздутая талия вместо моей осиной, гибкой. Завтра пойду к профессору, проверю еще раз.

Просто не знаю, как писать об этом Юрке… Значит, Коля умер, не оставив мне ребенка. Я так всегда боялась этого. О, как мы горько жили, как несчастно жили, как бесплодно погибаем — без нашего ребенка. Он все равно был бы нашим ребенком.

В Ленинград.

В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней, хоть я и боюсь ее.

Сегодня шла по Москве — пурга, ветер, а в мутном небе гул самолетов, — и так страшно стало: вот сейчас будут бомбить. Гадость, что боюсь этого.

20/III-42

Из Ленинграда прилетели Томашевские и Азадовские[106]. М. б., Ирина придет ко мне. Она говорила что-то, что Ленинград сейчас в кризисном положении, — видимо, немцы делают еще попытку взять Ленинград. А я на кой-то хрен болтаюсь здесь.

Совершенно ясно, что книжку стихов в таком виде, как она у меня есть, не примут и не издадут. Здесь не говорят правды о Ленинграде, не говорят о голоде, а без этого нет никакой «героики» Ленинграда. (Я ставлю слово «героика» в кавычки только потому, что считаю, что героизма вообще на свете не существует.) Писать такие рассказы, как Тихонов, я могу, конечно, — и даже они немаловажная вещь в заговоре молчания вокруг Ленинграда, но это все не то, не то…

Единственное, что удалось мне сделать для наших ребят, —

это выклянчить в Наркомпищепроме 7 ящиков апельсинов и лимонов, 100 банок сгущенного молока, 10 кило кофе. Это все же! Сегодня моталась — собирала по разным складам лекарства, — собрала. Вот завтра еще все это отправить самолетом в Ленинград, — и все-таки хоть кое-что можно считать с моей стороны для Ленинграда сделанным.

А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время… Придет ли оно вообще? Будем надеяться.

Известие об опасности Ленинграду как-то наполнило меня жизнью — вообще, сквозь все, в мелочах и заботах, живу одним — всепоглощающей, черной, безысходной скорбью о Николае, видением его, тоскою о нем — женской и человеческой.

Но вот теперь немцы грозят измученному городу новым ужасом. Я не хочу, чтоб они гадили на братскую могилу, где вместе с другими, скрюченный и страшный, лежит мой прекрасный, мой единственный человек. Я не хочу, чтоб они убили Юрку — живого, любящего меня, такого человечного и красивого. Я не хочу, чтоб они уродовали Яшку.

Я хочу быть вместе с ними. Хочу быть с Юркой. Я не грешу этим перед Колей, — мертвого я люблю его, как живого, и плотью и душой — больше всех. Я не грешу перед ним тем более, что, м. б., меня ожидает участь еще более страшная и печальная, чем его. М. б., он уже счастливей меня.

Господи, хоть бы пришла Ирина, чтоб узнать от нее, что с городом!

Да, скорее туда, обеспечив тут, елико возможно, милую мою Мусю.

23/III-42

Сейчас ездила на аэродром сдавать груз для Радиокомитета. Чудесное розово-голубое утро, пахнет весной. А Коли нет. Мне до галлюцинаций ясно представляется, ощущается:

Троицкая улица, наша квартира — утром, вот таким же, когда солнце и разлитые в воздухе голубые и розовые краски. Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, — а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти.

Господи, что делать. Я не могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем — физически… Боже мой, что же делать, — не могу, не могу так жить, никакого смысла нет.

Ирина рассказывала о Ленинграде, там все то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, немцы на горле. Теперь

запрещено слово «дистрофия», — смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут. Умер в пути Миша Гутнер[107]; я услышала и тотчас подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все время так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила письмо Молчановым — страшно.

Третьего дня после рассказов Ирины ходила в смертной тоске, с одним желанием — «в Ленинград; в Ленинград — и там погибнуть». Очень хочу туда, хотя страшно туда ехать. Наверное, умерла Маруся, умерли Пренделюшки — или вывезены. Жив ли отец? Цело ли бедное наше гнездо на Троицкой, наши книги, Колины рукописи? Может быть, они уже разнесены снарядом? 20-го Юрка был еще жив и здоров — а теперь? Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть, как труп. Начнется весна — боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков[108].

В то же время Жданов[109] присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехорошие политические последствия». На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не смогли достать для Р. К.

У меня страшная, инстинктивная тревога за город. Его сейчас взять проще простого: кто же будет драться? Армия, стоящая в кольце, истощена. Население вымирает. (По официальным данным, умерло около 2 миллионов!) Город ждет страшная судьба.

Вообще, такое чувство, что мы опять завязли: весна на носу, а у нас нет решающих побед. Гитлер же, видимо, не терял времени. Ужасной будет эта весна!

Господи, хоть бы со мной что-нибудь поскорее случилось…

25/III-42

Сегодня была на приеме у Поликарпова[110] — председателя В. Р. К. Остался очень неприятный осадок. Я нехорошо с ним говорила, я робко говорила, а — наверное, надо было говорить нагло. Я просила отправить посылку с продовольствием на наш Радиокомитет. Холеный чиновник, явно тяготясь моим присутствием, говорил вонючие прописные истины, что «ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это Жданов — «ленинградцы»!), что «государство знает, кому помогать», т. п.

муру. О, Иудушки Головлевы! Проект нашей книги «Говорит Ленинград» не увлек его. Что касается вывоза ребят сюда, — оказывается, он предлагал это Ходоренко, но тот заявил, что «ленинградское руководство будет против этого категорически возражать», и отказался от этого предложения. Ходоренко же заверил Поликарпова, что «все отправил и достал», — а это капля в море, то, что *Я* выклянчила. Говнюк-то чертов!

В немыслимой тоске по Коле я не ощущаю живого чувства к Юре, но, когда подумаю, что этот ладный, милый, с ясными добрыми глазами и крылатыми бровями парень лежит с пробитым осколком черепом — хочется визжать, выть по-собачьи от тоски.

Война надолго, надолго! Еще брега не видно этой печали, этой горечи.

Очень трудно выжить, выкарабкаться из этой каши.

27/III-42

Вчера из Вологды получили телеграмму от отца: «Направление Красноярск, просите назначить Чистополь. Больной отец». Я, наверное, последний раз видела его в Ленинграде в радиокомитете. Его уже нет в Ленинграде. Он погибнет, наверное, в дороге, наш «Федька», на которого мы так раздражались, которого мы так любили. А — о!..

В Ленинград! Скорее в Ленинград, ближе к смерти. Она все равно опустошает все вокруг меня. Все уходят, все падают. Что с Юрой-то? Почему от него нет ни слова. Двадцатого он был еще жив. А сегодня? Сейчас?

28/III-42

Только что была ВТ. В Москве во время ВТ работает радио, поют, говорят и играют. Вначале меня рассмешило, как дикость, когда сразу после воя сирены дали разухабистую русскую песню, а потом даже понравилось, — что ж, пускай поют, не слышно бомб…

29/III-42

Опять воздушная тревога. В комнате громко говорит радио, и рокота зениток почти не слышно. Не уходили из номера, и это зря — надо было бы поберечь Муську. Я не то что совсем не боюсь, а как-то не могу решить — идти в убежище или нет.

Сегодня была на 7 симфонии Шостаковича[111]. О, какая мука, что нельзя рассказать об этом Коле, какая обида и несправедливость, что он не услышит ее. Как он любил музыку, как благоговейно он относился к ней.

Я внутренне все время рыдала, слушая первую часть, и так изнемогла от немыслимого напряжения, слушая ее, что середина как-то пропала. Слыхали ли ее в Ленинграде, наши! Мне хочется написать им об этом. Может быть, это можно будет передать по радио. Я завтра зайду к Шостаковичу, подарю ему свою поэмку, попрошу его написать несколько строк для ленинградцев и, если удастся написать о концерте, отправлю в Ленинград с оказией.

1/IV-42

Позавчера — огромные письма от Юрки, — пламенные и нежные до безбоязненности.

Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви «давно, безраздельной»; узнав, что ребенка нет, зовет в Ленинград. Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомненье, — а вот Колина любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, я гордилась собой за то, что он меня любит. Я все еще ощущаю, и особенно после Колиной смерти, Юрку как чужого и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет, — здесь я ничего не делаю и не хочу делать, — ложь удушающая все же! — здесь я томлюсь, и жизни во мне — только любовь к Муське. Но я уже вся — в Ленинграде. И когда я вернусь в Ленинград, я, наверное, буду любить Юрку настолько, насколько могу чувствовать сейчас вообще.

Я — баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик.

Иногда я думаю, — а, смерть на носу, солнце мое, *<неразб.>*, Колька, — я отдам Юрке остатки сердца, — куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет… Да, так и надо, надо отпустить сердце.

Но он стоит передо мною таким, как я видела его последний раз: со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрепил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны… Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда, — не предала, а оказалась слабой и малодушной.

Как зовет меня к себе Юрка! Но ведь это — изменить Коле!

Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ему, — никогда. Отдать сердце Юрке — изменить ему…

Надо написать для радио о Хамармере, обещала им же об отце, но об отце писать не буду. Если не написать о нем всего, и о себе тоже — значит, соврать, а врать о Ленинграде я не хочу. Юрка правильно чувствует, что работать я могу только в Ленинграде; я написала им о концерте Шостаковича, по-моему, хорошо вышло. Жаль, если он не напишет ничего для Ленинграда, если ему не понравится «Февр. дневник», который я дала ему прочитать. У меня приняли книжку, приняли в «Кр. новь» «Февр. дневник», он вообще пользуется здесь огромным успехом вплоть до Ц. К. У меня сейчас хорошее имя. Зачем портить его ложью?

О Хамармере напишу во весь голос и не дам портить. Видимо, на этом мои отношения с радио кончатся. Ну, попробую написать о нем, потом выпьем с Мусей и буду писать стихи.

Скорей бы в Ленинград! Только как вот Муська моя! Как страшно с нею разлучаться! Э-хх, жизнь!

2/IV-42

Дни бегут неудержимо. Я, так сказать, не сделала в Москве ничего существенного. Полагаю, что этим не стоит удручаться, — все это было нужно только ради суеты. Правда, надо еще сделать попытку напечататься в «Правде». Но кое-что печатать не хочется, «Февр. дневник» не напечатают, а новое — не пишется. Вот даже Хамармера никак написать не мету, а о Ленинграде — и подавно невозможно. После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносимой.

Я, вообще, могу сейчас писать только о себе и только в связи с его смертью, даже не упоминая его. Эгоцентризм горя, видимо. Да, я очень мало «преуспела» в Москве. Ничего! Не в этом дело. Зато я не «затруднялась», как говорил Колька. Да. Нет смысла затрудняться, — и так паршиво жить, зачем создавать себе дополнительные тяготы в виде тщеславия и т. д.

3/IV-42

До удивления обкидало какой-то пакостью все лицо и даже грудь, — никогда ничего подобного не было. Наверное, перехватила витаминов — и вот, диатез… А впрочем, — неважно.

Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой[112] от 28/III. Он пишет: «родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия[113] и т. д.), но *освободите* меня отсюда». Он едет с 17/III, их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне

уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет: «силы гаснут, страдаю животом…» Он заканчивает письмо — «простите меня за все худое…».

Боже мой! За что же мы бьемся, за что погиб Коля, за что я хожу с пылающей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного военного врача, настоящего русского патриота вот так ни за что оскорбили, скомкали, обрекли на гибель, и с этим ничего нельзя было поделать? А ведь «освободить» отца почти невозможно. Кто же будет заниматься спасением какого-то доктора? «Спасати народ»! К кому кинуться? Писать челобитные — я же знаю по опыту, что это просто волокита. Попробую поговорить завтра с Фадеевым[114], но разве этот вельможа сделает хоть что-либо реальное? Вот центр, клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. М. б., там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться до Берия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю, но буду пробовать. Если отец выживет, он доберется до Красноярска, куда его направляют, — а м. б., он уже погиб? Где искать его? Кто этим сейчас будет заниматься? О, подлость, подлость.

Хотела писать для радио о Хамармере и стихи о себе для «Правды» — и после письма отца ничего не могу, — отрава заливает, со дна души поднялись все пузыри, все обиды. Черт знает что, преследуют и преследуют с самой юности — и меня, и друзей, и близких, да за что же, доколе же… Может быть, Коленька мой и впрямь счастливей меня?!

7/IV-42

В ночь на 4/IV на Ленинград было сброшено 200 бомб, гл. обр. на Васильевский остров, на корабли. На В. О. разрушено 40 домов. Юрка, Юрка! На город шло 130 самолетов, прорвалось 50. Налет длился час. О, Юрка! Миновал ли его этот час смерти? Где он был в это время, в городе?

Неужели я и тут опоздала? Какие неласковые письма писала я ему отсюда, — я даже ни разу не написала «люблю», — а он жаждет, чтобы я говорила ему это. Коля держал меня, я не могла написать этого, хотя писала ему, что он дорог мне, что я хочу быть с ним…

А город-то, бедный город, люди его: истерзанные голодом, обессилевшие — и еще это!

9/IV-42

Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем — «люблю». Сама не помню, что писала. Ну, и

хорошо, что написала, — он пишет, что счастлив, и, м. б., верно — счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен. Я несчастлива в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня все время приступами — видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен, — еще в первый день, в день безумия, он был красив, и тут — вдруг не он, хуже, чем во сне.

Мне нельзя жить. Это все равно не жизнь. Я оправдываю свое существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели. Я, наверное, недолго просуществую, — все как-то, помимо меня, логически идет к этому, сокращается и сокращается жизнь, сжимается, как шагреневая кожа, — и вот человеку остается только одно — умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается, — это ужас, этот человек несчастен.

В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становлюсь равнодушной к людям или воспринимаю их только через себя — вот как сегодня такого же несчастного, как я, Юльку Эшмана[115]. Он потерял жену, отца, — теперь, видимо, мать и брата.

— Как ты живешь, — спросила я его.

— А я не живу, — ответил он. — Если живу, то только дочкой.

Мы сидели с ним в троллейбусе, плечом к плечу, и говорили — он о жене, я о Кольке. Оба чувствовали себя глубоко виноватыми перед ними, и я на мгновение ощутила всем существом, что у нас совершенно одно горе.

— Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны, — спросила я его.

— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет…

Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!) хххххххххх[116] после телеграммы Жданова о запрещении делать индив. посылки в Ленинград, после разговора с Поликарповым — и т. д. и т. д. «ОНИ» делают с нами что хотят.

Мы были слугами весел, но владыками морей…[117]

Мы, владыки морей, — слуги весел!

Была сегодня у секретаря парторганизации НКВД, — мордастый такой «деятель тыла». «Беседовали…» (не моту без судороги ненависти говорить о них!). Взял мое заявление, обещал сегодня ночью доложить наркому. Неужели что-нибудь сделают? Что-то плохо верится.

Ох, скорее бы в Ленинград, скорее бы!

Васька Ардаматский[118] говорил, будто Жильцов (пол. ПВО Л-да) говорил, что бомбы упали гл. обр. на Парголово и центр не пострадал, — значит, Юрка жив? Он все же хороший, и его любовь греет меня.

11/IV-42

Самое скверное, что, может быть, не улечу в Ленинград еще очень долго, — это может быть и 10, и 15 дней.

Надо было, плюнув на все и на всех, рваться в Ленинград в самом начале апреля, вот тогда, когда отправляла груз.

Сейчас — говорят в Аэрофлоте — развезло аэродромы, и недели полторы может не быть самолетов.

А мне кажется, что это врут, что это просто сговорились люди, опекающие меня, от Муськи до самодура Ставского[119], которые считают, что я «делаю глупость», стремясь в Ленинград, считают себя вправе заботиться обо мне, навязывать мне свою опеку и тягостную заботу о моем здоровье.

О, как я одинока без Коли, — он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня, не давил на меня, не отягощал меня своею любовью и заботой.

Я очень, очень люблю Муську, и мне страшно оставлять ее, маленькую, одну, но у меня же есть — пусть ошметки какие-то СВОЕЙ жизни.

Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня.

Мне день ото дня невыносимей в Москве. Да и стыдно, — агитировать за ленинградский героизм в то время, когда там Юрка и Яшка работают по 18–20 часов в сутки, а я тут разоряюсь насчет Ленинграда, да мне еще всё корнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостаковиче.

Была на заводе № 34, в трех цехах читала и говорила о Ленинграде, — рабочие очень хорошо слушали, этот день доставил какую-то хорошую отраду. Они написали письмо в Ленинград.

Сегодня был вечер в клубе НКВД. Читала «Февральский дневник» — очень хлопали, так что пришлось еще прочитать «Письмо на Каму», — тоже хорошо приняли. Что ж, среди них

тоже, наверное, есть люди, — а в общем, какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся, — просто противно. Но к этому надо относиться спокойнее. Секретарь парткома сказал на мой звонок об отце, что передал мои заявления секретарю наркома и что они «решили действовать через Кубаткина[120], т. е. через Ленинград». Ну, это для того, чтоб отделаться, — и только. А от отца с 3/IV нет известий — жив ли? Просто не знаю, как доживу эти дни в Москве, — такое чувство, что просто никогда уже не увижу Л-да, Юрки, — что-нибудь опять стрясется. Скорее бы шло время.

Попробовать, что ли, писать свои стихи? Из стихов для Ц. О. [121] о себе что-то ничего не выходит…

12/IV-42

Тоска. Машин на завтра на Ленинград — нет.

Делать мне уже абсолютно здесь нечего. День сегодня был необычайно длинен, — большею частью лежала на кровати, томилась жизнью.

Господи, о господи, будет ли мне выход? Я видела сегодня во сне смерть Ирки и Коли. Я думаю, что вот так хочу в Ленинград, а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой, — некуда, некуда деться. Там Юрка, — но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он еще был жив, — другое дело! А тут — еще раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нем грустила и думала с нежностью. И, может быть, еще буду жалеть о сегодняшнем своем бесцельном времяпровождении, — об этой теплой комнате, о совместных вечерах с Муськой, полных тоски и томления.

Нет, не найти мне места на земле! Но наиболее из этих мест утоляющее на сегодня — это все же Ленинград. И я хочу туда. И знаю — хотя бы первые дни с Юркой будут радостны. Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда: там ежеминутно человек живет всей жизнью, там человеческие чувства достигают предельного напряжения, все обострено и обнажено и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели.

Конечно, преждевременно одряхлевшая наша система в ее бюрократическом выражении дает себя знать и там, — чего стоят эти Шумиловы и Лесючевские[122], и все же это не то, что в Москве.

Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг. И за что награждают! Рядом с

титанической Седьмой симфонией — раболепствующая посредственность и льстивая бездарность, и ее — больше всего. И за нее — возвеличивают, платят. Брр…

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу![123]

Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то народ будет очень раздражен, — и не без справедливости. Нет, в таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот «непросвещенный абсолютизм» задавит его окончательно. Эти премии — не стимул, а путь к гибели иск-ва.

Как хорошо, что я — не орденоносец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать; или, вернее, лгать лишь в той мере, в какой мне навязывают это редактора и цензура, а я и на эту ложь, собственно говоря, не иду.

Лауреаты сегодня пируют, меня никто не позвал, — ну, и не надо. Зато рабочие завода № 34 принесли мне письмо для ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из быв. оккупированных районов. Почитаю им «Рассказ об одной звезде», поговорю. Не надо мне правительственного почета, хотя разумнее было бы напечататься в Ц. О. — также отдать в Ц. К. Еголину[124] прочитать поэму. Это «возвысит» меня как-то перед г. г. Шумиловыми и, м. б., даст возможность говорить больше, чем до сих пор.

Пожалуй, это все же надо сделать. Хотя больше всего мне хотелось бы напечатать в «Правде» то, что было бы нужно людям…

Я думаю уже о том, что я буду писать в Л-де. Напишу им, как думают и говорят о л-цах «за кольцом», — доваторцы, в госпитале, в цехах завода, м. б., в детдоме.

Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом, хотя бы все это было — в конечном итоге — бесполезно.

Я выгляжу хорошо. Сошли все отеки с лица, почти нет морщин, кожа — немыслимо шелковая, как никогда; широкие, белые плечи, приятная, круглая и упругая грудь… Колюшка так и не дождался, чтоб я располнела, — дурачась, он говорил мне: «Берггольц, я хочу, чтоб у тебя были большие груди!» О, как он

любил меня, — все мое тело, все мое женское естество, — он ведь всерьез считал меня «самой красивой женщиной в Ленинграде».

(По радио поют «И кто его знает», — эту песню я слышала впервые в «слезе», у Маргошки[125], когда был жив Коля… О, какими счастливыми мы были тогда! Нет, нет мне жизни!)

<…>

О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал — «скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным…

Так пусть же со мной будет все дурное, что может быть!

13/IV-42

Сегодня утром — телеграмма от Юрки, от 11 /IV. Тот смертный час, что гремел над Ленинградом 4/IV, миновал его на этот раз. Слухи о 4 апреля все более страшные — говорят уже о 600 бомбах, о 4 разрушенных кварталах на Васильевском острове.

С отлетом все еще неопределенно, хотя Петрова сказала, что завтра, м. б., она что-либо определенное скажет. Звонила Тонька Гаранина, говорила что-то Муське, чтоб я «сейчас ни под каким видом не ездила в Л-д», вообще все смотрят на меня как на дуру или на героя — за возвращение в Л-д, — чудачье!

> Тьмы низких истин нам дороже
> Нас возвышающий обман[126].

От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, — погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского[127] в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать всего» о собственном отце, — они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтоб стереть с лица советской земли их мерзкий, антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова, — во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство.

Ну, а если всего этого не будет… посмотрим!

Юрочка пишет: «Писем нет, беспокоюсь, жду, целую, сообщи, когда прилетите». Скучает, наверное. Я отправила ему ласковую

телеграмму, где написала: «Юринька, родной» (самое желанное ему слово), написала, что тоскую, что скоро прилечу. Это, наверное, обрадует его. Боже мой, ничего нельзя жалеть для человека, ходящего под ежеминутной смертью.

Я не сберегла ни Колю, ни папу (надо, надо было идти к Кубаткину и орать!), пусть хоть ему достанутся остатки моего тепла, ему и маленькой моей Муське.

Как мне хочется беречь и лелеять ее, как бы это устроить. Но в Л-д пока боюсь ее брать, пока сама не погляжу, как там теперь. Я думаю, что если б было очень плохо, то Юрка не звал бы меня туда…

16/IV-42

Я все еще в Москве. Говорят, что раскисшие аэродромы могут продержаться в таком состоянии дней 10–12 еще! Неужели я не попаду в Ленинград?!

Вечер, или, вернее, ночь на 17/IV.

Коля все равно уже не прочтет этой тетради, как бы я ее ни прятала. Я могу положить ее на самое видное место, и он все равно не прочтет ее. Я могу писать что хочу. Я могу жить как хочу. Его нет.

Был днем некто Фефа. Он бывал на Троицкой, когда был жив Коля. (О, что я говорю: «когда *был* ЖИВ Коля». Измена! Значит, я признаю его мертвым? Нет, милый псо, нет, — не бойся, не бойся, солнышко, я не признаю тебя мертвым, — я не дам тебе умереть.)

Я, видимо, пьяная, хотя вино после *голода* ни разу еще не приносило желанного самозабвения.

Коля! Коленька! Псоич, солнце. Сердце мое… Ты слышишь, — нет? Ты слышишь, я тебя окликаю. Сколько раз, когда я просыпалась около тебя, мне вдруг казалось, что ты — мертвый, и я звала тебя: «Псо!!» И ты открывал возлюбленные, милейшие, святые свои глаза и глядел на меня с неизменной любовью.

Песинька. Родненький. Милый мой. Это неправда, что тебя нет. Ты там. Ты на Троицкой. Если ты не постучишь, не ляжешь рядом со мной, — значит, меня нет.

Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мученье мое. Жизнь моя — вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя.

И главное — не рассказать. А я все думаю: увижу его, лягу рядом с ним, вздохну и скажу: «Ох, если б ты знал, до чего я МУЧАЛАСЬ по тебе!» И он обнимет меня и прошепчет: «Псоич мой!..» То есть, как это? Так вот и не рассказать… Псоич мой. Нет. НЕТ.

26/IV-42. Ленинград

За окном гудят патрульные самолеты. Иногда артстрельба. Начала эту страничку 26, а сегодня 28, но все то же. Видимо, через некоторое время начнется ВТ и бомбежка. Они бомбят наш флот и одновременно с бомбежкой ведут артобстрел, во время ВТ и так. Из окна нашей комнаты на 7-м этаже видны крыши — они все в дырах от снарядов, — почти рядом с нашими окнами. Я до сих пор нервничаю, трушу, когда начинают бомбить и когда над самой крышей с плачем пролетает снаряд. Удивительное дело! А были дни в Москве, когда с полной искренностью писала: «в Л-д, ближе к гибели». Ленинград чист, он жив, он есть.

Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь. (ВТ. Начнется сейчас бомбежка.) Я хочу жить. Я не боюсь смерти, — но мне не хочется расставаться с Юркой. (ВТ прошла и на этот раз мимо.)

Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья, как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбужденным голосом, он всем, ежечасно — хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне — обо мне же, о моих стихах. Не устает глядеть на меня, не устает целовать, трепещет и боится ежеминутно, что «уйду».

Когда я приехала, я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень теплую, даже с мягкой мебелишкой («на этом диване ты сидела в 50 хронике»), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он приготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жилье, — правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных[128].

3/V-42

Я почти ничего не пишу здесь — не хочу, чтоб Юрка заметил, что я веду дневник. Это только моя жизнь — нелепо и уродливо посвящать его в нее. Вчерашняя телеграмма от Маргариты Довлатовой и так опечалила и встревожила его, — это был ее ответ на мое московское письмо о смерти Коли. Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда еще особая обида на него за Колю (как будто бы он в чем-то виноват!) держала меня и я

скупилась на приветливость и заводила разговоры, чтоб сказать ему: «Я все же любила Николая больше тебя», — вдруг меня озарила мысль: ***«А*** может быть, мне еще придется видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов». Бог знает, сколько еще муки придется выдержать и ему и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки, и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае…

4/V-42

Вчера до 5 ч. утра — тягчайший разговор с Юрой о прошлом. Он старается уверить меня, будто бы с сентября я уже не любила Николая. Будто бы и сейчас не люблю его, а все выдумываю. Какая ерунда!

8/V-42–9/V-42

Все никак не остаться одной, чтобы писать здесь и работать для себя.

За время приезда в Ленинград была два раза на фронте. В 42-й армии — это за «Электросилой», около Дворца Советов, и в 55-й, в Рыбацком и Усть-Ижоре[129]. Как странно, пронзительно-печально, удивительно идти по знакомейшим местам, где было детство, юность, а теперь — фронт. Ощущение единства жизни, горючего, бесплодного, содержательного, грустного не покидало меня, и очень отчетливо чувствовалась поступь жизни. Сколько я прожила, можно уж целую книгу писать… Уже прожита одна, целая человеческая жизнь; в городе нет отца, нет Коли. Нет его родных, умерли мои тетки, давно умерли мои дети. Этого ничего нет. Нет. И невозвратимы — юность, мужание — и все прошлое. Началась, независимо от моей воли, и идет уже совсем-совсем другая жизнь, и я сама — та — тоже как бы умерла.

Со стеклянным звуком ложатся где-то снаряды, вчера и сегодня летели через крышу, отвратительно стеная и воя. О, печаль, печаль!

Я в Ленинграде уже 20 дней. Почти не работала, — только написала одно стихотворение «Ленинградцы» — среднее, хотя есть хорошие строчки, и выступления — «Ленинградцы за кольцом» — ничего, его бы прослушали с удовлетворением. «Проходит инстанции» — еще, м. б., и не дадут читать. Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, «руководство» тупо и бездарно.

Я живу, главным образом, «медовым месяцем» с Юркой. Три раза выступала с «Февральским дневником» — потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе — просто ликование. В 42-й и у торпедников — бойцы и моряки плакали, когда читала.

Особенно большой фурор — у торпедников, — просто слава. Но мне уже как-то больше неудобно с ним выступать, пора писать что-нибудь новое. Успех — и в Л-де, и в Москве, — ошеломляющий успех «Февральского дневника» смущает меня потому, что теперь следующее надо написать еще лучше, а мне порой кажется, что это был мой потолок. А как я писала ее — в феврале, — тупая, вся опухшая, с неукротимым голодом, — я тогда только что начала есть, Юркино, с остановившимся, окаменевшим от недоумения и горя сердцем… Как долго не могла раскачаться, злилась — Юрка торопил, я чего-то строчила тупо, с неохотой, а потом вдруг, почти непонятно, начала с бедного, простейшего — и стало выходить… Но, конечно, не совсем вышло, я-то знаю, хоть и не говорю.

Надо написать — смутно вырисовывается нечто вроде поэмы — лирически-балладный цикл «Ленинградцы» — о той самой человеческой эстафете.

Много о чем надо написать и записывать. О Мэри Рид[130], сестре Джона Рида, умирающей от голода (кое-чем поддерживаем с Юркой, и он старается устроить ее в стационар). О 55-м — вручении гвардейского знамени — бедное торжество на фронте, находящемся в черте города (цикл или стихотворение — «Ленинград — фронт»). О ленинградских детях, романсы и песни. Да, да, надо работать, надо войти в быт города. Я на своей верхотуре, в комнате теплой и светлой и полной еды, — оторвалась от города, от людей, стала эгоистичной и самовлюбленной. Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас «личной жизнью», но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на «Февральский дневник», — ко многому обязывает меня.

Блокаде конца не видно. Пока я тут — немцы дважды атаковали город, но безуспешно. Все уже как-то притерпелись к тому, что фронт начинается на улице Стачек, 100, а за больницей Фореля[131] — немецкая зона! Умирает меньше народа — слишком уж много умерло. Да, умерла Маулишка и Лидия Николаевна. Это очень ударило меня. Какая я скотина, что не позвонила ей в январе… Верно, я ничем не могла бы помочь тогда, — они умерли в те же дни, в те чудовищные январские дни, когда и Коля. О, как больно, как хочется исправить это — прийти на ту квартиру, сказать ей: «Маулишка, да что ты? Ну же, вставай, живи!» Я дружила с ней с 30-го года, и она была верной моей подругой. Ах, боже мой.

Юрка спит и храпит ужасно. Вчера, до 8 ч. утра, — опять страшнейшее объяснение… «Ты пойми, что это вовсе не сцена ревности», — говорил он мне, а это была классическая сцена

ревности, и пошлейшая притом, но он так молод сердцем и так рационалистичен, что сам не понимает этого. Были у нас Фадеев, Тишка[132], Прокофьев[133], — пили, я совершенно невинно повертела хвостом перед Сашкой Прокофьевым — отнюдь не больше того, как обычно с ним — человеком, глубочайшим образом безразличным мне и знакомым свыше 10 лет. То есть более общего, что ли, кокетства, нельзя и придумать. Тем не менее Юра поднял это, плюс звонки одного торпедника — на небывало принципиальную высоту — «ты оскорбляла меня весь вечер, ты разогревала Прокофьева, ты зазывала торпедника, ты показала, что ничуть не дорожишь нашей любовью» — и т. д. Дурачок, дурачок! Он и не подозревает, какая огромная, изумляющая меня самое — его победа то, что я смеюсь с ним целыми днями, как ласкаю его с искреннейшей ненасытностью. Мучительная и любимейшая Колина тень останавливается. Я по-настоящему целыми днями счастлива бываю и обмираю от влюбленности в Юрку, — а он строит какие-то вавилонские башни на трепотне с Сашкой. Знал бы он, как это мне все равно, что это лишь — тоска… Но вчера мне было очень плохо. Сашка упился и стал безобразно грубить и лезть. Юрка наговорил мне несправедливо-обидных вещей — зря, зря. Я с отчаянием почувствовала себя абсолютно одинокой, — ничего подобного не допустил бы Коля, понимая, что всё — ничто по сравнению с любовью к нему, что всё не более, чем ничего не значащее кокетство.

Ну, при Юрке хвостом не повертишь! Крут, что и говорить. Он так натянет удила, что весь рот в крови будет. Хозяин, поглотитель, собственник. Отчасти (вот баба!) это мне нравится, что свидетельствует о том, что любит крепко, по-настоящему. Но, м. б., это нравится, пока свежо? Ведь если такие беседы, с таким криком будут практиковаться, если он собирается так контролировать все мои (чисто внешние) знакомства, — то что же это будет? Как говорится — извиняюсь, я к курям не присужденная! Мне действительно никого, кроме него, сейчас не надо, и игра ничуть не есть для меня самоцель, но ведь от таких пустяков он может пойти и дальше, и дело дойдет просто до домостроя, а это уже — тоска и одиночество.

Я, несомненно, люблю его. Да, как ни ужасно это, но новая жизнь — это факт. Она уже есть. Я уже живу ею — живу без Коли… Коли-то нигде нет. Все еще, ежечасно — невольно — думаю — «расскажу Коле». И нет его. Шли сегодня с Юркой от Тихонова, — все в его квартире связано с ТОЙ жизнью, — шли, и весенний город был пуст, гулок, здания почему-то казались огромными. Весна в Ленинграде — а Коли нет. Тучкова

набережная, Тучков мост, где 8 июня 1930 года я сидела ранним утром у воды после первой ночи с Колей, — а Коли нет… Его нет в городе. Нигде нет в нашем Ленинграде!.. Пока Юрка рядом, в комнате, — я пою ему, целую его, счастлива и влюблена в него, — он ушел, я осталась одна — и мгновенно проваливаюсь в холодную, черную прорубь, с ужасом думая: «Да, все это так, это хорошо, но ведь Коли-то все-таки нет?!»

Эти провалы реже сейчас, но тоска — снедающая всю душу, — наверное, еще вернется. Я боюсь ее. Я бегу к Юрке, ныряя в его любовь, в цельное его, милое сердце, — зажмурясь, бегу от самой себя.

Так долго нельзя все же. Должна наступить ОДНА жизнь. Она придет, наверное. Я уже не отказываюсь от нее. Но обе жизни еще борются во мне. Я еще думаю иногда — не лучше ли умереть. Но все чаще, как распахнется дверь в сердце — и ахнешь: ведь может, может быть жизнь — свободная, мощная, одна — жизнь с ОДНИМ Юркой. Ничего, договоримся, — вчерашний скандал — т. с. для пускового периода: так, значит, идти на нее? Идти?

Завтра — во-1-х: отец. Звонок Кубаткину, звонок на ф-ку (деньги).

Мэри.

Работа.

Филармония?

11/V-42

Не то ВТ опять начинается, не то обстрел. Минуты тишины в городе теперь очень редки, и чувствуешь себя в это время как-то странно и даже беспокойнее, чем во время стрельбы, — как-то удивительно, что тихо, и такая недобрая эта тишина, подозрительная, томящая.

13/V-42

Сегодня я могла бы написать — «о вчерашнем моем выступлении говорит весь город»… Это, конечно, не так, но только в одном Радиокомитете я выслушала сегодня столько признаний, благодарностей и трогательнейших слов — от знакомых и незнакомых людей. Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: «Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умирал муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я кормила мужа, а ложку-то куда-то в нос ему сую — это ужас, — и вдруг мы

слышим ваши стихи. И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее… И вот вчера — я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, — я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять — слышу ваше выступление и стихи… И чувствую, что есть жизнь». И еще — такие же отзывы, письма. А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте, ослабшие, вялые (Господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в ПРОСТРАЦИИ), и единственная связь с миром — радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче — голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть иллюзорной, — ведь это не важно, — значит, существование мое оправдано.

20/V-42

Вчера были у Матюшиной[134], тетки Тамары Франчески. Тамара — сестра Игоря Франчески[135] и близкая подруга Леньки Анка[136], — двух людей из 6, которые оговорили меня в 38-м году, и из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали, но все же их показания чуть-чуть не погубили меня. Тамара довольно часто бывала у нас, рассказывала нам о тетке и жаловалась на нее, и мать Леньки говорила, что будто тетка испортила ей жизнь. В деревянном старом домике на Петроградской, на Песочной улице когда-то бывали молодой Маяковский[137], Хлебников[138], Елена Гуро[139]. На Песочной улице, в конце ее — умерла моя Ирочка. В другом конце Песочной, в военном госпитале — зимой необратимо захворал Коля. Сюда я несколько раз ходила 6 января, к нему. Пришла, а он лежал связанный, безумный, среди чужих людей, бредил гитлеровским пленом и сразу узнал меня. <…> О, нет! Если начать вспоминать это, то сплошная рана открывается внутри и ясно становится душе, что нельзя, нельзя жить после этого. <…>

Я не знаю все еще, как же жить. Не умом не знаю, а практически. <…>

Матюшина, как и многие другие, тоже говорила мне о моей передаче «Ленинградцы за кольцом» — восторженно и тоже благодарила. Надо написать еще лучше — «Ленинград — фронт», надо написать грустно и сурово, в чувстве ожидания новых испытаний для уставших ленинградцев. Говорят, что обстановка на Лен. фронте складывается неблагоприятно для нас. Бог знает, что еще будет. Сегодня в городе непривычно тихо, слышно было

даже, как в саду отдыха кричали птицы. Ну, а завтра? Немцы подтянули резервы к городу, разбомбили плотину на Ладожском, по Неве все же идет ладожский лед, и среди него — много мин. Говорят, что уже взята Керчь. Как это все щемит и болезненно душит — эти прошлогодние сводки: «наши войска отошли…» Выйдет ли что с Харьковом, и как все это — непонятно. В приказ — окончить войну с Германией в 42-м году — что-то не верится. Демагогия. Конца блокады не видно. О, суровые, замкнутые в себе, черные и голубые лица ленинградских детей. Вчера увидала такую девочку в булочной, и опять пронзило: «Как можно жить, терпя этакое?» Хорошо, что Юра уложил Мэри Рид в больницу. Хорошо, что мы отдали свои пропуска в столовку Дома писателей — Мариным. Это их сильно поддерживает, они — старейшие друзья мои и Коли, Коля одобрил бы это.

Но ведь это — капли в океане. А люди голодают и голодают, и многие еще отчаяннее, чем в феврале. Маруся, Фриц, Мэри, Мироновы[140] — прямо об этом и говорят. Уже последние запасы сил выходят. Прендель рассказывал недавно, что трупоедство растет — в мае в их больнице 15 случаев вместо 11 — в апреле. Ему же пришлось и все еще приходится держать экспертизу по определению вменяемости людоедов. Людоедство — факт, он рассказывал о двух людоедах, которые сначала съели трупик своего ребенка, а потом заманили троих — убили их и съели. Это было в апреле. Когда Прендель об этом говорил — мне почему-то было смешно, совершенно искренне смешно, тем более что он еще пытался как-то оправдывать их. Я сказала: «Но ведь ты же не скушал свою бабушку», — после этого уже не могла всерьез относиться к его рассказу о людоедах. А как все это опротивело — людоеды, продырявленные крыши, выбитые стекла, идиотическое разрушение города — тоже, героика, романтика войны! Вонючее занятие, подлое и пакостное. Все героическое живет лишь в том, что идет вопреки войне и не естественно ей. И до скрежета зубовного, до потери дыхания от ненависти — жаль людей, и противно, противно, душно во всем этом… Неужели, действительно, этому смраду будет конец?

Иногда кажется — так это и будет тянуться без конца и края.

Сегодня кончила обозрение — ничего, кажется, если хорошо поставят, это способно будет вызвать улыбку. Жалко все это, конечно. Надо писать настоящие вещи, надо писать «Ленинградцев». Надо упорядочить быт — я мало, вернее, «беспорядочно» сплю, уже осунулась и похудела. <…>

Нет, не надо темнить любовь тоской моей, всей этой существующей (пока? навсегда?) жизнью, мучающей его. Буду справляться с нею одна. Буду жить в ней одна. Не буду

искусственно ни отгонять, ни питать ее.

…Для всех живых — твоя жена,
А для себя — вдова.

Я сказала Юре: «Я хочу, чтоб была одна жизнь». Да, хочу. Наверное, так и будет. М. б., эта одна жизнь начнется с ребенка. Я ничего не делала, чтоб его не было, хотя понимаю все безумие этой затеи сейчас, пока еще приказ тов. Сталина о закрытии Германии — не выполнен. Но я хочу жить всей жизнью, уместить в этот отрезок все — и для него, и для себя. Пусть будет ребенок. Господи! Я так очерствела, что мне трудно представить — неужели это я буду кормить и пеленать ребенка и буду любить его? Разве я способна еще на это? Иногда какой-то сторонний интерес испытываю я к себе: «А ну-ка, как выйдет это? А что? Что? Можешь? Интересно!» Нет, я не выдумываю все это. Юра мой и не знает, какого окоченевшего человека принял он себе в сердце! Я коченею давно. Колина смерть — последняя точка, последняя утрата в цепи страшных утрат — и личных, и общественных, которые начались еще в 33-м году.

Шагреневая кожа почти на исходе. Юра — мое последнее желанье — на исходе ее.

Или я преувеличиваю свою омертвелость?

К черту! Надо работать, надо больше общаться с простыми и живыми людьми, — нет, силы еще есть, и надо отдать их на конкретное дело — помочь карабкаться людям, которые хотят жить… И не думать пока о том, что ждет душу после выполнения приказа т. Ст… Большая жизнь или микрожизни? Цепь микрожизней…

Писала весь вечер, а Юрка спал. Сейчас разбужу его, сооружу что-нибудь на ужин, м. б., ночью буду с ним, — нет, нет, я еще не утолена им — нисколько, мне надо и надо его… Это большая жизнь?

ДА. Да, да!..

26/V-42

Дни идут быстро и бесплодно, хотя позавчера, наконец, передавали мое сатирическое обозрение — получилось действительно смешно. Если в Ленинграде, слушая его, улыбнулось несколько человек — значит, мой труд не прошел даром.

Обязательно сегодня ночью закончу «Ленинград — фронт», кажется, уже есть то внутреннее состояние горького настоя, и одиночества, и строгости, и отхода от личного, при котором

можно написать это.

Нас не ориентируют, как обычно, — попробую написать с точки зрения самоориентирующегося человека, с точки зрения человека, лишенного ориентации и смутно предчувствующего повороты жизни.

Несмотря на ежедневные обстрелы, в Ленинграде все же какое-то затишье. Бомбежек нет и последнее время нет даже тревог. Видимо, он бросил все на Юг. Он взял у нас Керченский полуостров. Тяжелое чувство прошлогодних бегств и позора возникает вновь. Господи, что-то будет, что-то будет еще. Впрочем, понятно что: миллионы новых смертей, новых вдов и сирот. Я знаю теперь, что это такое. И несмотря на то, что, когда особенно начинает крушить тревога, я думаю: «А мне-то что? Все мои горести, весь страх позади — я уже потеряла все, и мне нечего больше терять. Жизнь — это уже не утрата». И все же, несмотря на это, сердце сжимается от жалости и боли к СЕСТРАМ, к женщинам, таким же, как я. Уж пусть лучше я одна! Уж пусть лучше только мне досталось бы это свирепое зияние внутри, но не другим. О, если б можно было ценой своего горя купить покой и отраду другим. Так ведь и этого нет. Бесплодно и бессмысленно.

У меня странно как-то: масса планов и проектов, и жажда — работать, а работаю — ужасно мало, неинтенсивно, и как подходит время — реализовать свои же планы, — так и охоты нет, никак не собраться, не «размозолиться».

Мне нужно гораздо больше одиночества — Юрка почти все время рядом, и я отвлекаюсь на него, разбивается собранность, чувствую себя все время под наблюдением, озабочена из-за этого внешностью, т. к. хочу нравиться ему, и из-за этого работаю медленно. Сегодня он очень занят, — я одна в нашем блиндаже, и можно было бы наработаться всласть, используя это щемящее чувство отрешенности от личного, одиночества и ощущения движения жизни. А я долго маникюрила ногти, мыла голову, потом опять вынула из шкатулки письма Ирины[141] к Юрке, внимательно перечитывала их, неприязненно отчуждаясь от него, потом слазила к нему в карман пальто и обнаружила ответ Ирины на его апрельскую телеграмму. Он писал ей в апреле: «Обеспокоен удивлен четырехмесячным молчанием, сообщи, означает ли молчание прошлогоднюю историю». (В прошлом году она ему изменила.) Он писал ей это в то время, когда я была в Москве, и он писал мне такие нежные, влюбленные письма, полные несомненной искренности. Он тревожился за любовь с нею!..

По приезде я обнаружила черновик телеграммы и, так

сказать, потребовала объяснений. Он уверял меня, что не послал этой телеграммы. Оказывается (как я и думала), не только послал, но и получил ответ: «Упреки несвоевременны, обидны, послала массу писем на Пушкарскую». Ответ пришел уже тогда, когда я была здесь. Он мне солгал самым трусливым образом…

Это как будто мелочь, но ничего подобного за все 11–12 лет не было у Николая. Если б случилось так с ним — это было бы для меня почти катастрофой. Я молилась на его любовь. Но сейчас этот эпизодишко только способствует состоянию внутреннего одиночества — и причиняет боль тупую, почти внешнюю. Я ничего, разумеется, не скажу ему. Постараюсь не сказать. Надо обязательно постараться не сказать — это унизит его, ему станет стыдно, тревожно и пусто. И я теперь так много понимаю! Так много допускаю! В людях, по крайней мере. Я допускаю, что могла быть эта тревога у него, могла быть в порядке простого интереса, могла быть и глубже. Я знаю, как властна может быть инерция отношений. Я знаю, что сплошь и рядом эту инерцию люди принимают за самое любовь, за жизнь. А многие держатся за нее больше, чем за жизнь. Он не был еще уверен во мне, а там — все как будто проверено, там была целая жизнь, одному остаться — страшно, приятно, чтобы тебя любили, — о, сознание защищенного тыла — «хоть кто-нибудь любит», — это серьезная вещь.

Когда я приехала и стала жить с ним, и позволила сказать людям, что я — его жена, возможно, что ему самому посылка этой телеграммы показалась ненужной. «Все уладилось». Я рядом. Возможно, что он заново, м. б., даже всерьез, всей душой полюбил меня с 20/IV. Ему хотелось, м. б., считать эту телеграмму небывшей, не касающейся до меня и нашей новой жизни. И он сказал, будто не послал ее, — соврал. Он не предполагал же, что я буду проверять это. Он не знает, как необходимо мне, чтоб он был действительно только моим, безраздельно, всем сердцем, всеми помыслами. Его прошлая жизнь мучит меня темной, неприязненной ревностью. Я хотела бы вытравить из памяти его все, что было до меня, хоть и знаю, что это невозможно. И я тайно от него проверяю, выслеживаю — что осталось в нем от нее? И вот обнаружила — что осталось, что живо! Нет! Как бы ни понимала и ни допускала я всего, а нехорошо это — слать ревнивые телеграммы, свидетельства любви — другой, когда я люблю его и когда он знает это.

Он может возразить: «А ты? А осень? А теперешняя тоска?» Мне нечего ответить. Я понимаю. Но НЕ ПРИНИМАЮ этого. Дело не в том, что он любил меня, как Николай, — так никто никогда не сумеет. Но хотя бы в том же ключе…

А, зря все это. Можно ли жить с людьми по нормам Кольки? Он несколько раз был в комнате, он чувствует, что я ушла в раковину, а мне невозможно сделать нейтральный и ласковый вид…

Ну, ничего. Вздремну сейчас, м. б., разойдусь. Но — молчать, молчать, боже упаси причинить ему стыд и боль… М. б., — обойдется. М. б., забудет ее.

27/V-42

Ну, что ж — разошлось… Сегодня уже только саднит, но не больше.

(Стрельба. Кажется, работают наши береговые, а м. б., немец кладет снаряды не по нашему району. Если береговые, вернее, корабли, то сейчас он станет отвечать. О, морока проклятая!)

Я ничего не сказала Юрке, хотя не удержалась от намека. Нет, он, конечно, любит меня. Надо было видеть вчера и сегодня утром потухшие его, печальные глаза. У меня сердце поворачивалось, но злость была сильнее, не могла себя одолеть и приласкать его. А сегодня с половины дня как-то само отошло.

Была в Московском районе сегодня. Очень польстило, что они не сняли меня с учета, хотят, чтоб я осталась там, в районе, работала над историей района за год войны, на «Электросиле» и т. д. Завод перебрался обратно, восстанавливают цеха, кое-какие цеха начинают работать. Забавно, что еще до «Эл-силы», от ветки — начинается фронт, стоит первая застава. Что ж, я очень рада.

Ездить туда, конечно, мало приятного — каждодневный обстрел (вот и сегодня тоже, пока была в райкоме), часто шрапнельный, но я теперь почти не испытываю этого омерзительного, не зависящего от ума, животного страха, какой иногда нападал раньше. И это во сто раз лучше, чем в Союзе, — это ж курам на смех, тамошняя партийная организация из трех человек! А здесь я смогу принести реальную пользу людям — меня там знают и уважают.

Господи, да ведь я, кажется, в самом деле стала популярным человеком — персонально приглашают на выступления, вот завтра — сразу два, потом 1 числа на антифашистский женский митинг в Куйбышевском райкоме.

Но пора и честь знать. Сейчас в Ленинграде неудобно выступать даже с «Февральским дневником» — уже не та обстановка. Еще умирают в домах, где с зимы держится холод и тьма (окна-то забиты), но общий тонус выше, и жажда жизни говорит все громче, нет того чувства всеобщей обреченности, как в феврале.

Писать, писать.

29/V-42

О, какая весна.

Теплый, теплый, благодатный день и воздух, где-то играет радио (рояль), пахнет листьями, нежная зелень одевает деревья, из окна моего среди розовых, продырявленных крыш видны зеленые клубы деревьев, — а Коли нет.

Не слышно ни стрельбы, ни зениток. Мгновение мира.

А Коли нет.

Я умру в первый день окончания войны, в первый день мира, потому что его не будет и в этот день, и это будет означать, что он уже никогда не придет.

Мне страшно думать об этом дне.

Мне кажется, что я умру, хотя я знаю, что не покончу с собой, — снова, как сразу после Колиной смерти, не хватит сил.

Что мне делать? Коля всюду, каждую минуту, неотступно со мною. Даже в сладчайшие и страшные минуты с Юрой я каждый раз непроизвольно едва-едва не восклицаю — «Коля, Коля», потому что и само наслаждение связано с ним.

Я не хочу забвения. Но так долго не проживешь. Что-то лопнет внутри, как чрезмерно натянутая струна.

Тем более что я действительно люблю Юру. Я люблю его все больше, все серьезней. Сейчас мне было бы очень трудно без его любви. Она — настоящая, радостная, трепетная. Меня иногда дрожь охватывает — господи, кому он ее доверяет, полупаралитику, человеку, не сумевшему сберечь самое драгоценное, что у него было.

Я, я отпустила Колю!

> За то, что я руки твои не сумел удержать,
> За то, что я предал соленые нежные губы,
> Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
> Как я ненавижу плакучие древние срубы![142]

О, как болит сердце, пронзительно, нестерпимо.

Весна, и смертная тоска о Коле, и трепетная любовь к Юрке, и сознание вины перед ними обоими — и одиночество, одиночество…

Попробую писать стихи.

Сегодня обязательно надо написать «Ленинград — фронт». Это как раз то, что сейчас людям нужно, тем более что говорят — немцы готовятся к новому натиску на город.

31/V-42

Вчера было совещание писателей армии, города и флота.

Объективно — грандиозно. В блокированном городе художники собираются, как бойцы, обсудить свой опыт, наметить дальнейшие пути борьбы славнейшим людским оружием — словом.

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города[143].

А субъективно — плохо прошло. Неделовито, неподъемно. Эти тупые «руководители» — Маханов, Фомиченко[144], — чем они могут зажечь? Да и личный писательский состав — в основном — сер и лениво-мыслящ.

Я тоже выступала плохо, почти без подъема, потому что в середине совещания совершенно очевидна сделалась его никчемность. Я вообще не люблю этого организованного лицемерия, хотя на этот раз его было значительно меньше, чем в *<неразб.>* время.

Меня много хвалили — хвалил Тихонов в докладе, дважды Фадеев в своем выступлении, Вера Кетлинская[145] в докладе, Юрка, выступая.

Мне же неудобно до крайности: сколько времени вожусь с «Ленинград — фронт» — и одна трепотня, а работа ни с места, а другое, насущнейшее — ждет. Трепло я, и всё. И стихи пишу какие-то «вумные», холодные, взяла тон непомерно высокий, — проще, проще, проще надо, ближе к сердцу каждого.

Нет, сегодня хоть спать не буду, а выступление закончу, а то и так уже перестаивает. Сейчас поем — и за дело.

Слишком много сил уходит на личную жизнь. Появились систематические головные боли — это от непрерывного недосыпания, — грызем с Юркой друг друга еженощно.

Он любит меня — это факт. Я уже вхожу в его любовь, как в свою комнату.

И все же я сказала ему все с телеграммой. Он долго рассказывал мне обо всей истории с Ириной, — как это все дико, — и его «разочарование» в женщинах, и его, как он говорит, «суки-сынский» период в обращении с ними. Видимо, он в значительной мере все это только облекает в такие теоретические декорации. Чем-то ото всего этого веет чрезмерно извечным, очень далекая проблематика, типа начала века. Гм… оказывается, и в наше время это имеет место.

Сегодня облачное небо, видимо, будет ВТ. Целый день отдаленная воркотня орудий, около четырех — очередной обстрел, били по нашему району.

Третьего дня в час ночи была дикая зенитная пальба, налет, на Выборгской бомбы, — оказывается, со стороны Карельского было наступление.

Упорно говорят, что немцы готовятся к страшнейшему натиску на город.

3/VI-42

Третьего дня у меня была Галка[146]. Милый мой, верный, прекрасный друг. Как я рада ей была, говорили до 10 часов утра, поплакали, пели. Рассказывала ей о Колиной смерти, почти спокойно, т. к. когда говорю об этом — все кажется, что что-то выдумываю, что это — неправда, недоразумение.

А Юра прочел мой дневник, говорит, что будто бы только от 1/VI, и было объяснение. А-ах, господи, как это все мучительно. Я понимаю, что ему тяжело оттого, что я тоскую о Коле, я бы, наверное, просто не смогла жить с ним, если б у него было так, как у меня, но что же я могу поделать?!

Его борьба с Колиной памятью томит и мучит меня еще потому, что книгу стихов, самую лучшую, самую мою, которая должна быть, — я обязательно хочу посвятить Колиной памяти. Я буду еще писать о нем, если б удалось мне выразить это в слове — какой он был добрый, прекрасный НАШ человек… Что ж, Юрка будет страдать из-за этого, — ведь не хочу я причинять ему боли и не могу не помнить Колю всем сердцем.

Но вчера был удивительный вечер: Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо — и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожили во мне и — в чувстве — шли через душу счастливо, страстно, ликующе. Вечера, сырые и пахучие, в Глушино, в детстве; наш самый первый вечер с Колей на Островах, где он первый раз поцеловал меня — молодой, красивый, — а я была в вышитой русской рубашке, — там тоже пахло березой, так же, как вчера. И я жила той неясной, томительной отроческой тоской глушинских вечеров, и ясной, слепящей радостью вечера на Островах, и теперешним вечером — этой минутой тишины и радости, когда около лежал красивый, любящий мой теперешний муж, и я ощущала всем существом, что это счастье — что он лежит сейчас около меня и любит меня, и я люблю его, и тихо, и пахнет, пахнет, пахнет свежей березой. Все это сливалось в одно, без боли, вернее, со счастливой болью — все это было счастье, то есть жизнь, все это было неистребимо, прекрасно и едино. Если б мне удалось выразить это, наверное, я

написала бы гениальное произведение. Но это невыразимо, это, наверное, тайна, которую нельзя выразить. Так ясно было душе, что нет времени, нет горя, что жизнь — и есть счастье, что высший мой день — сегодняшний, вообще — каждый день жизни — и есть высший ее день; но все же, может быть, высший день именно был вчерашний вечер, высшая жизнь — теперь, потому что у меня уже так много накопилось счастья — опыта жизни, потому что у меня уже ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ — и детством, и сияющей любовью с Колей, и сегодняшней любовью, и предчувствием, основанным на опыте, — что счастье будет. И это ощущение слиянности, единства, независимости от времени, это ощущение счастливого напоминания — это есть зрелость, лучшая пора человеческой жизни.

Юра пошел дежурить на ночь в 6-й этаж, — сегодня я, пожалуй, напишу «Ленинград — фронт», напишу его именно на этом ощущении зрелости, зенита жизни: «Вот для чего я жила, и что бы ни было сейчас со мною и с миром, я в этом живу, живу всем сердцем, потому что это мой зенит, потому что я жила для этого давно».

И — страшно писать — глядя на Юрку вчера, вдыхая глушинский, кировско-островской запах березы, запах детства и юности, запах как бы прошлого счастья, я думала: «Да, все складывалось так, чтоб я дошла до него, и все как бы для этого и было, для этого вечера с ним, — и это моя судьба, и это, как война, как Ленинград, — моя зрелость, мой зенит. Принимаю? Да, принимаю!»

8/VI-42

Аще забуду тебе, Иерусалиме…

Сегодня — 12 лет нашей жизни, нашей любви, — нашего брака с Колей.

Я помню все так, что ничего не надо ни вспоминать, ни записывать. Наверное, скоро кончится моя жизнь. Наверное, скоро кончится. Где-нибудь за углом уже подстерегает меня конец. Потому что невозможно человеку долго жить на такой острой высоте, ходить по таким остриям, как я сейчас живу и хожу. Последние дни меня ранит и терзает какое-то дикое, безумное счастье, ощущение счастья, жизни предельное. И я чувствую — это уже всё. Это уже предел, дальше которого ничего нет, ничего не может быть. Или смерть, или с ума сойду. Потому что (кощунство, может быть) — память о Коле вдруг стала сияюще-счастливой. Как будто бы не видела его с ввалившимися вороночкой щеками, в моче, со сведенными руками *<неразб.>* этот образ без боли и исчезнет, — да нет, не было, не было

такого! А был и есть тот — золотоглазый университетский Коля Молчанов. И он со мной. Я радуюсь ему и знаю, что он рад, что я счастлива с Юрой, что я люблю Юру. «Хорошо?» — спрашиваю я Николая и вижу, как, смеясь, уже почти не грустя, он говорит мне: «Хорошо, псо, хорошо». О, душа моя, совесть моя, верный мой и преданный друг! Как я чувствую тебя, светлого и прекрасного, в себе, как счастливо мне знать, что ты любишь меня, раз благословляешь на жизнь и счастье.

Все хорошо. Все почему-то эти дни легко. Все жизнь.

Сегодня получила письмо от Сережи. Удивило оно меня, обрадовало и озарило — и настоящей человеческой радостью, и помельче — женской, тщеславной.

Мальчик явно вырос и возмужал духовно — безмерно. Это видно хотя бы по стихам. По самому письму — суровому, сдержанному его тону. Он не забыл меня! Он удивительные слова пишет обо мне вначале, он вдруг заканчивает письмо — «Я люблю тебя, Оля. Люблю». Он женился, у него родилась дочь, он назвал ее Ольгой — моим именем. Я искренне говорила Юрке, который прочел письмо и немножко побушевал, что расцениваю это «люблю» как чисто человеческое, но Юрка уверяет, что — нет, мол, вовсе не человеческое, а специфическое. Гм… странно! Он никогда не писал мне этого в письмах и даже не говорил этого с такой прямотой и силой, как в этом письме. Неужели и впрямь вспоминал, понял и полюбил? И хотя мне это не нужно — это веселит и лукаво радует меня. Любви с ним не может быть. Я слишком зрелее его сердцем.

— Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви[147], —

так говорили мы с Колей, чувствуя, какое зрелое, несравнимое ни с чем, двойное, обоюдное чувство у нас с ним, любовь, включающая в себе всю жизнь… И вот опять-таки кощунственно, быть может, но я чувствую, что такой же, подобной же зрелости и глубины наступает любовь с Юрой, любовь, обнимающая жизнь. И в этом нет оскорбления Коле.

А я люблю Юру уже жизнью своей, все свободнее, все преданней. Я принадлежу ему с восторгом, и даже сегодня, в наш с Колей день, ласкала его и говорила ему о любви из сердца, и это сливалось со светлым ощущением Колиной жизни.

17/VI-42

За 14/VI в «Кр. Звезде» — прекраснейший фельетон Эренбурга о Париже. Дело не в том, что этот фельетон стоит всего

его романа о Париже[148]. Здесь ни при чем литературные оценки — это выше их. О, дикое, страшное, позорное и прекрасное наше время! Неужели ты не принесешь людям хотя бы долгого отдохновения, если не прозрения? И как я рада, что дни июня 1940 года, когда немецкие танки на нашем бензине шли на Париж, — я всей душой протестовала против этого, ощущая гибель Парижа как гибель какой-то большой части своей души, как наш позор — нашу моральную гибель. Я тогда писала —

— Я знаю, как ты погибал, Париж,
По бессилию своему…
…Я знаю, как ты восстанешь, Париж,
По ненависти моей!..

Сюда надо было бы вписать многое: о детском доме и о детях, где я была. О вчерашнем разговоре с Юркой, опять до утра — родной мой Юрка, как он меня мучит, он сам не знает того!.. Но я буду писать стихи, хорошо бы выступить с ними 20/VI. Немцы стягивают силы и готовят наступление на город с трех концов. Быть может, скоро тут начнется сущий ад. Быть может, мне и Юрке жить осталось недолго. Так жить же и жить и успеть что-то сказать людям…

24/VI-42

Опять постылый свист снарядов,
И город, падающий ниц.
Не надо, Господи, не надо, —
Мне все страшнее эти дни…

На Харьковском наши отступили, Севастополь, видимо, на днях падет. Недавно безумно обстреляли наш район, снаряды врезались в пельменную, где мы с Колей всегда брали пельмени, в набережную перед самым райкомом, — я пришла туда через час после обстрела — аж ноги отнялись: если б там, в этих комнатах, сидели люди — их разорвало бы стеклом! И вот сейчас опять грохот — это по городу, не очень далеко от нас, — и с каждым этим ударом — убивают Колю. ЕГО УБИВАЮТ И УБИВАЮТ — каждого убитого я воспринимаю сейчас как его, каждую смерть — как его смерть. Мне трудно объяснить это. <…>

2/VII-42

«Тихо падают осколки…» Весь день сегодня то и дело

зенитная пальба — по разведчикам, и время от времени слышен гул немца. Неужели они возьмут Севастополь? Подумать об этом больно, — пожалуй, верно сказал Яшка, что людям, защищавшим его, останется только одно — умереть. Немцы продвигаются на Харьковском, видимо, и на Курском направлении, когда же, когда же их погонят?! И всё падают, и всё умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту.

А дети — дети в булочных… О, эта пара — мать и девочка лет 3-х, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте — пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком… Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так — часами… Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам — безжалостнее которого не может быть.

Все — ложь, — есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами.

Все — ложь, — есть только эта девочка, есть Коля со сведенными руками и померкшим Разумом — его светозарным разумом, — все остальное ложь или обман, и в лучшем случае — самообман.

Вспоминая эту девочку и Колю непрестанно, я чувствую всю ложность своего «успеха». Я почему-то не могу радоваться ему, — вернее, радуюсь, и вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь, мне отвратительно становится все, что я пишу, и вновь, вновь и вновь осознаю — холодно и отчаянно, что жить нельзя.

Сложное какое-то внутреннее существование: то вот это, о чем написала только что, то сознание, что — нет, все-таки говорю что-то нужное человеческим сердцам.

Меня слушают — это факт, — меня слушают в эти безумные, лживые, смрадные дни, в городе-страдальце. Нет смысла

перечислять здесь всех фактов взволнованного и благодарного резонанса на «Февральский дневник» — отзыв Коткиной, электросиловцев, еще каких-то незнакомых людей, группы студентов ин-та Покровского, от которых приходил делегат за рукописью «Дневника», — и т. д. и т. д., — многое я уже просто забыла.

В ответ на это хочется дать им что-то совсем из сердца, кусок его, и вдруг страх — не дать!

Очень трудно, рассудочно идет «Эстафета», видимо, потому, что слишком ясна идея и одолевает трясучка…

Но завтра с самого утра сяду за нее… На той неделе — поэма, «Дети Ленинграда».

Но это как-то не особенно актуально. Актуально — это об ожесточенных боях, о том, что — е. т. м. — они все же двигаются!

«Ты проиграл войну, палач, — едва вступил на нашу землю!»

Об этом сейчас надо!

В Ц. О. от 30/VI — напечатали «Ленинграду». Правда, сняли одну ценную строфу, — но в целом — это акт, достойный удивления: пропущено и «наше сумрачное братство», и «наш путь угрюм и ноша нелегка». Это — первое мое выступление в Ц. О., и оно не стыдное — честное, и стихи неплохие, хотя и не отличные. В них есть, по крайней мере, боль и чувство. Юраш очень доволен этим, больше, чем я. Записали также на пленку — для Москвы, хорошо было бы, если б оттуда дали на эфир — это сокращенно «Ленинград — фронт», и это будет интересно людям. В «Смене» — без ред. извращений напечатали «Дорогу на фронт», и это тоже приятно и удивительно, — стихи суровые, прямые.

Ах, скорее надо закончить «Эстафету». М. б., ее сделать с вступлением — проза или стихи — об июле — августе прошлого года — ведь скоро год — господи, год, как мы в блокаде!

Видимо, скоро немцы кинутся на нас вновь…

Неохота записывать о том, что Юрка несколько пыжится на меня. <…>

3/VII-42

Вчера немецкое радио сообщало, что 1/VII в 12 ч. дня немецкие войска взяли Севастополь. По нашим сводкам — «рукопашные бои на окраинах города» — ну, наверное, взят. Нет слов, чтоб выразить мучительную печаль о Севастополе и людях его.

Очень угнетенное состояние, прорезаемое бешеным, холодным ожесточением.

Почему, черт возьми, он все еще сильнее нас?!

Значит, из таких городов остались одни мы, один Ленинград.

Оборона Киева, Одессы, Севастополя кончилась трагически. А м. б., немцы все-таки врут насчет него? М. б., совершится чудо — и город отстоят? Неужели — так-таки нечем и не с чем?! Ясно, что теперь немцы кинутся на Ленинград. О, какой ад они тут устроят! Навряд ли мы выживем. Только я не хочу теперь переживать еще и Юрку — нет, нет, — если суждено, то пусть сперва меня, не надо мне еще и такой смерти, что это за судьба: все время быть свидетелем гибели самых дорогих людей — и все же жить.

Гнет на душе, томительное ожидание гибельной беды.

Хорошо, если б это настроение сменилось вызывающей дерзостью, как было днями в прошлом году. Но навряд ли… И вот забавно — уже три дня задержки, — неужели беременна? Но пока не убежусь окончательно — ничего не скажу Юре, не хочу его зря волновать надеждой. Это хорошо было бы, пусть хоть и под гибель, — все-таки все бы в жизни было исполнено.

Надо написать письма родным — м. б., скоро будет уже не до писем, м. б., это будут мои последние письма. Надо бы хоть короткую записочку все же послать Сереже.

6/VII-42

Три дня назад, позавчера, — мы сообщили об оставлении Севастополя…

Мне хочется сказать им, севастопольцам, простейшие и торжественнейшие слова, но таких нет.

Вечная память павшим,
Вечная слава — живым.

В городе по этому поводу некое смятение умов, количество желающих уехать резко подскочило: «очередь за нами»…

Да! Что-то будет? Ну, что бы ни было — все равно уж.

9/VII-42

Третьего дня мы с Юркой переехали с нашего 7 этажа, из «блиндажа» с небом — в пятый этаж, в отдельную квартиренку из 2-х комнат. Это, как и сотни квартир в Л-де, — вымершая квартира. Ее хозяин, какой-то киноактер, убит на фронте, брат его умер зимой. В моей комнате, — она же наша спальня, — рояль, книжный шкаф с книгами, которые человек подбирал, видимо, специально, в этом же шкафу ящики с фото — в изобилии снимки какой-то славной, мирно улыбающейся, спокойно глядящей женщины, и шкаф, который был набит разным домашним барахлом: старые шляпы, наполненные медицинскими банками, лоскуточки, посуда (масса блюдечек и

две подходящие к ним чашки, ситечко неизвестного назначения, ржавая мясорубка и т. д.).

Я разбирала и осваивала все это, расставляла мебелишку, раскладывала наше белье со смутным, многослойным чувством недоумения, иронии и печали. Мой быт накладывался на чей-то чужой, потухший, умерший быт. Меня не покидало ощущение, что это — чужая квартира, что хозяева еще могут вернуться, хотя я знаю, что этого не будет. Вот и я не живу на Троицкой, и я лишена своей квартиры, своей прежней жизни, и, приходя туда, замираю в удивлении и внутренне мечусь: неужели я, теперешняя я, жила там, и у меня был Коля, и была жизнь, абсолютно не похожая на эту? Все сдвинуто, перемещено, плоскости отдельных чуждых жизней пересекают друг друга, и вернуть прошлое — нельзя. Мне все еще часто кажется, что сегодняшний мой быт — это «невзаправду», «понарошку», нечто вроде игры, или какая-то вторичная жизнь — как на том свете, как после смерти. Это не сплошь, не все время. Юра — это жизнь, это взаправду. Но иногда — такая томящая неуверенность в реальности существования!

> Неужели же я настоящий,
> И действительно смерть придет?[149]

Ощущение печальной нереальности, недоуменности своего бытия обострилось в связи с переездом в эту вымершую квартирку. И вчера весь день и особенно вечер, когда мы с Юрой разбирали чужие пожитки, часть выбрасывали, а часть оставляли себе, — неотступно было передо мной лицо Коли, и вспоминала, вернее, видела его только в минуты, когда я наносила ему обиды: как в одну из бомбежек, когда мы вышли на улицу, вечером, это был уже ноябрь, конец ноября, я нервничала, т. к. стреляли зенитки и падали бомбы, и я просила его — довольно зло — прибавить шагу, а он шел не быстро, и рассердился на меня, и на углу Невского и Фонтанки сказал, что зайдет в аптеку — переждать тут, а я помчалась в р[адио] к[омитет]. Мне хотелось добежать до подвала быстрее, т. к. было страшно, я прибежала туда, и сразу стало стыдно, что бросила Кольку на улице. Но через минут 10–15 Юрка сказал мне: «Пришел Коля», — я так обрадовалась, вышла к нему в вестибюль и, кажется, усадила его потом — но не в «нашей» с Юркой комнате, а в общей. Коля сказал: «Я знал, что ты нервничать будешь, что я остался на улице». Боже! Он все время в те дни думал не о своей опасности, а о том, чтоб я не нервничала и не боялась за него. Ох, ну не надо…

И только совесть с каждым днем сильней
Беснуется: великой хочет дани…[150]

В «Комсомольской правде» от 5/VII напечатан «Февральский дневник» — полностью, без единой поправки и купюры. Ну что ж, хоть и задним числом обнародовано, — но все-таки это здорово… А стихи, надо прямо сказать, отличные. Читала их в газете сама с волнением и со слезами. Такие можно было, наверное, написать один раз, и уж, наверное, лучше ничего не напишу. Я сама поражена сейчас — как я написала их — тогда? Откуда все это пришло — эта суровая, прямая мысль, точная формулировка, внутренняя, рыдающая, жгучая страсть при внешней — почти холодности. Ведь я была просто психом тогда на почве голода, а Колина смерть, вырвавшая из меня душу с корнем? Непонятно. Перечла сейчас свой январский дневник — господи, это сплошной голодный бред, и только. Я сейчас в ужасе — как я не ходила к Коле ежедневно, как я могла одна сожрать печенье, присланное Мусей, как я могла ЧАСАМИ писать о еде? И из этих страниц видно, что я была ненормальным человеком. И ведь я тогда еще рассказы о партизанах писала! Но — вспоминая, что же я могла делать? Я ведь что-то запасала — на предмет, когда Коля выйдет, что-то делала, а сидеть рядом с ним, безумным, ничего не понимающим, — и ему даже белья нельзя было сменить — не было! И что мы знали о дистрофии тогда!

Ах, эти все записи бесплодны, и я — бесплодное и жалкое существо: не сберегла Колю, не умела его любить, а сейчас мучу тоской своей Юру — он все видит и понимает, и я не могу и не хочу скрывать ничего…

«Эстафета» идет очень плохо и явно перенашивается. Надо писать по ночам. Трясучка днем одолевает — и то одно, то другое. То Юрка зайдет, то звонки — я в моде, мне предлагают всякие заказы и т. п., в общем, висят над душою. И Юра торопит с поэмой, спрашивает о ней — трясучка еще злее.

Главное — такой период, что хотя на время работы надо быть одной, совсем одной — и внутренне тоже. Это всего достижимее ночью, когда ничего не висит.

12/VII-42

Понурое, расслабленное состояние. Видимо, сказывается почти бессонная ночь — до утра работала над поэмой, потом долго не могла уснуть, а ночью снились мучительные, томящие сны: война, бомбежки, я убила какую-то страшную старуху (я иногда убиваю во сне ужасных старух), и Ирочку видела — будто

она ослепла, но так хорошо видела ее личико, живое, а не оборотня.

Колю во сне никак не вижу.

Это тяжелое, унылое какое-то, бескрылое состояние тянется довольно давно, и я не могу найти конкретной ему причины. Тут и ровноноющая тоска о Николае, и тоскливое ожидание штурма города — бессмыслицы всей этой кровавой, и тупое терзание из-за общих наших дел — т. е. от сознания, что гибнут и гибнут люди, такие же, как Николай, и все растет и растет ком страданий.

О, что мне до них, что мне до всей этой большой жизни, большой земли, — с досадой думаю я иногда, — довольно, довольно! У меня есть Юра с милыми его пушистыми глазами, человек, любящий меня, красивый и желанный мне. У меня есть какой-то отрезочек времени — «до штурма», до всей этой идиотской катавасии, когда уж нельзя будет вздохнуть, — ну, и живи, радуйся весь этот отрезочек.

И все же томит, темнит жизнь, отымает легкость в душе — пусть и горькую…

Наверное, на днях немцы возьмут Воронеж. Они — в области Дона, форсировали его. От Купянска до Россоши они махнули в неск. дней, — видимо, наши бежали, произошла какая-то катастрофа, говорят о гибели наших двух армий. И это после того, как был приказ № 130![151] Нет, наверное, хватил тут Иосиф[152] зря. Но люди правы, нужно выстоять до открытия второго фронта. Просто выстоять, чтоб не погибло государство. Немцы должны же изнемочь, захлебнуться в крови. И тогда, когда ударят по ним с запада, — мы начнем фронтальное наступление здесь. Логически — все верно. Но что будет к тому времени с нами — с Л-дом, со мной, с Юркой, с будущей нашей жизнью? Это никому не интересно.

Пример Севастополя сильно повлиял на психику ленинградцев. Из Л-да бегут. Вообще, настроения подавленно-панические — даже «военная группа» писателей собирается дать тягу под разными предлогами. Все ждут штурма и боятся его.

Я тоже боюсь… А может, нет. В общем, если расчет не на жизнь, а на «дожитие» — то все равно, даже хочется крикнуть, как хотелось тогда, когда немец кружил и выл над домом, кружил и выл: «Да ну бросай скорей, сволочь, бросай бомбу, убивай»… И боюсь — и ни под каким видом не уеду.

Нет. Ни к черту все эти мои рацеи не годятся. Живешь, так живи, как человек… Это расчет на «дожитие», на «скорей бы кокнуло» — предательство по отношению к Юре и — и к Колиной памяти тоже. От боли за наши поражения — не отделаешься. Но

надо жить «стиснув зубы, с железной решимостью». Надо радоваться тому, что есть. Надо говорить что-то людям, — ну, если мы все так опустимся, — а мы уже так устали, — что будет?

Что будет — то и будет. Времени нет. Есть вся жизнь в сегодняшнем дне. Жить им и говорить об этом.

Поэма может быть хорошей, а если подниму финал — перед колыбельной, то и отличной, не хуже «Февральского дневника», хотя другого типа.

Видимо, все же беременна — уже 13-й день задержки и что-то вроде легкой тошноты. Ну, и все это — «перед штурмом», перед разлукой с Землею? Зачем же привязываться к ней — любовью, ребенком, работой? Не лучше ли обрубить все связи с нею? Но это означает — сдаться раньше, чем тебя возьмут.

Нет. Не сдаюсь. Я просто не выспалась — плохо сплю последние дни вообще, — еще не приспособилась спать вдвоем с Юрой…

18/VII-42

Сегодняшняя сводка немного получше: «Бои в р-не Воронежа и южнее Миллерова, на остальных — без изменений». Неужели они — захлебываются уже? О, если бы! Эти сводки — как пульс держишь у больного, любимейшего человека, — как у Ирочки держала, как у Коли — во время статуса…

О, вытяни, выдержи, выстой, земля моя, мое войско, потому что я хочу жить, потому что ты сможешь жить, даже пролив столько крови.

В Ленинграде тоже очень тихо, даже дня два, как обстрелов нет. Наша судьба, конечно, решается на Юге. У нас еще есть время — до штурма, м. б., недели две, может быть, целый месяц. М. б., если их там поколотят, — штурма не будет. Но пропаганде даны новые — тревожные — установки: не пропагандировать победы в 42-м году — это, мол, фатализм. Не пропагандировать непобедимости антигитлеровской коалиции, — это значит — не надейся на союзников; пропагандировать, что Л-д получил лишь временную передышку и что штурм обязательно будет, — надо готовить к нему людей, отрешиться от благодушия и вообще «бить в набат».

Да, невесело. Эти директивы были получены дня три назад, и настроение у людей было очень напряженное, Юрка даже начал говорить о том, что я «в случае катастрофы» должна буду уехать из Л-да и т. д. И у меня было смутное, бередящее, раздраженное состояние ожидания несчастья, катастрофы, конца, хотя, конечно, мысль о бегстве — вернее, перспектива его — еще ужаснее… К чему, ну к чему спасаться, тем более — бросив тут Юрку,

собственно говоря, единственное, что держит меня на поверхности, не дает с головой погрузиться во мрак? Потом это чувство сгладилось, т. к. пошли мелкие и мельчайшие бытовые дела, суетность, за которой все скрывается.

Получила от портнихи черное бархатное платье — идет, очень идет, «страх как мила», и пальто новое летнее идет — просто душка в нем, — ну, разве может быть при этом гибель, катастрофа и т. п. Пальтишко, конечно, подправить нужно, — ну, ничего, она подправит, — рвач, расчетливая, корыстная баба, неискренняя со мной, но отличная портниха.

Написала поэму — и ведь получилось явно ничего, местами так прямо здорово; лучше, глубиннее всего, конечно, начало, и мне нигде не удалось подняться до него — так оно неповторимо по самой ситуации (это уж от меня не зависит… хотя… ведь стык-то — «не отдам» — «возьми» — я придумала!), так трагично и открывает какие-то новые людские отношения — без объяснения их. Затем — отрывок с Мусей, затем — Семен Потапов, потом озеро. Истребитель Митя Карамазов — никуда не годится, фальшив и жалок, надо переписать все, и уж не знаю — выйдет ли, тем более сейчас, когда хочу спать, — почему-то недосыпаю перманентно, и в башке — муть. Но, однако, даже с этой мутью попробую дожать.

20/VII-42

За окнами — гул артиллерийской интенсивной стрельбы. «Может быть, это начался штурм?» Мы встречаем этой фразой, шутя, теперь — каждый очередной обстрел — и сейчас Юрка так пошутил, — а м. б., и в самом деле — так. Ведь это же реальность — будущий штурм. В центре города матросы строят бойницы в домах, особенно оборудуют и укрепляют углы домов на перекрестках, — боже мой, неужели это может пригодиться? Мне кажется, что если немцы войдут в город — то ничего уже не поможет.

Страха смерти нет. (Это стрельба — на передовых, ясно. Ходоренко зачем-то срочно вызвал Юрку.)

М. б., завтра мне не удастся уже прочесть мою поэму по радио? Читала ее сегодня в ДК, на собрании женщин нашего гарнизона. Приняли — исключительно, с восторгом, хотя Юра говорит, что читала плохо и многого не доносила. Вчера читала у Марина, для работников Публички. Марины перебрались из своей комнаты с 996-ю медведями во второй этаж, в вымершую квартиру (и тоже почему-то с роялем!); у них были работники Публички, и Танька Г.[153] была, исключавшая Колю из комсомола за то, что он не хотел отказаться от меня, когда я сидела в тюрьме

(он сказал: «Это недостойно мужчины», — и положил свой комсомольский билет, который носил, как знамя, с 1924 года), и Филиппова была, приходившая ко мне как к жене бойца, когда Коля был мобилизован во время Чехословацкого конфликта, и все другие, с кем он работал, — были, а его — не было. Непонятно! Нет, непонятно… Я читала им, пела, а жила в это время не этим, а в себе, совсем одна, жила только тем, что его нет, и что это — непонятно и изумляюще-несправедливо…

23/VII-42

Оказывается, действительно был штурм, только с нашей стороны.

25/VII-42

Многого не записывала — моталась. Главное: Юрку уволили из Радиокомитета и разбронировали по военному учету. Значит, его могут в любую минуту взять в армию, даже рядовым, значит — реальна наша разлука. А я почти наверняка уверена на этот раз, что беременна, хотя еще не проверялась.

Что же, так и не даст мне жизнь счастья — никогда?

Стоило вылезать из могилы, выходить с того света, с такой мукой продраться к нему, привязаться — чтоб разлучиться и — боже, боюсь верить сердцу — наверняка потерять его.

Его уволили потому, что по его отделу, по радио была дана поэма Шишовой[154]. Горком запретил ее и сказал об этом Широкову[155], преду РК, а Широков забыл сказать об этом Юрке, и когда горком осатанел — «как так ослушались и дали», — Широков свалил все на Юрку. И его уволили. Виктор и Яшка вели себя при этом как последние бляди, особенно Виктор. Вот цена зимы, проведенной ими всеми вместе! Вот «новое» в отношениях ленинградцев… О, сволочи, сволочи. Яшка теперь что-то «выправляет», — но боюсь, что никто не поможет.

Скорей бы он пришел и рассказал все.

Главное — чтоб не разлучаться…

За эти дни я особенно как-то почувствовала, как он мне дорог, с милыми его, серыми, пушистыми, немножко близорукими глазами, почти всем, что в нем есть хорошего, как-то сближающийся с родным моим Колькой.

Я думала иногда, что настолько омертвела, настолько стала собственной тенью и живу какой-то вторичной жизнью, что новое горе — например, утрату Юры — уже не восприму… Нет. Боль, наверное, будет уже последней, объединяющей все предыдущее, замыкающей все — иначе, — смертельной.

3/VIII-42

Вчера было два ВТ, по 2 ч. 50 м. каждая, но самолетов над городом не было, — видимо, бои шли на переднем крае или бомбился наш передний край. Сегодня — с рассвета и до сих пор дичайшая наша канонада, — говорят, наступление наше, и хорошее. Опять Лигово берем? Уже три раза брали, и три раза нас оттуда выставляли — за конец июля.

А на Юге — ужасно. Немцы прорвались к Сальску, — махнули от Ростова в неск. дней. Вот и сейчас по радио говорят — «обстановка на Юге усложняется». О Господи… Я уже ни ужасаться, ни болеть — не могу: жмуришься при каждой сводке, точно сейчас тебя раздавит. Но странное дело: хотя опасность больше даже, чем в прошлом году — есть какая-то внутренняя успокоительная уверенность: «Выдержим. Не возьмет…» Недооценка угрозы — нежелание уставшей души воспринять ее? Или то, что выжил сам в такой дикой зиме, — дает эту общую уверенность? Или то, что это — «далеко, не у нас»…? Но ведь понимаю же я, что сегодня «не у нас», а завтра — у нас, и как!..

— А завтра детей закуют…
О, как мало осталось
Ей дела на свете…

Да, устала, — как все, устала от войны, — от дергающего нервы быта, от работы своей, — точно телеграфные ленточки со значками тяну и тяну из души, с болью и кровью, и расшифровываю их с мучительным трудом.

Вот Юрка поехал в полк за продуктами, — каждый этот его поход стоит и нервов, и известного унижения, — эх, как все это осточертело, как приходится перелезать через все это, как через колючую проволоку…

4/VIII-42

Ночью наша артиллерия буйствовала, и, ей-богу, это было даже приятно слушать.

Сегодня извещение — что взяли пункт Я, армия Свиридова, — видимо, Ям-Ижору? Говорят, что это хорошо, что оттуда можно ударить в тыл по Пушкину. <…>

После поэмы — ничего нового не написала, хотя набрала ряд заказов, и с ними надо справиться в срок, особенно для союзников, — это прозвучит у них, — о Публичке, о Седьмой симфонии.

Успех поэмы превзошел все мои ожидания. Нет смысла записывать все перипетии борьбы за нее — походы к Маханову,

разговоры с Шумиловым и т. д. Главное, что с очень небольшими, непринципиальными словесными изменениями (разумеется, ненужными и ухудшающими эти строки) она была напечатана в «Лен. Правде» от 24 и 25 июля и читана мною по радио 21/VII.

И вот — огромное количество восторженных, взволнованных и несомненно искренних отзывов — от Всеволода Вишневского (который даже письмо мне прислал) — до тех-секретаря С. П. И много писем — большинство с фронта и с флота, от людей неизвестных мне. Особенно дорого мне письмо одной фронтовички, Чижовой, матери, которая вместе с сыном пошла на фронт, и сын ее там погиб, «спасая жизнь друга, сражаясь за Родину». Прекрасно, что во время войны так приблизилось к человеку понятие Родины, так конкретизировалось: «спасать жизнь друга» в бою — это и значит сражаться за Родину! Она пишет — «великое спасибо от русской женщины-ленинградки», она пишет о том, как с новой силой вспыхнула в ней ненависть к врагу после прочтения поэмы… И очень дорого сегодняшнее письмо в стихах, написанное «Красноармейцем Полиной Кагановой по поручению бойцов и командиров части, где командиром капитан Кожевников и военком старший политрук Харичев».

В наивном, слабоватом стихе описывается, как читали в — ской части на фронте «Ленинградскую поэму»:

— Когда читали, в это время
Казалось, что Вы рядом, здесь,
И мы увидели в поэме
Всю нашу силу, нашу честь.
И вот, в дыму больших пожарищ,
Примите наш привет простой;
Клянемся Вам, поэт-товарищ,
Что скоро наш победный бой.

Я хожу сегодня целый день взволнованная, возрожденная и смущенная. О, милые мои люди! А мне — чем благодарить вас за это признание?! Только бы не обманывать, только бы не обмануть вас в дальнейшем — и найти в себе силы сказать вам о вас самих самое жгучее, самое сокровенное, самое окрыляющее. И я согласна ради этого вновь пухнуть и бродить в темноте, и ежиться от близких разрывов и стоклятого свиста бомб. Господи, они *мне* клянутся, что «скоро победный бой»! Я помню, когда я читала Коле письмо одной дружинницы у Будилкиной — «клянемся, тов. Будилкина, Вам и правительству, что ничего не устрашимся», — он сказал — «вот это авторитет…» И вот — и мне написали так

незнакомые люди. И еще письма — от моряков, — «эту поэму должен знать каждый грамотный человек в СССР», и от какого-то комиссара, — «мы взяли ее на вооружение», и рассказ Ёськи Горина[156] о том, как какой-то командир, отыскивая список поэмы, предлагал за нее ХЛЕБ, и сегодняшний подарок от дивизионной газеты, где редактором — муж Галки, Соркин, но политрук, принесший этот хлеб, консервы и сахар, сказал, что «это от всех нас», — как все это драгоценно мне, — сказать не могу.

И еще письма о «Февральском дневнике» — от О. Хузе[157], от Аньки Рубин, — письма из глубокого тыла, полные волнения и восторга, и письмо к А. Крону[158], где пишут, что «Февр. дневник» исполняет в Сибири Алиса Коонен[159] и артисты Александринки — с громадным успехом. И т. д. и т. д.

Что же это — слава? Да, похоже, что слава, во всяком случае — народное признание. Меня знают в Ленинграде почти всюду. Недавно выступала в большом госпитале, — а там у комсостава в списках «Дневник», давно известный им… Из московского райкома мне звонят — «т. Берггольц, мы приглашаем вас и других *знатных* женщин»… А у меня — ни ордена, ни лауреатства, ни прессы! Я ни на минуту в стихах не потрафляла начальству, не подделывалась под народ, не снижала мысли. Известность пришла ко мне не через Союз, не через печать обо мне, в труднейшее время, когда человек необычайно чуток на ложь, известность пришла суровая, заработанная только честным трудом, только сердцем — открытым, правдивым, — я ни в чем не лгала себе. Даже Маханов сказал: «Какое вы хорошее имя себе заработали», — да, это так. Самое главное в этом хорошем имени можно сформулировать так: «Она пишет правду».

О, мне сейчас будет очень трудно — мне надо очень беречь это имя и писать так, чтоб не приносить разочарований моим читателям.

Я искренне и непосредственно рада этим письмам, хотя знаю, что — «восторженных похвал пройдет минутный шум», — и все, следующее за этим. Пусть хватит сил до конца войны! А там — неважно… Признания начальства — тоже неважно. Хлеб за поэму и «клянемся Вам, поэт-товарищ» — больше и реальней любого ордена. Ночь, снова гул и шум нашей артиллерии. О, если б Коля, любимейший, чудесный мой Коля — знал и видел все это! Боже мой! Ведь если верно, что в послеянварских стихах появилась и особая мускулативность, и сжатость, и глубина стиха при скупости и даже скудости слов — то ведь главная-то причина этому — его гибель…

Это горе, такое огромное, что я не могу рассказать о нем,

даже Мусе не могла ничего приоткрыть, горе, которое испытывают, м. б., одни Молчановы — его кровь, — вот это горе дало моему стиху ту «мужественность», которая так нравится всем. Его гибель… Нет! Я ничего, ничего еще не написала, — НИЧЕГО, и только одна я знаю это. Я всем обязана ему — и этой, ТАКОЙ славой тоже. Он учил меня ценить только народное признание, — и слабые знаки его — хотя бы десятки писем детей — так радостно принимал, так радовался им. «Какой тебе славы еще нужно», — говорил он, узнав, как заучивали в тюрьме мои стихи. Как он переживал мои неудачи с калеченьем книги, как настаивал на том, чтоб я не шла ни на какие компромиссы с цензурой и редакторами, — и он был непримирим, и сам никогда ни за что не шел на беспринципные уступки.

Как он учил меня *пренебрегать* внешней славой, прессой, отзывами «высокопоставленных», — даже иногда перегибая в этом, — но я всегда буду следовать ему в этом. Как радовался первым моим успехам во время войны, и поддерживал как, и говорил: «Ты всегда делаешь то, что нужно! До войны ты была, в меру сил, на защите „угнетенной личности“, и это было правильно, — сейчас — с борющейся за страну демократией, с народом, и это верно»… А строгость его, почти тираническая и придирчивая! Он не прощал ни пафоса, ни пустых слов, ни риторики, ни «учительства»… О, вдохновение мое, разум мой, свет мой безмерный… Если б дал бог — написать о тебе, рассказать о тебе людям, чтоб и для них, даже не знавших тебя, остался ты вечно живым — светом, опорой! Если б дал бог…

Не ценой ли тебя купила я эту славу, боже мой? Не потому ли, хоть и дорога она мне, но мучит меня она в то же время, как нечто, приобретенное почти преступлением — моим? Но ведь я хотела уехать с ним, я делала для этого все, господи…

Я знаю, что так же очень многим обязана я Юрке и его любви, — но основным, решающим, главным — все же ему, Коле… Он писал мне в тюрьму: «предан тебе в этой жизни до смерти — и в вечном бытии»… И его преданность, как живую, чувствую я в себе непрестанно…

В городе тихо. Утро. Много работала над заготовкой новых стихов — м. б., что-либо выйдет. Надо написать о сегодняшнем моменте — об отступлении нашем, о том, что нужно все выдержать, — в ОДИНОЧЕСТВЕ выдержать, без второго фронта, ведь эти буржуи, они ненавидят нас, — вот о чем надо писать, я знаю… И я об этом тоже буду писать, но тема, данная Юркой, тоже интересная и может получиться…

7/VIII-42

Ай ты, боже мой, до чего не получается с работой, — просто перед Юрой неудобно. Да и вред делу. Просит меня, сейчас писать для т. н. союзников — США и Англии — Информбюро. И надо было бы срочно отправить очерк о Седьмой симфонии и нашем оркестре — 14 у них в США премьера, и для «К. П.»[160] надо написать, а у меня время идет как-то зря, в башке — муть.

8/VIII-42

Мутит до обморока — ужасно. Надеюсь, что это — беременность, а не что-нибудь иное. Я рада, если это так, — хоть за что-нибудь надо держаться в этом хаосе и нереальности, в буре всеобщего разрушения.

Немцы уже в Армавире. Они идут неудержимо. Они выходят на Волгу, к Сталинграду, до Грозного — всего 500 км, они движутся неудержимо! Они перережут наши нефтяные коммуникации, кубанская пшеница вытаптывается и сжигается (навряд ли ее успели всю убрать и вывезти) — значит, голод все реальнее, и — наши отступают и отступают.

Не отчаянье, а тупое, тягостное недоумение, тоска, почти парализующая, охватывает каждую клетку мозга, души, тела… Все, что делаешь, — кажется ненужным. Надо во что бы то ни стало написать о Седьмой симфонии — неудобно перед Юрой и перед ТАССом, но это же ни к чему, хоть и интересно.

Хочется крикнуть Западу: «Да что же вы, сволочи, медлите? Вам же хуже будет, если нас погубят!» Хочется крикнуть Югу: «Стойте же — все равно погибнете, даже если будете бежать! Стойте, у нас нет выбора, — смерть идет на нас, стойте, — быть может, тогда спасемся!»

Стихи «Именем Ленинграда» могут получиться, да отвлекает эта Седьмая. Попробую сейчас отстучать ее, чтоб освободиться и писать стихи. Но не стихами решается там наша судьба, я же знаю! Даже невероятный успех «Ленинградской поэмы», которая стала событием в жизни множества ленинградцев, чему получаю все новые и новые свидетельства, — не обманывает меня.

11/VIII-42

О, бедный Homo sapiens,
Существованье — бред…

Немцы уже в районе Краснодара, Майкопа, Армавира. Черт знает что! Немыслимо вдумываться даже в размеры этого поражения, грозящего катастрофой. Э-эх, дела!

Вчера с Яшкой были у Маханова по поводу Юры, — не

безуспешно, — по крайней мере, в приказе не будет никаких компрометирующих его политически формулировок и «руководство» поставлено в известность обо всей этой грязной истории. Юра, видимо, останется здесь редактором — это хорошо в смысле того, что мы сможем жить здесь, в Радио, где есть свет, а след, может быть, относительно тепло. Видимо, если немцы не кинутся на Л-д и не возьмут его, — придется и вторую зиму зимовать в кольце. Надеюсь, что прошлогоднего кошмара не повторится, принимаются меры — люди переселяются в первые этажи, покучнее, готовится топливо, говорят, что есть продуктовые запасы, хотя вот за июль академического пайка так и не дали, сволочи, но все же надо готовиться к худшему — к трудной, нудной зиме…

Ох, как мы увязли! Вчера шли с Яшкой из горкома и говорили о том, какая уже усталость гнездится в душе, сознание бесперспективности какой-то, долгих-долгих дней лишений, нужды, напряжения страшнейшего…

Нервозное, раздраженное, угрюмое состояние, немыслимо трудно работать, хотя едим неплохо и в городе после местных боев — тихо, то ли сбили ихние батареи, то ли они готовят чудовищный удар. Но работаю с диким усилием, — все кажется ненужным, смехотворно жалким по сравнению с положением в стране, и чувство собственной личной беспомощности — трудно преодолимо. Да и распустилась я, наверное, — «лавры» опьянили. Надо попытаться написать стихи «Именем Ленинграда», хотя дуб-Маханов в чем-то прав, когда говорит, что пора перестать кричать о героизме ленинградцев, надо написать стишки для 42-й — уж очень они привязались… Надо собрать и сдать книжку — собственно готовую уже, и как-то все кажется глупым, хотя я и знаю, что слово сейчас — это тоже сила…

От Сережи нет писем, — неужели мальчик погиб, ведь он где-то там был, на Юге… Надо запросить его мать, — мне так хочется, чтоб он вышел из этой каши живым. Боже мой! Неужели никогда уже не вернуться нам всем к морю, к безграничному, единственно нужному человеческому счастью — слиянию с природой и покоем? Я, наверное, все же хочу жить, хотя иногда кажется, что все равно — жить ли, погибнуть ли…

Странно, я люблю Юру и жду его ребенка, и хочу его, — а вот жажды жизни, ожесточенного протеста против гибели — нет. Может, это и лучше? А м. б., это равнодушие просто потому, что в Л-де сейчас спокойнее, чем где бы то ни было?

13/VIII-42

Говорят, что немцами уже взят Пятигорск, хотя об этом у нас

не сообщалось… Они отрежут у нас нефть — ясно.

…Все равно, надо жить, — м. б., уже недолго осталось. А если долго, если еще впереди много серого существования, мрака, тяжкого труда — тем более надо жить. Что же еще делать?

Личная жизнь омрачается круглосуточной тошнотой в соединении с февральским голодом, акцентированным на потребности острого, которого нет.

А так вообще пищи — много. Прилетела из-за кольца Кетлинская — привезла разного, в том числе моя радость — кофе…

20/VIII-42

Завтра во что бы то ни стало — с утра — пошлю отцу все, что ему надо, и буду работать.

Напишу для Информбюро о коме., пожарном полку и о Публичке (Колина Публичка), и надо стихи писать.

Я просто завалялась на лаврах — это становится неприлично. Сейчас с тошнотой чуть полегче, надо поменьше сил отдавать стряпне — и работать, работать. К этому обязывают меня хотя бы те многочисленные трогательные письма, которые продолжают поступать ко мне, гл. обр. с ленингр. фронта. Они радуют меня необычайно, горжусь ими страшно, но и смятенье охватывает: ведь в ответ на это надо что-то такое написать, что не разочаровало бы всех этих людей, ждущих от меня «новых вдохновенных песней…». Поэму массой отправляют за кольцо — родным, знакомым.

Я хотела бы написать несколько лирических песен-стихов, которые человек мог бы петь или бормотать один на один с собою, — ведь война идет через сердце все глубже.

Если б мне удалось написать что-нибудь вроде «Трансваля»[161] — вот было бы счастье… Да разве такое простое и великое можно написать!

Разболталась я… Конечно, надо было иметь какую-то передышку после того, как оторвала огромную поэму, которая взяла массу сил, но уж, кажется, — довольно. Сашка Фадеев говорил, чтоб ни на что не транжирилась, а сидела и писала значительные вещи, но это, пожалуй, люкс.

Да, надо еще для партизан, выступление. М. б., 27-го поедем в Кронштадт, — к сожалению, выступать, но думаю, что увижу что-нибудь интересное, если по дороге не убьет немец — путь туда опасен. М<ежду> п<рочим>, отв. ред. «Комс. правды» прислал телеграмму, что будут печатать «Лен. поэму». Но пока еще не опубликовали. Ах, хорошо было бы! Но Сашка Прокофьев лопнет от зависти уже наверняка! Моя бешено взлетевшая

известность после опубликования «Лен. поэмы» уязвила некоторых наших «инженеров душ» в самую печень. Решетов[162] и Прокофьев — теперь мои враги! Прокофьев сегодня на совещании в Обкоме комсомола вел себя просто непристойно: Иванов (секр. Обкома) стал говорить о том, что вот я собрала сборник «Молодежь Ленинграда», что они послали мне благодарность, а Сашка стал выкрикивать: «А она нам это не послала» — и потом после заседания бормотал — уже мне: «Мы заменим вас, т. Берггольц, заменим», да с такой злобой! Боже мой, точно я суюсь куда-нибудь, чего-то добиваюсь… Сашка у меня сегодня — как отрыжка, вот идиот-то! Через горком должна идти моя книжка — через Паюсову, а муж Паюсовой — Решетов, уж он, конечно, наговорит такого, что книжка будет признана «вредной», «любованием зимними трудностями» и т. д. Ну, увидим. Тьфу, какая пакость — эта литераторская зависть, — даже в такое время люди не могут освободиться от нее! Ну, что нам всем — дела мало, места мало, читателей, что ли? Я просто понять всего этого не могу, — я радуюсь успеху «Жди меня»[163] — ведь это наш брат, писатель, написал такое, милое всем, — а значит, как бы и я… Даже Ленке Рывиной[164], необычайно неприятной мне, я желаю всяческого успеха с ее поэмой, и хотелось бы, чтоб она получилась хорошей…

Юрка неожиданно имеет шанс ехать в Москву и тянет меня с собою, но это куча хлопот, и — неприличие, ездить за кольцо ни для чего… Он говорит, что там мы сможем обеспечить вылет в феврале — марте, к сроку моих родов, — но это мне кажется химерой, утопией. Что сейчас можно заранее обеспечить? За 6 мес. вперед? Вздор! Здесь нужно обеспечивать… Ну, он так хочет смотаться за кольцо, что, видимо, придется уступить, но, м. б., ничего не выйдет?

Он хотел сначала ехать в Балашов — у него безнадежна мать, и я обалдела втихомолку от этого его желания — как, в такие дни оставить меня здесь?! Но я ничего не сказала ему, хотя задыхалась от обиды, и он сам решил без меня не ехать, даже в Москву. Юра мой хороший, милый, нежно люблю его…

На Юге дела плохи — все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу… Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар… Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина, — неужели все же они, эти мудаки, откроют второй фронт? И вдруг — скоро конец? Трудно как-то этому поверить…

…Да, все это так — и слава, и завистники, и немцы на Юге, и ребенок, который, видимо, будет, — но ведь Коли-то все-таки нет? Ведь нет его все-таки!..

ЗАПИСИ О СТАРОМ РАХИНЕ[165] КОЛХОЗ, 1949 год

20/V-49

Нахожусь в селе Старое Рахино, у женщины, о которой когда-то, в 44 году, писала по рассказам Юрки[166], бывшего здесь после выборгской истории.

Он, конечно, 99 % придумал тогда, мой Юра. А может, тогда было иначе, и иначе все воспринималось, в дни, когда сломали Финляндию[167] и шли по Европе.

Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство к тому же, все к тому же; полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы.

Весенний сев, т[аким] о[бразом], превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности; государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов) и два, в общем, трактора… И вот бабы вручную, мотыгами и заступами, поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук — почти нет. В этом селе — 400 убитых мужчин, до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора — где сын, где муж и отец. Живут чуть не впроголодь.

Вот все в этом селе — победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну хорошо, послевоенные трудности, пиррова победа (по крайней мере для этого села) — но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности.

Хозяин мой говорил: «Конечно, если б не новая подготовка к новой войне, — мы бы встали на ноги, но ведь все же силы брошены на нее…» И в самом деле, все тракторные заводы продолжают ожесточенно выпускать танки.

Вырастить лошадей — тяжело, да и много лет пройдет, пока они будут работоспособны, а ждать, чтоб их дали, — не ждут.

Но больше всего поразила меня сама Земскова. Ничего общего с тем обликом, который мы, видимо, просто сочинили. Милая, обаятельная, умная и — страшно уставшая женщина. Она сказала вчера, почти рыдая: «Понимаете, жить не хочется, ну не хочется больше жить», — и несколько раз повторила это в течение дня.

И сама же указала одну из причин: вчера, например, приезжали двое — секретарь обкома и секретарь райкома, и

ругали ее за отставание с севом. Советы — пахать на рогатом скоте, вскапывать землю вручную, мобилизовать всех строчильщиц.

Мужики, верней, бабы жалеют коров, и пахать можно не на всякой.

Поэтому в качестве основной меры для выполнения плана вспашки применяется… женский ручной труд. Старик, отец хозяина, сказал: «Да ведь тут **львиная сила** нужна, а не женская».

Конечно, жалко «конягу» Салтыкова-Щедрина[168], ну а представить себе на месте этого надрывающегося коняги на том же пейзаже — бабу с мотыгой или — уж куда «натуралистичнее» — бабу, впряженную в плуг, а и это — вспашка на себе — практиковалось в прошлом году, да и в этом — вовсю, на своих огородах — там исключительно.

Земскова с горечью и слезами в голосе говорила, что дом у нее заброшен, — еще сегодня: «А я и обед-то не варю; вот сегодня щей сварила, — так, пожарю немного рыбы, молока похлебаем… Маленькая семья, что ли, так потому и **не ется».**

Если б эта женщина занималась только домом, — он процветал бы. В общем, они живут неплохо — корова, свинья с поросятами, поросенок, 0,5 огорода[169]. Но она отрывает для дома время от общественно-партийной нагрузки — она секретарь (нелепой по идее, по-моему) территориальной парторганизации, и вот бесконечные «пустоплясы» дергают ее, «руководят» и т. д. Вчера только их было тут двое, и один из них дико накричал на нее за то, что она разрешила колхозной лошадью одной больной вдове вспахать огород. «Нельзя, — весенний сев, колхозу надо пахать». **Для колхоза.** Вдова — колхозница, и у нее трое сирот, дети убитого солдата…

Колхоз все более отчуждается от крестьян. Они говорят: «Это работа для колхоза». Земскова говорит, что «придется итти работать на колхоз». И это у тех, которые с верой и энтузиазмом отдали колхозному строительству силы, жизнь, нервы… Это — общее отчуждение государства и общества.

Нет, первоначально было не то, и задумано это было не только для выкачки хлеба… Да они и сами понимают это.

Третьего дня покончил самоубийством тракторист П. Сухов. Лет за 30 с небольшим. Не пил. За несколько дней до этого жаловался товарищам, что «тоска на сердце, и с головой что-то делается». Написал предсмертную записку: «Больше не могу жить, потерял сам себя». «У него, правда, что-то все не ладилось, — говорила Земскова, — но человек был неплохой. С женой неважно жили, она его слишком пилила, чтоб и в МТС работал, и тут норму выжимал».

Он повесился на полдороге от Старого Рахина до станции, невдалеке от дороги. Путь к себе заметил — пучками черемухи и сломленными верхами ели, — «партизанская манера путь указывать», — заметил Земсков.

Говорила вчера с председателем колхоза — Качаловым. Потерял на войне троих сыновей, один имел высшее образование, историк. Жаловался на сердце, — у всех неврозы, неврастения, все очень мало и плохо едят, «больше молоко».

Земскова вчера говорила: «После войны мне труднее стало. Из-за мужа. Очень трудно с мужчинами стало — они на войне к водке привыкли, от дома отвыкли. Споримся часто; сначала из-за водки начнется, а там и пойдет. И я его, и он меня всяко обругает. Так — неделю мирно, а три недели — ругань. Поэтому и трудней, чем одной. Никакого облегченья, новое расстройство — и всё».

Ответ бойцов из части т. Земскова на наш очерк был, как и следовало ожидать, подсказан политруком и явился результатом проработки. «Поклонись своей жене», — писали мы, и они отвечали в том же патетическом тоне. И вот — жизнь. А разве не все мы были тогда искренни? Или сами не замечаем фальши, привыкнув обращаться с массивными категориями фамильярно?

23/V-49

Позавчера и вчера (явно схожу с ума, забываю и путаю дни) на экзаменах в 4, 5 и 6 классах сельской семилетки. Тут много отрадного. «Есть горячее солнце, наивные дети…» Есть и позиция: осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. Ведь и там смеются и учатся — я знаю… Осознать и пропагандировать, что это — единственный принцип жизни и общежития.

Вечер у директора школы.

Его рассказы о колхозе: негласное постановление правительства о выселении (с арестом) «лиц, разлагающих колхоз», — не желающих подчиняться дисциплине, и суд над двумя семьями, и их увоз с милиционерами, без захода домой[170].

«Сразу появилось 80 рабочих рук, очень повлияло».

Рассказ о женщине, которая умерла в сохе. «Некрасиво получилось». Коняги. Вчера многие женщины, по 4–6 человек, впряглись в плуг, пахали свои огороды, столь ненавидимые государством. Но это — наиболее реальный источник жизни и питания. На колхоз — надежда неполная, тем более что пашут и сеют «от горя», кое-как.

И чудные, молодые девки — учительницы, некоторые — **моложе Ирки,** — мои дочери.

Глядя на них, впервые ощутила зависть к их физической

свежести и привлекательности, — наверное, начало старости, и очень ясно почувствовала, что Юра, все еще молодой и очень красивый, захочет таких, а может, уже и имеет…

Всю зиму я, как намеренно, старила себя, не занималась собой. <…>

Вчера, сидя на экзаменах, взглядывала на озеро, вспоминала 44 г., и вдруг слезы кидались на глаза, и чувство горечи и одиночества захлестывало.

Зачем мне это все? Ну, они милые, эти ребята, эти учителя, эта Земскова, — а я? А Юрка? О них почему-то надо мне писать, они интересны, они — народ, а мы? Почему счетовод Земсков интересней, чем Юра? Почему судьба Земсковой грустнее или значительнее моей? Зачем я сижу здесь, ем отвратительную пищу, от которой уже явно ослабла и похудела, дрожу от отвращения перед девушкой с волчанкой? Ну да, я довольна, что все это повидала, надо знать «жизнь народа», но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь — тоже что-то значит. Но нет, она ни для кого — ничего не значит, и сами мы все время самоумаляемся.

Баба, умирающая в сохе, — ужасно, а со мною — не то же ли самое! И могу ли я быть, при этом-то родстве (конечно, «негласном», «неопубликованном», «секретном»), — могу ли я быть при этой бабе — «пустоплясом», как Грибачев[171] и К°.

Приступы эгоизма очень одолевали вчера. Не знаю даже, так ли они постыдны, м. б., в них есть что-то зрелое.

И вот опять — милые ребятишки, старательно отвечающие, а я опять взгляну на озеро — и тоска о Юре. Пришедши домой, в чужую и, собственно говоря, чуждую семью, — ревела в одиночку все время, еле оглушила себя валерьянкой, — оттого, что старею, оттого, что он не любит и — не понимает и я одна, и только одна знаю, что все со мной кончено.

Удивительное безмолвие в душе.

Даже запахи берез, полей и земли — запахи молодости и детства, запахи Глушина[172] — волнуют как-то глухо, не певчески. Ощущение «всей жизни» — то ощущение, которое дало мне в 42 г. «Ленинградскую поэму» и в итоге «Твой путь», — томит… Только раз или два прошелся по душе творческий трепет и тотчас же угас.

Внутренняя несвобода — **обязанность** написать то-то и то-то, — видимо, больше всего сковывает меня. Надо плюнуть на это, но должно «само плюнуться».

А ведь мне «необходимо обелиться», — в чем, е. т. м.?! Меня будут слушать на бюро, — как я «исправилась после критики моего творчества» — Кежуном[173], Друзиным[174] и Дементьевым[175]. Это мне-то, за мою блокаду, каяться и

«исправляться». Эх, эх, эх… Соха!

Сейчас иду в школу — там у меня встреча с учителями. Сама, фактически, навязалась — «чтоб знали» (меня тут вообще никто не знает, кроме какого-то доктора, да знают еще «Жену патриота», но без имени), а сейчас что-то неохота… Но все же — пойду…

23/V-49

Оказывается, то, что написано выше, я писала сегодня, а у меня уже слилось все в голове: может быть, от резкой перегрузки впечатлениями, — «барометр перестал падать».

Первое, наверное, в том, что учителя очень хорошо слушали и очень понравилось, хоть сами ничего не говорили о себе. Но больное самолюбие успокоено… Нет, всерьез, дело не в «славочке». Просто среди работающих людей мне не хотелось прослыть бездельником.

Потом была у одного старика-строчильщика. Он очень мил, но мы уже об этом писали, и больше навряд ли что выжмешь… Надо еще одного такого же навестить.

Потом была у одной женщины, Марии Васильевны Сочихиной, — «сочиняет стихи». Кажется, в общем — графомания, хотя отдельные строчки вдруг настораживают какой-то предельной буквальностью, тоже свойственной только графоманам. Но жизнь ее чудовищно тяжка. А мальчик ее Коля — очарователен до слез…

А в общем — я хочу домой.

Неужели Юрка больше не влюбится в меня, совершенно заново, неужели я не услышу его — того — бурного, почти рыдающего стона, за который могу тут же погибнуть?!

Отвратительные сны снились мне сегодня — с арестами, с потерей друг друга, с бегством… <…>

Вот только что опять поговорила с Земсковой. Она заявила, что Коля — вредный мальчик: «От него учителя даже плакали. Стали разбирать крепостное право, а потом — как теперь вольно живут, а он говорит — и теперь как крепостное. Все в колхоз, а оттуда государству, а нам остатки… Мать тоже политически вредная, мы б ее поставили на работу получше, да она властью недовольная…» Два брата у нее — оба были в заключении, по 58 ст., в 37–38 гг. попали… Второй сын Сухова, работающий в войсках охраны заключенных, был в плену, потом в лагере и теперь отбывает там службу, уже после заключения. До 50 г. подписку дал.

Так-так… Чуть копни — и сразу — заключение, или до, или после…

Почти в каждой избе — убитые или заключенные.

24/V-49

Сижу на пригорочке среди сосен, и такой простор кругом, такой голубой, пологий, русский, добрый, — такой только снился, да и то давно, — когда еще снилась «та полянка»[176], тоже новгородская, открывшая этот простор в детстве.

Дивной красоты сосна стоит рядом, со зрелой, широкой, архитектурной кроной, темно-зеленая, вся в золотых свечках. И все сосенки — в свечках, самые крохотные. Белые звездочки цветущей земляники, ярко-голубые с сиреневым фиалки — умиления бескрайнего.

И этот голубой окоем, и холмы то в нежно-зеленых, то в желтовато-кирпичных красках, и синее-синее озеро среди холмов и леса. Жаворонки наполняют воздух упоительным, ликующим щебетанием, томно, глухо восклицает где-то в лесу кукушка.

«Господи, люблю Тебя и верю радости Твоей, без которой нельзя жить и быть».

Господи! Господи…

И правда, — молиться хочется и плакать.

Вчера, когда вечером бродила по дороге среди холмов, встретилась женщина — щуплая, маленькая.

— Не попутчицей будете?

— Нет.

— А то идем в Кашино. У нас хорошо, люди приветливые.

— Я уж по вам вижу.

— Это верно, я приветливая, человека сразу в сердце принимаю.

Пошла с ней рядом, она рассказала сложную историю: идет из Крестец, там дочь в заключении (ну конечно, — в заключении).

— Молодая девчонка, только кончивши семилетку, пошла в магазин работать, там у нее недостача в 1700 руб… Ну, теперь-то я недостачу покрыла, но она второй месяц в заключении сидит, — за то, что уехавши была, пока дело не разобрали, — а мы и не знали, что уезжать нельзя… Прокурор говорит, — защитника брать нужно. А защитник, говорят, 700 руб. берет, а казенного теперь не дают.

И поплакала, и все рассказала (муж убит), и так сердечно приглашала к себе, точно знает меня много лет. — «Живем хорошо, очень хорошо». Куда лучше.

Наверно, о ней все уже всё знают, захотелось поплакаться незнакомому человеку на дороге, — да еще этот человек явно городской, — вдруг что-то скажет, поможет.

Живую душу укачала,

Русь, на своих просторах ты,
И вот, она не запятнала
Первоначальной чистоты[177].

И сегодня, когда брела, нагнала меня тоже баба, но старорахинская, Евгения Фед. Савельева. И тоже плакала, и тоже рассказывала всю свою жизнь и про жизнь в колхозе.

Муж убит в эту войну, на Ладоге.

— Наши мужики старорахинские какие-то несчастные. Всех скопом взяли да в одно место и отправили, под Ленинград, там они под Лугой, говорят, скопом и полегли…

Жить тяжело, «питание очень плохое», «все женщины стали увечные, все маточные больные, рожать не могут, скидывают; одного-двух родит, уж матка выпадает. Так ведь потому, что работа вся на женщине, разве можно это?»

Сама — калека, вывихнула руку, ездив на бычке, потом «залечили». Под гипсом завелись черви и клопы.

— Нет, мы теперь, может, и выберемся, с госсудой разочлись… Да ведь что, главное, обидно? Зачем начальство (чинарство) так кричит на людей? Ведь разве мы не до крови, пота убиваемся? Что ж оно кричит-то на нас.

И заплакала… Громко-громко, как дети на экзаменах, выкладывала она мне это среди неоглядных, дивно прекрасных древнерусских просторов; после нее я вот взобралась на пригорок и сижу…

…Так нагоняли меня на дорогах бабы, плакали и рассказывали о своей судьбе, а Русь вокруг зеленела и голубела, и кукушка далеко-далеко в темном лесу отсчитывала годы… Уходящие, невозвратимые годы, их и мои.

А все же хорошо, вдохновенно-хорошо кругом. Покурю сейчас и пойду бродить и напевать тихонько…

Нет! Еще будут, будут стихи…

25/V-49

Вчера на холме так сожгла себе лицо, что боюсь сейчас на солнце высунуться. Подглазники отекли и старые-старые, как у 50-летней старухи. Я здесь уже 7 дней, а от Юрки ни открыточки, ни телеграммки… Ох, будет мне еще от него последнее, самое страшное горе — бросит, уйдет к другой.

Но мне уж, наверное, к тому времени будет пора «подбираться», — так и совпадут концы жизни.

Все равно, жизненной миссии своей выполнить мне не удастся — не удастся даже написать того, что хочу: и за эту-то

несчастную тетрадчонку дрожу — даже здесь.

Была вчера у дяди Саши Кондрашова, о котором тоже писали и напечатали очерк. Старик очаровательный; Юрик все время твердил: «Ты, главное, судьбы, судьбы людей узнавай».

Старший его сын погиб на войне, два других вернулись инвалидами. У обоих — по 6–7 человек ребят, живут плохо, хотя один — пастух, хорошо зарабатывает, — «да как-то все у него не клеится», — говорил мне вчера предколхоза. Старуха его умерла в прошлом году. Живет с сыном Володей (25 лет, бывший кузнец, теперь «библиотекарь») и женой его, «агрономкой». Никаких работ этого замечательного мастера не сохранилось, — ни у него, нигде.

Еще запомнить чаепитие у фельдшера Влад. Францевича Бурака, его жены Алекс. Петровны и дочери Кати. Их рассказ об убитом сыне Андрее, — как она прощалась с ним в день войны, в лесу, около куста можжевельника. «Он ушел, а я руками рву можжевельник, полными объятиями, думаю — на память, на память».

Попрощалась — не задрожала,
А ушел от того куста,
Можжевеловый куст прижала
Прямо к сердцу [к телу], к лицу, к устам
Холодеющими руками.
Наломав объятье [охапку] ветвей,
Бормоча — «на память… на память».
……

Хочу домой. Хочу сидеть и вслушиваться в себя — нет, нет, там есть стихи, хотя каждая фраза сейчас, которую пишу, и не только стихотворная, — любая, даже здесь, — кажется мне совершенно не тем, совершенно не выражающей мысль, — ни на йоту. Никогда такого не было: ощущение, что все слова не те.

Вроде как вкус не тот, — или пересолено, или переслащено, или непропеченное, что-то вязнущее в зубах, противно…

Все нужно снова: слова, ритм — внутренний, дыхание. Дыхания в стихе нет, вот что, воздуху нет. Дыхания души, дыхания внутренней гармонии…

И «первых слов» нет, — тех, с которых начинается стих, тех таинственных первых слов, которые потом, м. б., отомрут или будут в самом конце, в которых зародыш и главный звук-мысль.

Очень звучат зато внутри Блок[178] и Есенин[179], которого по-новому слышу…

А «декадент» Блок писал о России так, что и сейчас эти стихи

живее, созвучнее и глубже миллиона Грибачевых.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка…

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя…
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя![180]

Все ли благополучно дома? Наверно, пришло решение о моем проигранном деле[181] — не описали бы мебель. Как-то Андрюшка[182], Кузька? Я полюбила эту глупую собачонку — она так беззащитна, трогательна, доверчиво-оптимистична и глупа: ребенок!

Ох, скорей бы домой! Работать надо, Юрка, бедняга, замаялся один. Тоже — баба в сохе. Ему, с его крылатым умом и дарованием, — нужен досуг, нужен достаток, нужно спокойствие… (Вот чего не даю я ему — это правда.) Это варварство — так работать, как он, спеша и задыхаясь…

А у меня — экзамены по истории партии[183]. О, мерзотина… только, «размозолившись», садиться бы за работу — так на, сдавай эту муру, рви себе нервы.

26/V

А вышезаписанное — перебил приход хозяев вечером.

Короче говоря, в этой тетрадке с той стороны, под рубрикой «Земскова», уже совсем собралась написать итог личных наблюдений: «колхозный вариант Кетлинской или, м. б., даже Кривошеевой[184]». Размышляя о бездельниках, изобилующих в сих местах, я несколько раз думала, — а П. П. — не бездельница ли уж тоже? Вчерашние и сегодняшние разговоры с завдетдомом и учителями полностью, даже сверх меры подтвердили мои догадки, которые я всячески проверяла и обставляла разными объективными «но». Но на самом деле все сложней, страшней и занятней.

В том очерке мы писали вообще не о ней, а о том, что сочинил Юра, как я и подумала.

Да, это государственный деятель, но деятель именно **того**

типа… Ее называют «хозяйкой села». Ее **боятся.** Боятся и, конечно, не любят. В ее распоряжении строчка, — она любого может уволить, отправить на сплав, в лес и т. д. Т. к. все в основном держится на страхе, — а она проводник этого страха, его материализация, ей подчиняются. Она ограниченна и узка и совершенно малограмотна. Усвоенные ее ограниченным, малограмотным умом догмы низшей политграмоты — т[ак] с[казать], база «идейная» ее деятельности. Она употребляет разные термины и слова без точного понимания их значения. Но это бы полбеды. Как все чиновники, держащиеся за эту систему и смутно понимающие, что она — основа их личного благополучия, — она бессердечна, черства, глуха к людям.

Об этом говорили решительно все, начиная от Сочихиной, простой бабы, кончая директором школы.

Сочихина сказала: «Она властвовать очень любит. Я бы вот властелином не согласилась быть. По-моему, у кого совесть, тот никогда себе властелином быть не позволит, совесть и власть — это врозь идет». (Очень интересная, кстати, думающая, хоть и хитроватая баба.)

Да, у П. П. властный характер и умение властвовать, т. к. она совершенно не любит людей.

Ее отзыв о повесившемся Сухове: «Его не в гробу везти, а на веревке тащить надо».

Ее отзывы о Сочихиной и Коле, — выше уже писала: «Мы ей не даем ходу как недовольной».

Спокойствие, с которым она говорила о «заключении», недобрая усмешка при моем упоминании, что я говорила с Краевой, недоброжелательство по отношению к учителям, врачам и т. д.

Ее история с Федоровой (завдетсадом) — чуть не выгнала ее из партии за то, что та отказалась устроить пункт голосования во вновь отремонтированном детсаде. Оперирование терминами — «не партийный поступок», «не наш коммунист» — трижды знакомый набор! Слова, отделенные от смысла и человека.

И эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами»! Оказывается, колхозники не имеют паспортов[185]. Молодежи они тоже не выдаются, — чтоб никто не уезжал из колхоза. Федорова взяла к себе «техничками» двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земскова рвала и метала:

— Зачем ты вооружила их паспортами?

То же самое говорили мне и учителя:

— Земскова чинит всяческие препятствия к тому, чтоб молодежь, даже ушедшая от нас в район, получила паспорта. Это ужасно действует на ребят. Они говорят: зачем нам кончать, нас

отсюда все равно никуда не выпустят, а еще говорят, что молодым везде у нас дорога…

Итак, баба умирает в сохе, не вооруженная паспортом…

Вчера, идучи к фельдшеру Бураку, видела своими глазами, как на женщинах пашут.

Репинские бурлаки — детский сон.

Итак, Земскова не дает людям «вооружаться паспортами».

— Она каждый раз выступает, страшно неграмотно, но обязательно кого-нибудь обидит, изругает, и так грубо.

О том, что она обижает, «навешивает на человека», «собирает материал», — говорят решительно все. Тоже понятно. Она, видимо, полагает, что это — парт, критика и самокритика.

А я чуть было не умилилась, когда она бранила избачку Любу, телушку совершенную: «Где доска показателей?» Выше писала, что это — ерунда.

И вот со всем этим сочетается в этой женщине — темное, языческое суеверие, причем этому поверить странно.

Приехала весной 48 года сюда молоденькая врачиха — глав, врачом в больницу — и через два дня исчезла.

Искали ее упорно. Настроение у всех было подавленное. Бурака заподозрили в том, что он ее… убил.

П. П. тогда подает мысль (сам Бурак сейчас говорил), что она «попала в худой след». В след, оставленный нечистой силой. Если попадешь в этот след, нечистая сила тебя закружит, толкнет на смерть, иногда на злодеяние — в общем, на гибель.

Она говорила ему об этом с той же непоколебимой самоуверенностью, как в райкоме о чем-либо. «Надо поворожить, спросить у одной женщины». «Дали задание» этой женщине, — колдунье, живущей рядом с Бураком. Она вообще каждый вечер ходит под мост и там ворожит. Вот она под мостом поворожила, «доложила» Земсковой о результатах. Земскова сообщила фельдшеру: «Я знаю, — она здесь и отыщется». Затем нашли врачиху: повесилась в лесу, около озера. «Вот видите, — сказал парторг села, — я говорила! Отыскалась… А что задавилась, в худой след попала».

В худой след верят здесь твердо.

Мы писали — со слов Юрки! — о том, как она любит мужа, а оказывается — он женился на ней по принуждению, бивал ее, уходил от нее и т. д.

Тогда она сходила к бабке, поворожила, «взяла у нее средств». Это было уже после войны. Сейчас живут лучше, по крайней мере он перестал рыпаться.

Смешно, в общем.

Все, вместе взятое, — почти неправдоподобно.

Вообще минутами мысль, что все это похоже на сон. В особенности — оттого, что никак не могу поверить, что наяву вижу эти снившиеся, волшебные русские просторы, и обрыв сегодня точь-в-точь такой, как в Глушине, на мельнице в Запольске, где мы ловили стрижей… И девочка, беленькая Зоя Алексеевна, учительница 22 лет, на год старше Ирки, водила меня на точь-в-точь такой же обрыв над омутом, окруженный курчаво-зелеными и сине-голубыми просторами, и прыгала по краю обрыва, засовывала руку в стрижовые норки и кричала с детским восторгом:

— Ой, О. Ф., рука по локоть ушла, а ни до чего не добраться! Вы подумайте, как глубоко, а?

Господи, верю радости твоей… Верю радости твоей и хочу жить и быть…

Завтра еду. Слава богу, ссылка кончилась. Жаль только уходить от просторов этих, холмов, озер и омутов…

27/V-49

Земскова говорит — рассказывая о вчерашнем заседании в Крестц<ах>: «Она ставила вопрос в сторону Ив. Мих. по части производства, а у него получился вопрос больше в сторону ее выступления»… «Она не ставила вопрос в продолжительности данного момента времени»[186].

Инвалид (кот. ее слушает):

— А-а! Все понятно!

Несчастные люди!

Этот инвалид-бухгалтер в строчке. Алексей Михайлович Митькин. Коренной старорахинский, образование низшее, но потом как-то поднаторел на бухгалтерии. Воевал, сыновья тоже.

— Мы все впятером воевали. Под старшим сыном 13 танков сгорело, в Сталинграде.

Они с Земсковым выпили за завтраком, он пошел говорить…

Ногу ему оторвало в 41 году в Пушкине. Лежал всю блокаду в ленинградском госпитале, в университете. В общем, как и все, всё понимает, только говорить боится.

Однако сказал, например:

— Я за что правительство ругаю? Почему от меня пенсию забрали? Мне ее, может, и не нужно в денежном выражении, пусть она мне как воспоминание будет, — что вот, тов. Митькин, участвовал ты в Великой Отечественной войне, пролил кровь, — мы это помним, и ты помни… Нет, отобрали… Так вот иногда идешь на озеро по рыбу, растянешься на своих костылях, и тут уж все как-то сразу вспомнишь, — ну и почнешь и в родину, и в правительство…

О Сочихиной сказал:

— Сочинения у нее с некрасовским духом. Она это больше всего Некрасова обожает. Ну так оно и верно, жизнь такая… некрасовская… А вам, извиняюсь, наверно, тоже рамки ставят? Правды-то ведь не пишут. Не думаю, чтоб сами писатели к неправде стремились…

Я была очень выдержанна, хотя две-три либеральные фразы сказала, а он все понял — очень остался доволен беседой.

Женщина идет,
и все темнее
Вслед за ней ложится борозда,
И звезда, звезда горит над нею,
Ржавый Марс, тяжелая [неженская] звезда…
Несытый [Голодный] [Кровавый] Марс горит над полем…

И видно все ясней, все боле
(Когда померкнешь ты, когда?) труда
Багровый [Бесплодный] Марс горит над полем
Всегда несытая звезда
Еще голодная.

И вот все явственней, все доле
Стоит [Горит] [Встает] несытый навсегда
Багровый Марс над синим [русским] полем,
Давно бесплодная звезда.

Валдай — родина знаменитых бубенцов.

Колыбель бубенцов знаменитых
Тех, поющих [звенящих] по-русски, навзрыд,
Тех, что могут и петь и рыдать,
Валдай — рыдай.

Тот же Митькин говорил:

— Мы все же думаем, что при Ленине было б иначе… Он, конечно, говорил, что можно в одной стране. А вот Бисмарк[187], кажется, говорил: если уж надо строить социализм, то надо взять страну маленькую, с небольшим народом, — в общем, такую, которой не жалко… н-да… а мы размахнулись на одну шестую часть мира, ну, где ж тут… н-да… Конечно, кто ж против этого строя возражает, но ведь жить-то хочется… н-да… Ну, это верно Миша Калинин[188] говорил, — на ошибках учимся, а может, в

маленькой стране и ошибки были бы помене, ну и народу меньше пострадало бы… н-да…

Совершенно просоветский инвалид.

Коля быстро сказал: «Про войну читать люблю».

— Что ж ты, не навоевался? Ведь сам был на войне.

— Ну, кака это война. Я люблю про настоящую, где героизм и подвиги.

[И пока не наступит] конец
Расступись-ка, дорога, раздайся,
Снова в сердце звучит бубенец.
Бубенец серебристый валдайский.

Плачет в сердце [песне] моем бубенец,
Плачь же в песне моей, бубенец,
Бубенец, бубенец, бубенец.

ЗАПИСИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ ОКТЯБРЬ 1949 года

Председательсовета Елена Михайловна читает «Говорит Ленинград», — какими словами говорит она мне о нем, — простая женщина, далекая от лит-ры. Я могла бы быть истинно народным поэтом, если б не этот гнет, — и я была им во время войны, и я могу, — могу писать.

Свободы! Свободы от ревности, от любви, от него…

31/X-49

Были неск. дней в Ленинграде. Уезжала туда на большом подъеме: по-настоящему, по-настоящему пошли стихи, чудесно было с Юрой, — «чудовище» вдруг притихло, и северное сияние полыхало.

В Ленинграде было много суеты, и жизнь текла бессодержательно и в общем мучительно для сердца. Наш день, 26/X, мы провели хорошо и любовно. На другую ночь вдруг вспыхнул скандал, — я перечла переписанное мною письмо Бычкова[189], все залило внутри ядом, опять подозрения, опять одна боль. Ночь была ужасной, наговорили друг другу бог знает чего, встали разбитые, измученные, с ясным ощущением трещины, но все же решили поехать сюда.

Перед скандалом приходил Волька[190], — сказал, что ПБ получила задание — доставить компрометирующие материалы на «Говорит Л-д»[191]. Дело в том, что все наше бывшее парт-рук-во во главе с Кузнецовым[192], Вознесенским[193] и т. д. — посажено.

Сначала сняли (это произошло вскоре после смерти Жданова), нам объявили — противопоставление Л-да Москве, без спросу организовали оптовую ярмарку, подделали перевыборы, обогащались за народный счет и т. д. В общем, «отец»[194] выразился — «вроде зиновьевской оппозиции»[195]. (?) Отправили их на учебу, — а недавно пересажали всех, решительно всех — «антипартийная группа, связанная с Югославией». Теперь в Л-де массовые исключения из партии, аресты (много у нас в Союзе) — директива — ликвидировать все, связанное с этой группой, в особенности по части идеологии.

И хотя у меня нет ни единого имени из этой группы в моих книгах, а не то что «восхваления» их, хотя красной нитью через все мои стихи проходит идея единения Л-да с Родиной, помощи Родины Л-ду, хотя «Лен. поэма» посвящена только этой идее, — не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать «идеологом» ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами, вплоть до тюрьмы. Такой «идеолог» должен быть, и его «сделают». Видимо, уже идет работа.

В день отъезда Юра прибежал из из-тва дико взволнованный и сказал, чтобы я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки из «трофейных», дневник и т. д. Он был в совершенном трансе — говорит, что будто бы услышал, что сейчас ходят по домам, проверяя, «что читает коммунист», т. е. с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали изд-во, — какие из моих книг, Саянова[196] и Прокофьева — изданы.

Меня сразу начала бить дрожь, но вскоре мы поехали. Ощущение погони не покидало меня. Шофер, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, — а мне показалось, — он ждет «ту» машину, кот. должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись, — «вот эта… Нет, проехала… Ну, значит, — эта?».

Уже за Териоками[197], в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась — идет сзади. «Она». Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой… Дорога идет прямо, и она — все время за нами. Я чуть не зарыдала в голос, — от всего.

Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник. Лесной царь — сказка. Наконец мотор отказал совсем — ночью, в 50 км от дому! Идиот-шофер опустил руки. Помогло чистейшее чудо, — Юрка за бешеную сумму уговорил шоферов автобуса,

идущего в другую сторону. И вот ночью, одни, в огромном пустом автобусе мчимся среди леса, — сказали им — 35 км, обманули со временем, — едем, и мне все время кажется — не та дорога! Ни я, ни Юрка ночью тут не ездили. Она тянется бесконечно и адски долго. Нервы — как струны. Почти в 2 ч. ночи все же добрались, угостили шоферов, затопили печь в моей комнате, сели перед огнем. Добежали! Навряд ли «они» приедут сюда, если не схватили по дороге. Но ведь может быть!..

Юрка сказал, — «никогда у меня не было такого физического ощущения удушья, смыкающегося кольца вокруг нас».

Легли поздно, спали тяжко, — от всех этих событий, сведений, этой кошмарной поездки, водки, — было ощущение нереальности жизни.

Утром я собрала завтрак, нарядилась, — выхожу к столу, говорю — «здравствуй, Юрик», — и вдруг вижу, что он, глядя в окно, — плачет, навзрыд, тяжко, истерически, и катятся огромные слезы, — и губы дергаются — первый раз в жизни вижу, чтоб так плакал мужчина, — так горько, обильными такими слезами, с такой беспомощностью и отчаянием.

У меня ноги подкосились, — думаю, сейчас скажет, что будет ребенок от Ю., или что-нибудь такое.

А он обнимает меня и плачет, плачет отчаянно.

— Я не могу, не могу, у меня чувство, что тебя уже отобрали от меня, уже разлучили нас. Вот уже руки к тебе протянуты, уже не вырвать тебя. Господи! Все, все, только не это, только не разлука — а я третий день хожу сам не свой и чувствую, — вот она, вот…

Я утешаю его (сразу откуда-то твердость и гордость в душе), а он цепляется за меня, целует мне руки и рыдает, рыдает в голос, страшно, истерически.

«Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ…»[198] фрагменты и подготовительные материалы: вторая часть книги «Дневные звезды»

Я здесь, чтобы свидетельствовать.
С вами
Пройду весь путь до самого конца,
Чтобы кровоточащими словами
Сказать о ваших <…> сердцах.
Вот, не пугаясь неизбежной муки,
По самый локоть я вложила руки
В раны ваши… <…>
В твою таинственную рану
Вложила слабые персты…
Дверь на засов и душу — на засов…
Мне не уйти от этих голосов,
От этих силуэтов величавых,
От этой жизни, горечи и славы
Мне не уйти…

<1960–1970>

Вновь о Главной книге, о современной форме прозы, — о том, что она вечный черновик, записи на полях, дневниковые записи. Последовательность, хронологическая последовательность и логика (хронол.) заменяется здесь последов. и логикой эмоций. Если по лабиринту этому ведет сердце, — читатель будет все понимать.

Страстное желание читателя «выразить себя» (Герцен) — вот современное содержание и современная форма.

Ну так вот пока я и буду писать так — как писала первый отрывок.

Как писать дальше: смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, раздумья о сегодняшнем дне (здесь будут повторы, возвраты, новое раскрытие уже сказанного).

Я не уверена, что даже смогу перечислить все события, но знаю, что, о чем бы ни говорила, — это будет о человеке, — значит, день сегодняшний, это будет о сегодняшнем состоянии души человека. А если вольно или невольно что не доскажется, не выскажется, — я знаю теперь, читатель, у которого главная непрочитанная книга — еще впереди, который вместе со мной пишет мою (нашу) главную книгу, — поймет меня до конца.

А если что — не по доброй воле моей, а по неумению или другим каким причинам, не будет досказано мною… *(лист оборван)*.

* * *

Мысль. После вступления первой главы «Звезд» — прямое обращение к Коле. «Дорогой мой, ты не узнаешь этого. Это было уже после тебя. Я рассказываю тебе, я рассказываю это вслух. О, ничего, ничего, пусть они все это слышат, мне не стыдно, мне надо, чтобы они знали, слышали о тебе, о моей, нашей любви».

Его письма в тюрьму, мне.

Мои письма и стихи из тюрьмы ему, тогда и теперь. Из тюрьмы. Как бы я написала ему об этом теперь. Непрерывное, хронологическое, диалогическое обращение к нему.

(Последний вариант начала «Дневных звезд»)

* * *

Начать на разбеге

…Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37–38 гг. — значит, я не расскажу главного и всё предыдущее — описание детства, зов революции, Ленин, вступление в комсомол и партию, и всё последующее — война, блокада, сегодняшняя моя жизнь — будет почти обесценено.

Название круга «Испытание»[199].

Пишу кругами. Восходящая ввысь спираль. Я же предупреждала, что это все лишь черновик, что будут дополнения, сноски и т. д.

<1959>

Сноска к отцу.

Или P. S.

Красноярск, подробности смерти.

Я ехала твоей дорогой,
Отец мой милый,
До Красноярского острога,
Вплоть до твоей могилы.

1959

Поезд Москва — Пекин

Салютую тебе тюрьмой.

Салютую тебе тюрьмой![200]

* * *

Был зеленый день, и мы отправились в горы, на Медео. Начать: I — Вот так мы войдем в социализм.

Это был 1931 год. Чума, холера, черная оспа. Там хранили воду в выдолбленных тыквах и пытались замостить почти болотистые улицы Алма-Аты, там, где пламенеют канны и где сейчас асфальт (даже слишком много асфальта), так много асфальта, что перестаешь чувствовать землю под ногами. Но повторяю, — тогда не было асфальта. Были прилавки, были чудовищные окраины, пузатые (коричневые круглые животы и тощие задики), грязные ребятишки на тоненьких (тонюсеньких) ножках, изможденные женщины… Все было далеко не только до социализма — до нормальной человеческой жизни. Жизни, достойной человека.

Но мы круто повернули, послушные дороге — пути, и сразу открылась сверкающая красота земли.

— Вот, ребята, — сказал Ленька[201], — вот так мы войдем в социализм.

И мы молча и безоговорочно согласились с ним, только кивнув головой (молча от волнения).

Это был 1931 год, мы были молоды, очень молоды, я и Коля, приехавшие работать в казахскую газету, и друг наш,

Леонид Д., — сотрудник той же газеты. Да, свидетельствую, мы так думали тогда, мыслями, подсказанными любимым нашим поэтом, властителем дум — Маяковским. Он только что застрелился тогда, и рана эта была для нас пронзительна, огненна, но то была рана навылет, — мы все равно продолжали ощущать его живым — и вслед за ним повторяли:

Кажется, вот только с этой строчкой
развяжись
И взбежишь по строчкам
в удивительную
жизнь…[202]

И мы, как он, так же считали, — что вот социализм наступит… нет, не наступит, придет… да нет, просто вдруг грянет, обвалится на нас после мгновенного какого-то шага, разверзнется, воссияет, взметнется перед нами, вместе с нами, — мы влетим, вбежим в него по строчкам пленительно-отважной поэзии, по этой крутой, но прямой горной дороге, окруженной красой, — ну еще два шага, еще несколько опаляющих, опьяняющих строк — и вот он.

Все было не так, как нам в тот зеленый день казалось.

Всем нам троим, и мне, и Леониду пришлось выдержать 37-й, 39-й год.

И даже самоотверженную работу нашу в 31-м, в дни мечты о социализме, — оклеветали и представили как вражескую деятельность. Потом была война. Николай умер от голода в январе 42-го года. То, что было с нами троими, было с миллионами.

Вот и вновь я пишу как будто бы только о себе. Но, думается мне, нет сейчас ни одного взрослого, серьезного человека, который не задумался бы над жизненным путем своим, прошлым, настоящим и будущим. Вот встал он, как бы на том перевале, на Медео, на том, куда в 31-м году взошло молодое наше поколение, — встал и взглянул себе в сердце, он оглянулся на пройденный путь и увидел все, вплоть до тех пузатых детей, окинул очами толпящиеся, дыбящиеся впереди вершины, дымящиеся пропасти, рыкающие потоки, и задумался глубоко и тихо, и взглянул себе в сердце, без слов спросил у сердца (души) своего: «Какое же ты? Веришь ли?» — «Ну а что ты можешь — лично? Что ушло, что сохранилось, что накопилось в тебе такого, что (которое) может пригодиться тебе, что открылось тебе на съезде и, главное, — товарищам твоим в дальнейшей дороге?»

И строго, и страстно спрашивает (допрашивает, пытает) он

свою душу, стоя лицом к будущему, готовясь к новому переходу (вместе с народом). У всех единое, и каждый вступает по-разному.

Так вот и я, стою рядом с этим человеком и думаю то же, что думает он. И как он желает помочь мне — так и я по силам своим, своим уменьем, своей профессией, всеми секретами своей профессии хочу помочь ему.

Я напишу во второй части «Дневных звезд» о том, что все было не так, как мы в тот зеленый день мечтали.

Отсюда переброска может быть к другой главке: к Эренбургу, Маршаку[203], Паустовскому[204], Твардовскому[205], Солоухину[206], Смуулу[207], — к себе. Я вижу во всех этих книгах залог великой будущей литературы. Жан Биэль[208]… Здесь же — я соотношу это почему-то с Безымянными героями…

Закончить этот разделец — Литература Единения. Программа не без учета нашей литературы. Записала — в скобках, а может быть и без них, об источнике радости.

Дать в зубы С. Васильеву[209].

За трагическое в литературе. За наивысшую правду…

<1960>

* * *

Мой долгожданный,
мой сибирский путь…
Моя — за далью даль.
Не за твоей ли дальней далью и я иду
все с тою же… печалью непрощенной,
с несбывшейся любовью.

Сибирь — Норильск.

Многократное место народных трагедий.

Твардовский. Пишет о Саше Фадееве, и я о нем и о Твардовском. Их горькая судьба. Их размолвки, их ссоры, особенно после XX съезда.

Не Сибирь ли легла меж ними?

Сибирь — с ее людским горем и сталинским режимом, невольным утвердителем которого и невольником которого был Фадеев. Осознав это, он и покончил с собой. Больше нечем было жить — не было прошлого, не было будущего.

Впереди — густой туман клубится,
и пустая клетка позади…[210]

Его гибель, наши разговоры с Твардовским и Иваном Макарьевым[211], — а он только что из Сибири, из Норильска, — помню, как он приводил ко мне секретаря партийной организации (партийная организация среди заключенных, воздвигнувших Норильск).

И вот и Макарьев покончил с собой, вскрыл себе вены. Не выдержал — «в миру» оказалось еще труднее, чем в Сибири, да и 19 лет Сибири дали о себе знать. Она потребовала к ответу как заимодавец, потребовала свое… Даже не долг, а именно нечто свое, временно данное человеку, дарованное на время.

Свое — тайное — повладел, побаловался? Хватит! Ложи взад.

И вот отняла это. У Фадеева, у Макарьева — и неужели отнимет у Саши Твардовского?

И вот одна осталась я
Считать пустые дни…
О, вольные мои друзья,
О, лебеди мои!

Надо широко писать о Сибири (уже символ) — в плане народной и моей судьбы.

А я смотрю тебе в глаза без страха.
Я у тебя ничего не брала, не занимала…

О, судьба моя, Сибирь кандальная,
Огненная, светлая Сибирь…
Сибирь — родина.
Сибирь — Россия.

«Да, скифы мы…»[212]
Так взглянула в глаза Сибири.

Не забыть: в Туве есть (строится?) электростанция, возле которой камень с надписью: «Центр Азии».

Путевые записки. Сибирь, весна 1959 года

* * *

Когда человек все утратил, у него остается одно: реванш иронии и мечты.

Имя твое я сделал из хлеба
такого же черного,
как мой день… —

так писал писатель Николай Баршев[213] Вале, своей жене и моей подруге детства, когда сидел в тюрьме в 1937 году. Он действительно сделал ее имя, имя дочки и матери из хлеба и украдкой передал их на волю — Вале.

Валя хранит их до сих пор, нашив на бумагу. Из хлеба же, на «воле», сделала она его имя и пришила на ту же бумажку.

Ее биография, начиная с Невской заставы: «Смена». Юность. Борис Лихарев[214] и Борис Корнилов. «Я жила в состоянии предвосхищения жизни, активного доверия к ней». Второй ее муж — Баршев, бывший муж Людмилы Толстой. Людмила была секретарем Алексея Толстого и потом вышла за него замуж.

Она дала мне машину отвезти умирающую Ирочку в Ленинград из Детского Села.

Потом за смертью Ирины — 37-й год.

Эпилепсия Коли.

Арест Корнилова, арест Баршева. Мое исключение из партии, изгнание из рядов демонстрации в честь 20-летия Октября. Юбилей Пушкина в 37-м году.

Защита Колиной диссертации.

А Валя ходила в прокуратуру, узнавать, как Баршев. Ее свидания с ним в пересылке. «Ходила на свидания как невеста, вся в белом и обязательно с цветами». Разговор их через решетки, другие женщины, и тоже с цветами, — у одной охранник вырвал цветы, бросил под скамейку, Баршев приказал: «Подними, сволочь, и отдай женщине». Стражник молча сделал это.

Валя предложила: «Давай умрем вместе, сейчас». Он сказал: «Мы встретимся».

Ее выслали с годовалой дочкой и семидесятилетней свекровью раньше, чем отправили по этапу Баршева.

Два или три года мытарствовала в Бугуруслане[215]…

О, Бугуруслан, Бугуруслан, — город разлук, общероссийский этап…

Надо бы побывать в нем…

Валя бегала к этапным поездам, подбирала выброшенные из вагонов письма, наклеивала на них марки и отправляла их, носила, как и другие, еду и табак нашим каторжникам.

Великая, печальная, молчаливая вторая жизнь народа!

История любви, одной любви, прошедшей сквозь эти годы, лежащей во второй жизни народа…

Эта вторая жизнь. Если б мне только написать о ней.

А потом Валя вернулась в Ленинград (с помощью Людмилы Толстой) и, голодная, нищая, разутая и раздетая, вышла замуж за какого-то инженера.

Объяснила это просто: «Жить надо было, чтобы встретиться с ним, чтобы спасти дочь. Спала с ним, а казалось, что рядом лежит Коленька…»

Писала Баршеву каждый день, получала ответы с перебоями, потом перестала получать ответы, потом известили — умер.

26 мая 1955 года делала я нечто вроде доклада в Пушкинском Доме на Пушкинской сессии Академии наук.

Говорила хорошо.

Вспоминала о Бахчисарайском фонтане в Бахчисарае. Слезы Юры[216] — его восторг и изумление перед величественной бедностью фонтана (он думал — нечто вроде Петергофских водометов). Две неувядающие розы — Пушкинские розы в чаше фонтана…

> Фонтан любви, фонтан живой,
> Принес я в дар тебе две розы…[217]

(Валины цветы на пересылке…)

И я говорила о бессмертии этих роз и о том, как много исчезло с лица Земли во время войны, а эти две розы — остались нетленны, потому что они, потому что «фонтан любви, фонтан живой» — всего нужнее человечеству.

Восторг Оксмана[218] — пушкиноведа.

Его рассказ о своих мытарствах в лагерях в проклятых топях Колымы.

Как заполучил он томик Ахматовой, который вертел в руках какой-то «чучмек» — стражник.

Оксман пообещался ему за ночь владения этой книжкой «устраивать ванну», то есть бочку с водой, куда кидали горячие камни.

Я читал всю ночь и рыдал, рыдал…

> Тот город, мной любимый с детства…
> Моим промотанным наследством
> Сегодня показался мне…[219]

И вдруг Оксман говорит о том, как он был там вместе с Баршевым.

— Он не работал, он был «отказником», а читал он только

письма своей черненькой жены. И вот пошли мы — в день выборов в Верховный Совет — через Владивосток и дальше, дальше к океану, — грузиться на пароход на остров, — на Магадан. И оба мы упали — я и Баршев. На нас спустили собак, и собаки стали терзать нас, — это хотели проверить — не придуриваемся ли мы? И мы лежали, пока собаки рвали на нас одежду, добирались до белья, до тела. Я решил — все равно. Но собака рванула на Баршеве тот мешочек, в котором он хранил Валины письма. Мешочек разорвался, был сильный ветер, и письма полетели в стороны, по ветру, и Баршев из последних сил вскочил и рванулся за ними. «Побег!» Его ударили прикладом под колени, он упал, письма разлетелись, стражники втаптывали их ногами. Нас погрузили на грузовики, повезли. Баршев с тех пор совсем отчуждился, совсем не стал работать. Его стаскивали, сбрасывали с нар, били, лишали еды, — он не работал.

Вскоре он погиб.

<…>

26/III-56

* * *

Социализм — это учет. Коммунизм — переучет.

Коммунизм — это Советская власть минус НКВД.

Из записной книжки

* * *

Испания, 1938[220] год. Вошла в тюрьму. — Что с Мадридом? — Мадрид вчера сдан. — Все встают. «Испанцы» в тюрьме.

(Женя Шабурашвили, дочь грузинского банкира, три языка, в Испанию ходила официанткой. После войны была посажена, как шпионка в пользу… (следователь так и не придумал, в чью).

Встреча в грузинском подвальчике (я, Герман и Макогоненко) — ресторан «Кавказский».

Окошко — «глазок» — бдительное око пролетариата… — Испания и судьба ее защитников. Испания — гитлеризм, сталинизм — мы.

* * *

К главе «Узел». Внутритюремный допрос.

(На внутритюремном допросе с Иваном Тимофеевичем Мусатовым[221].)

Он добивается, чтобы я сказала, какие шифры[222] я передала Лизе Косульниковой. Я чувствую, что Лиза явно предала или кто-то другой, кому она доверила. Лизе так хотелось к Ванечке и Виталику. Мусатов говорит под конец:

— Ольга Федоровна… Вы поступаете нечестно.

Я взглянула ему прямо в глаза, и взгляды наши столкнулись и вошли друг в друга, — всепонимающий то был, единый взгляд людей.

Взгляд людей друг другу в глаза, взгляд коммунистов — не боюсь сказать. И так мы говорили друг с другом не менее трех секунд, целую вечность.

— Иван Тимофеевич, я поступаю честно, — сказала я, не отводя своего взгляда от его человеческого взгляда (коммуниста), — и вы понимаете это.

— Я понимаю, — ответил он и опустил глаза на мое «дело» и несколько раз быстро сожмурился, похлопал веками, как делают люди, которые, прямо взглянув на солнце, сразу вновь погружаются в сумерки… и какие-то темные пятна ходят перед очами ихними.

И в то мгновение я увидела его веки: темные, темно-коричневые, в частых, выпуклых, вдоль идущих, набегающих друг на друга желтых морщинах, с черной полоской под глазным яблоком, усталые, страшные веки смертельно уставшего человека. Несчастного, несчастливого человека. Не кутилы, не развратника, не горнового рабочего, не бессонного художника или поэта.

Нет, таких век не могло быть ни у кутилы, ни у фанатика, ни у развратника, ни у бессонного поэта.

Усталый человек, усталые, коричневые, в мелкую продольную желтую складочку веки… Да ведь он устал… устал этот человек… Потому что он — тоже человек… (как с немцами). Это мгновенное видение век прошло сквозь сознание сквозным, но не колющим, а тупым прободающим ударом, но не задержалось в сердце, в сознании… Я как будто бы отложила его. «Потом, — сказала я себе, — потом…» С чего ты устал, так твою…

— Ну так как же, значит, у вас в камере вы врагов народа не обнаружили?

Мы вновь были не людьми, а следователем и подследственной, но то, что хоть на миг блеснуло между нами…

А глаза у Вани были как голубые игрушечные блюдечки, глаза как будто без век и ресниц. Этакие вылупленные круглые глаза. И вот они опять стали такими… Сколько раз он наклонялся

к моему «делу», и я смотрела на него, иногда с любопытством, иногда с ненавистью, такой, что мне казалось, — вот он сейчас услышит ее пропущенный сквозь зубы стон-стенание. И только сегодня я заметила эти огромные, темные, складчатые усталые веки — веки усталости, веки опустошенности.

Не потому ли это случилось, что мы первый раз по-человечески взглянули друг другу в глаза?..

— А если я дам вам с ней очную ставку?

— Прошу вас. «Хоть в рожу ей плюну». Выдать Пушкина! Выдать секрет двух букв…

Размышления. «Он устал…» А от чего, ё. т. м., устал!

А почему он терпит! Почему он делает все это…

* * *

МОИ ДАТЫ:

7/XI-37

Меня выгнали из демонстрации.

Ничего. Я не сержусь на вас. Я еще напишу о вас такое, что вы будете плакать над этим. Парикмахер, который стрижет меня сейчас, когда-нибудь будет гордиться этим.

Затем — блокада. И вот я на «Электросиле» — веду кружок, и *<неразб.>* они просят у меня прощения за то, что они выбросили из демонстрации.

И они плачут над моими стихами, — я пишу о них, о знамени, стоявшем в завкоме:

«Умрем, но не отдадим Красный Питер».

7/XI-48

На Дворцовой, участвую в радиопередаче о демонстрации, «веду» Московский район и Невскую заставу, НКВД и МГБ дают мне «карт-бланш». Отец в эти часы умирает, прижимая наушники: «Ляльку послушаю… о За-Невской говорит…» Так я и не узнала, слышал ли он меня.

* * *

(К 1939 г., к возвращению на «Электросилу».)

Ну да, ну да, были, были тяжелые годы. Но все-таки в конце[223] 39-го (ах, не могу удержаться от восхищения собой!), с волосами жемчужно-золотыми, на второй день после выхода из тюрьмы пришла я в партийный кабинет завода «Электросила».

Прямо в кабинет секретаря парткома, а там сидела Лизка Личнова — ну подумаешь, партизанка по 1917 году! Я тихонечко открыла дверь и сказала: «Лиза, здорово, это я». — «Ольга! — закричала она волчьим голосом, — Стой! Покажи зубы!» Я оскалилась. «Господи! — сказала она. — Целы… Ну ладно, дура, иди, бери свой партбилет». Потом она открыла средний ящик главного стола партбюро, взяла мою кандидатскую карточку, бросила мне ее и говорит: «Ну бери, дура, ну!» Я сказала: «Сейчас, сейчас, я возьму…»

Потом она кинулась мне на шею и зарыдала. Она рыдала и приговаривала: «Ну что они с нами делают? Ну что они с нами делают?»

Я ответила: «Лиза, еще не знаю».

* * *

ПРОЩАНИЕ С КОЛЕЙ

Как он стоял нагой и как я целовала его, стоя на колене перед ним, его ноги, его колени, его бедра, все его прекрасное, прохладное тело, которое могло быть уже завтра изуродовано, растерзано в клочки. Но сейчас оно было прекрасно, молодо, полно сил.

Я целовала его бедра, его живот, его плечи, постепенно подымаясь с колена, и он стоял неподвижно и не смущался, понимая, что это не поцелуи жены и любовницы, но женщины, отпускающей мужчину в бой (но как все женщины — всех мужчин, идущих, уходящих на войну).

Я поднялась, и мы поцеловались в губы долгим и глубоким поцелуем. Нет, мы не желали друг друга, ни он меня, ни я его. Ибо это не было прощанием любовников, но прощанием людей, вступивших в Войну.

* * *

Девушка, что пела у заставы,
может быть, сегодня умерла.

В. Саянов

Да, да, я умерла, та, с вишнями, с утренними рассветами, с белыми ночами, с тополем, дежурившим под окном.

Сначала листья его становились голубыми, а потом, уже

ближе к восходу солнца, зеленели и зеленели.

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита![224]

Стихи и обстрел были как бы вне меня, они звучали извне, и на фоне этого звучания проходила вся жизнь, все другие ее звуки, образы, видения. Иногда же стих заглушал все:

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал:
молись![225]

Да, да, молись.

Озноб ожесточения все круче пробегал по телу, сумрачный, озаренный восторг все рос — «Теперь твой час настал. Молись!» — Неужели это написал Блок за много лет до сегодняшнего дня? Нет, это я сейчас сама сказала, потому что все верно. — «Доспех тяжел, как перед боем…» — Это я написала. И в ответ откликнулась: как в юности, молюсь тебе сурово…

И я молилась, обращаясь к Родине (тому огромному, страшному, любимому, прошедшему, проходящему через меня этим расплавленным искрящимся потоком).

Как в юности, молюсь тебе сурово и знаю: свет и радость — это ты (и это была — молитва).

Молитва — серебряное ведерко, которое опускает человек в свою глубину, чтобы почерпнуть в себе силы, в себе самом, которого он полагает как Бога… Он думает, что это он Богу молится, — нет, он взывает к собственным силам.

Теперь твой час настал! Молись!

И я молилась. Все глубже и глубже опускалось серебряное ведерко…

(Серебряное ведерко. День штурма. 1941)

* * *

А оба моих — Коля и Ирочка — умирали под знаменами. Последними словами Ирочки были слова: «Опустите стяги!»

Откуда она знала это слово? Я не говорила ей его. Она взглянула на стенку уже стекленеющими глазами — гордо, надменно, обиженно и прошептала это повелительно, достойно…

И когда я последний раз, накануне смерти, видела Колю, он тоже надменно, дико глядя перед собою, прошептал: «Склоните знамена».

И я окончательно поняла, что он умирает, потому что вспомнила последнюю фразу Ирочки.

* * *

1. I-47

Добровольский, сотрудник Дзержинского, старый большевик. Был заведующим музеем ГПУ — НКВД. Потом арестован, долго мыкался в нетях.

В 1941 году — комиссар Седьмой армии.

Говорит:

— Встречай командующего армией, смотри, чтоб не ушел к немцам или чего с собой не сделал, а то — во (к лицу Добровольского гепеушник подносит сжатый кулак).

Прилетел самолет. Вылезает оттуда Мерецков[226], небритый, грязный, страшный, прямо из тюрьмы.

(Далее) Добровольский рассказывал: идет бриться. Добровольскому:

— Ты, что ли, ко мне приставлен? Ну, пойдем на передний край.

Ходит, не сгибаясь, под пулями и минометным огнем, а сам туша — во.

— Товарищ командующий, вы бы побереглись…

— Отстань. Страшно — не ходи рядом. А мне не страшно. Мне жить противно, — понял? Ну, неинтересно мне жить. И если я что захочу с собой сделать, — ты не уследишь. А к немцам я не побегу, — мне у них искать нечего… Я все уже у себя имел…

Я ему говорю:

— Товарищ командующий, забудьте вы о том, что я за вами слежу и будто бы вам не доверяю… Я ведь все сам, такое же как вы, испытал.

— А тебе на голову ссали?

— Нет… этого не было.

— А у меня было. Мне ссали на голову. Один раз они били меня, били, я больше не могу: сел на пол, закрыл руками голову

вот так руками, сижу. А они кругом скачут, пинают меня ногами, а какой-то мальчишка, молоденький, — расстегнулся и давай мне на голову мочиться. Долго мочился. А голова у меня — видишь, полуплешивая, седая… Ну вот ты скажи, — как я после этого жить могу.

— Да ведь надо, товарищ командующий. На вас надеются. Видите, какая обстановка.

— Вижу обстановку…

Ну, настает ночь, он говорит:

— Что ж, давай вместе ложиться на эту постель.

Мне страшно его оставить, легли мы вместе, лежим, молчим.

— Не спишь?

— Не сплю, товарищ командующий.

И вот стали мы вспоминать, как у кого «ТАМ» было. Говорим, вспоминаем, — не остановиться, только когда он голос начинает повышать, я спохватываюсь, говорю:

— Тише… тише, товарищ командующий! Ведь, наверное, за нами обоими следят. Разрешите, проверю обстановку.

Соскакиваю с постели, бегу смотреть, не слушает ли кто у дверей.

И опять говорим друг с другом… Глаз до утра не сомкнули…

<Добровольский и Мерецков>

* * *

<…> Пожелание Кости[227] — иметь в виду XX съезд[228]?

А мы и сами не могли представить, каким сложным и насыщенным он будет.

Мы ощущали приближение огромных перемен, почти геологических сдвигов, и все-таки не могли представить, что эти два года будут так насыщены событиями.

Если бы их просто перечитать, то и тогда это было бы очень много, а ведь они шли через наши сердца и судьбы. О многом, чрезмерно многом надо писать, необходимо описать, пока оно не забыто. Мне нужно вспомнить не только последние 17 лет своей жизни, но и всю свою раннюю юность (только) для того, чтобы рассказать об одной встрече своей осенью 54-го года с одним товарищем, вернувшимся из лагерей, — Ан. Горелов[229].

А Валя Балдина — и ее история, вернее, история ее мужа Баршева, трагический конец которой пришел ко мне — и почему-то именно ко мне… Откуда мог знать Оксман, что рассказывает мне о муже подруги детства, с кем играли за Невской заставой в лапту, в упоительное «давай повоображаем», ходили в одну

школу, вместе, одновременно влюблялись, поверяли друг другу, замирая и страшась, о первых поцелуях, одновременно — уже всерьез, взаправду влюбились — она в Борьку Лихарева, я в Борьку Корнилова и почти одновременно вышли замуж. Оксман знать ничего не знал об этом… А вот судьба второго мужа Вали пришла ко мне, и конец его был так страшен, что я не смогла рассказать о нем Вале, — вдруг попав к ней в поликлинику со своими зубами…

Во всем этом я вижу какое-то явное предзнаменование, вернее, какой-то особый смысл, — точно кто-то намеренно делает так, чтоб мне стало известно все это, чтоб я написала об этом, не дала ему утонуть в забвении, умереть.

* * *

Трагическое поколение. Время отмеряли от самоубийства до самоубийства.

Смерть Есенина…

Есенин — Маяковский — Фадеев.

Смерть Маяковского (задрапированный грузовик) — 1.

(Найти материалы.)

Я еду его хоронить. Меня собирают и напутствуют товарищи по университету, провожают…

Смерть Горького (лафет) — 2.

Смерть Фадеева (автобус на наивысшей скорости!) — 3.

О, наш поэтический мартиролог.

«Мы ощутили, что началась новая эра для нас».

Глава оканчивается убийством Кирова.

(Убийства и самоубийства. «Осторожнее, мы идем по могилам наших друзей…»)

С размаху — «Узел»[230]. Печатать надо только вместе, по крайней мере «Первороссийск» и «Узел».

Связь: Маргарита Коршунова[231].

Я у нее в госпитале, в блокаду, в дни прорыва Ленинграда.

Неразрывно спаять тюрьму с блокадой.

Тюрьма — исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней.

На днях умер Володя Жудин, сын Гали Пленкиной. Вот Галка стала сейчас свободна от своего тягчайшего креста, от бессонниц, от постоянной тревоги и много-много другого, — но это означает его смерть… Так же, как для меня — освобождение от

необходимости ходить в сумасшедший дом, отрывать от себя какие-то куски — означала смерть Коли. Да, ты свободна. Тебе легче. Знай, это навсегда. Тебе всегда теперь будет легче, чем было. И это навсегда. В том-то и ужас, что навсегда. Это навсегда, это никогда, и означает смерть, конец всего, полную безысходность. И вот теперь Юра никогда не обругает, не ударит, не оскорбит меня, но это означает, что и любви его тоже не будет и его не будет рядом со мной, никогда, никогда в жизни, т. е. до моей смерти.

Я уже не только примирилась с этим, но, кажется, стала даже совершенно равнодушна к этому. Это значит, что и я разлюбила его…

Сегодня — обсуждение «Дневных звезд». Надо откинуть от себя все мелкое и тщеславное, — это еще не главная жизнь, хотя надо постараться сделать свое выступление таким, чтоб оно внесло дыхание настоящей жизни. Мое тщеславие — не в счет и не настоящая жизнь, и отношение ко мне сегодня Юры — второстепенно (хотя и оно жизнь, и то, что я думаю о нашей встрече, тоже жизнь, — но не она, не она главное). Главное — исчезновение Володи из мира, из жизни, которую он так неистово любил, несмотря на свою расслабленность, главное — в горе Гали, в той пустоте, которая сейчас ее окружает, и в невозможности привыкнуть к ней, смириться с нею. Главное в том, что мы с нею знаем о главной, о страшной, трагической и безумно героической жизни народа, полной утрат, бедствий и мужественного терпения, мы живем этой народной жизнью, мы знаем о ней, все время помним, и то, что мы храним в себе эту жизнь, невидимо и гордо отделяет нас от тех присутствующих, кто полон суетой, тщеславием, заботой о мелких выгодах своих, о своем положении в обществе, как, например, мой бывший супруг. Мы будем полны смирением и важностию, смиренной важностию и спокойствием, важным спокойствием, как владеющие тайной.

Вполоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела…[232]

Да, вот так. Все время помня о главном, гордо помня, не давая себе увлечься ни славословием, ни хулой.

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм…

И все-таки должна признаться и записать, поскольку я вновь возвращаюсь к дневнику, — что мысль о том, как я буду

держаться и какое это впечатление произведет на Юру, — последнее занимает меня больше всего. Я должна растерзать ему сердце, вот пусть-ка он ахнет — ах, так вот что я потерял! Пусть ахнет и ужаснется, на что променял Меня, пусть поймет, что меня у него не будет тоже никогда и никак. А то он готов пристроиться в друзья (тоже мне друг, едва не убивший меня, убивавший сознательно и методически несколько лет подряд, фронтовой товарищ, бросивший меня умирающей и на рысях побежавший строить новую семью). Но не этим, все же не этим, хоть и почти неодолимым, должна быть полна душа. Никто, кроме меня, не знает, какого мужества стоили мне «Дневные звезды», — так, чтоб рваться к ним сквозь женское свое унижение, отчаяние, одиночество; сквозь «закрытые письма ЦК», хотела написать — сквозь соблазны конъюнктурного успеха с целью «обеления», — но с радостью могу сказать, что уже давно не владеют мною эти соблазны: слишком горькая жизнь моя отучила меня от них полностью.

<Начало 1960-х>

* * *

Сегодня утром умер Михаил Михайлович Зощенко[233]. Так все это меня переворотило, что не только работать не могу, а отвечаю невпопад и даже забыла, отдала Маргошке[234] свою рукопись или потеряла ее. Я ни в чем не могу упрекнуть себя по отношению к Михаилу Михайловичу. Не только ни словом, ни делом не предала его в катастрофические дни 46-го года, восприняла это как личную катастрофу, чем могла, старалась согреть. В позапрошлом году, после XX съезда, первой и, кажется, единственной ринулась в драку за него, говоря о необходимости пересмотра знаменитого постановленьица и доклада Жданова и отношения к Зощенко вообще. И все же чувство глубокой вины своей за трагическую судьбу его легло сегодня на душу как камень. Впрочем… Впрочем, и никогда-то оно меня и не покидало. Чувство вины и стыда и перед ним, и перед Ахматовой, и Пастернаком[235] и многими другими напрасно и варварски травимыми и загубленными художниками. Какой он был чистый, смелый, мужественный человек, непримиримый к подлости, лжи, лицемерию и хамству.

«Я бросаю вам перчатку, поднимайте», — сказал он, маленький, изящный, беззащитный, когда его в очередной раз прорабатывали и воспитывали за «Парусиновый портфель». Эх, невозможно вспоминать обо всем. А как я встретила его тогда, в

46-м, на Пантелеймоновской[236], сжавшегося к стене, как он мужественно и, главное, скромно нес свой ослепительно страшный венец, возложенный на него варварами в этом распроклятом постановлении. Он не кичился своим непомерным страданием, не бравировал мужеством, он просто был непреклонен, он не мог иначе. Как вспоминается этот позор, этот день, когда мы вернулись из Риги, узнали обо всем… Как-то будут хоронить его наши держиморды? Поди, не дадут народу проститься с ним, не поместят даже некролога. Нет, решительно ничего не могу, даже писать. Завтра домой. Надо собрать силы и закончить отрывок, в который так страшно вклинилась эта утрата.

22/VII-58

* * *

Когда я шла от Штейна[237], после того как он, Штейн и Збарский[238], главный мумификатор Ленина, Женечка говорил про него: «ходит, примеривается к скамеечке», сочиняли пьесу «Суд чести» о Раскине и Клюевой[239]. (Пока все помню.) Они были в ажиотаже. Они говорили о том как он закатил припадок стенокардии, а она, кликушествуя кричала: «Мой отец погиб от рака, и я дала себе слово бороться против злокачественных опухолей, даже если бы мне пришлось всю жизнь сидеть в каменном мешке без света, без людей». — «Ты подумай, Ольга, какая сволочь как прикидывается», — я молчала. «Ах, какая пьеса, — сказал Штейн. — Ольга, правда, какая пьеса?» — «Не знаю, — сказала я, — а что, они действительно изобрели средство против рака?» — «Да, но ведь они низкопоклонствовали, просили себе бразильских пауков, приняли в дар по авторучке… Ну, что бы ты с ними сделала?» — «А я бы поставила им золотой памятник». — «Нет, Ольга, ты не наш человек» — «Смотря кем вы себя считаете. Вернее всего, не ваш. Нет не ваш». Выскочила. Иду по страшной, завьюженной улице Горького. Вдруг во вьюге — Миша Светлов. «Ох, Миша!» — излагаю примерно, что было. «Ну, ладно, старуха. Ну… дура дура… Ну пойдем, согреемся…» — в «Коктейль-холл», где он завсегдатай. «А, брось, Миша, ну что ты от меня хочешь? Почему ты хочешь, чтоб меня принимали в Кремле?» — «Потому что я не хочу, чтоб ты была на Лубянке…»

(Эпизод с Мишей Светловым)

* * *

О «Слезе»[240]

«Построили утопический социализм, приняли его за научный и стали жить в нем» (Коля).

* * *

Честно перестраиваться, принимая все как должное.

* * *

Интеллигент, в порыве патриотизма — не самодонесись.

* * *

Каждая премьера Шварца[241] — праздник. Шварц в кино. «Дон Кихот». Женя всюду оставался самим собой. «Голый король» и мой «Женя Ефремов»[242].

А «Дракон» все продолжал ходить по рукам в гектографированном экземпляре…

Его болезнь. Евангелие.

Его смерть. Мне не дали говорить[243]. Но вот что хотела я сказать. И вот что хотела я сказать о Зощенко. И тоже не дали.

Премьера «Дракона». Событие. Оно всячески снова замалчивалось.

Появление гнусных статей. По мере того как шло нарастание культовых сторон в правлении Хрущева, по мере того как все туже показывала себя «кузькина мать» в области искусства (уже широко известная к тому времени, как политическая деятельница международного масштаба), — все тяжелее становилось рыцарю Ланцелоту.

И бургомистры своего добились — «Дракон» был снят.

Но судьбы поэта не заямить. Он двинется, дымясь, из-под судеб, расплющенных в лепеху. И люди скажут, как про торф: горит такого-то эпоха. Каждое новое запрещение «Дракона» только подтверждало его жизненность и актуальность. «Дракон» шире политики — вот в чем дело, в том смысле, как это говорил Коля.

Николай и Шварцы. Коля — дичок и гений — по-мальчишечьи втайне обожал Шварца, а Шварцы — его.

Он сторонился Германа, других моих друзей и приятелей по

литературе, а Шварца любил, и Анну Андреевну любил. Как я любила наслаждаться ими вдвоем — Анной Андреевной и Евгением Львовичем — у себя, или у Германов, или у него.

[Над строкой: «Эйхенбаум[244], Андроников[245] (танцевавший Уланову[246]) — двойное чудо!»]

Они были изящны, той интеллигентной изящностью, которая как дар, как кровь, — изящный внутренне и внешне, — свойство, почти утраченное нами и совершенно не известное новому поколению поэтов. Не изысканные, не стиляги — о, какие космические пропасти лежат между этими понятиями, а именно изящны, — как, например, изящен был Светлов, Маяковский, как несомненно изящен Твардовский. А вот Инбер[247] — манерна.

Их изящество не исключает ни глубины чувств, ни страстей. Я ведь пишу о Шварце — а говорю, и даже подробно (об Ахматовой у ворот Фонтанного дома, за пошивкой мешков, сочинением четверостиший), о Николае, о моем папе, любившем его, и как любили его Шварцы! — но как я могу говорить о Жене без всех этих людей, дорогих мне, любивших его и любимых им? Он немыслим вне людей, он жил, и мыслил, и творил не только для них, но и ими… Писал ими, как красками, образы свои, то светлые, то зловещие. Он был часть нас, — а МЫ — органичная часть народа…

Я долго не могла начать писать воспоминания об Е. Л. Шварце, пока не поняла, что я и не смогу написать о нем «воспоминания», пока не поняла, что писать о нем — это писать о своей, о моей жизни, — так как он неотторжимая часть моей жизни, часть души моей, кажется, еще живой.

Мне писать о нем — вспоминать его — разве это перечислять запомнившиеся его афоризмы, шутки, остроты? Рассказать лишь его повадки, как он, сдерживаясь, прыскал и прикрывал при этом глаза дрожащей своей рукой? Мне рассказывать о нем — это рассказывать чуть ли не обо всем горчайшем и мужественном отрезке жизни, отрезке пути духовного, — такой след его неизгладимо хранится во мне и, я знаю, почти во всех людях, кто близко знал его.

Как мы принимали Пристли[248] и боялись есть то, что «выставлено». Шварц спросил:

— А как ты думаешь, это можно съесть?

Трясущимися руками завернул бутерброд и спросил меня:

— А как ты думаешь, могу я это Кате[249] отнести? Это не воровство?

— Женя…

— Да ну, мне противно.

— А Пристли сказал: «Такой завтрак не мог бы выставить

английский король».

— Ах король?! Ну, где ему…

* * *

Встреча с первороссиянином Гавриловым.

3/VIII-60

2 ч. ночи.

Хотя уже очень поздно и страшно болит голова, не могу не записать о встрече с первороссиянином Михаилом Ивановичем Гавриловым. Ожидала увидеть непременно глубокого старика, и даже в доме готовились к приему именно старичка и уже именовали его «старичок». «А чем же мы угостим старичка? Ведь не раками же!» — и мы ходили с Наташкой[250] в магазин без продавца — искать для старика мягонького кексика или чего-нибудь такого…

Первороссийск. Первороссияне… Это уже было так далеко. Только история священная, только поэзия теряется в ретроспективе веков…

А пришел высокий, плечистый, с довольно густыми полуседыми, откинутыми назад волосами, очень крепкий пожилой человек — совсем не намного старше меня. Он был так крепок, так подтянуто-спортивен, так профессионально объяснил мне, что делать с уснувшими раками, — поскольку он рыболов и охотник, — что, когда мы сели в столовой друг против друга, — почти истерический смех одолел меня: хорош старичок! И вдруг радостно и озорно и до изумления по-новому открылось: да ведь он — мой современник, мой «годок», он вовсе не где-то далеко, он вовсе не только поэзия, ее желанная, но несбыточная мечта, или вымысел мой, — он живой, реальный человек, такой же, как я. Да ведь детство его в Первороссийске совпадало с моим детством в Угличе!

И вот он заговорил, нервно, возбужденно, я бы сказала, даже болезненно…

Его первые фразы были вызваны моим идиотским смехом и затем попытками разъяснить ему, почему я хохочу. Да потому, что он не старик! И я рада этому!..

Но он не понял этого. Поначалу он вроде даже обиделся, его глаза с широко разлитыми зрачками немножко заметались. Он заговорил:

— Я, конечно, был в коммуне ребенком, подростком, но ведь,

знаете, детская память крепче всего схватывает видения мира и держит их всю жизнь, и эти впечатления формируют человека. (Я начала слушать с волнением — да ведь он же говорит мои мысли из «Дневных звезд».)

И поэтому Первороссийск бессмертен, хотя исчезла сама точка — она уже почти затоплена. Первороссийск у меня тут, в груди. Он для меня — святыня, что бы со мной ни стало. Он в людях.

КАПИТАЛЬНАЯ МЫСЛЬ, которую надо будет провести красной нитью: Первороссийск — бессмертен в людях, он вообще — в людях, в людях дела, а не в колхозах, совхозах и т. п.

Это ВТОРАЯ капитальная мысль, а первая — о нашей современности с первороссиянами. О совместном, едином во времени и пространстве существовании с легендами, поэзией, историей. Сосуществование времен! Оно — в человеке.

Он говорил о двадцатом годе — как они дрожали, ожидая расстрела при отходе Колчака[251], а в это время в морозной келье мы с Муськой… а в это время на VIII съезде Советов… Единовременность, симфоничность происходящего…

И вот в нем навсегда осталось это незыблемое, чистое, священное — Коммуна. И биография его до ужаса схожа с моей и с замыслом всего первого тома «Дневных», которых он тогда не читал. В жизни его было и подозрение *<неразб.>*. Незаслуженное, облыжное обвинение, подозрение начинается с того, что он был «в какой-то коммуне», тогда как сказано товарищем Сталиным, что это «перегиб» и надо не коммуны, но артели, — исключение из партии, гонения, не дают работать в полную силу и с радостью (как мне — писать правду), сына Первороссийска гнут, калечат, терзают… Мне становится страшно, как будто бы я слышу самое себя, — как во время галлюцинации, самые затаенные мысли, даже от себя затаенные, загнанные глубоко внутрь. На минуту нервы начинают сдавать, и сверкает мысль: «Да Гаврилов ли это? А может, вовсе и нет никого, а мне все это только чудится?»

Минутами — как карамазовский черт… Потому что первороссиянин говорит МОИМИ МЫСЛЯМИ, моими словами, хотя и сбивчиво, и почти косноязычно.

— …И одиночество, такое одиночество… Никого! Все рассыпались, никто не доверяет друг другу…

Разве так было в коммуне? Разве за это боролась коммуна?

Я был подростком, я многого не сознавал, но я вижу, что я не

за это боролся, и пахал на себе, и пропалывал хлеба, руки до крови раня острыми сорняками… А теперь я вроде скрывать должен, что я был коммунаром, мне говорят: «Вы поторопились, вы перегнули». Да что, чем мы перегнули? Тем, что друг за друга держались и верили друг другу?! А теперь — да ведь это РАЗРУШАЕТСЯ РУССКИЙ ХАРАКТЕР, потому что ведь русский мужик искони, всю жизнь на доверии друг к другу строил. Дрались, друг друга подвздох порой били, но — единение. Открытая душа, поддержка друг друга. На русском характере Первороссийск взошел…

Коммуна пришла ко мне как раз в эти годы — 38–39-е, когда коммунаров и меня гнали, и мне как раз в эти годы, по этим же мотивам «зарезали» сценарий о Первороссийске. Я обратилась к ней снова в 1949 году, после краха всеобщего и при первых признаках краха неверного военного счастья. — Спаси меня…[252]

<…>

М. И. Гаврилов:

«Распадение русского характера, распад русского характера», — это он о ежовско[253]-бериевских временах говорит.

Русский человек добр, общителен, доверчив, приветлив, правдив… А что из него сделали?!

О коммунарах: — Мы рассеялись, мы не искали друг друга, и никто не интересовался нами. Никто не спросил: «А как вы теперь живете?..» Вот только вы и вспомнили — в поэме… Я и пришел.

(Но это неверно. Помнят, и помогают, и собирают, и памятники ставят…)

Но вот о чем-то главном — забыли. **Ушел дух коммуны**. Не сохранен и остов. На месте ее — моря и сталинские стройки.

4/VIII-60

Все время продолжаю думать о вчерашнем визите Гаврилова. Вот я уже и совершила, собственно говоря, поездку в Первороссийск — не в пространстве, а в глубину собственной души, биографии, — души и биографии поколения, путешествия в «Трагедию всех трагедий» в ее истории и развитии и сегодняшнем, современном состоянии. Да, в частности, до чего же все происходящее с ним (с нами) воистину современно. (О? если б знали обо всем этом там, в мире…) Вот она, отразившаяся, точнее — жаждущая отражения во мне — дневная звезда.

Командировка «в собственное сердце».

И ведь — он летел на Бухтарму в качестве «авторского надзора» со стороны Ленгидропроекта, он гидротехник, он специалист по бетону и участвовал в разработке проекта плотины — а в скрытой своей духовной жизни — вот он виден пока только

мне. Это я, первая, увидела его во всей несгибаемости внутренней, при согбенности внешней (не смог-таки добороться за себя в партии до конца, как хотя бы доборолась я[254], — и в те годы, и в 1954-м, — это не в порядке хвастовства, а в порядке общего «зачета очков» за нашим поколением!

— Я первая увидела его с Китежем, — малой церковкой в душе, — теперь смотрите же на них все…

Вот продолжение моей поэмы пришло ко мне на дом, конец моей книги — так, как он и был задуман, пришел ко мне, — в образе и индивидуальности человеческой.

Ведь по плану-то книга кончается «Узлом» — то есть тюрьмой, то есть испытанием, невиданным в истории человечества, сквозь которое, вернее — из которого человек Первороссийска, дитя коммуны, — вышел с Китежем в душе, пусть безмолвным, бесколокольным, но существующим, реальным… Мой замысел пришел ко мне, и я его испугалась, — настолько это было мое и уже не мое, — двойник, галлюцинация, чудо, — как же так оно уже отделилось от меня, — еще до того, как я его воплотила? Оно уже существует помимо меня.

Но это лишь означает верность ходам моих философских (теперь не побоюсь произнести это слово) суждений и художнических устремлений и планов. Никакой гордыни, никаких самоупоений, но твердое знание своей силы, предназначения и обязанностей. Да, «вас Господь сподобил жить в дни мои…»[255], но вот только теперь видно начало подлинной работы — начало подвига… Ведь я — их память и их язык. «Начало подвига. К нему призвал Господь». Град Китеж… Никакой суетни и никакой болтовни. Не расплескивать, как уже почти начала. Быть может, сказать только все — Юре.

Герой приходит к писателю.

Отлично знаю, что все, пришедшее ко мне и задуманное, идет «на запрет», но надменно улыбаюсь над этим, потому что знаю: это правда и она пройдет. Писать только ее. А если вновь принять за нее утеснения и обиды, — пускай. Принять.

* * *

…Ну и долго же я не отчитывалась в своем летнем путешествии. Иные писатели успели за это время съездить кто в Италию, кто в Индию, кто в Монтевидео, но я была дальше всех этим летом. Я путешествовала в прошлое, настоящее и будущее

судьбы моей страны. Моей судьбы.

Я ехала, летела и плыла по следам поэмы «Первороссийск».

Я узнала, что один первороссиянин (о нем речь пойдет впереди) был подростком в Первороссийске и что он — один из тех инженеров, которые возводят плотину и затопляют исторический Первороссийск. Первое российское общество землеробов-коммунаров. Его ядро — Обуховский завод. Второе российское общество землеробов. Ядро — Семянниковский завод. И третье — коммуну «Солнц», или «Солнечное», — тоже питерский. Это почти все люди Невской заставы, места моей родины. И над всем этим сейчас расстилается Бухтарминское море.

…Потом, на катере «Академик Графтио», вместе с двумя работниками райкома и еще двумя журналистами мы шли по Бухтарминскому морю. Работники райкома были местные старожилы и говорили: «Над рощей идем…», «Над второй российской…», «А вот и Первороссийск».

Первороссийск, который с помощью Ленина был создан петроградскими рабочими. До этого мечтали о городе Солнца, о фаланстерах, о коммунизме. Питерские рабочие вон там, на отрогах Алтая, построили эти коммуны. Коммуны — в сердцах людей.

Я попросила причалить к остатку того урочища, которое было Первороссийском. Там, вдалеке, была могила первороссиян, но не первооснователей, а уже колхозников. Ведь на месте разгромленного колчаковцами Первороссийска возник в тридцатые годы колхоз «Первороссийск». И мы дошли до этой могилы. Море, конечно, затопит и этот отрезок земли. Пока мы шли туда, буйство трав и цветов поразило меня. Но это были дикие травы. Выше человеческого роста вздымалась дикая конопля, источая удушающий запах мечты. Почти до колен поднималась полынь со своим страшным запахом разочарования и горя… В лицо хлестали лебеда и бурьян… Так я шла по земле дерзаний, земле мечты.

<Январь, 1961>

* * *

В главе «Твоя любовь» не забывать — Китеж.

Китежане (они же — коммунары, могикане). Возраст тут ни при чем, — это те, кто еще верит в Коммуну и полагает, что строит ее.

Пейзаж Бухтарминского моря. Лунный, неземной пейзаж,

созданный человеком («…если б горы от природы были такие маленькие, а то ведь это только верхушки, только вершины. Оставлены одни вершины — изо всей архитектуры, — поэтому такой странный пейзаж»).

Я жадно вслушивалась: зазвонят ли колокола нашего Китежа.

Они благовестили…

…Над затонувшими затопленными коммунами, над градом Китежем идем. (Углич — Китеж. Калязинская колокольня.)

…И не было ни духа, ни остова Коммуны, — не слышно было благовеста, — да, она была опущена на совершенно неподвижную глубину. Нынешний январский Пленум ЦК (янв. 61 г.) ужасающе подтверждает это. Липа, показуха, ложь — все это привело Коммуну к теперешнему ее состоянию. Ложь разрушила ее изнутри. Ложь была противопоказана народу-правдоискателю. Ее ему навязали, — и вот произошло трагическое (о, неужели необратимое?!) разрушение русского характера (точные его слова) — распад русского характера…

Но, быть может, он тоже, как град Китеж, опустился куда-то глубоко и иногда благовестит оттуда?..

<1961>

* * *

«Читая роман Кетли[256], думала, что можно написать роман о цехе фантазеров. Начало 30-х, о том, как строили, строили быт, бытовую коммуну, и ничего не получилось. Это будет архисовременно. Как потом, когда уже ничего не выходило, они стали притворяться, что, напротив, все чудесно получается. Им ведь жаль было мечты. Стали лицемерить и фальшивить, и тут уж окончательно все погибло, и кто-то не выдержал и завопил».

* * *

Ну как, что же дальше? Где же концы и новые начала наши? Но — без всяких преувеличений — кажется, вылезаю. Главное — несмотря на страшнейшую слабость физическую, на ужаснейшее состояние зубов — появляется некоторая внутренняя устойчивость, — вернее, остойчивость, которая отсутствовала начисто перед болезнью. Собственно, перед гриппом я была гораздо более больна, чем сейчас…

Вот в последнем, каком-то, вернее, предпоследнем, движении

по завершению сценария — вся и загвоздка, здесь-то и держит меня. Слишком я растянула работу, и слишком комкообразно, рывками шла она, перемежаясь болезнями, выступлениями и бессонницами.

Только не кидаться из стороны в сторону. Осталось железное время на все — на книгу стихов, на зубы, на сценарий и так далее.

Вот опять вскакиваю и начинаю метаться. Стоп. Не могу работать на машинке — все кажется, что мешаю тем, кто за стеной. Звать ли завтра машинистку или справлюсь одна? Сейчас лучше лягу и подумаю — все-таки еще кружится голова. И много надо записать о жизни. И ответить Сереже Наровчатову и Павлу Антокольскому[257] — а Мишеньке Светлову уже не ответить — и написать о Жене Шварце — так, как будто бы и нет ни цензуры, и ничего такого, — написать, как надо — как о части своей жизни, — а как я еще иначе могу писать о нем? Он и Катя не простили бы мне подчисток, фальши приукрашения их, холодности и, главное, постороннести — в решающие моменты жизни Женя был вот такой-то…

Как мы познакомились. Читали в школе рядом с тем домом, где я только что родила от Корнилова Ирку. Он сказал: «А сегодня у меня родилась дочка».

<…>

Из дневниковой записи 7 февраля 1965 года

* * *

Рецензия о «Драконе». Дракон. Разворот. Вот чем он навеки вошел в меня. Начало войны. Война. После войны. А 14 августа 1946 года мое выступление, на другой день прибегает Женя и говорит: «Стоит, шейка такая тоненькая, жалкая и лепечет что-то о том, что неверно рассылают билеты».

Я не могу вспоминать о нем по кусочкам, но только в целом. И как свет, мой свет и моя опора — так же, как Зощенко, Ахматова, Светлов, Галя.

Он сливается во мне с моими основными думами, сомнениями, радостями, муками смертными, гордостью самой чистейшей и тайной, раздумьями самыми отчаянными, оценкой и переоценкой основных явлений.

Детали при этом не в счет, их можно нанизывать, но вот важнейшее: как прибежал хвастаться успехом в Германии. И как это действительно важно — его успех. И тут надо рассказать, какой он был воистину мировой писатель. Был и есть. Такие, как

он, — не умирают. Я счастлива, что всегда ощущала его бессмертие и великость рядом с собою — и не как нечто величественное, чуждое, возвышающееся надо мною, но как нечто нежно, запросто, непередаваемо естественно существующее не только рядом, но в тебе самом. Так было и со Светловым, и с Заболоцким[258], и с Пастернаком, — хотя с каждым по-разному. Обычность безграничного, величайшего, ощущение его естественности, закономерности… В то время как, например, — даже за одним гостевым столом — я испытываю холод рядом с Шостаковичем. Мысль о том, что это, — Шостакович — непрерывно пронзает меня.

Потом, как приходил Женя хвастаться, что Америка приглашает его прислать свою автобиографию в «Словарь великих людей», — хвастаться и потешаться: «Где же я буду? Между Папой Пием и Карлом Х?» Он ничуть не кокетничал, — он был искренен, он искренне радовался успеху в ГДР, приглашению в Америку и искренне потешался над последним. Потом я получила такое же, и мы вдоволь посмеялись над этим.

<…>

* * *

Обязательно развернуто, как он был с немцами в «Астории» из «Доброго утра, люди!»

Женя на даче, толстый, милый, прыскающий со своим котом, и Катя с ее цветами, Томкой, чистотой, бисерными изделиями, и их гостеприимство и уют — и отрывки из «Медведя» — «Обыкновенного чуда» — прозрения, радость несказанная, чистая, огромная. Манера Жени читать, потирая себя по груди. Его улыбка. Его благодушие. А за благодушием этим — такая горечь, такая боль…

<7/II-65>

* * *

Я узнала тоску одиноких,
в тиши проклинающих милое имя.
И позор и восторг обнаженья души
перед недругами своими.

* * *

Так мало в мире нас, людей, осталось,
что можно шепотом произнести
забытое людское слово: жалость,
чтобы опять друг друга обрести.

* * *

За все и за всех виноватой,
душе не сказавшей — «прости»,
одной мне из этой палаты, одной
никогда не уйти.

* * *

А уж путь поколения
вот как прост —
внимательно погляди:
позади — кресты.
Кругом — погост.
И еще кресты — впереди.

(Эпиграфы к главам второй части «Дневных звезд»)

* * *

…Память — чудо, совершенное чудо мира, природы и человека, воистину божественный дар. Она неистребима.

Забвение истории своей родины, страданий своей родины, своих лучших болей и радостей, — связанных с ней испытаний души — тягчайший грех. Недаром в древности говорили:

— Если забуду тебя, Иерусалиме…

Забвение каралось немотой и параличом — бездействием, «на главу веселия своего», то есть жизни.

* * *

И все-таки самое главное — Коля, история нашей истошной любви и веры.

«АЩЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, ИЕРУСАЛИМЕ...» письма

...А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще?

О. Берггольц Дневник от 20/III-42

ПИСЬМА Г. П. МАКОГОНЕНКО [259]

5/XII-41

Вечер. Я проснулась, как обычно теперь, от постылого грохота артобстрела...

Мне казалось, что, покинув Ленинград, я внутренне умру, перестану писать, как-то обмякну. Нет! Я буду много работать, и в том же направлении, как здесь, — я буду работать для Ленинграда, для людей. Я буду писать. Я напишу еще хорошие вещи, а после войны — очень хорошие. Не смейся... мне сейчас кажется так, я уверена именно в этом... Я не рассказывала тебе о том, как страшно умирали мои дочки: Ириша восемь часов, до последнего вздоха умоляла меня спасти ее, — она понимала, что умирает. И какими словами умоляла, как обещала «сделать все-все, что ты захочешь, только дай мне сто раз камфары, чтоб я не умирала». Да и Майка тоже, — она первый раз мне сказала «мама» и твердила это слово за день до смерти, уже умирающая. А потом эти аварии... когда двоих убили у меня до появления на свет, оставив перспективу почти полной безнадежности в этом отношении.

...И вдруг в такие смертные дни, в дни крови, бесчеловечного истребления людей, в дни, отрицающие жизнь, в городе, где смертью грозит каждый час... мне возвращается то, что было так безжалостно и страшно отнято. Разве это не чудо? Это чудо, это доверие жизни, это дар и, может быть, ее награда мне.

6/XII-41

Вчера писала тебе при свечке — нет огня, а над свечкой пристроила кофейник на треножничке, и, представь, он согрелся, и я выпила кофе с твоим сахаром. Вот романтика гражданской, — нет, отечественной войны, как она есть! Не кончила письма,

потому что началась тревога, и сразу — очень близко — три бомбы. И мой кофейничек скатился на пол, и все поехало. Я в эту минуту очень испугалась! Оказалось, что все три рухнули в наш переулок, в дом, где живут Фриц и Эрнст[260]. Они спаслись буквально чудом, в одной комнате остались висеть. Сегодня иду по переулочку и слышу ликующий возглас откуда-то сверху: «Ольга Федоровна, привет, здравствуйте!» Поднимаю голову — в окне четвертого этажа стоит Фриц и сбрасывает оттуда свои вещи в тючках, а залез он туда по пожарной лестнице, — лестница стоит рядом. Дом снаружи только в трещинах. Внутри — прямое! Вот она опять была в двух шагах от меня.

7/XII-41

Это было пятого вечером, вернее — ночью, немного позднее того, как ты провалился под лед. Мне только что принесли твою записку — пять минут назад. Вчера я начала писать тебе это, но опять не было огня, — теперь его не будет в домах вообще, а также не будет угля, — у нас в квартире второй день ниже нуля.

…Эта чудесная, милая женщина с плаката уверяла меня, что ты вне опасности теперь… Но она сказала: «Наши девушки его спасли». Господи, значит, это могло быть, что ты мог погибнуть?.. А мы уедем, видимо, десятого. Через озеро. Ты не волнуйся, — твой вариант навряд ли повторится, ведь в те дни была все же оттепель, а вчера и сегодня — дикие морозы, сейчас — 25. Так что лед, видимо, окреп. А опасность, — если правду-то говорить, опаснее всего в Ленинграде. 5 декабря под грохот и свист я поехала в воинскую часть, где была раньше, читала новое стихотворение, написанное в ожидании машины, во время бомбежки, — меня с ним запишут, приедешь — если захочешь, послушай, ладно? Командиры были сверхдовольны, даже одарили меня плиткой шоколада и банкой витаминов С, и отлично накормили, и вообще, несмотря на мою типично ленинградскую внешность, ходили вокруг меня на бровях, и я уже подумала: «А не остаться ли?» Но когда ночью приехала домой, обнаружила, что Николай лежит с перевязанной головой, — у него на лестнице был припадок, он пропорол себе лоб, очень разбился, лежит второй день. Ты желал мне то спокойной, то доброй ночи, а это звучало почти иронически (ты не знал, конечно), ведь припадки-то самые злейшие у него почти исключительно по ночам, а последнее время их было по три-четыре за ночь, очень тяжелых, и пять дней подряд, со второго числа, без перерыва… Не думай только, что я жалуюсь на судьбу, и не жалей меня за это, — это было бы, наверно, совсем неверно…

Короче говоря, если ехать, то с первой оказией. Я уверена,

что все пройдет хорошо, ну а бомбежка дороги — дело счастья. Если же вдруг придется остаться в Ленинграде, я не испугаюсь, поверь!.. Мы пока решили держать курс — вдвоем — на Архангельск, но там видно будет. Напиши и обязательно протелеграфь о себе на Вологду до востребования, — уж там-то я буду. Я оставлю тебе в твоем столе еще и записочку, и фото, и, может быть, стихи, кое-какие распоряжения и немножко настоящего кофе — пей его один, за меня, по-моему свари, ладно?..

12/XII-41

Неужели я так и не дождусь твоего возвращения? Если пойдет машина — я уеду и не буду ждать обещанного самолета… Вчера стало так плохо с сердцем, что я испугалась — не ложусь ли уж?

О, как мне не хочется уезжать из Ленинграда! Даже этот смертельный холод и тьма в квартирах не очень страшат меня. Если б не падали силы, что превращает меня в ненужную, еле волочащую ноги единицу! Здесь просто свирепая жизнь…

Вот еще одно знакомство, а может быть, в будущем и дружбу подарила мне война, — это комиссар одной армии Х. Он чудесный дядька… Я сказала ему, что хочу уехать, — он уговаривал остаться, говорил, что скоро будет легче… Мне очень хочется написать о нем — о том, что я от него услышала, хорошо написать. Мне очень захотелось остаться… вместе со всеми этими хорошими, смелыми людьми, так терпеливо выносящими все сегодняшние муки в заваленном снегом, тихом-тихом, голодном Ленинграде, чающими великого покоя и света. Post tenebras spero lucem — «после тьмы надеюсь на свет» — любимейшее изречение Сервантеса[261] и его Дон-Кихота, бессмертная, незыблемая, неистребимая опора человеческого духа…

14/XII-41

А я еще здесь! Отлично! Получены эвакосвидетельства, сданы карточки, съеден хлеб, взятый на два дня вперед, но я рада… Боже мой, вот уже начались у нас успехи, — ведь надо еще только немножко потерпеть — а там будет лучше… Но Николай просит и настаивает на отъезде… Ладно, я уеду…

8/III-42

…Пишу тебе на машинке — так быстрее и убористее, а написать тебе хочется очень много… Я так рада, что вчера приехала Муська. Я тосковала отчаянно, смертно, — так, что порой ненавидела и Муську, и тебя за то, что выпихнули меня из

Ленинграда, оторвали от себя, от горькой ленинградской жизни. Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично, но как объяснить тебе, что это еще вовсе не жизнь — это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ — нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи. Я только теперь вполне ощутила, каким, несмотря на все наши коммунальные ужасы, воздухом дышали мы в Ленинграде: высокогорным, разреженным, очень чистым… Я мечтаю о том, чтобы поскорее вернуться в Ленинград, я просто не могу здесь жить и не смогу, наверное…

…Мне кажется, что окончательно установила равнозначность, равноправие так называемого личного и общественного. Да, впрочем, при чем тут теоретические обоснования? Ты и Ленинград неотделимы для меня. Все остальные варианты (типа глубокого тыла, «работы в Москве» — постоянной) — это обкрадывание самой себя, вообще — ханжество и лицемерие, и — как бы все-таки объяснить тебе — страшное укорочение жизни…

Не думай, что все это — следствие того, что пока мои, вернее, наши планы в Москве, как говорится, выходят боком… Впрочем, я напишу тебе кратенько все по порядку, и тогда тебе станет понятно многое со второго абзаца.

На самолете меня не укачало. Я стала смотреть в окошко, как только он оторвался от земли. Мы летели низко, на бреющем, и было хорошо видно всю землю внизу. Меня как-то поразило, что она — *пустая:* елки, елки, домики, снежные равнины и — никакой войны сверху не видно, никакого кольца — ни орудий, ни людей, только земля, леса в снегу, поля — пространство безлюдное совершенно, безмолвное. И так жалко мне было эту безмолвную, тихую и каждой пядью своею воюющую, израненную землю, на которой — за елками где-то — затерян полумертвый Ленинград, что проплакала почти до самой Хвойной. Над озером на нас наскочило шесть «мессершмиттов», один пикировал на наш «Дуглас», мы шли на очень большой скорости, а наше сопровождение дралось над нами, мы шли под боем. Я увидела в окошечко, как падал один самолет, как он ткнулся в полянку, между елок, и сразу задымился. Это было как-то очень просто, вовсе не так эффектно, как показывают в кино.

Мы остановились в Хвойной на ночь, в очень чистом домике, где горело электричество, и был самовар, и было очень тепло. Среди пассажиров я встретила свою школьную подругу с сыном, — ее вывозил из Ленинграда ее муж, замначштаба 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, сам бывший ленинградец. Он вез также одну пожилую женщину — мать медсестры, которая

выходила его от очень тяжелой раны после взятия нами Ростова. Потом, было еще три человека, командированных в Ленинград по разным делам войны.

Мы говорили только о Ленинграде, гвардеец знал меня раньше, по довоенным моим вещам, он попросил прочесть что-нибудь из оборонных произведений. Я прочла им «Февральский дневник», и после этого они попросили меня прочесть его еще два раза, с начала до конца, и один дядька потом сидел и списывал: он ехал в Казань, к эвакуированному из Ленинграда заводу (оптическому), и говорил: «Я нашим ничего не буду рассказывать о Ленинграде, а только прочту эту вашу поэму, и они все, все поймут. Поплачут, конечно, но все же будут за ленинградцев спокойны, что не сдадутся».

А гвардеец произнес после того, как я кончила читать, речь, — и он говорил примерно так: «Да, товарищи, и вот настанет такой день, когда Ленинград будет освобожден, и в этот день дадут огонь, конечно, на целый вечер его дадут, и мы будем приветствовать наши войска в ватниках и в этих страшных полумасках, и поставим на домах статуи наших бойцов ПВО…» В общем, изложил всю поэму своими словами. А женщина, мать медсестры, спасшей его, говорила: «Как вы правильно все подметили, и вот насчет бидончика, и насчет того, что в этом доме от окна дуло, — ведь нам понятно, что это после бомбежки окна были перебитые». А я об этом им, конечно, не говорила. Вот — к вопросу о необходимости «личное объяснить». Я пишу это тебе не для хвастовства, а к тому, что вновь с радостью убеждаюсь, что простые-то, не литературные люди не хуже, а лучше понимают стихи, и напрасно, напрасно товарищи «знатоки» и опекуны так тщательно пекутся о том — дойдет ли до них, поймут ли они и т. д.

А по приезде в Москву, через два дня, после разговора с Тихоновым, — я провела у него весь день, он чудеснейший, какой-то новый, очень строгий и в то же время по-новому мягкий, — после разговора с Еголиным, я убедилась, что о Ленинграде ничего не знают.

Много, конечно, сделал Тихонов, — до него совершенно ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город. Понимаешь, говорили, что ленинградцы — герои, восхищались их мужеством и т. д., а в чем оно — не знали. Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода, что нет транспорта, нет огня и воды. Ничего не слышали о такой болезни, как дистрофия. Меня спрашивали: а это опасно для жизни?..

Ставский воскликнул откровенно: «Не знал, ничего не знал, только от Кольки Тихонова первый раз услышал, что в

Ленинграде такое положение. Разве бы мы так долго копались, если б знали. Мы слышали, что трудности, что туго с продуктами, но и представить себе не могли, что вы выносите…»

Мы очень горько говорили об этом с Тихоновым…

Отсюда — и все мои дела литературные. На радио не успела я раскрыть рта, как мне сказали: «Можно обо всем, но никаких упоминаний о голоде. Ни-ни. О мужестве, о героизме ленинградском — это то, что нам просто необходимо, как и все о Ленинграде. Но о голоде ни слова».

Сегодня я должна первый раз выступать у них. Хотела читать «Разговор с соседкой» — редактор не пропустил, даже с купюрой о бедном кусочке хлеба. В среду хотят дать мне целую «девятиминутку» — это у них такие вечерние литпередачи — и не хотят выпускать с «Первым письмом на Каму», так как «это слишком уж мрачно, слишком тяжелое впечатление остается о Ленинграде». — «Почему?» — «Ну, как же, вы пишете: „Не жалуйтесь, что трудно нам“, — слишком уж прямо сказано о том, что трудно; и вообще мрачное стихотворение»…

Вечер

Продолжаю. Только что выступала по радио вместе с Алигер[262] и Шевелевой[263]… Перед этим я была у Шолохова, но об этом отдельно и после…

В первом своем письме, присланном вместе с Ходоренко, ты спрашивал, как меня встретили, как мой творческий вечер. Это все определялось общим отношением к Ленинграду. К СЧАСТЬЮ, — да, к великому счастью, — мы только одни (может быть, еще Севастополь) знаем, что такое блокада, голод, тьма. Они — москвичи — не знают. У них, не испытавших этого (повторяю, этому радоваться надо), чисто платоническое сочувствие к Ленинграду…

Мой внешний (отечный) вид глубоко разочаровал, и я даже сказала бы — разобидел московских писателей, администраторов Дома литераторов. Мне говорили: «Ой, у вас совсем не ленинградский вид. Вот сын А. Н. Толстого приехал[264] — вот это действительно почти труп, и он так жадно ест…» Я не доставила москвичам удовольствия видеть, как я «жадно ем», напоминая в это время труп… я гордо, не торопясь, ела суп и кашу…

Не волнуйся, я не голодаю, я совершенно сыта; с субботы Володя Ставский всунул меня наконец в гостиницу «Москва», и здесь можно прилично есть, хотя всегда приносят не то, что ты заказываешь, и цены божеские. Я заливалась грустным смехом, когда читала в твоем письме о моем «творческом вечере». Никто даже и не поинтересовался сделать это. Ленинградцы мужаются

— ну и бог с ними…

Но если б я тебе только жаловалась — с моей стороны это было бы свинством. В Москве и Союзе писателей есть отдельные люди — полны самой настоящей боли за Ленинград, самого настоящего стремления помочь ему. И они делают все, что могут. Тут в первую очередь надо говорить о Тихонове, потом о Ставском (он наладил вторую солидную посылку ленинградским писателям и несомненно поможет в добыче лекарств и для Радиокомитета), о Маршаке, у которого, правда, очень невысок КПД, но все же он хлопочет и т. д., о Фадееве, который, к сожалению, сейчас болен воспалением легких. Я слышала от Ставского, что и вообще — «тот, кому это нужно», о Ленинграде знает и старается, чтобы поскорее пришла помощь городу…

И по отношению к твоей покорной слуге эти же люди очень хорошо и заботливо себя держат. Очень мне понравился Вася Ардаматский, — считаю, что мы с ним просто подружились. Я как-то сидела у него целый вечер — на третий день по приезде, он меня кормил, мы вспоминали Ленинград, конечно…

Что касается «Февральского дневника», то по радио его передавать, видимо, не будут. Заведуют тут литпередачами Гусев[265] и Ермилов[266], — после 16 октября они вернулись в Москву недавно. Гусев опасается передавать, потому что (дословно) «эта вещь настолько сильно, слишком сильно схватывает людей за сердце». Какая опять-таки трогательная чуткость к народу, которого хватает за сердце нечто более значительное, чем стихи, вот уже девятый месяц. А вообще поэма ходит по рукам в списках — говорят о ней очень хорошо; один литератор сказал, что это «ленинградские „Двенадцать“ периода блокады» и т. д. Звонила мне группа писателей — Славин[267], Финн[268] и другие — ночью и тоже всякое говорили. В общем, искренне, до того захвалили, что мне как-то тревожно стало: опять чем-то людей обманываю, — кажется она мне не такой, как нужно было бы «по крепости тоски, по замыслу ее». И вот вожусь с книжкой, все еще не снесла ее в издательство, кажется она мне слабой, рассыпчатой, недостойной Ленинграда, недописанной.

Вчера мне с приездом Муси значительно полегчало, я теперь примусь за нее, может быть, кое-что допишу, потом начну ходить по редакциям и т. д. Еще нигде не была, никуда ничего не отдавала, несмотря на ряд предложений, — знаешь, реакция чисто физическая даже тянулась всю неделю и была очень тяжелой, — я еле волочила ноги, даже в начале февраля мне не было так худо. Теперь ничего, не бойся…

Но самое удивительное — внешне, понимаешь ли, цвету. Лицо огрубело до того, что округлилось (отеки!), но румяное,

тело стало просто могучим, — в общем, по отзыву Муськи, похожа я теперь на кустодиевскую молодуху, и кожа не только вернулась — просто небывалой стала по цветам и качеству, особенно как отмыла ее. В номере у меня тепло, я одела свою голубую кофточку с пышными рукавами, ту, в которой была на пятидесятой «Радиохронике», и знаешь, так она на мне сидит здорово, и ничто осанку не портит, хотя уж кое-что заметно, — но как-то находится в ансамбле с плечами, с грудью, с круглым лицом…

И знаешь, что сегодня Шолохова больше всего тронуло, насколько я заметила: не стихи, хотя он сразу же запомнил строфу из «Разговора с соседкой» и несколько раз ее повторил, и сказал об этих стихах и о поэмке — «Стихи!» — с очень дорогой интонацией восхищения, — а то, что я беременна. Он налил всем по большой рюмке чудесного, румяного вина и сказал: «Ну, давайте пить за нового ленинградца»; налил по второй и сказал: «И за женщину, которая будет рожать во время этой войны». Он удивительный — невысокий такой казачок, темно-русый, почти рыжий, с усами, очень простоватый с виду, застенчивый, мешковатый человек. Мне жаль, что я не смогла посидеть у него подольше — надо было идти на радио. О Ленинграде он говорил с настоящей скорбью и гордостью, обещал для нас написать кое-что, записаться ему не удастся — он очень охрип, простудился. Еще я организую запись Ставского, Маршака, Светлова, если до отъезда Ходоренко поправится Фадеев — то и его. Думаю, что все они скажут для ленинградцев что-нибудь сердечное и нужное.

…А за нас не бойся. Только бы тоска не загрызла, а в остальном все образуется. Обещаю тебе даже лазать во время бомбежек в подвал «Москвы». Третьего дня тут было удовольствие — и в тонну весом, и мина — с воздуха, не очень далеко, но не в нас, как видишь. Маленький вел себя бесстрашно. Чувствую, что многого — о делах — тебе не написала, но это уже завтра, — совсем хочу спать…

15/III-42

…Вот на какой огромной бумажине начинаю я отстукивать тебе еще одно письмо. Дошло ли до тебя первое мое послание от восьмого марта, которое я отправила со второй союзписательской машиной? И второе, которое взял у меня один летчик? Второе было коротенькое, а первое — огромным. Я писала тебе там о *своих* первых днях и впечатлениях в Москве, и если оно дошло до тебя — ты все уже знаешь. Какие, так сказать, коррективы нужно внести туда?..

Если ты получил те мои письма, то уже знаешь, какова

установка относительно освещения жизни Ленинграда — здесь. Ни слова о голоде, и вообще, как можно бодрее и даже веселее. Мне ведь так и не дали прочитать по радио ни одного из лучших моих ленинградских стихов. Завтра читаю «Машеньку», «Седую мать троих бойцов», «Ленинградские большевики». Даже «Новогодний тост» признан «мрачным», а о стихотворении «Товарищ, нам горькие выпали дни» — сказано, что это «сплошной пессимистический стон», хотя «стихи отличные» и т. д. И если писать книжку («Говорит Ленинград») или даже план ее, конспект, в этом ключе — то нет смысла, а писать ее так, как мы хотим, — это значит в лучшем случае получить санкцию на издание ее после прорыва блокады, а вернее — после войны. Но все-таки, отправив Виктора Ходоренко в Ленинград, я напишу план-конспект, может быть, даже некоторые главки…

Правда, и я, и Виктор — просто томимся здесь, а Тихонов просто плачет — хочет вернуться поскорее в Ленинград, но его задерживает здесь ЦК: он пишет новый государственный гимн, пишет что-то очень важное для заграницы, для «Красной звезды» и т. д. Он чудесный, он умница, он рассказывает так, что можно слушать его до утра. Он внимателен и почти нежен ко мне, — я так рада, что он пока в Москве.

…Я закончила работу над <книгой>, расположила стихи, написала короткие эпиграфы, — если успею, то перепечатаю для вас экземпляр, — из-за отсутствия копирки и бумаги (до сегодняшнего дня) печатала в одном экземпляре… Я необычайно остро чувствую отсутствие твое рядом как редактора. Помнишь, сколько раз мы ругались почти до ненависти (и еще будем ругаться), но и в период этой ругани я очень хорошо понимала, что ты — настоящий редактор, нет, гораздо больше — для меня как автора, — и слово «редактор» очень мало что выражает по отношению к тебе, но тебе понятно, о чем я говорю. А сейчас я без тебя просто как без обеих рук…

Итак, я завтра хочу сдать книгу[269] в издательство, такой, как она у меня получилась (вообще-то надо было бы с ней подождать — ощущение, что очень много не дописано)…

Чувствую, что, читая это письмо, ты медленно раздражаешься. В общем, ты думаешь — проволынила полмесяца зря… Это не совсем верно; правда, я еще ничего нового не написала, не откликнулась еще на разные предложения и прочее. Но, во-первых, я осмысляла и продумывала происшедшее, во-вторых, все-таки копалась с книжкой… В-четвертых — некоторое количество из отпущенных дней ушло на высиживание по наркоматам и главкам, и мне кажется, что я имею теперь полное право писать, что я всей душой с вами, так как апельсины,

мандарины, лимоны, сгущенное молоко и кофе — выклянчила я, к полному своему удивлению. Потому что, во-первых, не подозревала в себе столько снабженческо-организационных данных, а во-вторых, потому, что очень некстати пришло одно распоряжение, и наркомы решительно ничего не хотели давать. Но заговорила с наркомшей пищепрома сначала о наших женских делах, и потом мы так подружились, что она мне это отпустила… Я хочу предупредить тебя и Яшу, чтоб вы не слишком демонстрировали свое разочарование в связи с небогатым привозом Виктора. Действительно, крайне трудно было доставать даже то, что мы достали, и это только потому, что к нам, ленинградцам, все-таки очень хорошо относятся. Виктор делал все, что мог, с утра до ночи только и занимался этими делами, — это утомительно до дьявола — сидение в кабинетах разных, разговоры с начальниками, объяснение им, что такое дистрофия, и заверения, что Исаакиевский собор не разрушен. Виктор вообще замечательный дядька, я совершенно по-новому его здесь увидела, он сердечный человек, добрый, простой…

Вечер

Я писала тебе письмо целый день, оно нескладное, и это не только потому, что в номере у меня Муськины актеры что-то репетировали, но и потому, что все время стремилась перейти к главному. А главное в том, что я — одна. Крестника нет. Я была сегодня утром у профессора. Все, что произошло со мной, сложная блокадная комбинация из истощения, отеков и — непобедимого здоровья… Он говорил еще какие-то докторские комплименты относительно «цветущего» вида, но я ушла от него очень обиженная. Ну, «цветущий вид», но чувство все-таки такое, что кто-то надо мной нехорошо поиздевался. Я уже совсем поверила в появление крестника Красных командиров, я ждала его, ни от кого не скрывала этого, радовалась ему, гордилась им — и вот обман. Никакого сына, и может быть, очень надолго…

Теперь ты видишь, что у меня нет оснований больше не быть в Ленинграде. Мне уже некого больше беречь… И мне кажется, что, несмотря на всю бесконечную микроскопичность пользы, которую я приношу, мое пребывание в Ленинграде — не обман, хотя бы самой себя. Я хочу быть в Ленинграде…

16/III-42

А вчера поздно вечером вдруг представился огромный соблазн — целой новой жизни, соблазн столь великий, что я, кажется, соблазнюсь, тем более раз отпала необходимость (желанная необходимость) беречься для сына. Газета «Литература и искусство» предлагает мне быть их военным корреспондентом.

Меня не будут прикреплять к какому-нибудь определенному фронту, а наоборот — будет предоставлена и обеспечена возможность разъездов по всем решительно фронтам, от Черного до Белого моря. Я буду командироваться на тот или иной фронт — недели на три, на две, затем возвращаться в Москву, писать, сдавать материал, некоторое время «гулять», затем — новая командировка. В частности, предполагаются частые командировки на Ленинградский фронт, в Ленинград. В общем, передо мною возможность побывать и повидать весь фронт войны, всю воюющую Россию. Когда я подумала об этом — мне дух захватило. «Остальных пьянила ширь весны и каторги»[270]. Ты подумай-ка, какое пространство, сколько новых людей, воля какая, какая густая, напряженная жизнь. Ну, верно, установка корреспонденций малосерьезная (практически) — «армия-защитница и носительница культуры», но ведь зато она емкая, особенно если не подходить к понятию культуры как к комплексу патефона и модного галстука, и материала в руки будет валиться бездна, а собственно для газеты писать придется не так много, она не ежедневная…

Я ни одной минуты не думала бы — принять или нет это предложение, если бы не было на свете Ленинграда и тебя… «Аще забуду тебя, Иерусалиме…» Я со слезами любви и счастья думаю о том, как нужно будет работать, чтобы вернуть городу и людям его человеческий вид, — еще в условиях войны, как он будет пробуждаться от этой темноты, оцепенения, как люди начнут улыбаться… (В первые дни в Москве, вечером, меня поразило, что люди громко смеются на улице, — сердце оборвалось, вспомнив страшные вечерние улицы Ленинграда.) Может быть, я пришлю вам стихи об этом — весне в Ленинграде, если они выйдут…

Тутошние товарищи уверяют меня, что мне совершенно необходимо принять это предложение, что вот именно побывав на фронтах, я напишу прекрасные стихи о Ленинграде, что нельзя же всю войну провести в Ленинграде, что я там уже «все видела» (как будто бы я там смотрела спектакль)…

Так как же мне быть? — скажи мне… Благословляешь или нет? Скажи, как ты хочешь. Завтра еще будем держать об этом совет с Витей.

Завтра, наверное, сдам все-таки свою книжку. Называть ее «Говорит Ленинград» не буду. Слишком много претензии в этом было бы, и не масштабно, надо гораздо скромнее. Что, если — «Ленинградский дневник»? Или в этом роде? Подумай, ладно? Между прочим, сегодня приходила ко мне Маргарита Алигер, — они устраивают все-таки на днях мой творческий вечер. Я, как тебе писала, никого ни о чем не просила — от еды до внимания,

держалась и держусь очень тихо. Но моя поэмка пробила брешь в общественном равнодушии Союза писателей сама по себе. Знаешь, ее читают в списке, помимо меня, — уже очень много людей в Москве, и даже не только литераторы. Из литераторов и деятелей искусств читал Курганов[271] (правдист), читал Храпченко[272] и многие другие, — и такое мне о ней говорят, и друг другу говорят, что я почти испугана — после таких отзывов трудно написать что-нибудь такое, что люди бы признали еще лучшим, а я все же надеюсь, что это еще не совсем то, что надо написать о Ленинграде, и что я напишу лучше… Но имей в виду, что ко всему этому шуму я не прилагала никаких усилий и не занималась ее навязыванием кому бы то ни было, даже еще ни в один журнал не носила. Просто дала один экземпляр старому своему приятелю — Коле Канину, ну, а от него, пришедшего в восторг, все и пошло. Но, между прочим, поскольку в восторг пришел Курганов, у меня вдруг появилась дерзкая идея: что, если принести ее в «Правду»?..

Твои соображения относительно «ослабевшего духом», кажется, совершенно правильны, и надо выкинуть строфу, ему посвященную. Правда, мне кажется, неверно было бы создавать в поэме этакий иконописный город — «все герои»… Нет, не все, и в этом-то и дело. Я согласна, что это все выражено слабее, чем остальные места, — ну, пока у меня иначе не выходит. Ах, да вообще все это не то, перехвалено, а я уши развесила… Я все больше склоняюсь, чтобы убрать это место и сразу же после последней строчки строфы — «По мужеству подобный ветерану» — дать строчку точек и перейти к «Я никогда героем не была». А после обязательно восстановить исправленную для передачи в Ленинграде строфу: «И не хвалюсь я тем, что в дни блокады не изменяла радости земной».

Да в общем, раз Виктор завтра не уезжает, я успею перепечатать и послать вам книжку и в ней поэму. Очень прошу, найдите время просмотреть ее и беспощадно сказать мне — есть ли смысл издавать ее, всю книжку вообще, — вне Ленинграда, в таком виде и т. д. Я не уверена, что ее надо издавать сейчас — вне Ленинграда. В Ленинграде — другое дело, там она имела бы оперативное значение. А так — тема-то не завершена, в жизни не завершена, — блокада еще не сорвана, у книжки нет конца, — почему она кончается февралем? Надо еще что-то дописать, а дописывать можно лишь по мере движения самой жизни. Я не стремлюсь, чтобы она была издана, так что вы учтите это. В ней все-таки мало личного, такого, что нельзя объяснить… но оно должно бы было быть в такой книжке. И мне еще хочется, и внутри зреют стихи, пока еще в самом немом звуке —

ненаписанные все же, о человеческой эстафете, о том, что мы научились любить друг друга, о том, как мы будем узнавать землю после войны, мы все-таки будем любить ее, всю залитую кровью, больную, грязную, — я хочу написать об этом обновлении восприятия жизни, ой, нет, не буду рассказывать, о чем хочу написать, лучше уж попробую написать. А знаешь, что больше всего волнует, — до слез прямо, — большинство людей в «Февральском дневнике»: строки о проспекте Красных Командиров[273] — здорово, верно?

17/III-42

Впрочем, сейчас уже 18-е, — уже скоро шесть утра. Виктор позвонит через полчаса, я отдам ему это чудовищно длинное письмо, а часов через шесть-восемь он увидит тебя, наш Радиокомитет. Вот счастливый! Он говорит, что мне вовсе не надо ездить по фронтам, а надо приезжать в Ленинград и работать. Наверное, я все-таки так и поступлю, но ты подумай и напиши мне, как мне лучше сделать…

Я все перечитываю твое письмо… Но не хвали ты меня так сильно, а то мне начинает казаться, что я тебя чем-то обманываю… Господи, как я мечтаю о встрече…

Вере (Кетлинской) — большой привет… Передай ей привет от Шолохова, он просил это сделать… Коротенькое и, по-моему, хорошее письмо Шолохова (обращение к ленинградцам) вкладываю — сохрани автограф, это же лучший писатель в Союзе…

4/IV-42

…Наверное, я не напишу тебе большого письма, потому что уже предвкушаю большой-большой разговор с тобою и думаю: «Вот и это напишу ему, нет, лучше расскажу, чем напишу».

Я рада, что ты зовешь меня к себе, зовешь в Ленинград. Это больше для меня, чем ты думаешь и что я решаюсь пока говорить… Вспоминаешь ли проспект Красных Командиров — наших верных друзей и сообщников? Ты представлял себе когда-нибудь этих красных командиров, в честь которых назван наш проспект? А я, знаешь, представляла. Они рисовались мне бравыми ребятами, не слишком высокого роста почему-то, но с развернутыми такими, надежными плечами, они были сурьезными и задушевными, они любили покушать, выпить, они любили лошадей, хорошее оружие, они были не героями, а тружениками войны… о, у них была такая простая и содержательная русская биография; я еще напишу о них и о нашей дружбе с ними, но я — суеверная и не буду заранее

говорить об этом.

Так вот, я сразу стала свертывать свои и без того не развернутые дела — отказалась от некоторых заказов, выступлений и т. д. И так мне легче стало, когда подумала, что скоро вернусь в Ленинград, займусь нужным делом, потому что тут у меня нет никакой уверенности в том, что я делаю что-то нужное другим, а для себя мне просто лень затрудняться…

Письмо опять получается длинным, но уже очень поздно, а завтра утром надо написать выступление для ЦК комсомола, по радио, о ленинградских девушках. И при этом буду читать еще стихи. Они надоели мне — мои старые стихи — до невероятия. Да уж и стыдно как-то — больше месяца разоряться насчет героизма ленинградцев, зная, что вы там работаете по восемнадцать часов в сутки и у вас не хватает людей. Я постараюсь войти в работу сразу, с размаху, как только приеду.

Получили ли вы мою корреспонденцию о Шостаковиче? Пригодилась ли? К сожалению, он ничего не написал для ленинградцев, — сказал, что прочел мою поэму и «перо из рук выпало, не знаю, что на такое ответить». В общем, ему очень понравилось, и его отзыв мне дороже всего. Он до того прелестен, что не знаю, как и выразить это. Но думаю, что все же напишет что-нибудь. Обещал мне написать Фадеев, специально для нас, и еще кое-кто, в общем, надеюсь, что привезу некоторое количество материалу. А ты ответь мне — о Шостаковиче и о вас и — ну, ты понимаешь, о чем надо писать мне… О начальнике ремесленного училища — буду писать. Обо всем буду. И умоляю — не попадайся под осколки…

18/IV-42

…Может быть, завтра в Ленинград поедут Тихонов с Фадеевым, которые привезут тебе мои письма — это и другое, написанное еще в начале апреля. Я тебе сказать не могу, до чего я завидую Тихонову, до чего я тут истомилась. С шестого не было самолетов от вас и отсюда по причине распутицы и тому подобного. Завтра должен идти, но без людей, но может быть, на нем-то и поедут вышеуказанные товарищи. Может, они захватят меня, но на это у меня надежда слабая. Я просто не знаю, сколько же мне еще времени торчать здесь? Правда, говорят, что отправят быстро, на днях…

Я так хочу в Ленинград, что задержка здесь кажется мне сплошным заговором против меня, тем более что Ставский только сегодня звонил мне и опять говорил, что мне ехать не надо, что «они меня не отпустят»… Я не дамочка, не жена ответственного работника, не поэтесса, — отлично знаю, чего хочу и что делаю…

Цеханович клянется, что скоро отправит меня, что движение налаживается, но нетерпение мое растет день ото дня…

Ах, скорее бы, скорее бы к вам. Я получила твою телеграмму, ответила тебе в тот же день… Больше ничего писать не буду — все равно, прорвавшись сквозь все, я вернусь к вам…

ПИСЬМО М. С. ДОВЛАТОВОЙ [274]

20/III-42 <из Москвы>

Дорогая Машенька!

Я получила твои письма для Ашки[275] накануне своего вылета из Ленинграда. Писем этих я ему не передала, т. к. с начала января мы не жили у себя в квартире, т. к. там стало чрезмерно холодно и темно, а связи с Ашкой поддерживали через телефон, он все время был в Ленинграде. Но с первых чисел января эту связь с ним потеряли, т. к. мы ушли из квартиры, а 10/1 в госпитале заболел Коля. На почве тяжелейшего истощения у него обострилась эпилепсия, принявшая форму тяжкого, сначала даже буйного психоза. Он был переведен из госпиталя в психиатрическую лечебницу и 29/1 умер там. Я делала все, что можно было сделать в январе месяце в Ленинграде, но спасти его не смогла. Мой Николай умер, Маргарита, он умирал страшно, его нет у меня больше. Я до сих пор не в состоянии поверить этому. Минутами до меня доходит, что он никогда, *никогда* не придет на Троицкую, — я понимаю, что жить не для чего и нельзя. Но вот — живу. В Москву прилетела потому, что думала, что беременна и хотела сохранить ребенка. Но здесь выяснилось, что беременности нет. Я живу здесь с Муськой и вернусь в Ленинград. Мне больше некуда ехать, мне невозможно теперь жить, кроме как там, где в братской могиле лежит Колька. Я скоро уже поеду туда.

Сама я здорова, хотя тоже чуть не умерла, была вся опухшая, и даже сейчас не совсем прошли отеки на лице и на ногах. Но все же внешне я выгляжу хорошо, и — знаешь, я работаю, пишу, я что-то нужное даже делаю для людей — вот сварганила пищевую посылку больным товарищам в Ленинград, но внутри все пусто, — бездонное отчаянье и тупость какая-то.

Мне очень хотелось бы видеть тебя, плакать с тобой, рассказать тебе всё-всё, о чем не напишешь обыкновенными словами. Я ведь знаю, как ты любила Кольку… А он-то как тебя любил! Ох, не стоит о нем писать, — все равно ни муки, ни сожаления о нем — не выскажешь. Он просил меня остаться жить до конца этой немыслимой трагедии, — я постараюсь сделать это. Машенька, Машенька, я готова крикнуть тебе — «помолись за

меня», но разве во мне дело? *Он* жить хотел… Ну, ладно, Кат<ерина> в Москве, мы видаемся. Она ничего, только похудела. А вот Боря Зиссерман[276], приехавший из Ленинграда позднее меня (я приехала I/III), — лежит больной, видимо, умрет…

Родная моя, как бы трудно тебе там ни было, — не жалей, что уехала из Л-да… Но мне теперь нет ничего дороже этого города. Я вернусь туда. Ты напиши, если сможешь. Напиши на Муську, — Москва, Сивцев Вражек, дом 6, кв. 1. Если меня в это время не будет в М-ве, то она перешлет мне. А в Ленинграде мне нужно писать — ул. Пролеткульта, 2, Дом радио, литдрамотдел, мне. Лучше пиши сразу туда. Вернувшись в Лен-д, я постараюсь узнать, где Ашка, но ты, наверное, сама теперь наладила с ним связь. Обнимаю тебя, родная, целую Бобку[277].

Знаешь, я до сих пор ничего не написала его родителям — просто не могу, страшно наносить им этот удар. И сказать — тоже совсем проститься.

Ну вот, только что узнала, что умер Боря Зис<серман> — форма № 2. Лева Цырлин умер, как и Коля, от истощения, еще в феврале… Ты не застанешь очень многих, вернувшись в Л-д, но я хотела бы встретиться с тобой, — на Троицкой, в той комнате, где мы всегда втроем пили чай, и мы сели бы с тобой там же, как тогда, открыли бы окна и помянули бы Колю белым хлебом и вином.

Прощай, родная моя, береги Бобку…

Твоя Ольга

ПИСЬМО Н. Д. ОТТЕНУ[278]

17/III-43. Ленинград

Дорогой Николай Давыдович!

Посылаю Вам книжку (и Коонен), изданную в Ленинграде[279], и некоторые стихи, написанные после сдачи книжки в производство, но тематически и хронологически продолжающие ее. Я тоже снабдила их коротенькой справкой о том, что в эти дни было в Ленинграде, так как без этой справки, боюсь, многое будет неясно, — хотя бы строчки о «ботве» и «досках» и многое другое. Эти все стихи передавались по радио и печатались, но у меня нет экземпляров — многих даже для себя, поэтому посылаю их Вам в рукописи.

Вас удивит, быть может, обилие «коммунальной» тематики, — но это специфично для нас. Ведь великое ленинградское сопротивление было не только военным, но в еще большей мере шло по линии быта, борьбы за самые основы

человеческого существования и жизни, удержания элементарных каких-то вещей. Все распадалось, смещалось, переосмысливалось; стремительнее всего обваливались надстроечные украшения и шелуха, оставалась жизнь и смерть в чистом виде. Как бы объяснить Вам понятнее? Ну, например, в декабре сорок первого — январе сорок второго года люди еще стремились похоронить своих близких в гробах и отдельных могилах. Это было чудовищно трудно, и очень многие погибали только потому, что отдавали свой хлеб и силы на похороны близких. К концу января уже почти никто не пытался этого делать, — не оттого, что «очерствели», а потому что «отдача последнего долга» перед задачей — сохранить живых — сделалась не только не обязательной, но нелепой. И если эта действительно драгоценная надстройка рухнула, то что же говорить о других, менее существенных? А борьба за жизнь, за основные ее, что ли, условия — тепло, свет, вода (то, что было сотворено в самые первые дни творения!) — была борьбой тяжкой, нудной, утомительной. Для нас, в городе, который ежедневно разрушали немцы, жилье имеет, я бы сказала, первобытное, первичное значение… Людей Большой земли восхищает то, что «ленинградцы под снарядами ходят». Эко дело, — не подумайте, что я бравирую, я, кстати, не из самых «бесстрашных», — эко дело снаряды, да у нас в этом году во многих домах настоящий электрический свет горит! Вот наша настоящая романтика и экзотика. Мы всеми мерами — и сознательно и бессознательно — стремились и стремимся сберечь, сохранить нормальную, обычнейшую человеческую жизнь — и добились все-таки этого. Тема Ленинграда — это тема победы жизни, когда не было условий для нее, а не тема бесстрашного стояния под снарядами — ведь это решительно на всех фронтах так было и есть. Это тема того, как люди научились жить, не пережидая, не ставя себе сроков, научились жить всей жизнью здесь, в Ленинграде, а были дни, когда люди говорили: «Я поставил себе задачу — дожить до 23 февраля сорок второго года, если не прорвут, умру!» И многие, когда подходил этот или другой взятый ими срок и не наступала перемена, — ломались физически и морально, уже необратимо. А потом мы перестали жить «пока», а стали жить «на все время», — это был огромный психологический перелом, весной сорок второго года. Вновь вернулось время, тогда как зимой 41–42 г. как бы по клятве апокалипсического ангела «времени больше не стало»… Понятно ли Вам это, дорогой Николай Давыдович? Я так старалась объяснить — не потому, что, может быть, Вы будете писать обо мне, и не комментируя своих стихов, они все же не иллюстрации, а просто потому, что мне дорого, что Вы интересуетесь

Ленинградом и ленинградской темой, а это не частная тема, а несомненно небывалый опыт человечества, опыт, который должны живым запечатлеть именно художники.

Итак, весной сорок второго года мы бурно, с восторгом переживали возвращение к обычной жизни, — и знаете, когда впервые после зимы заплакали ленинградцы, действительно переставшие плакать, не из мужества, а из того, что просто не было тех эмоций, которые соответствовали бы тому, что было зимой? Они заплакали на первом после декабря сорок первого года симфоническом концерте — это было пятого апреля сорок второго года, заплакали, потрясенные тем, что вот на сцене сидят люди — не в ватниках, а в пиджаках, и что не просто люди, а артисты, и они… играют на скрипках! Все, как когда-то ТОГДА, «как у людей», мы живы, мы даже вот музыку слушаем, которую специально для нас играют специально занятые этим люди. Что играли — было не важно, важно было само, что ли, явление… Никогда не позабыть этого первого после той зимы концерта! Накануне был свирепый массированный налет на Ленинград (о нем много писали в газетах), но, поверьте, этот концерт был гораздо большим событием в нашей жизни. Теперь привыкли опять — и к концертам, и к кино, а тогда — изумились, ахнули, — живы!

Потом стали копать грядки, и несмотря на то, что не в переносном, а в буквальном смысле слова враг был у ворот (где он, увы, торчит и до сих пор, хотя прорыв блокады и совершен), никто не сомневался в том, что этот урожай мы соберем через несколько месяцев. Потом стали переселяться, стеклиться, обстоятельно устраиваться жить, в ноябре-декабре сорок второго года стали рождаться в Ленинграде дети, первые новые дети осажденного города. Прозимовали очень прилично, — вот восьмого марта я выступала в одном жилом кусте, спрашивала — умирали ли люди этой зимой по тем же причинам, как в прошлом году? «Нет, — ответил мне комиссар дома, — мы еще осенью на активе решили — ни одной смерти не допустим. И не допустили в нашем кусте прошлогодних смертей». Вы думаете — это газета, или патетика, или «героизм»? Это быт, вот в чем дело. У нас бытом стало само Бытие, и быт — Бытием, наоборот. Не допустили смертей в кусте — следили, если кто слабел, сразу помогали, переселяли из холода в тепло — всех, — ой, нудная, тяжкая, грязная подчас работа. Хуже любого обстрела в сотни раз.

Недавно вернулся в Ленинград наш Большой Драматический. До сих пор некоторые из артистов ходят по городу — и плачут: какой стал город, — ведь уехали-то они в сорок первом году до первых бомб и снарядов. Еще они спрашивают нас: «Как вы

можете жить — думать о платьях, о спектаклях, — ведь в любую минуту может начаться шум и свист, ведь он же — смерть…» Как им объяснить, что можем, что просто живем — и все, и не думаем о «ней» вовсе, что преодолели блокаду до ее прорыва, преодолели даже мысли о смерти — и не тем, не тем, что на цыпочки встали (это было в дни баррикад), не потому, что «герои», а просто потому, что по-другому научились жить?.. Им не объяснить, да и для Вас выходит длинно и сложно. Я еще потому так подробно, что некоторые эти темы плюс тема нового родства, нового человеколюбия, родившегося в страшнейшие дни блокады, являются темами сценария, который я писала вместе с моим теперешним мужем. (Мой муж, с которым я прожила очень счастливо и необыкновенно дружно двенадцать лет, погиб от голода в январе сорок второго года, в состоянии тяжкого помешательства. Я очень любила его. Я погибла бы тоже, если б не этот — мой теперешний… а потом глядим — мы уже и семья, хоть та рана и не зарубцуется даже.) Так вот — тут будет ответ на телеграмму т. т. Таирова и Коонен. Я не знаю, как это получилось, что Ваш театр узнал, будто бы я пишу пьесу, — нет, мы пишем, вернее, уже отделываем литературный сценарий для кинокартины по заданию ЦК ВЛКСМ. Это — Ленинград зимой сорок первого — сорок второго года: комсомольцы бытовых отрядов. У нас были такие отряды — они ходили по диким тогдашним домам и спасали тех, кто уже не мог встать. И спасли десятки тысяч людей. Сами же были в таких же условиях — то есть так же голодали и еле ходили. У нас не будет ни «показа авиации», ни «отображения бытового движения», а будет несколько людей со своими судьбами и характерами, объединенных вот в таком бытовом отряде и, кроме того, живущих на заводе в общежитии, который почти замирает, но живет. Но, правда, у нас была (и есть) мысль, что на канве этого сценария можно сделать пьесу, — сценарий даже более «театрален», чем кинематографичен. Мы хотим — мечтаем — сделать пьесу лирическую, где была бы правда о Ленинграде не внешняя, а внутренняя. Ведь сказать о Ленинграде, что здесь «люди ходят под снарядами», или даже то, что прошлой зимой «умирали от голода», как везде теперь говорят, — это очень мало правды сказать. Дело вовсе, вовсе не в количестве «ужасов» и «показе их», особенно внешних, а, например, (простите за самоцитату!) — хотя бы в том, что «такими мы счастливыми бывали, такой свободой дикою дышали…»[280] И чтоб выразить это людьми и их судьбами. Это, конечно, задача колоссальная, и даже если у нас будет удача — все равно мы тронем лишь часть темы, но, по-моему, «Партизаны в степях Украины»[281] это уже

просто отказ от каких бы то ни было задач. Так вот, Николай Давыдович, если Вы хотите, — то сразу же, как только будет отработан и перепечатан кем-то сценарий, мы его Вам пошлем, с тем чтоб с Вашей помощью, с Вашими — сугубо важными для нас — профессионально-театральными замечаниями и пожеланиями (я не говорю уже о человеческих, то есть по существу, по содержанию) попытаться сделать пьесу для Вашего театра. Работа с Камерным театром была бы для меня большой радостью и гордостью, — я люблю Камерный очень давно; «Любовь под вязами» с Коонен — это формирующий рубеж жизни, а Камерный — даже и в предвоенные годы — сумел остаться ищущим, действительно творческим театром, и это вызывает особое доверие и уважение к нему. И что же, может быть, объединенный поиск — и наш и театра, — поиск воплощения очень нового, очень специфического, неповторимого и в то же время общечеловечески значимого материала, — приведет к находкам, настоящим находкам новой какой-то театральной формы? Ведь может же так получиться, простите за неуклюжую терминологию.

Однако пора кончать, мое письмо слишком затянулось, а я еще не отдала дань авторскому приличию, скромности, — не написала, что «знаю, что в стихах у меня много недостатков» и т. д., — но я *действительно* знаю это, а Вы увидите и оцените все сами. Я знаю, что я работаю еще лишь на первом слое ленинградской темы, мечтаю, что удастся начать поднимать и более глубокие слои. Может быть, это произойдет при работе над новой поэмой, которую понемножку пишу и займусь взасос, как только закончим совсем сценарий и… переезд на новую квартиру, где с одними выморочными вещами и полуголовницей управдомшей будет бездна муки. О, у нас среди управдомов есть страшные люди (и вообще есть, откристаллизовались — и тоже неповторимо-блокадные, но среди управдомов особенно), и автор «Петербургских трущоб»[282] взвыл бы от зависти, что не дожил до такого материала. Но я, кажется, непосредственно вдохновилась нашим коммунальным эпосом… Сердечный привет всем любящим Ленинград и думающим о нем, особенный привет — с любовью и восхищением ее талантом — А. Коонен, и самые искренние пожелания сил и здоровья.

Простите, если слишком разболталась. Сообщите, дойдут ли до Вас мои корреспонденции, пишите, я буду рада. Привет.

О. Берггольц

ПИСЬМА М. Ф. БЕРГГОЛЬЦ[283]

26/IX-41

Моя Муся!

Если ты еще в Москве, то, наверное, это письмо передаст тебе Анна Андреевна[284]. Было бы прекрасно, если бы ты вместе с нею поехала в Чистополь. Если поедете — береги и заботься о ней, как бы ты заботилась обо мне, если б я была больна. Она — изумительный человек; если б не Коля, которого я не могу оставить здесь одного, я почла бы первейшим своим долгом сопроводить ее до места. Проклятые фашисты очень напугали ее — им мы и это присчитаем, это подлое изнурение людей, драгоценных всему народу.

Если ж ты решила не ехать — пока она в Москве, сделай для нее все, что можешь, несмотря на ее сопровождающую. Она очень несчастна, — А. А., — ее надо согреть, как только можно. **Прошу тебя об этом**.

О нашей жизни, — что же? Или очень много надо писать, или ничего. Скверно, сестрица. Я до сих пор не могу прийти в себя от душевного ужаса перед тем, до чего могло докатиться человечество, — так как бомбежка мирного города — это позор, это сплошной ужас — не физически, вообще ничего чрезвычайного пока не было, — а именно с моральной стороны. В общем, тебе понятно.

«Слеза» цела, но вокруг нее невдалеке ряд разрушений, сволочи бьют по центру, по госпиталям, — нарочно, можешь ты это понять? Очень действует на нервы иногда возникающий артобстрел, сегодня даже слышала, стоя у окна, — свист снарядов — противно. Ударило поблизости. И главное — вдруг, ни с того ни с сего. Неск. дней назад была в редакции, дом 14, а в д. 12 саданул фугас, в редакции кое-кого поранило, но меня ничуть, и главное, это второй раз такое чудо, — перв. раз над головой в райкоме пробило осколком арт. снаряда стекло. Видишь — я счастливая! Но ты не бойся, — таким случайностям мы теперь решительно все подвержены. И я еще менее всех. Большую часть дня я провожу в Радио, это семиэтажный старый дом, а мы работаем в бомбоубежище, в подвале; там очень сухо и тепло. А ночуем мы с Колькой у мамы, там от снарядов совсем безопасно, а во время тревоги спускаемся в убежище — хорошее… Меня грызет совесть, что я, политорганизатор, ухожу на ночь из опасной «слезы», но, право же, роль моя там на 99/100 бесполезна, а я и так делаю для обороны все, что в моих силах, все, что только в **данных** условиях агитации и пропаганды можно сделать, и я не могу расходовать силы до бесконечности, да еще на явно видимое, липовое дело!

Т. ч. не презирай меня за это. Ей-богу, я еще пригожусь, если не тяпнет дурой-бомбой.

М. п. тут некоторые мои стихи очень нравятся, их перепечатывают в боевых листках, в армейских газетах и т. д. Работаю в Радио, очень часто мои вещи и стихи идут на Москву — слышишь ли ты хоть что-нибудь?

Работаю еще и для спецвещания — разные воззвания и листовки для немцев (е. их мать), вот завтра моя передача для всей Европы — о Ленинграде. Это интересно, но, конечно, злят разные казенные премудрости и препоны, — как и до войны, масса чиновников, боящихся черт знает чего и, главное, живого слова.

Что касается положения Ленинграда, — конечно, почти трагическое, душа болит страшно, но уверена, что вывернемся, — такая же убежденность, как в кутузке, когда была почти петля, а я была уверена, что выйду, — и вышла.

К черту, — пускай и бомбы и снаряды, только бы не немцы в Л-де! Это уже лишнее.

Ну а если до этого вдруг дойдет — постараемся уйти с Армией. Да нет, не придется…

Я знаю, ты волнуешься, но, Мусичка, поверь, мы сделаем все, чтоб спасти жизнь, сделаем все в пределах чести и достоинства русского человека, русского интеллигента…

Разговоры о бомбах мне осточертели. В Радио есть дяденька[285],— ну, прелесть! Я почти влюблена, да и он, кажется, тоже, хотя даже намека на какое-либо объяснение не было. А подумаю о нем — и радуюсь! Нет, Ленинград не может быть взят! Коля заботится обо мне, как мамка, за керосином бегает, посуду моет, в очередях стоит. Он милейший, но припадки у него участились, и он очень пришиблен тем, что не у дел (он без работы, так, кое-что делает на радио), что его сняли с учета[286]. Но держится, хлопочет по дому, ужасно обмирает за меня, уговаривает ехать, — но ты понимаешь, что с моей стороны это была бы подлость.

Мусинька, — на всякий случай, — только на всякий случай, знай: мои дневники и некот. рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Нев., 86, в их дровяном сарайчике. М. б., когда-нибудь пригодятся.

Очень хочется послать тебе ряд стишков, если успею подкинуть А. А., — сделаю. Получила ли ты мои деньги? Целую

Оля

24/I-43. Ленинград

* * *

<…> Наконец, четыре дня назад вновь отправила тебе срочную. Умоляю — знай, что я ни на минуту не забываю тебя, и если будут какие-нибудь перерывы, то только не по моей вине. Но надеюсь, что письма с Беляевым[287] ты уже получила.

<…>

…Как я думала о тебе, сестренка, в ночь с 18 на 19 января <…> У нас все клубилось в Радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали — правда! И хотя мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательно нашу судьбу, — ведь, черт возьми, так сказать с другой стороны, немцы-то еще на улице Стачек, 156, все же весть о прорыве, к которой мы были готовы, обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью… Мы вещали всю ночь, без всякой подготовки, но до того все отлично шло — как никогда. <…> До чего это трогательно было и приятно, что именно сюда, в Радиокомитет, стремились люди. Одна старушка в пять часов утра встала и шла из Новой Деревни пешком, не в силах дождаться трамвая, «поговорить по радио», ее выпустили, конечно. <…> Повторяю, хотя мы еще накануне кое-что существенное знали и, слыша гром нашей артиллерии, понимали, что он значит, — известие меня ошеломило. Просили, чтоб я написала стихи, — но рифмовать я ничего не могла. Я написала то, что просилось из души, с мыслью о Коле, вставила две цитаты из «Февральского», — и как будто бы вышло. Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала, что не дочитаю, — помру. Правда. И потому говорила задыхаясь и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что помимо текста именно это «исполнение» и пронзило ленинградцев. Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт, при этом для меня совершенно неожиданный: на другой день все говорили об этом выступлении («Вот сказала то, что все мы думаем, и так, как все чувствовали») — и до сегодняшнего дня я продолжаю получать письма — отклики на это выступление — в стихах и прозе. Некоторые пишут: «Мы сразу после известия о победе стали ждать Вашего выступления — и не ошиблись: мы услышали Ваш уже так знакомый и милый голос, и Вы сказали то, что у всех у нас горело в сердце». Но что мне действительно приятно — это сообщение Любы Спектор[288], которая в эти минуты была на Волховском фронте, соединившемся с нашим. Она прибежала ко мне 20.1 и, захлебываясь, рассказывала: «Понимаешь, именно в той землянке, откуда генералы руководили боем, они тебя слушали и ревели, понимаешь, ревели генералы, и бойцы тоже слушали, и все говорили: увидите ее — обнимите». При этом другой свидетель того же — Блюмберг[289] (он тоже был в это время там) говорил,

что меня там хорошо знают. Это может быть, так как ряд писем я получала именно оттуда и переписывалась с этими читателями.

И вот только что, полчаса назад, получила письмо — оттуда же, от одного своего читателя, лейтенанта Рысова (это тот, который просил выслать ему поэму, так как она попала в «число боевых потерь»). На этом письме стоит дата — 12–1—1943 года, 5.15 утра. Это — за три часа до начала штурма немецкой линии обороны, когда уже был получен приказ — «прорвать блокаду» и наши войска готовились начать бой. Рысов пишет: «Уважаемая Ольга Берггольц, только сейчас закончил подготовку к проведению беседы о любимом городе. Подготовил беседу для наших орлов-ленинградцев, с рассветом начну проводить… Здесь у меня в блиндаже какой-либо литературы нет, зато как хорошо мне в подготовке беседы помогли хранящиеся в моей сумке (уже прилично затасканные) Ваши поэмы и стихи. Примите ж мою душевную благодарность за Вашу любезность, за Вашу помощь, которую я получил, в бессчетный раз перечитывая Ваши стихи и поэмы… Спасибо, большое спасибо, уважаемая товарищ Берггольц! Многое мне хочется сейчас Вам сказать, но нет времени. Сохраню в памяти все, что хотелось сказать Вам в эту ночь, и расскажу при встрече. До скорой встречи. Желаю успехов, жму руку. *Ваш В. Рысов».*

Ты понимаешь, командир готовился к бою за освобождение Ленинграда, они должны были начать с рассветом, пойти на прорыв, и вот он готовился сказать перед атакой слово — и это были мои стихи. Верно — это даже покрепче залпов с цитатами? Ведь этим можно гордиться, да, Муська? Я думаю, что я не самодовольничаю, гордясь этим, но я не знаю, что же мне теперь такого сделать для всех них — благодарных и прекрасных, идущих в бой за любимый город со стихами на устах. Нет, такой народ воистину бессмертен, народ, идущий на смерть со стихами, находящий в эту минуту силы написать тронувшему его душу поэту — в город, который он идет освобождать. Дело здесь не во мне. Господи, только бы они были живы и здоровы. <…> А терпеть-то еще — до черта! Вот как раз в эту минуту — опять воет проклятая сирена. 20.1, на второй день прорыва, он нас изрядно подолбал, и потом опять пошло каждый день. Перерыв был только дня на три. И понимаешь, эта сволочь бомбы кидает, вчера ляпнулась рядом с бывшим Пугалом[290] и т. д. А что он сделал с моим заводом — 14 января, — обстрелял так, как даже в сентябре прошлого года не было, несколько десятков наших людей[291] погибло, в числе их — прекрасные люди, блестяще державшиеся всю блокаду. Одна наша работница так трогательно сказала о них: «Господи, ну уж если так было суждено, — почему бы им еще

четыре дня не прожить, чтоб хоть умерли с сознанием, что блокада прорвана». Да, вот так и погибли за четыре дня до радостной вести. А сколько таких у нас еще будет. <…>

Очень хочется узнать — что ты и как ты? Страшно боюсь, что ты обморозишься, подхватишь сыпняк и т. п. Очень интересно, как ты решила — приедешь ли к нам? Как тебе кажется идея твоего участия в нашем фильме? Ей-богу, может получиться. <…>

<…> Ну, пока. Посылаю стих, передаваемый по радио и напечатанный в «Лен. правде», — ленинградцы приняли его очень хорошо, и многие тотчас же стали вырезать из газеты и посылать на Большую Землю, «вместо своего письма». В общем, я чувствую, что мне пора относиться к себе еще, еще и еще строже, а то скоро возомню себя и вправду Ричардсоном[292]. Целую тебя, родная, не забывай меня, пиши. <…>

Твоя Ольга

Водку, кофе и табак из Союза мы получили — нельзя ли бисировать? Это все пришло как раз накануне прорыва — и так пригодилось! Но надо еще, так как скоро будут события еще интереснее и элементарный патриотизм требует к ним водочки! Тьфу-тьфу, а все-таки в «недоскребе» стекла-то вылетели; ВТ идет уже 3 часа, но после последнего толчка — тихо совсем.

* * *

28/I-44

Поздравляем, поздравляем, поздравляем, принимаем поздравления, и объятия, и всяческую радость… Надо надеяться, что вы вчера слушали приказ Говорова[293] и салют из Ленинграда по поводу окончательного снятия блокады и прекращения артобстрелов. Не знаю, как трещало по радио, а на самом деле салют был блистательный, не идущий ни в какое сравнение с московскими, — сразу видно было, что салютует город-фронт, Ленинград. Мы стояли с Юркой около Думы, ревели, целовались и глядели, глядели на город, который был виден весь до крошечки — ободранный, пробитый и все-таки великолепный… Мы первый раз за все время войны видели Невский — вечером, освещенный… Похоже было, правда, на то, как он был зловеще освещен во время осенних бомбежек, но тогда все же был зловещий свет, а вчера — праздничный, трепетный, какой-то елочный. Радостно было и больно, больно…

А 25-го я ездила с нашей репортажкой в Пушкин, через 22

часа после занятия его нашими войсками. Он был весь заминирован, весь начинен адскими машинами, особенно почти разрушенные дворцы, при нас некоторые адские машины разряжали. Мы ходили очень этак опасливо, но все же ходили, потому что нельзя было не обойти и не поглядеть на любимые места. Ох, дорогие мои, до чего же страшное зрелище — Пушкин. Видимо, особенно горько видеть его таким, что уж слишком хорошо знал до войны каждый его закоулок. Екатерининского дворца, по существу, нет. Погиб. Остались одни стены. Вообще город разрушен полностью, так, кое-где коробки от домов остались — а вообще одни развалины, обугленные деревья и абсолютное, ужасающее безлюдье: из ста тысяч жителей в городе при его освобождении не было обнаружено ни одного человека.

Ехали к Пушкину по полю боя, видела много трупов — наших и немецких. Очень похожи убитые друг на друга — что немцы, что наши… Но наших все же жальчее, вернее, их-то и жалко — за все человечество. Видала много трупов, наших, все разные, каждый страшен по-своему, и еще раз поняла, что нельзя перед ними лгать ни словом, ни делом, ни помышлением. Грех перед ними лгать.

Теперь о более мелком.

Мне очень радостно, что тебе понравилась наша пьеса.

…После Пушкина — нездорова, дикий грипп. Юра едет завтра под **Лугу,** — чуешь! Сегодня взяли Сиверскую. После его возвращения (надеюсь, что вернется) попробуем поехать в Москву. Дай прочесть пьесу[294] Бирман[295].

Привет всем.

Оля

* * *

23/IV-45

Дорогая Муська!

Очень, искренне рада, что тебе понравилась моя поэма[296]. Она меня очень вымотала и все еще живет со мной. Я кое-что уточняю, переделываю; я тебе сообщу уже некоторые поправки, чтоб ты внесла их в свой экземпляр и сообщила Симону. Иногда мне гордыня говорит то, самое для меня ценное, что ты мне сказала, — о наследии Маяковского, иногда я до скрипа зубовного начинаю стыдиться ее… Но знаешь — я же не хвастаюсь перед тобой, — мне все-таки думается, что эта самая интонация, которая позволила тебе говорить о Маяковском, — налицо: как сказала Ахматова, «властный стих», — понимаешь,

вот это «я», вот это осознание личности, себя и права своего говорить о себе полным голосом.

Здесь всё понимающие и ревнивые ко мне люди — Ахматова, Юра, Маруся Машкова и другие — приняли ее отлично и радуются ей… И я даже первое время боялась этому верить — мне все казалось, что они щадят меня, но в то же время самого главного не понимают…

«Знамя» собирается печатать поэму — этого мне очень хочется. Пусть напечатают, а потом, если кому вздумается, — пусть ругают. Но что касается печатания здесь, в Ленинграде, — то я и предлагать ее не стала. <…>

Я устала смертельно. У меня все внутри истончилось, как давно носимая ткань, все трясется и готово прорваться. Хотелось бы встретить победу светлой песней, достойной ее крови и ужаса, — и не знаю, хватит ли сил… Посылаю тебе стишок — так сказать, предварительный, из намеченного цикла, разумеется, не более чем оперативка, но в нем кое-что уловлено из настроения, в т. ч., может быть, он тебе пригодится для выступлений. Масса заказов «на Берлин» и т. п., но буквально голова не варит… Как Ирэна?[297] В ближайшие же дни пошлю ей поэму и книжку, к сожалению, у меня единственный экземпляр, хочу послать его Лозовскому[298], да что-то вдруг сомнение напало — надо ли? На кой черт она ему? Ну да наверное, ты уже звонила. Если звонила — передай, а не звонила — тогда и не надо, отдай Ирэнке. Сделай в своем экземпляре поправки по экземпляру, который посылаю для Лозовского или Ирэны. Вышла ли наша книжка в «Искусстве», пусть отложат 60 штук, вычтя из гонорара.

Ох, кажется, все. Посылаю, что могу.

Только что была сводка, что мы «прорвались к Берлину». Дуся, вчера они были в 4 км от Бранденбургских ворот, на Унтер ден Линден. Сегодня они дерутся в Центре Берлина… Муська, обнимаю Берлином! Родная!

Ольга

15/I-47
в Москве

Дорогой Борис.

Мне кажется, что осенью я уже говорила тебе, что пишу тебе письмо в течение целого года, с той весны. Пишу — и либо не дописываю, либо не отправляю. Наверное, это смешно, но недели три-четыре назад, когда мы с А. А<хматовой> наслаждались твоим письмом, я объяснила ей причину: если я воспользуюсь правами нашего брудершафта, честью которого я столь же горжусь, сколь и смущаюсь (брудершафт со стихией), — то ведь письмо получится любовным. И еще через некоторое время я подумаю — хорошо, пусть оно будет любовным. Оно и не может быть иным, мое отношение к тебе, возникшее давно, в молодости, и ставшее с тех пор неотделимой частью души, сознания, жизни. Я не знаю никакого другого имени этому отношению, кроме любви, самой подлинной, земной, жадной, ревнивой, непрерывно жаждущей подтверждений и новшеств. И она не удаляется, а длится и, наконец, достигает той прозрачности и определенности, что в ней уже не стыдно признаться.

…И эта весна — тоже твоя. Но совсем по-другому, чем та, 17 лет назад, когда мы вместе с моим погибшим в Ленинграде мужем открыли тебя для себя, когда твои стихи не только формировали наше отношение к миру, но и сам мир, обнаруживая его, просвечивая, приближая к душе… Я имею в виду и природу, и человеческие отношения, и многое другое… Я сказала — «совсем по-другому», — нет, пожалуй, и сейчас тот же самый процесс, но в гораздо более сильной степени радующий и одаряющий. И тебя, и твою, неотделимую от тебя поэзию, и твое — в мире я беру уже все без остатка, без белых пятен и не могу нарадоваться своему богатству. Оно у меня было, было давно, но, может быть, только теперь я вполне и безраздельно обладаю им; это уже не радость первого прикосновения, открытия, удивления, как 17 лет назад, а радость осознанного обладания.

Прошлогоднюю весну я провела за городом… и теперь нередко туда езжу. Но прошлой весной я впервые за много-много лет, может быть, первый раз после детства видела это поистине новое чудо… Там — очень изрубцованная, очень оскорбленная войной природа, никак не забывающая того, что с ней было, хоть и старается: на морском берегу траншеи, укрепленные ивовыми прутьями, все были в барашках, как седые. Но самые злопамятные места — это те, где, видимо, происходили стычки; там всего

ужасней бинты: множество неистово-белых, вымытых дождями и высушенных ветром бинтов — то извивалось по земле, то висело и струилось по ветру на ржавых, обгоревших сучьях молоденьких сосен… Нередко вились эти белые бинты и в совсем мирном месте — их туда занесло, наверное. Еще я видела один раз посреди леса, где кругом не было даже пепла или других следов жилища, — стояла нарядная, лакированная, желтая-желтая, почти золотая прялка с колесом… А весна, природа, *бытие* — то, что почти ушло из нашей жизни, — была поистине новым чудом, непрерывным, непреходящим, и вот это-то, по-моему, и есть ты… Наверное, сказалось плоско, а думается и чувствуется — много, но о настоящем искусстве почти невозможно говорить — что к нему прибавишь? Тем более что той и этой весной я все больше понимаю, что ты — не метафоричен, а буквален, точен, что твоя метафора — стирание «случайных черт»… Это не поэзия О природе, О любви, а поэзия *самой* природы… И как музыка равна сама себе, так и ты… И, — господи, как не поймут, что никакое звукоподражание дню не передаст его звучания… но это — предмет тяжелого и бесконечного недоумения… Я очень благодарна судьбе за то, что у меня есть твоя поэзия, что моя любовь к ней владеет новыми подтверждениями — рождественской звездой, горящей свечой, Гамлетом…[300]

Все очень сумбурно и неточно, как, наверное, и полагается в любовном письме, не терпевшем отлагательств и написанном с размаху, поэтому и на машинке, за которую все-таки прошу извинения. Мне говорили москвичи, что новый твой роман — великолепен[301]. Я, наверное, приеду в середине апреля и буду счастлива, если мне удастся хоть что-нибудь из него послушать. Желаю тебе от всего сердца сил душевных и физических.

Ольга
20/IX-48
Ленинград

Дорогой Борис!

Я получила твое письмо несколько дней назад, в день, когда вернулась с Волги. Я, Юра и сын Юры — а теперь и мой сын, Андрюша, — ездили на пароходах — Москва — Астрахань и обратно. Двадцать четыре дня почти не уходила я с палубы, глядела все на божью красу, поражаясь, что все еще есть такое на свете — такое доброе и спокойное, равное только самому себе, и твое письмо было как бы завершением этой спокойной и доброй красоты, и свободной и сильной.

Это еще и потому, что там, на Волге, мы без конца по памяти читали твои стихи, и я вновь и вновь с радостью убеждалась в их

непревзойденной, природной буквальности.

Особенно благодарна я Верхней Волге. Я ведь когда-то, в детстве, в Гражданскую войну, жила три года в Угличе. Мы жили в большом монастыре, — и потом он мне все годы снился: как будто бы я иду к нему, и вот-вот войду в него, в главный храм, и все никак не дойти, все он издали…

И вдруг сейчас увидела свой Углич, и этот монастырский храм с пятью главами, — но раньше они были синие с золотыми звездами, а сейчас сильно потемнели, — и он был совсем как во сне, но менее достоверен. Он так же был виден издали, потому что он в центре города, но когда мы отходили уже от города, вдруг он стал как-то подниматься, вырастать, становиться все яснее, точно летел вверх, точно хотел показаться весь, и я это поняла и даже поплакала. На всей Верхней Волге непримиримо-кротко на возвышенностях стоят древние церквушки с потемневшими главками, а Калязин наполовину затоплен, но над водой, там, где раньше была соборная площадь, стоит высокая старая колокольня, и пароход наш осторожно огибал ее… Это особый град Китеж, вставший над водою… Я пишу тебе об этом потому, что все это — вместе с твоим письмом, вместе с тобою — и составляет настоящую жизнь… Прости, что я долго все же не отвечала, — мне было приятно думать, как я буду писать тебе, и так хорошо и складно получалось, а вот сейчас — нет. Да, мне было приятно думать и общаться с настоящей жизнью, которой ты живешь и которая исходит от тебя, и которой я грустно и безнадежно завидую, и удивляюсь ей, и радуюсь, что такое есть на свете, — ну пусть не у меня, это все равно; наверно, наступает в жизни такой период, когда хорошо самому уже потому только, что кто-то другой счастлив, — и радуешься этому как своему, ощущаешь это своим.

А. А<хматова> была у меня дня через два после моего приезда, — она как раз в тот день получила деньги, о которых ты спрашивал, — мы пообедали очень весело, и как-то все получилось вкусно и хорошо. Она была в том легком состоянии духа, которое я у нее особенно люблю, и я читала ей кусочки из твоего письма, относящиеся к ней (ты не сердись на меня, ты ведь, наверное, просто не представляешь, что для нее значит любое твое слово о ней, и мне хотелось доставить ей радость), и читала стихи. Ей стихи очень понравились, а о себе мне уж и говорить неловко, — ты подумаешь, что я занимаюсь только тем, что говорю тебе приятное. В этом стихотворении меня, как и в письме твоем, поражает, и радует, и одаряет прежде всего вот эта самая *настоящая жизнь,* ни одним краем не соприкасающаяся с «миром шалопайства», равная сама себе, где все — правда, все

значимо, все щемяще, и уж такая поэзия, которая выносит все слова… Град Китеж, вставший над водою, град Китеж… Как бы мне хотелось немножечко отдарить тебя чем-нибудь похожим на твои стихи и письмо, но — нечем… Я закончила свою драматическую поэму — трагедию[302], о которой тебе говорила, и у меня такое чувство, что передо мною лежит самый первый черновик, и что с ним дальше делать — пока не знаю сама. И видимо, так черновиком оно и должно остаться… Что касается внешней судьбы — то, кажется, печатать все-таки не будут, и к полному моему ужасу один московский театр рвется поставить это, и уже начал репетиции, и звонил мне, что «отрезал» какую-то сцену, переставил такую-то… Может быть, это все никуда не годится, но зачем же уж так-то распоряжаться? Причем все эти «отрезания» идут как раз по линии убийства трагического в трагедии… Вот завтра он (режиссер) приедет, чтоб все со мной «согласовать». Я обмираю при мысли о завтрашнем разговоре, потому что я вовсе, вовсе не хочу, чтоб все это увидело сцену, вообще не хочу, а уж тем более в не моем виде. И я ничего не позволю менять, как вообще до сих пор не позволяла это делать в своих стихах. И вот будет тяжелый разговор, который *не нужен* и вызван не требованиями настоящей жизни, а чем-то совсем иным… Но это скучно.

Я хочу ответить тебе на то, что ты пишешь о романе, тогда, когда прочту его. Спасский[303] обещал мне дать. Ты не против? Я очень хочу посмотреть это глазами, сама, одна. Я, наверно, возьму его завтра, — все-таки эти дни у меня было столько беготни — у меня очень тяжело болен отец, потом — в доме все пришло в ветхость, надо ремонтировать — это очень хлопотно. Но мне ужасно хочется привести свой оазис в порядок, где, я надеюсь, ты побываешь.

Я желаю тебе здоровья и по просьбе А. А. передаю ее самые нежнейшие приветы и любовь. Как она хорошо говорила в тот день о тебе, и мы всё снова и снова читали твои стихи, и выпили за тебя.

До свиданья. Наверно, завтра или послезавтра я начну читать твой роман, забившись на тахту в комнате, куда будут сдвинуты вещи со всего дома. А в середине октября я, наверное, приеду в Москву — и так буду рада тебя увидеть и поговорить с тобой — как всегда, о чем бы ни шла речь, — о самом главном. Извини за машинку, за то, что долго не отвечала, все-таки не в этом дело, верно?

Ольга

ПИСЬМА О. Ф. БЕРГГОЛЬЦ ОТЦУ, Ф. Х. БЕРГГОЛЬЦУ

(1942–1948)

Публикация Н. А. Прозоровой[304]

Из обширного эпистолярного наследия Ольги Федоровны Берггольц (1910–1975) опубликовано немного. Наибольший и обоснованный интерес представляет собой переписка военного времени, а неопубликованные письма Ольги Федоровны из блокадного Ленинграда имеют особое значение.

В личном архиве О. Ф. Берггольц (ф. 870) в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в ходе предварительной научно-технической обработки было выявлено 5 писем Ольги Федоровны к отцу, Федору Христофоровичу Берггольцу, отправленные из Ленинграда в 1942–1944 гг. В публикацию также включено письмо Ольги Берггольц к отцу, написанное ею в 1948 г., которое хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства в личном архиве Берггольц (ф. 2888)[305].

За разрешение поместить его в настоящем издании выражаем благодарность Г. А. Лебединской и Т. М. Горяевой.

Письма Ольги Берггольц военных лет наполнены реалиями блокадного города и носят характер историко-бытового и социального документа, достоверность которого вполне очевидна, а значение трудно переоценить. Дочь пишет отцу об условиях жизни города-фронта, нормах на хлеб, пайках и бомбежках, сравнивает «зимний кошмар» первого блокадного года с осадным положением последующих лет. «Коммунальные», жизненно важные вопросы продовольствия, отопления, освещения и транспорта в той или иной степени подробности встают в этих письмах и описываются Ольгой Федоровной в соответствии с блокадной шкалой ценностей.«…у нас здесь быт стал бытием, — не раз отмечала Берггольц, — и бытие — бытом»[306].

На фоне жизни блокадного города возникает еще одна драматическая сюжетная линия. Она касается биографии отца Ольги Берггольц и связана с принудительным выселением Федора Христофоровича в марте 1942 г. из Ленинграда в Красноярский край. Частная история Ф. Х. Берггольца напрямую переплелась с драмой той части населения Ленинграда (в основном немцев и финнов по национальности), которая была причислена к «социально опасным элементам» и обречена на административную высылку. Первое из публикуемых писем относится к самому началу депортации, а в последнем письме Ольга Федоровна сообщает отцу, что ей удалось добиться его реабилитации и восстановления «временно попранной фамильной чести и доброго имени». По причинам военной

цензуры Ольга Берггольц пишет отцу осторожно, едва касаясь опасной темы, избегая деталей и не упоминая фамилий лиц, к помощи которых она прибегала при попытках ускорить рассмотрение «дела». Ей приходится также уделять в письмах много внимания чисто житейским делам, касающимся утраченного имущества и денег Федора Христофоровича, который был вынужден в короткий срок покинуть город. Не все доходили до адресата или доходили с опозданием, поэтому три письма подряд начинаются Ольгой Берггольц с подробного описания весьма прозаических в условиях войны и блокады имущественных вопросов, которые в сознании больного, оскорбленного несправедливостью отца вырастали в навязчивую идею. Однако в этих подробных, по пунктам, ответах отцу проявляется представление Ольги Федоровны об обязанностях дочери, вынужденной погружаться во все обстоятельства имущественных потерь Федора Христофоровича. Понимая, сколько тягот пришлось перенести отцу, как сильно его «ударило», Ольга Федоровна из осажденного Ленинграда пытается вселить в него бодрость и пишет ему «ласково и сдержанно, хотя твердо»: «Папа, мне неприятно сообщать тебе обо всем этом, но уж лучше знать правду, что у тебя нет бывшего угла, нет обстановки, и всего лишь кое-что из белья и одежды. Но ведь это — война, папа! И погоди, погоди, не впадай в отчаянье или уныние! Давай смотреть вперед, а не назад, давай не будем оплакивать пропавшего буфета, право, он не стоит того. Повторяю — главное для тебя сохранить бодрость и здоровье для будущего, а оно не так уж мрачно. Несмотря на все страданья, которые выносит наша страна, — мы все же побьем проклятых немцев. Ты знаешь это. Это главное» (наст. публ., письмо 1).

Характерно, что в письмах Ольги Федоровны к отцу сквозь призму вполне бытовых, частных, «негероических» тем просвечивают подлинные идеалы и ценностные ориентиры поколения военного времени. Общественное настроение военной эпохи как часть исторической памяти зафиксировано в письме Берггольц так: «Все мы, в основном, здоровы, держим друг с другом связь, каждый по своим силам может работать и не висеть на шее ни друг у друга, ни у страны, чего еще надо?» (наст, публ., письмо 2).

Блокадные письма к отцу естественным образом касаются личной и профессиональной стороны жизни поэтессы и имеют литературно-биографическое значение, помогая понять источник исключительной, почти феноменальной популярности Берггольц в Ленинграде, на Ленинградском фронте и в стране в целом. Она сообщает отцу: «К вашей дочери, папа, пришла настоящая слава,

не через статьи (их до сих пор нет), не через чины, а снизу, от самого народа, и слава почетная: „ведь вы *правду* пишете“, — говорят мне всюду. Это народное признание бесконечно дорого мне, и я желаю только одного — оправдать его в дальнейшем» (наст, публ., письмо 1). Полностью осознавая ответственность за известность и признание читателей, Берггольц вступает в борьбу с цензорами, редакторами, инструкторами и «держится позиции самой решительной». Сил на работу уходит много, но, несмотря на блокаду и вопреки войне, в Ольге Берггольц зреет надежда на новое личное счастье, желание «вить гнездо» и родить ребенка — все это благодаря редкостному жизнелюбию, вере в победу, а главное, благодаря тому, что она научилась, как и многие ленинградцы, «жить *всей жизнью* здесь, в Ленинграде <…>»[307]. Из блокадного города она находит возможность помогать деньгами и посылками матери, сестре, отцу и родственникам своего погибшего мужа Н. С. Молчанова и даже шутить: «Не рыдай о своих ватных штанах, — пишет она Федору Христофоровичу, — отвоюем, я сошью тебе бархатные с золотым галуном!» (наст, публ., письмо 2).

Биография отца Ольги Федоровны и история его административной высылки восстановлена нами по отрывочным сведениям, рассеянным в архивных документах, по записям племянника поэтессы Михаила Юрьевича Лебединского, хранящимся в ее личном фонде[308], а также по опубликованным эпистолярным материалам и дневникам.

Федор Христофорович Берггольц (1885–1948) родился в семье строительного техника, специалиста по отоплению и вентиляции, латыша, уроженца Риги Берггольца Христофора Фридриховича (1854–1925) и Ольги Михайловны (1850–1924), по первому мужу — Королевой.

В 1904 г. Федор Христофорович окончил реальное училище Я. Г. Гуревича, а в 1907 г. поступил на медицинский факультет Императорского Юрьевского университета. В сентябре 1909 г., будучи студентом 2-го курса, по семейным обстоятельствам перевелся в Петербург в Императорскую Военно-медицинскую академию, где учился военно-полевой хирургии у профессора Н. Н. Бурденко. В ноябре 1909 г. он женился на Марии Тимофеевне Грустилиной. В Юрьев Федор Христофорович вернулся осенью 1911 г. и окончил университет в 1914 г. Осенью того же года он был направлен в составе 39-го запасного полевого госпиталя на фронт, где в 1916 г. перенес тяжелую контузию с вывихом правой руки. В дальнейшем Федор Христофорович работал военврачом I ранга санитарного поезда, получившего после Октября 1917 г. название «Красные орлы». Семья Федора

Христофоровича, жена с дочерьми Ольгой и Марией, весной 1918 г. по обстоятельствам голодного времени уехала из Петрограда и находилась в Угличе. Вылечившись после перенесенных в 1919–1920 гг. болезней (сыпной и возвратный тиф с осложнениями), Федор Христофорович приезжал в Углич к родным. В памяти маленькой Ольги остались яркие воспоминания о приезде отца, описанные позже в автобиографической повести «Дневные звезды». В 1921 г. в связи с хроническим вывихом правой руки и болезнью сердца Федор Христофорович был комиссован, снят с воинского учета, и семья вернулась в Петроград. М. Ю. Лебединский писал о деде: «Последним участием Ф. Х. Берггольца в гражданской войне, по словам О. Ф. Б<ерггольц>, была его работа в составе медицинского отряда на льду Финского залива во время штурма мятежного Кронштадта. По семейному преданию, за личную храбрость он был награжден главнокомандующим Тухачевским именными часами фирмы Бурэ. Крышка с дарственной подписью Тухачевского потерялась, а часы долго жили в нашей семье»[309].

В 1921–1922 гг. Федор Христофорович — врач хирургического отделения, а с 1941 г. — главный врач амбулатории и медпункта комбината тонких и технических сукон им. Э. Тельмана[310]. Именно сюда, в фабричную стенгазету, отец взял у дочери и отнес ее первое стихотворение, написанное на смерть В. И. Ленина, где оно и было напечатано. В «Дневных звездах» Ольга Берггольц писала об этом: «…когда я написала свое самое первое стихотворение о революции, о Ленине, я прочитала его папе — без мамы, без Муськи, без Авдотьи, ему одному»[311]. Через два дня отец пришел с работы «какой-то напыженный, и в то же время явно ликующий, — он совершенно не умел прятать радость», и сообщил, что стихотворение напечатано. Похоже, именно от отца Ольга Федоровна унаследовала эмоционально отзывчивый тип личности. Размышляя о доброй и беспощадной силе поэзии, пленяясь «сумрачной тайной» стихов, она писала: «Но я — в отца, я не в силах одна выносить бремя радости, мне необходимо поделиться ею с другими, похвалиться ею»[312].

Нельзя сказать, что отношения Ольги с отцом всегда были ровными или идиллическими, поскольку семейная жизнь Федора Христофоровича, отличавшегося влюбчивым характером и непостоянством личных пристрастий, не сложилась: с начала 1930-х гг. он жил с женой раздельно[313]. Но если в детские годы сочувствие дочери естественным образом было обращено в сторону страдающей от ревности матери («тогда же отца только осуждала»), то в зрелости духовная связь с Федором

Христофоровичем осознается самой Ольгой и с годами укрепляется. Уместно здесь напомнить, что в «Дневных звездах» (книге, которую Берггольц считала *главной)* образ отца возникает в поворотные моменты судьбы дочери. Федор Христофорович поддерживает Ольгу в дни несправедливых и нелепых обвинений 1937 г., когда она была исключена из кандидатов в члены партии, профсоюза и Союза писателей и восстановлена только в середине 1938 г. В главе «Та самая полянка» Берггольц вспоминает об одном из таких дней, когда заботливый и любящий отец уводит дочь из гнетущего настоящего в мир детства. В другой главе, «Поход за Невскую заставу», Ольга Федоровна описывает один из трагических дней своей жизни: поход по осажденному городу в феврале 1942 г. в амбулаторию к Федору Христофоровичу, чтобы сообщить о смерти мужа, Николая Молчанова, причем названия главок — «Путь к отцу» и «Секрет земли» — приобретают символическое значение. «Он понял, почему я пришла к нему, — пишет Берггольц. — Он знал, что Николай был в госпитале. И папа молча вышел из барьерчика, встал против меня и, низко склонив голову, молча поцеловал мне руку»[314].

С начала войны Ф. Х. Берггольц продолжал работу врачом амбулатории. 26 августа 1941 г. под грифом «совершенно секретно» Военный совет Ленинградского фронта выпустил постановление об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов Ленинграда[315]. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. право подвергать административной высылке «социально опасных» лиц было дано военным властям на территориях, объявленных на военном положении. К «социально опасным элементам» власти причисляли немцев и финнов, проживавших в городе и области. По всей видимости, Федор Христофорович был отнесен органами НКВД к гражданам немецкой национальности и, таким образом, попал под «волну» этого постановления. История высылки отца прослеживается по дневникам Ольги Федоровны и ее письмам к сестре. «Сегодня моего папу, — пишет она 2 сентября 1941 г., — вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа — военный хирург, верой и правдой отслужил Сов<етской> власти 24 года, был в Кр<асной> Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия — это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему

народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.

<…>

Я еще раз состарилась за этот день.

Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты»[316].

По воспоминаниям М. Ф. Берггольц, Федору Христофоровичу предлагали стать секретным сотрудником НКВД, но он наотрез отказался. Тогда же в паспорт Берггольцу внесли помету о 39-й статье Положения о паспортах, введенного в действие Советом народных комиссаров 10 сент. 1940 г. с инструкциями к применению. Статьи 38-я и 39-я данного Положения касались ограничений режима прописки, которые негласно запрещали проживание в крупных городах. Положение было официально обнародовано лишь до 35-й статьи, но все паспортистки знали об ограничении прав лиц с 39-й статьей в паспорте, который в народе получил название «паспорта с повышенной температурой».

Ольга Берггольц пыталась защитить отца и обращалась к Я. Ф. Капустину — секретарю Ленинградского горкома ВКП(б), члену Военного совета Северного флота, занимавшегося эвакуацией заводов, оборудования и кадров Ленинграда в тыл страны.

5 сентября 1941 г. она записала в дневнике: «Завтра батька идет к прокурору — решается его судьба. Я бегала к т. Капустину — смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.»[317]. Однако выселение финского и немецкого населения из Ленинграда осенью 1941 г. не состоялось: город уже был отрезан от Большой земли. Федор Христофорович остался в Ленинграде, но в покое его не оставили и периодически вызывали в УНКВД, куда ему приходилось добираться пешком через весь город.

Первую блокадную зиму Федор Христофорович разделял со всеми трудности осады города. «Отец жив, — писала Ольга Марии Федоровне 24 декабря 1941 г. — Здоров настолько, насколько все ленинградцы…»[318] 8 февраля 1942 г. (после очередного вызова отца в НКВД) Ольга Федоровна записывает подробности жизни Федора Христофоровича: «В его маленькой амбулатории — тепло, чисто, даже светло — есть фонари и свечи. Он организовал лазарет для дистрофиков, — изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет — уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.

Естественно — мужественно, без подчеркивания своего героизма человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно — несмотря на горчайшую обиду,

нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что собрались высылать, жил общей жизнью с народом — сам народ и костяк жизни города, — и вот!»[319]

29 января 1942 г. умер муж Берггольц, Николай Степанович Молчанов: утрата была тяжела. Из писем Ольги и от приехавших в Москву ленинградцев Мария Федоровна узнала о том, что Ольга Федоровна находится в состоянии дистрофии, очень ослабла, «как-то сразу осела» и страдает отеками. М. Ф. Берггольц удалось приехать 25 февраля в Ленинград и срочно отправить сестру самолетом в Москву. Федор Христофорович эвакуироваться категорически отказался и остался в городе без поддержки родных.

Весной 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта вновь принимает постановления от 9 марта за № 00 713 и от 20 марта за № 00 714а о выселении финского и немецкого населения из Ленинграда и Ленинградской области[320]. На этот раз избежать принудительного выселения Федору Христофоровичу не удалось. 17 марта 1942 г. по 39-й статье он был выслан из Ленинграда через Ладогу и города Череповец, Вологду, Глазов, Минусинск в с. Идра Красноярского края. Дочери узнали об этом в Москве. О. Берггольц сделала в дневнике запись от 27 марта 1942 г.: «Вчера из Вологды получили телеграмму от отца: „Направление Красноярск, просите назначить Чистополь. Больной отец“. Я, наверное, последний раз видела его в Ленинграде в радиокомитете. Его уже нет в Ленинграде. Он погибнет, наверное, в дороге, наш „Федька“, на которого мы так раздражались, которого мы так любили. А — о!..»[321] Желание Федора Христофоровича попасть в Чистополь было понятно: там находились родственники. 6 июля 1941 г. из Москвы в Берсут и Чистополь Татарской АССР был отправлен первый эшелон эвакуированных от Союза писателей. С этим потоком сын Ю. Н. Либединского и внук Берггольца — Миша попал сначала в санаторий Берсут, а затем в сентябре вместе с писательскими детьми был переведен в интернат Чистополя. Осенью 1941 г. со второй волной колонии эвакуированных родственников писателей и литераторов, не подлежащих военному призыву в армию, в Чистополь приехала Мария Тимофеевна Берггольц.

Следующая дневниковая запись Ольги Федоровны, касающаяся отца, относится к 3 апреля 1942 г.: «Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой, от 28/III. Он пишет: „родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия и т. д.), но *освободите* меня отсюда“. Он едет с 17/III, их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет: „силы гаснут,

страдаю животом…“ Он заканчивает письмо — „простите меня за все худое…“.

<…> А ведь „освободить“ отца почти невозможно. <…> Попробую поговорить завтра с Фадеевым, но разве этот вельможа сделает хоть что-нибудь реальное? Вот центр<альный> клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. М<ожет> б<ыть>, там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться до Берия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю, но буду пробовать».

Ольга Федоровна пишет заявления об отце, подает их московским партийным «хозяевам жизни», а ll апреля на вечере в клубе НКВД узнает, что заявления переданы секретарю наркома и что решено «действовать через Кубаткина» Петра Николаевича, начальника НКВД Ленинграда и Ленинградской области. Беспокойство за отца достигает предела 13 апреля и вызывает еще одну суровую инвективу Берггольц в адрес властей: «От отца с 3/IV нет вестей, — пишет Берггольц в дневнике 13 апреля 1942 г. — Может быть, его уже нет в живых, — погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. А почтенное НКВД „проверяет“ мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу „не знать всего“ о собственном отце, — они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтоб стереть с лица советской земли их мерзкий, антинародный переродившийся институт»[322].

20 апреля Ольга Берггольц возвращается из Москвы в Ленинград, а 24 апреля пишет Марии Федоровне: «Что касается отца, дозвонилась, наконец, до товарища Х. Завтра пойду. Я трижды хваталась за телефонную трубку, чтоб позвонить отцу… Эх! Что говорить!»[323] На следующий день, 25 апреля, она дописывает письмо: «Была сегодня у тов<арища> Х насчет отца, выслушал сочувственно, обещал „выяснить“ и просил позвонить через день. Кроме того, сказал, „кажется, был запрос и, м<ожет> б<ыть>, мы уже ответили“»[324].

В Минусинск Ф. Х. Берггольц приехал в середине апреля 1942 г. и сразу попал в больницу. После выписки из больницы он выехал из Минусинска в с. Идра, где устроился работать врачом в сельской амбулатории. Очередное письмо от отца Ольга Федоровна получила 7 июля. К этому времени литературная репутация Берггольц упрочилась тем, что впервые в центральном органе — «Правде» было напечатано ее стихотворение[325]. Теперь, «в новой ипостаси», Берггольц хлопочет об отце и пишет сестре: «Получила сегодня письмо от папы от 21/VI, довольно

бодрое, хотя местные кретины чинят ему всякие препятствия из-за 39 ст. Хлопот капитальных я пока не начинала, т<ак> к<ак> в предыдущих письмах он писал, что, возможно, передвинется, и я не знала, куда что направлять. Кроме того, здесь шла и еще идет та же вонючая волна, которая унесла и его, и соваться было бы с ним совсем некстати. Теперь вновь начну, т<о> е<сть> с новым материалом и в новой ипостаси товарища, печатающегося в Ц<ентральном> О<ргане>! Я уже писала тебе, что Сашка Ф<адеев> направил в Горком ВКП(б) вызов отцу на работу в Чистополь и просьбу посодействовать ему. Но об этом отец еще не пишет…<…> Спрашивает и беспокоится о тебе, о матери, о Мишке! Пишите вы ему, господи, до чего его жаль»[326]. Через два дня, 9 июля 1942 г., Ольга Федоровна посылает письмо матери, в котором просит поддержать отца: «Ради бога, пиши ему хоть немного, — он очень обижен всем, что с ним произошло, он хороший. Я делаю тут, что могу, для восстановления справедливости, но двигается пока что туго, — ты не пиши ему об этом. Хуже всего то, что *нет никакого дела*, а есть чья-то тупость, которую труднее всего преодолеть. Фадеев пока что послал телеграммы за своей подписью в Красноярский обком и Минусинский горком — с вызовом отца в Чистополь „на работу“ и с просьбой помочь ему, может быть — поможет»[327].

И Фадеев действительно помог. Как раз в то время (с конца апреля по 8 июля 1942 г.) он находился в Ленинграде, откуда вместе с Берггольц выезжал на фронт, выступал на радио и близко познакомился с ленинградским писательским бытом[328]. Как руководитель Союза писателей, Фадеев принимал в военное время непосредственное участие в вопросах перемещения писательских семей, посылал вызовы, устраивал командировки и лично организовывал эвакуацию из Москвы 14–15 октября 1941 г. Маленький, провинциальный Чистополь приютил тогда целую колонию московских писателей, среди которых были К. А. Тренев, Б. Л. Пастернак, Л. М. Леонов, Н. Н. Асеев, К. А. Федин, М. В. Исаковский и др. Там же находилась и семья Фадеева. При его содействии в начале ноября Федор Христофорович переехал из Минусинска в Чистополь и поселился с М. Т. Берггольц и внуком Мишей.

Разлука с родными рождала взаимное беспокойство. Озабоченная неизвестностью местонахождения отца, 18 ноября Ольга посылает матери телеграмму: «Немедленно сообщи, приехал ли папа, здоровье всех, волнуюсь, послала письма. Ольга». На обороте телеграммы сохранился ответный текст, написанный рукою Марии Тимофеевны: «Все здоровы. Папа приехал, работает директором поликлиники. Получила твою

фотографию. Пиши. Мама»[329].

С 10 ноября 1942 г. по 28 августа 1943 г. Федор Христофорович работал в госпитале и главным врачом поликлиники № 2. В Чистополе в это время было несколько госпиталей, и город нуждался в квалифицированных врачах, которые, наряду с писателями, составляли культурную часть населения. Жизнь в глухом провинциальном городе была неустроенна во всех отношениях, и Федор Христофорович, оторванный от родного Ленинграда, сильно тосковал и «рвался» обратно. О чистопольском быте времен войны остались зарисовки в многочисленных воспоминаниях эвакуированных литераторов. «В Чистополе мы попали в XIX век, — вспоминал Вадим Белоцерковский, сын драматурга В. Н. Билль-Белоцерковского, — если не дальше. Старые деревянные осевшие в землю дома царских времен, неасфальтированные грязные улицы, отсутствие машин, водопровода, канализации. <…> Электрический свет давали только на несколько часов в сутки и с частыми перебоями. Не было и керосина. Освещались самодельными масляными коптилками <…>»[330].

Тем не менее в этот период Ольга Федоровна считает нецелесообразным и опасным возвращение отца в блокадный Ленинград. Она пишет сестре: «Теперь насчет папы-мамы. Жалко мне их до слез, но, Муська, из тыла вообще мрачнейшие письма идут, худо люди живут, страдают очень. Это не утешение для нас с тобой, но это к сведению <…>. Поскольку отец здоров, работает, нет никакой экстры надрываться над его возвращением сюда, — он тут только меня нервировать будет, а *лучше здесь ему не будет.* <…> Мучительно, что у нас так дети и старики страдают из-за наших дел — войны. Если мы несем полную ответственность за все происходящее, то дети-то и старики должны бы были быть в стороне, а получается, что им еще хуже, чем нам»[331].

В июне 1943 г. писательскую колонию реэвакуируют в Москву. Уезжают из Чистополя и М. Т. Берггольц с внуком, а кочевая жизнь Федора Христофоровича продолжается. По записям Лебединского, в сентябре 1943 г. он переезжает в Казань, работает в эвакогоспитале № 3652 врачом-ординатором, позже его переводят в Тулу в той же должности в эвакогоспиталь № 5865, который затем переформировывают в полевой фронтовой госпиталь. С июня 1944 г. Ф. Х. Берггольц работает в Туле в эвакогоспитале № 5383 врачом-ординатором.

Между тем Берггольц продолжает борьбу за ликвидацию «дела» отца и снятие 39-й статьи. «Насчет отца подаю письмо Жданову, — пишет она сестре 11 мая 1943 г., — а когда приеду в

М<оскву>, надо будет заняться его подтягиванием куда-нибудь поближе»[332]. Наконец, не добившись желаемого результата, Ольга Федоровна пишет заявление городскому прокурору А. Н. Фалину[333]. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Берггольц обращается к тому самому человеку, Анатолию Николаевичу Фалину, который во время ареста и тюремного заключения поэтессы в 1938–1939 гг. был старшим следователем. В архиве Берггольц сохранилась машинописная копия этого заявления. Заявление не датировано и содержание не дает возможности установить точную дату его написания. Лишь по косвенным данным можно определить крайние даты документа. По адресу, указанному Ольгой Федоровной в заявлении, оно могло быть написано не раньше апреля-мая 1943 г., так как переезд на ул. Рубинштейна, 22, начался приблизительно с 8 апреля[334], да и заявление к прокурору последовало, скорее всего, после майского письма к А. А. Жданову. Кроме того, в заявлении указано место работы и должность Ф. Х. Берггольца — эвакогоспиталь в Туле, что позволяет считать, что заявление могло быть написано еще позднее, предположительно в конце 1943 г. или в 1944 г. Заявление к прокурору, представляющее собой как бы своеобразную биографию Федора Христофоровича, написанную его дочерью, публикуется полностью.

ГОРОДСКОМУ ПРОКУРОРУ ФАЛИНУ А. Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Берггольц О. Ф. ул. Рубинштейна, 22, кв. 8, т. 4–97–48

В самом начале октября месяца 1941 года мой отец, Бергольц (так в документе, — *Н.П.)* Федор Христофорович, врач больницы при комбинате им. Тельмана (быв<шая> ф<абрика>ка Торнтон)[335] был вызван на пл. Урицкого в милицию, где у него потребовали паспорт и без всякого объяснения причин перечеркнули прописку, а в пункт 8 вписали — «на основании статьи 39», после чего отцу было предложено в 24 часа покинуть город[336]. По причинам, не зависящим ни от отца, ни от милиции (начавшаяся блокада Ленинграда), отец выехать не смог. Райздравотдел предложил ему продолжать работу, что отец и стал делать, и тем временем подал заявление в горпрокуратуру. В беседе с отцом прокурор (фамилии не помню) спросил отца, правда ли, что он немец, и правда ли, что его отец был крупным акционером? Отец ответил, конечно, что и то и другое неправда: немцев у нас в роду не было и нет, отец отца (мой дед) латыш по национальности, с детства работал в Ленинграде и никогда не был ни крупным, ни мелким акционером, а свыше 50 лет проработал на одном месте, на ф<абрике>ке быв<шей> Паль (имени Ногина)[337].

Прокурор обещал «разобрать дело», отцу продлили прописку, он всю блокадную зиму в высшей степени самоотверженно работал в своей больнице, а в марте месяце все же ему было предложено выехать из Ленинграда… Видимо, все же в связи с тем, что кто-то принимал его не то за немца, не то за «сына крупного акционера», т<ак> к<ак> никаких объяснений ему так дано и не было, а каких-либо причин вообще к подобного рода репрессии — не существует.

Вся жизнь отца — жизнь честного русского врача. Он по специальности хирург. В 1914 году, сразу после окончания Университета, был мобилизован как военный хирург и всю Первую мировую войну провел на передовых позициях. С момента Октябрьской революции — в рядах Красной Армии, опять в качестве военного хирурга, на фронтах Гражданской войны, гл<авным> обр<азом> (далее текст не пропечатался. — *Н. П.)* …ных. На территории белых никогда не был. После демобилизации из (текст не пропечатался. — *Н.П.).* [С] 1921 года непрерывно работает в амбулатории и больнице при ф<абри>ке «Красный ткач», она же потом комбинат имени Тельмана (быв<шая> Торнтон, на правом берегу Невы), где заслужил себе большую любовь рабочих и работниц фабрики как внимательный и опытный врач. Неоднократно премировался за свою работу. Ежегодно был привлекаем в качестве врача на призывные пункты. С первых дней Отечественной войны опять-таки работал в качестве врача на мобилизационных пунктах в Володарском районе. Даже тогда, когда с ним произошла эта неприятность, в октябре 1941 года, спецотдел фабрики дал ему положительную характеристику. Родственников у нас за границей или связи с ней не было и нет; репрессированных родственников — так же. Поэтому нет сомнений, что высылка отца — итог какого-то недоразумения или ошибки.

Убедительно прошу Вас ликвидировать это недоразумение, *снять с отца статью 39,* которую он никоим образом не заслужил за всю свою жизнь, посвященную целиком работе по охране здоровья бойцов и рабочих нашей страны.

После выезда из Ленинграда отец работал в разных медучреждениях на периферии, в настоящее время работает старшим ординатором в эвакогоспитале в Туле[338].

Публикуемое заявление, вероятно, и было написано после случайной встречи Ольги Берггольц с Фалиным, о чем Мария Федоровна вспоминала так: «Эта встреча была очень значительная. Об этом надо рассказать. Ольга была уже в славе, в городе ее все знали, и она рассказывала: „Представляешь, вдруг смотрю, и через ряд сидит мой старший следователь, палач,

Фалин. Меня всю затрясло. А он в это время уже был прокурором… главным прокурором города“. Он оглянулся, осклабился: „Ольга Федоровна, а вы узнаете меня?“. Она говорит: „Узнаю“. Сжала зубы. „Чем могу быть вам полезен?“ И вот тут Ольга, надо отдать справедливость великому ее характеру (наверно, я бы не сдержалась), а она сказала: „Можете быть полезны“. И просила за отца. Нашего отца в блокаду выслали туда в Сибирь за то, что категорически отказался быть сексотом, то есть доносить на своих больных, которые ему доверяли как богу. Никакие наши ходатайства не помогали. Вот до этой встречи. Фалин сразу согласился, мол, какие пустяки. Правда, на следующий день он сказал, что это очень трудно сделать, потому что дела на отца не было (а откуда ему быть?), однако через некоторое время помог сделать, как папа говорил, „индульгенцию“» [339]. Впрочем, «некоторое время» тянулось довольно долго и лишь к концу 1944 г. Берггольц удалось добиться снятия 39-й статьи и реабилитации Федора Христофоровича. Таким образом, по выявленным архивным и эпистолярным источникам, хлопоты Берггольц об отце шли «через Кубаткина», А. А. Жданова и, наконец, А. Н. Фалина.

Тему административной высылки и «дела» Федора Христофоровича сюжетно замыкает пятое из публикуемых писем Ольги Берггольц от 11 ноября 1944 г., в котором дочь сообщает о том, что скоро на руках у отца будет «настоящий, чистый, справедливый документ». Но лишь в начале февраля 1945 г. Ф. Х. Берггольц получает новый паспорт. С осени 1945 г. он переходит на работу в дом инвалидов на ст. Куровская, где работает до марта 1947 г. В начале апреля 1947 г. приезжает и поселяется в Ленинграде и с этого времени постоянно лечится в Военно-медицинской академии, больницах им. Урицкого и им. К. Маркса с диагнозами воспаление легких и сердечная недостаточность. Тяготы войны и блокады, а также испытания, вызванные произволом властей, не могли не ослабить его здоровье и, возможно, ускорили его смерть.

Последнее из публикуемых писем Ольги Берггольц не было передано отцу, что позволяет предположить, что оно было написано незадолго до его смерти. На оборотной стороне листа имеется помета рукой Ольги Федоровны: «Письмо, написанное и не отданное отцу». Представляется неслучайным тот факт, что не дошедшее до адресата письмо было все-таки сохранено его дочерью как последнее заверение в любви и эмоционально-духовной близости, возникшими не только по родству. «Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне, — писала Ольга Федоровна, — жадным жизнелюбием, чувством юмора,

упрямством, целомудрием чувств, даже — здоровым цинизмом! Я так хочу, чтоб ты жил!» (наст, публ., письмо 6).

Умер Федор Христофорович в больнице 7 ноября 1948 г., похоронен на Шуваловском кладбище. Умирая, отец слышал голос Ольги, которая вела по радио праздничный репортаж. Мария Берггольц писала: «…в больнице умирал наш отец, а ты в это время вела репортаж с площади Урицкого, то есть с Дворцовой (я все держала наушник у его уха и знала: пока он тебя слышит — не умрет!), я на минуту вышла из палаты. Рыжебородый плотник, который раньше лежал с ним в палате, тоже наш, заставский (он, видно, сторожил у палаты, но не смел войти), спросил меня: „Ну, как?..“ А я с отчаянием сказала: „Погибает!“ И он, сверкнув своими черными глазами (губы дрожали, даже рыжая борода этого не скрыла), сказал: „Великий был человек!“ Даже если вся его жизнь была для этих, сказанных тогда слов — она прошла недаром!»[340].

Письма публикуются по автографам (четыре письма) и по авторизованной и правленой машинописи (два письма); на трех письмах из шести имеется штамп: «Просмотрено военной цензурой. Ленинград». Подчеркнутые в письмах слова даны в тексте курсивом, сокращения раскрыты в ломаных скобках.

1

2/X-42

Дорогой мой, родной папа! Я просто совершенно теряюсь, — ты пишешь, что получил всего два моих письма. Я послала их тебе не менее 10–12 штук, и почти в каждом писала о твоих вещах, зарплате и т. п. И у меня просто слезы выступают, когда я в сотый раз читаю твои просьбы о вещах и деньгах. Кстати, сам ты так долго писал мне об этом с такой неопределенностью, что я совсем недавно выяснила, *что именно* ты оставил в амбулатории. Ну, что ж, придется повторить все еще раз, но *умоляю,* ответь мне на это письмо с ссылкой на его дату, чтоб мне знать, что ты, наконец, все знаешь. Сначала информирую тебя, затем задаю вопросы.

1) Слепцова[341] получила *всё,* что тебе причиталось. 500 руб. она взяла себе, — у нее твоя расписка на 500 р. 789 руб. отправила тебе в мае на *Минусинск*[342], до востреб<ования>. Все время уверяла меня, что квитанция у нее есть, а когда я за ней приехала, она сказала, что квитанцию у нее украли. След<овательно>, доказательств в том, что она действительно отправила деньги, у нас нет. Я ходила на почту сама, узнавала,

можно ли получить копию квитанции, мне сказали, что *нельзя* и что квитанция, выданная на руки, — единств<енный> документ. Но этого документа нет, значит, вероятнее всего, что она присвоила эти деньги. А доказать этого — опять-таки нельзя. Но ты ни разу не написал мне: *справлялся ли ты на почте в Минусинске?* М<ожет> б<ыть>, все-таки там с мая м<еся>ца деньги лежат? *Я умоляю тебя написать мне об этом,* а ты, как ребенок, пишешь одно: «Сл<епцовой> я не верю…» Раньше надо было об этом думать, папа! Если тебе ответят из Минусинска, что деньги туда не приходили, значит, она их присвоила. Надо считать их пропавшими. Хотя я абсолютно не виновата в этом, я постараюсь вернуть их тебе из своих, т<ак> к<ак> ты прогрыз мне ими всю голову.

2) Из твоих вещей, опрометчиво доверенных тобою той же Слепцовой, цел только чемоданчик с бельем и ящик с сапож<ными> инструментами. Пальто, сапож<ного> товара и всего другого, о чем ты пишешь — нет, Слепцова уверяет, что *ничего, кроме этого ящика и чемоданчика, и не было.* Чем я докажу, что было? Видимо, тебе надо примириться и с утратой этих вещей. Наверное, она их продала и прожрала. Что можно сделать? Я советую тебе прислать заявление на Слепцову в спецотдел, или в фабком, или в райздрав, я не знаю, куда лучше. Поможет ли это? Если она присвоила деньги и вещи, — навряд ли, тем более, что есть ли у тебя хотя бы свидетели, что *именно ей* ты доверял *именно то-то* и *то-то.* Папочка, родной, рекомендую тебе просто-напросто смириться с пропажей этого барахла и этих 700 рублей, — стоит ли из-за них портить жизнь? Ведь живешь же без них, и проживешь дальше, <а> выживем, ей-Богу, наживем еще больше и лучше, только бы выдержать. Ты прости, дорогой, но в то время, когда мы все теряем так много, когда мы потеряли Николая[343], что значит это твое пальто? Я понимаю, что оно нажито тобой честным трудом, но все будет, все будет, не трепли ты только себе нервы, плюнь на это! Знал бы ты, как обчистили моего Юрку[344], три отреза, кожу на пальто и т. д. и т. д. У Молчановых[345] погибло всё имущество, т<ак> к<ак> их квартиру разнесло снарядом и т. д. Война!

3) Я уже писала тебе, что тетя Тася[346] умерла еще в марте, а перед смертью продала твой розовый фарфор и еще что-то. Тоже не возместишь. Я писала тебе, что дом на Палевском[347] будут ломать, тетя Валя[348] звонила мне об этом. Мебелишку твою мне взять некуда — буфет, стол и т. д. На Троицкую это просто не затащить, да и транспорта нет. Продать не удалось, несмотря на попытки Вали, никто не покупает. Итак, видимо, это тоже пропадет. Итак, в Л<енингра>де из твоего имущества

сохраняется то, что ты оставил у меня, и то носильное (брюки и пр.), что находится у Ивановых[349], и чемоданчик с бельем в амбулатории у Кувалдина[350]. Папа, мне неприятно сообщать тебе обо всем этом, но уж лучше знать правду, что у тебя нет бывшего угла, нет обстановки, и всего лишь кое-что из белья и одежды. Но ведь это — война, папа! И погоди, погоди, не впадай в отчаянье или уныние! Давай смотреть вперед, а не назад, давай не будем оплакивать пропавшего буфета, право, он не стоит того. Повторяю — главное для тебя сохранить бодрость и здоровье для будущего, а оно не так уж мрачно. Несмотря на все страданья, которые выносит наша страна, — мы все же побьем проклятых немцев. Ты знаешь это. Это главное. А, кроме того, в частности: несмотря на еще не прорванную блокаду, несмотря на то, что, как говорил чеховский Редька, — «все может быть»[351], мы с Юркой твердо решили вить гнездо, такое, которое соответствует людям, достигшим более 30 лет. В этом месяце я должна получить приличную квартиру, а Юрке в наследство от одного уехавшего профессора досталась очень хорошая обстановка и библиотека. Думаем, что в октябре мы все оборудуем, и с расчетом на новую трудную зиму и в то же время с расчетом на будущий мир. Т<ак> ч<то>, когда ты вернешься в Л<енингра>д, у тебя будет родной оборудованный угол, и даже, папочка, внук или внучка, т<ак> к<ак> на этот раз это все на самом деле, уже проверено, и должно произойти в марте 43 года. Да, вообще, найдем тебе в Л<енингра>де угол, это здесь сейчас не проблема, свободной жилплощади много. И обстановку найдем. Видишь, все не так уж плохо. Брось горевать о вещах, только подорвешь нервы. Остатки, если не разбомбит, сберегу все.

4) Теперь о твоих делах. Я подала на главное лицо большое заявление; улита едет, но все же мне обещано было самое внимательное расследование, и имеется поддержка горкома ВКП(б). Быть может, к празднику чем-нибудь обрадую тебя. Но прошу об одном: *о терпенье и выдержке с твоей стороны!* Напрасно ты ссылаешься на Мусин опыт со мной в 38 году[352]. Сейчас все по-другому, другое время, другая обстановка, ты должен это понять. Статьи у тебя не будет, я этого добьюсь, но навряд ли ты вернешься в Л<енингра>д в этом году. Это будет, вероятно, весной, но, впрочем, все будет зависеть от обстановки. А сейчас, даже если бы ты имел эту возможность, я бы не рекомендовала тебе этого делать. Ты отдал Л<енингра>ду все, что мог. Ты сам пишешь, что ослаб. Тебе трудно было бы выдержать здесь вторую зиму, сопряженную к тому же с работой. Мы надеемся, что эта зима не будет столь страшной, как в прошлом году, но закрывать глаз на ее суровость — нельзя. Кроме

того, я сама недавно выступала по радио, говоря о том, что «враг не оставил мысли о том, чтоб взять Л<енингра>д штурмом».[353] Об этом же ты, видимо, читаешь в газетах, и, как ленинградец, должен понимать, что это все значит. Мы по-прежнему, и даже больше, чем в прошл<ом> году, уверены в том, что Л<енингра>да немцам не видать, но город может подвергнуться очень серьезным испытаниям, и незачем тебе, усталому и пожилому человеку, это выносить. Ты и там приносишь людям пользу, и по возвращении сюда будешь нужен, но лучше тебе пока побыть в тылу. Я знаю, что тебе там одиноко, что твои бытовые условия невеселые, но, право же, это лучше условий Л<енингра>да во много раз… Я хочу, чтобы ты понял меня до конца, я пишу очень серьезно. Только не беспокойся за меня, после Колиной смерти я решительно ничего не боюсь, ни жизни, ни смерти, и живу пока неплохо.

Я рада, что тебе понравилась «Ленингр<адская> поэма»[354]. Я хотела тебе послать ее давно, да поскольку ты все время пишешь, что не получаешь моих писем, — побоялась. Да, могу отрапортовать тебе как отцу, что успех у нее огромный. О фактах этого успеха можно было бы исписать целые страницы, — ну, например, как список поэмы фронтовики покупали за хлеб (кило!), как один боевой катер бил по немцам с цитатами из поэмы, как с читкой поэмы провожали в поход подводную лодку, и много, много другого. У меня десятки писем, — и с большой земли, и из землянок, и с многих фронтов, особенно, — с ленинградского; от вдов, от бойцов, даже из тыловых колхозов[355]. Из колхозов пишут, что «выращиваем вам хлеб насущный, ленинградский и т. д.». Бойцы пишут, что со словами поэмы идут в бой и в снайперские засады, и, трогательней всего, клянутся *мне,* что будут биться беззаветно. Есть ряд писем в стихах, много коллективных. В сентябре мне пришлось много ездить, была в Кронштадте, была два раза на фронте[356]. Много выступала и читала, и меня везде встречали, — и бойцы, и командование, как старую знакомую. Знают, понимаешь, как никого из ленинградских писателей. К вашей дочери, папа, пришла настоящая слава, не через статьи (их до сих пор нет), не через чины, а снизу, от самого народа, и слава почетная: «ведь вы *правду* пишете», — говорят мне всюду. Это народное признание бесконечно дорого мне, и я желаю только одного — оправдать его в дальнейшем. Работаю над новой большой вещью к 25-летию Октября; написала две вещи, которые уже стали широко известны в армии и флоте[357]. Очень много пришлось ездить и выступать, но теперь в связи со своим положением резко сокращаю выезды и сажусь только за юбилейную поэму. Она должна быть очень

острой и правдивой[358]. Одно убийственно, что Коля не может порадоваться этому моему успеху, — ведь всё это принадлежит ему! Кстати, «Февр<альский> дневник» полностью опубликован был в «Комс<омольской> пр<авде>» от 5/VII, стал широко известен за кольцом, исполняет его в Сибири Алиса Коонен[359]. Тоже много писем. А чтением «Ленингр<адской> поэмы» открыло работу пресс-бюро при Союзе пис<ателей> в Москве[360]. Пишу сейчас и корреспонденц<ию> для Америки[361], готовлю большое публицистич<еское> выступление на Л<енингра>д о своих фронтовых и флотских впечатлениях. Видишь, работы много, а сил, увы, после зимы меньше, чем в пр<ошлом> году. Но, в основном, я чувствую себя хорошо, все протекает пока что благополучно, Юрка счастлив и обожает меня, — много похожего даже на любовь Коли, заботится необычайно. Он мобилизован в Политич<еское> управл<ение> Балтфлота, но работает от них на радио. Бытовые условия и пища у нас лично приличная. Е. М.[362] здорова, толста, писала тебе. Папочка, Яшка[363] и Юрка горячо приветствуют тебя и говорят, что о *месте* для дочки озаботятся, но дочке — придется *строчить*. Пиши. Целую. Твоя Ляля.

P. S. Твоего письма с доверенностями на облигации не получила. Напиши, получил ли ты мое ценное письмо с аттестатом на пенсию и справкой? Я послала его еще в конце августа, застраховав на 600 руб. Хотя телеграмма помогла, все же хотелось бы, чтоб ценное дошло до тебя. Мать *пишет* тебе[364]. Я посылаю ей посылку из мануфактурного барахла на мену. Муське[365] отдала все до копейки мои московские деньги, а это не менее 3 тысяч. Посылала деньги и Колиным племянникам. Пошлю на днях еще и тебе — руб. 200–300. Видишь, я даже из блокады стараюсь помочь родным, но сейчас у меня затор с деньгами, да и надо подготовиться к зиме и к встрече будущего ленинградца, т<ак> ч<то> ты не обижайся, если буду посылать тебе меньше, чем предполагала, пока в процессе работы денег мало, потом пойдут. Книжку свою пошлю, как только выйдет[366]. Ольга.

2

28/X-42

Дорогой папа! Я очень рада, что ты едешь к маме, и, видимо, уже приехал, так как сегодня, 27 (так в документе. — *Н.П.)* октября, получила твои открытки от 13/X. В то же время я почти в отчаянье оттого, что мне придется повторять буквально все, что я

писала тебе в большом и подробном письме от 2/X, которое ты явно не успел получить до своего отъезда из Идры[367]. Но хочу предупредить тебя, что пишу тебе обо всем этом в *последний раз,* так как у меня не хватает уже никаких нервов и терпения в течение восьми месяцев писать тебе об одном и том же, по существу, в высшей степени маловажном предмете. Надо сказать, что писала я тебе об этом не только в письме от 2/X, но и *еще несколько раз.* Речь идет о твоих вещах и деньгах. Пишу кратко, т<ак> к<ак> повторяю, у меня сейчас очень много работы и всяких дел, и не могу я больше писать и думать на эти темы, иначе стану шизофреником.

1) Наш дом на Палевском снесен до основания, так как вообще в Ленинграде сносят почти все деревянные жилые дома. *Все твои вещи и мебель,* которые там были — *пропали.*

Об иконке, печке и прочем ты написал мне слишком поздно, тогда, когда уже дом ломался. Тетка Валя чувствует себя плохо, живет на казарменном на предприятии и ни своих, ни твоих вещей не «спасала». Тетя Тася перед смертью продала твой розовый фарфор. В общем, надо считать вопрос с этим исчерпанным. Уже ничего не воротишь, да и не знаю, о чем там жалеть. Но об этом — ниже.

2) Из вещей, список на которые ты мне прислал — сохранился *только чемодан с бельем у Кувалдина.* Когда я была там и говорила со Слепцовой, она сказала, что больше ничего не было. Так как в это время, когда я у нее была, ты мне еще не сообщал, что именно тобой оставлено, я и не могла ничего спрашивать и спорить. Ты все сделал очень торопливо и неорганизованно. Спрашивала некую Марию Михайловну, «что оставил здесь папа», она сказала, «мне неизвестно», других никаких людей там я не видала. Звонила Слепцовой, она еще раз сказала, что ты оставил только чемодан.

3) Что касается денег твоих, то Слепцова сказала, что она отправила их тебе в мае месяце на МИНУСИНСК. Вот ты все время говоришь о них, а толком не ответил ни разу на мой настойчивый вопрос — *запрашивал ты или нет минусинскую почту,* — может быть, деньги там лежат? Что касается квитанций, то Слепцова сказала, что у нее квитанцию украли вместе со всеми документами, и действительно, *я проверяла* это, у нее украли всю сумку с документами, карточками и прочим. Я ходила на почту, с которой она отправила якобы деньги, узнавала, можно ли получить копию квитанции, мне сказали, что нельзя, копии они не оставляют. Если ты запрашивал деньги в Минусинске и оттуда поступил ответ, что они не приходили, значит, Слепцова их присвоила. Но прямых доказательств у меня к этому нет. Теперь

относительно суда. Я просто-таки раскаиваюсь, что сама подала тебе эту мысль, теперь у тебя она, видимо, будет вроде идеи фикс. Но, папочка, сердись не сердись, я этим заниматься НЕ БУДУ. Еще до получения твоего письма со списком вещей и доверенности на суд я говорила с юристом, изложила ему суть дела, и он сказал, что поскольку ни у тебя, ни у меня нет на руках ни акта о сдаче тобой вещей Слепцовой, ни расписки от нее, ни свидетелей, которые видели бы *своими глазами в тот момент,* как она у тебя вещи принимала — дело можно считать заранее *проигранным.* Получив список твоих «свидетелей», я вижу, что это свидетели более чем липовые. И я не буду его даже начинать при таком положении вещей, у меня просто нет ни времени, ни нервов, ни сил, чтобы при теперешнем состоянии моего здоровья, занятости действительно серьезными делами, при нашем состоянии трамвайного движения, приближающемуся к зимнему, начать поездки на правый берег, через мост (парома нет), искать незнакомых мне людей, таскаться по судам, и все это из-за БАРАХЛА, нет уж, лучше считай, что ИМЕННО Я должна тебе эти несчастные семьсот рублей и даже стоимость столь драгоценных тебе ватных штанов. Как только у меня будет легче с деньгами (у нас в городе с ними туго), я тебе компенсирую деньги, присвоенные Слепцовой. А судиться не буду.

4) Вещи, отданные тете Вале — все целы, лежат у Ивановых, ботинки, брюки и т. д. Белье, которое ты оставил у меня — цело. Остальное пропало, и тебе, папа, нужно просто смириться с этим фактом. Ты меня прости, но меня поражает, как после ТАКОГО трагического года в Ленинграде, после той потери, которую в Колином лице понесла наша семья, после тех страшных потерь, которые понесли и до сих пор несут все люди, ты можешь восемь месяцев, почти ежедневно писать мне, видимо, тратя силы и нервы, о таком дерьме, как ватные штаны, старое пальто и т. д. Ведь все равно, даже, если б ценой собственных конечностей, я их как-то выцарапала от присвоивших их людей, ведь все равно они бы лежали здесь втуне, так как никаких возможностей перебросить их отсюда к тебе у меня нет и не будет. Та маленькая посылка, которую я собрала матери, ведь в первый раз за 15 месяцев мне это удается сделать, да и то еще не знаю, как это все выйдет. Ты, видимо, совершенно утратил представление о том, что такое ленинградская жизнь и как мы все тут живем, если полагаешь, что содержанием моего существования сможет стать суд со Слепцовой, которой ты так легкомысленно доверил свое барахло. Ведь не голым же ты ходишь, что-то увез с собой, ничего не просишь даже выслать, а вот не дает тебе покоя какая-то странная и непонятная жадность. Да вот Молчановы потеряли все

свое имущество, как и сотни других семейств, и ничего, живут, и есть у них другие интересы, интересы напряженной работы в тылу, хотя мать Коли[368], например, просто убита его смертью, а все-таки держится, не скулит, и уж меньше всего ужасается тому, что решительно все, что осталось здесь — обречено пропаже. Ей-Богу, папа, ты, видимо, перестал чувствовать себя Ленинградцем. Я понимаю, что т***о***, что тебе пришлось пережить — тебя очень ударило, ну, а другим-то легче? Нам-то тут, думаешь, как на курорте живется? Ты просто забыл, какая у нас обстановка, и что мы тут в полном смысле слова под Богом ходим… Вот если б ты вчера, например, присутствовал при обстреле нашего района, со всеми последствиями — невинно погибшими людьми, разгромленными дотла квартирами, так, может быть, это оживило бы в тебе твои же собственные переживания прошлого года, или хотя бы февраля месяца, и ты бы понял, что на этом фоне — нет смысла так дергать себя из-за того, что одна сволочь тебя обворовала. Впрок ей это не пойдет, а мы не пропадем. Так что давай на этом дело считать законченным и условимся, что по приезде сюда тебе придется начинать весь завод с начала, так сказать, голый человек на голой земле, старинная мечта всех истинных гуманистов. Жилплощадь будет, ее, увы, сейчас здесь много, мебели «выморочной» тоже сколько угодно, в общем, ничего решительно страшного не произошло, ты должен это усвоить, папа. Все мы, в основном, здоровы, держим друг с другом связь, каждый по своим силам может работать и не висеть на шее ни друг у друга, ни у страны, чего еще надо? Все остальное будет, ну, что же, начнем жизнь сначала, — война. Что касается твоего основного дела, то, как я уже писала, мною подано главному лицу большое заявление с мотивировками и всем, чем надо, и мне обещано, что твое дело разберут, пересмотрят, и если все, что я пишу, подтвердится, то, разумеется, изменят в лучшую сторону. Когда все это будет, зависит уже не от меня, но я буду нажимать, постольку поскольку торопливость будет уместна. За это я отвечаю, за свое обещание, данное тебе, заниматься этим, и сделаю все, что от меня зависит. Конечно, в этом году в Л<енингра>д ты не вернешься, да это и к лучшему. Здесь снова будет довольно тяжело, а тебе в твои годы это совершенно ни к чему. Ориентируйся примерно на весну, а лучше всего начинай по силе возможности работать там — всюду люди, а сейчас ты с родными, ничего, все устроится, только ради Бога, уж это я пишу тебе, как мужчина мужчине, не бранитесь вы при Мишке[369] с матерью, будьте потерпеливее друг к другу. Муська очень хотела, чтоб ты приехал к маме, но побаивалась именно того, что вы будете ссориться, а Мишка это будет

наблюдать и переживать, ведь мальчишке и без того пришлось хватить неприятного. Ну, да, думаю, все будет хорошо, мать о тебе очень скучала. Пожалуйста, напиши мне толково, как там устроишься, как мать, Мишка, обстановка. И помни, родной папа, что при всех трудностях, которые у вас будут, это все же лучше, чем наш быт. Много об этом не пишу, думаю, что ТЕБЕ — понятно. Мои дела ничего: беременна, но умоляю, без аханья по этому поводу. Лучше пусть мама выполнит мои просьбы, которые передаю ей в письме. Очень хочу, чтоб все состоялось, и очень буду огорчена, если опять не доношу, или в силу какой-нибудь ленинградской случайности это вообще не состоится. Юра мобилизован в Балтфлот, пока в Л<енингра>де, на радио, что будет дальше, пока говорить трудно. Я много работаю. Мои стихи и поэмы пользуются огромным успехом у читателей, чего нельзя сказать про различное «начальство», мне все время приходится, как и раньше, сражаться с редакторами, инструкторами, цензорами и прочей братией, прежде, чем удается отстоять то, что мне хочется сказать и на что потом бойцы и граждане отвечают благодарными письмами и словами. Но это все же стоит того, чтоб ругаться с чиновниками[370]. А сил уходит много. Но я стараюсь держаться позиции самой решительной. Живем пока на радио, но, видимо, будет квартирка, правда, без электричества, но зато с печами. Если будут дрова и керосин (мечта!), то, значит, соорудим себе семейное гнездо, как говорится, до первой бомбы. Ну, да ведь это не обязательно…

Ну, пока все. Тороплюсь — надо звонить и добиваться свидания с одним важным лицом, потому что одно менее важное лицо хочет снять у меня из книжки стихи, вернее, переделать, а я ни в коем, принципиально этого не хочу допускать, ну и видишь, сколько хлопот из-за принципа. А иначе — нельзя, особенно, *мне* теперь, я уж могу говорить другим голосом. Писем ко мне отовсюду по поводу «Лен<инградской> поэмы» — масса, каждый день получаю, и какие! Гл<авным> образом с фронтов. Ну, пока, целую, пиши. Привет от Юры, Яши, бубновой пары. Ляля.

Не рыдай о своих ватных штанах, отвоюем, я сошью тебе бархатные с золотым галуном! Пожалуйста, пожалуйста, дорогой папа, не сокрушайся об этом барахле, неужели тебе больше не о ком в Ленинграде думать!

3

8/XII-42

Ленинград

Дорогой папа!

Получила твое письмо от 7/XI, как видишь, оно шло целый месяц. Учитывая эти темпы, надо полагать, что мое письмо, подробное, напечатанное на машинке, посланное тебе в конце октября, тоже дошло до вас. Там я писала настолько подробно обо всем, что повторять это не в состоянии, тем более, что в течение 7 месяцев я только и делаю, что пишу тебе о твоих вещах и делах. Считая, что ты тем моим письмом достаточно подготовлен к ударам и распропагандирован им же, лишь кратко повторяю.

а) дом на Палевском сломан, все твои тамошние вещи погибли. Увозить шкафы и оттоманку, и пр<очую> рухлядь мне было *не на чем* (блокада!) и *некуда,* да и незачем.

б) со Слепцовой дела судебного не начинала, т<ак> к<ак>, посоветовавшись с юристом, мы оба увидели, что у нас нет ни документов (ее расписок в приеме твоих вещей), ни надежных свидетелей, ничего вообще. Доказать, что она присвоила твои деньги только на том основании, что ты их не получил, а у нее нет квитанции — нельзя; я вон тоже посылала Молчановым[371] 500 р<уб.>, и у меня цела квитанция, а они их так и не получили, и ничего нельзя сделать.

в) заявление, поданное мною о твоем деле, как мне говорят, «разбирается», «расследуется» и т. д. Время от времени нажимаю и жду более прочного своего положения — общественного, чтоб можно было нажать покрепче. Обещают «выяснить». Но я это дело доведу до конца.

В Ленинград ни тебе, ни матери приехать пока не удастся. Во-первых, как ты уже понял и убедился, даже не имея 39 ст<атьи>, это сделать очень сложно. Чтобы приехать к нам, хотя бы из Москвы, надо, чтоб тебя *вызвало* сюда учреждение, по правам приравненное к обл<астному> исполкому, при этом с санкции и разрешения Военного совета или же, чтоб сам Военный совет вызвал тебя. Посуди сам, имею ли я такие возможности; учти, что наш город именуется городом-фронтом не только в стихах и что въезд сюда обычным гражданам воспрещен; и вот тебе ясно станет, что пока что мысль о возвращении в Л<енингра>д надо отложить, — помочь я в этом ничем не могу. А о том, чтоб Военный совет вызвал сюда нашу маму — просто смешно думать! Никаких же «связей» и т. п. у меня никогда не было и нет. Да и что ты, папа, тащить сюда, в Л<енингра>д, мать с Мишей, это просто на смерть, особенно зимой. Никакой столовой маме бы не дали, а что дают даже на отоваренную карточку иждивенцам — ты знаешь. У вас кило картошки — 15 р<уб.>, а у нас —

350 руб., да и то почти случайно. Суди сам, можно ли на это рассчитывать? Ты пишешь, «я бы пристроился у тебя»? Где? В радиокомитете? Но здесь услуги хирурга не нужны. Ну, жилплощадь можно было бы найти, но дрова? Керосин? Этого я вам ничего бы предоставить не смогла. А помимо всего этого, специфические неудобства города-фронта, ты понимаешь, что я имею в виду. Вот, например, Е. М. почему-то долго не звонит мне, а не так давно на той улице, где она жила, не стало дома или двух, а я забыла точный № ее дома, и уж боюсь, не тот ли самый, не ее ли? Ты пишешь, что в Чистополе много пешей ходьбы, а думаешь, у нас ее мало? Хотя считается, что № 3 трамвая ходит, Юрка почти ежедневно бегает по делам службы на Петрогр<адскую> сторону пешком. Я все это пишу не для того, чтобы убедить тебя «не ехать сюда», этого все равно сделать нельзя, а пишу для того, чтоб ты *оставил мысль* и перестал тосковать по Ленинграду, и смущать маму этими химерами. Ты пишешь, «в этом направлении нужно действовать», папочка, прости, это звучит трагически-смехотворно. Не могу я перетаскивать вас сейчас в Л<енингра>д, невозможно это делать, да и бессмысленно. Что я делаю и что смогу сделать? 1) Я все свои деньги по Москве отдаю Муське, чтоб она часть пересылала вам. Милая Мусинька не пишет мне с августа месяца, несмотря на все мои просьбы и мольбы. Она даже не может сообщить мне, сколько моих денег она получила и сколько из них перевела вам, а по моим подсчетам, это все же не менее 3 тысяч в общей сложности, а м<ожет> б<ыть>, даже и больше. Кроме того, 20/X я отсюда перевела ей 400 руб., половину просила переслать вам и 2) отправила в начале ноября мануфактурно-галантерейную посылку, чтоб она переслала ее вам. Передай маме, что не надо мне ни шерсти, ничего, раз вам так туго[372], я обойдусь, возьмите все себе на пищу. Да вот говорят, что якобы у вас теперь и на мену ничего не дают, все завалено вещами, 3) дня через два переведу вам денег (в размере 500 р.) и постараюсь высылать *регулярно,* хотя с деньгами у меня не жирно. Знаю, дорогие мои, что вам там плохо. Да разве сейчас из вашей дыры зимой куда-либо тронешься? А, кроме того, честно говоря, везде сейчас трудно. Послушали бы вы, как воют наши киноработники, даже лауреаты и орденоносцы, живущие и *работающие* в Алма-Ате, Ташкенте[373] и т. д. Наша ленингр<адская> колония писателей под Пермью[374] тоже живет как вы; кроме тех, кто просто-напросто работает в колхозах на трудоднях. Однако, я узнаю, не легче ли там все-таки и нельзя ли вас перебросить туда? Спишитесь с Риной[375], м<ожет> б<ыть>, выйдет что-либо там? Молчановы в Йошкар-Оле живут тоже весьма туго[376],

— в одной комнатке все 5 человек, с продовольствием скверно, но они летом копались в огородике и ходили в лес за грибами. Узнаю еще о кое-каких местах, м<ожет> б<ыть>, весной удастся вас перебросить в более хорошее место…[377] А в общем-то, вся надежда на общее улучшение положения, и последнее время как будто бы наши дела на фронтах получше. Всем и везде очень трудно! Письмо твое очень расстроило меня, одна надежда, что после того, как ты устроился, судя по телеграмме, директором поликлиники, вам стало полегче. Не думай, что я не хочу помочь вам, но что я могу сделать отсюда, из осажденного города? Единственно реальное, — постараюсь, как уже писала выше, регулярно посылать деньги.

Неск<олько> слов о себе. Живем на радио, в маленькой комнатке, но есть печка, пока дают дрова (Юрка, как и все, осенью ломал дома), есть электрический свет, пока что тепло и светло, и это уже очень много. Летом и осенью кормились прилично, т<о> е<сть> не голодали, были сыты. Сейчас положение будет сложнее, т<ак> к<ак> летом я получала так наз<ываемый> академич<еский> паек (сверх рабоч<ей> карточки 3 кило крупы, 2 кило муки, немного масла и сахару) 1 раз в мес<яц>, а теперь этого пайка не будет, остается одна раб<очая> карточка. Это менее, чем в обрез. Юра мобилизован во флот, карточки не имеет, а должен питаться на корабле, что и делает. Домой приносит только хлеб, а питание на корабле очень и очень среднее для здорового мужика. Правда, стараемся кое-что доставать, но сил на это уходит много, а результаты ничтожные, вот, например, ездил он как-то по заданию на фронт, подарили ему там маленько картошки, и так «повезло», что попал из-за этой картошки под самый обстрел… В общем, жизнь сложная и трудная, но, вспоминая прошлую зиму, мы считаем, что не имеем права жаловаться: в прошлом году в это время я уже начала опухать, и сидели мы на 125 гр<аммах> хлеба и тарелке дрожжевого супа, а в этом году все же совсем другое — 500 гр<амм> хлеба и отоваривают карточки. Юрка пока при радио и Полит<ическом> Упр<авлении> флота, что будет дальше с ним — неизвестно, но ты сам знаешь, что мобилизованный человек себе не волен. У меня со здоровьем средне, т<ак> к<ак>, видимо, опять не удастся доносить, хотя я точно выполняю все указания врачей. Но последние дни появились тревожные признаки, указывающие на возможность прекращения беременности… Ужасно мне это жаль и больше всего не нравится перспектива нашей ленинградской больницы. У Юры недавно после тяжелой болезни, разыгравшейся в результате эвакуации из Киева, а затем Харькова, умерла мать[378]. Отец[379] остался в

Балашове, один, тоже болен.

Работаем много и напряженно. Меня теперь ленинградцы знают хорошо, но это приносит мне чисто моральное удовлетворение! Правда, мой райком соорудил мне русские сапожки, на предмет разъездов по фронтам, и они меня прямо спасают, т<ак> к<ак> все другое истлело; и я выступаю сейчас даже в городе в черном открытом бархатном платье и русских сапогах, а пузо занавешиваю белым шелковым платком, кот<орый> дала на время одна дама, но этот странный туалет, кажется, никого особенно не смущает. Ну, пока все. Крепко целую, деньги переведу завтра. От Юры вам обоим сердечный привет. Целую Мишу. Ваша Оля.

Получили ли мои письма на машинке и мою фотографию?

В течение *всей войны* умоляю маму сообщить, как точно писать к вам? В вашей области *два* города Чистополя — Чистополь-Береговое и Чистополь чистопольский?[380] До сих пор не могу добиться ответа, а это крайне важно для телеграфа и перевода денег. Сообщи обязательно.

4

14/II-43
Ленинград

Дорогой папа!

Числа 20 января получила твое письмо от 21 декабря и, сказать по правде, оно меня так обидело, что я воздержалась отвечать сразу, чтоб не написать резкостей. Что за странный тон взял ты по отношению ко мне и Муське!? Что это значит — «дочитайте мое письмо до конца»? Разве у тебя есть данные, что мы бросаем их в корзину, не читая? И вообще, ты пишешь нам так, будто бы мы какие-то барыни, захлебывающиеся от достатков и не желающие помогать своим бедным родителям. На самом деле это не так, мы живем очень трудной и трудовой жизнью, а Муська так и совсем плохо живет в бытовом отношении: почти без света, без дров, более чем скромно с питанием. Товарищи, видевшие ее в Москве, говорят, что она сильно похудела, измоталась. Я просто не знаю, что с ней делать: с большим трудом ее можно было бы вытащить сюда, как артистку, в командировку, но тут у нас тоже далеко не сахар, тем более, что наш переезд на собственную квартиру так до сих пор и не состоялся по ряду причин, о которых долго, да и не в письме писать. Короче, мы живем в крохотной комнате на радио, еле умещаясь в ней, правда, есть свет и в основном тепло, но третьего

человека тут не поместить, а предложить ей общежитие, — это не намного лучше ее тяжелых московских условий.

Блокаду, действительно, прорвали[381], и это имеет огромное, военное и политическое значение, но на нашем *быте* это пока еще не отозвалось в смысле его улучшения. Нормы те же, и условия города-фронта такие же… Бывают дни, когда осень 41 кажется идиллией, — немцы осатанели от злости, и вымещают это, как могут… Как человек воевавший и знающий хотя бы то, что представляет собою шрапнель, ты должен понимать это… Правда, судя по общему положению на фронтах Союза, да и у нас, фрицам уже не так долго безобразить. Надо надеяться, что уж в этом-то году мы все увидимся и станем жить если не очень богато, то, по крайней мере, спокойнее. Между прочим, еще до прорыва Муська писала мне, что у нее есть намерение к весне подтащить тебя под Москву, а мать и Мишку в Москву. Что касается въезда в Л<енингра>д, то после прорыва стало вроде как еще сложнее с этим, — решают только персонально и только здесь: уже были случаи, что люди, пробившиеся сюда со всякими «авторитетными» бумажками из Москвы — отправлялись обратно. Все это очень правильно, если учитывать продов<ольственное> и прочее положение в городе, а то опять неорганизованным возвращением можно было бы вывести его из равновесия. Но говорят, что потом, когда положение города изменится коренным образом, *семьи* можно будет вернуть, как будет в действительности, покажет время[382].

Ну, да в общем, теперь, повторяю, терпеть не так долго. Должна при этом сказать, папа, что по имеющимся у меня совершенно точным данным, положение у вас в Чист<ополе> сейчас лучше, чем в десятках и сотнях других мест, тем более, что, как пишет Жанна Инбер[383], цены у вас на рынке упали.

Бригада артистов (быв<ших> ленинградцев), прибывшая из Вятки[384], письма из Новосибирска, Молотова и мн<огих> др<угих> рисуют ОЧЕНЬ тяжкую картину бытовых и продов<ольственных> трудностей в стране, что совершенно понятно. Так что, прежде чем куда-либо двигаться, даже под Москву, учти со всей серьезностью то, что я тебе сейчас пишу… Дело с твоей статьей пока замерло, тот человек уехал, а, кроме того, учреждение, где ты был в самом начале своей истории, не так давно изрядно тряхануло и… в общем, ты знаешь, что после этого бывает. *Но я* наладила связь с юридическ<ими> силами Л<енингра>да, они обещали принять участие и вообще заверили меня, что это не проблема, что таких как ты — легион, и никто не беспокоится из-за этого, т<ак> к<ак> само собой все скоро решится положительно. Но, не дожидаясь общего исхода, я,

как и обещала, постараюсь ускорить твое лично дело. Нужно только время, подробнее же ничего писать не могу.

Умоляю тебя не нервничать, все идет хорошо, немцы будут побиты, это уже совершенно ясно, и все утрясется. И не ругайся с мамой, дотерпите уж всю войну с достоинством. О своей жизни напишу ей, она тебе прочтет. Здоровье очень средне, здорово устала ото всего, от работы, жизни, блокады. Но раз надо додержаться, будем держаться. А. А.[385] здорова, иногда бывает и звонит. Е. М. не подает признаков жизни с осени, где ее искать, не знаю.

Крепко целую. Оля. Привет от Юры и всех наших.

5

11/XI-44

Ну, дорогой папа, наконец-то, кажется, ты сможешь не ворчать на меня. Вчера вечером была у прокурора города[386], который мне официально сообщил, что *с тебя снята 39 статья, как ошибочно наложенная, а также вообще все остальное — постановление об адмвысылке и т. д.* Теперь ты совершенно свободный и реабилитированный гражданин. Сегодня или завтра тебе должна отправить наша прокуратура официальную и авторитетную бумажку обо все этом, — у меня уже взяли твой адрес. Правда, когда я приехала из командировки[387], прокурор, который расследовал твое дело, сказал мне, что снята только 39 статья, а постановление об адмвысылке осталось, но я на этом не успокоилась, пошла к прокурору города, и, как уже написала выше, прокурор города лично еще раз занялся этим и выяснил, что и постановление об адмвысылке — *тоже* неправильно, и все отменил. Так что, если получишь письмо от Муси (я ей в тот же день после первого разговора с прокурором все сообщила), где она будет писать только о снятии 39, то знай, что эти сведения уже устарели.

Повторяю, справедливость восстановлена полностью, и, может быть, еще раньше, чем это письмо, ты получишь об этом справку от прокурора. В общем, дня через два я проверю, послали ли они это тебе. Но все главное — уже сделано. Обо всем остальном будем разговаривать тогда, когда ты получишь справку и на руках у тебя снова будет настоящий, чистый, справедливый документ…

Очень рада, что удалось полностью восстановить временно попранную фамильную честь и доброе имя. Подчеркиваю, что все остальное будет уже проще, но хочу предупредить, чтобы ты

особенно не воспалялся, а учел, что возвращение в Ленинград все-таки еще дело сложное, но уже по другим теперь причинам. Так что потерпи еще некоторое время, не принимай опрометчивых решений и переездов, на которых ты уже не раз погорел и зря тратил силы, а раз у тебя сейчас материальное положение ничего — не торопись его менять на журавля в небе. Тем более, что, выполнив самую трудную часть дела, я лично не смогу сейчас заниматься дальнейшим. У меня самой крайне плохи дела: у меня реальная угроза — остаться без своего угла. Когда меня вселяли в эту квартиру, то уверяли, что она совершенно свободна, а теперь вдруг появились сразу две претендентки, обе страшно нахальные еврейки, у одной из которых справка на руках, что она дочь военнослужащего. Закон формально на их стороне; мне предстоит сразу два суда, причем 99 % за то, что я проиграю дело. Если же хоть одну из них ко мне вселят, то у меня пропадает вся квартира, т<ак> к<ак> комнаты сразу становятся проходными, мы вынуждены будем ютиться в одной комнате, а звукопроницаемость в квартире абсолютная, а одна еврейка — скрипачка, — ну, в общем, мне даже страшно тебе писать, что это такое будет, конец всей моей работе, да и нормальному существованию, хуже тюрьмы.

Мне, правда, обещают разные ответственные товарищи, что не дадут меня в обиду, но пока еврейки не дают мне покоя и фактически со дня приезда в Ленинград я только этим живу и занимаюсь, издергалась до предела… А конца этой истории еще не видно. Кроме того, Муська страшно нажимает на меня (не пиши им об этом ни слова), чтоб я взяла к себе мать, поскольку у них там сложилась чисто грустилинская атмосфера, а комнату мамы заселил Путиловский[388], и ее надо отбирать тоже через суд, а для этого надо еще, чтобы у мамы был вызов Ленсовета и пропуск, а это у нас вплоть до 45 года категорически приостановлено, тем более для иждивенцев, так что просто не знаю, как я из этого вылезу. А работы ужасно много, и очень ответственной и интересной, и крайне важной для всего моего будущего…

Спасибо тебе за предложение получить по твоей облигации деньги, но я даже не просмотрела ее, не до того. Потом получу и пришлю тебе на табак, пока кое-как живем. Хотелось бы написать о том, как мы провели командировку на Черном море, да тоже некогда, в общем, «трясусь»[389] все время, уж придется тебе об этом прочесть очерки в «Известиях»[390], куда мы их должны отправить послезавтра. Так что сразу без перехода на этой же машинке начинаю перепечатывать очерки… Пока, желаю здоровья. Гляди вперед «в надежде славы и добра»[391].

Сердечный привет от Юры и наши общие поздравления с благополучным окончанием твоего «дела».

Твоя Ольга.

На конверте: Тула, Криволучье, эвакогоспиталь 5383. Доктору Бергольц (так на конверте. — *Н. П.)* Ф. Х.

Обратный адрес: Ленинград, Рубинштейна, 22, кв. 8. О. Берггольц.

6

[1948][392]

Дорогой мой, хороший! Может быть, у меня нет никого на свете, кроме тебя.

Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне: жадным жизнелюбием, чувством юмора, упрямством, целомудрием чувств, даже — здоровым цинизмом.

Я так хочу, чтоб ты жил! Чтоб в годы заката были вокруг тебя розы, пуговицы[393], грибы, внуки, стихи.

Пожалуйста, слушайся врачей и знай, что все мы хотим, чтоб ты поправился и кричал бы на нас на собственной даче.

Твоя Лялька

А Юра и Андрюша[394] целуют.

На обороте письма приписка рукой О. Берггольц: «Письмо, написанное и не отданное отцу».

ГОЛОС
из воспоминаний об Ольге Берггольц

…я вмерзла в твой неповторимый лед.

О. Берггольц

ГЕОРГИЙ МАКОГОНЕНКО [395]
Фрагменты из воспоминаний «Письма с дороги»

<…> 15 декабря я вернулся с Волховского фронта. После приключений на Ладоге я не рискнул еще раз испытывать судьбу и, воспользовавшись предложением летчиков, добрался до Ленинграда на бомбардировщике. Попутный грузовик довез меня с аэродрома до угла Невского и Садовой. Заваленный сугробами Невский трудно было узнать. В городе ли Ольга Федоровна — я не знал. Позвонил из автомата на квартиру — телефон, к счастью, работал — и услышал ее голос. Застал я ее случайно: холод изгнал ее из ледяной квартиры, и она перевезла Николая к знакомым, у которых топилась печка. К себе домой она забежала на минутку за нужными вещами.

Я передал подарок из дивизии генерала Краснова — концентраты гречневой каши, кубики спрессованного какао и несколько помятый в дороге настоящий калач! Его выпекали на полевой кухне. Все это именно в тот день было более чем кстати — карточки ведь уже были сданы и выданный за два дня вперед хлеб был съеден.

Но уехать Ольге Федоровне не удалось, очередь на самолет оказалась очень большой, а шофер, обещавший перевезти через озеро, исчез…

К концу декабря болезнь Николая Молчанова приняла грозный характер. Врачи потребовали положить его в больницу. Пришлось подчиниться. Почти ежедневно быстро слабевшая Ольга Федоровна, еле волоча ноги, с трудом добиралась по занесенным улицам до больницы, с крошечным узелком и традиционным блокадным бидончиком в руках.

Значительную часть своей скудной блокадной пайки она носила в больницу. Положение больного ухудшалось с каждым днем. В январе Николай Молчанов умер.

Окаменевшую от горя, еле державшуюся на ногах от истощения, бездомную (нельзя же было оставаться в вымерзшей,

покрытой инеем квартире), я привел Ольгу Федоровну в Дом радио, где мы все, сотрудники, жили на казарменном положении. Здесь ей, среди друзей, было легче. Да и бытовые условия у нас по тем временам были царские: горело электричество, топилась печка в большом кабинете председателя Радиокомитета, где мы днем и вечером работали, а по ночам спали на раскладушках и длинном, вытянутом вдоль всей стены кабинета диване. Дрова оказались под рукой — на чердаке. Наши инженеры заверили, что стропила — толстые сосновые бревна — были установлены с огромным запасом прочности, их можно выборочно спиливать. После войны мы предупредили новое начальство, что нужно восстановить военные потери. Специальная комиссия после обследования пришла к заключению, что и оставшихся стропил больше чем нужно, чтобы держалась крыша. А мы-то так экономили…

<…>

В трагических обстоятельствах, сложившихся у Ольги Берггольц, — неуклонно наступавшая дистрофия, болезнь и смерть Николая Молчанова — только работа, только ежечасное ощущение своей нужности осажденному городу, его защитникам, только ясное знание, что она выполняет долг поэта-бойца, могли ей помочь, рождали бы те духовные силы, ту нравственную стойкость, которые побеждали физическую слабость и личное горе. Так жили все сражавшиеся ленинградцы. Такой жизнью и могла только жить Ольга Берггольц. В этом был секрет сопротивляемости и выживания.

Помимо корреспондентских поездок на мне лежали другие, более ответственные обязанности. С сентября я был редактором-организатором передач на страну «Говорит Ленинград» — они проводились сразу после того, как замкнулось кольцо блокады. Со страной говорили защитники города: солдаты и матросы, рабочие и домохозяйки, ставшие самоотверженными бойцами ПВО, ученые, писатели, композиторы, прибывшие из области партизаны — все те, кто имел гражданское и моральное право говорить от имени Ленинграда. Выступала в этих передачах и Ольга Берггольц со специально написанными стихами.

С сентября назначенный начальником литературного отдела, я вместе с редакторами готовил почти ежедневные передачи различных жанров. Мы организовали очерки о защитниках города, о работе для фронта, публицистические статьи, стихи, новые песни. Регулярно выходила «Радиохроника». Это был радиожурнал, органически объединявший литературу и музыку, публицистику и художественную прозу, лирическую поэзию и сатиру — поэтическую и прозаическую, выступления писателей-

фронтовиков, ученых, артистов, поэтов со своими стихами. Актуальность «Радиохроники», тематическое и жанровое ее разнообразие снискали ей широкую популярность у радиослушателей. Идея создания «Радиохроники» была осуществлена под непосредственным руководством Яши Бабушкина, когда он еще был начальником отдела (с осени его назначили художественным руководителем Радиокомитета).

По роду своей работы я, как и другие редакторы отдела, выступал «заказчиком». Программы передач носили индивидуальный характер. Каждая из них зависела от конкретных заданий. Страна ждала от нас информации — как сражается и держится Ленинград. Враг стоял у ворот, нужно было находить формы и методы передачи информации. Быстро менявшиеся обстоятельства войны определили тип и характер передач на Севастополь, на Москву (в октябрьские, грозные для столицы дни). Прикрепленные к Радиокомитету писатели получали всякий раз совершенно точные задания. По мере необходимости привлекались и писатели, состоявшие при Политуправлении Ленинградского фронта: Н. Тихонов, А. Прокофьев, В. Саянов — и при Политуправлении Балтийского флота: Вс. Вишневский, Л. Успенский, А. Крон, Вс. Азаров. Из прикрепленных к Радиокомитету писателей в первую блокадную зиму больше других работали Ольга Берггольц и Владимир Волженин (умер в феврале 1942 года).

Сразу по возвращении с Волховского фронта, помимо текущих передач, я начал готовить новогодние передачи.

Нужно было выступление поэта на страну. Ольга Берггольц уже делала это в сентябре, и тогда ею была найдена отличная форма — письмо к матери, жившей на Каме. Сейчас я попросил написать второе письмо на Каму. Оно было написано 20 декабря.

Новогодние передачи для Ленинграда были особенно трудными. Ленинградцы встречали 1942 год в ужасных условиях. Огромное число рабочих и служащих жило на казарменном положении, и, естественно, Новый год они встретят вместе, в общежитиях. Будет свет и тепло, а главное — не будет одиночества. Но сотни тысяч останутся в своих промерзших квартирах без света, — лишь у немногих будет теплиться слабый огонек самодельной свечки или коптилки, Ослабевшие даже не смогут подняться с постели. Их связь с миром поддерживалась только через радио, и в этот, когда-то светлый и праздничный, вечер они с особым напряжением станут ждать — что скажут по радио? Нельзя было обманывать это ожидание, этой веры в радио, нельзя было делать вид, что мы забыли, что 31 декабря — не обычный, а новогодний вечер.

В поисках формы такой нетрадиционной передачи родилась мысль провести беседу с ленинградцами, начать с ними разговор — доверительный, жестко-правдивый и гордый — о нашей жизни, о беспримерных испытаниях и о нашей победе! Ведь уже пятый месяц враг рвется в наш город, но путь ему преграждён, и планы захвата Ленинграда провалились! Враг пытается обстрелами и бомбежкой, голодом и холодом сломить нашу волю, отнять веру в победу и опять терпит поражение. Мы всем сердцем верим в победу, мы ждем ее, и она будет…

Естественным было обращение к Ольге Берггольц. Естественным, потому что она многие свои стихи, написанные для радио, строила как живой разговор с каким-нибудь конкретным собеседником: соседкой по квартире Дарьей Власьевной, сестрой… Это обращение к собеседнику придавало удивительную эмоциональную силу ее стихам.

Нам показалось, что не меньше возможностей таит в себе «прозаический» разговор с ленинградцами. Преодолевая слабость, Ольга Федоровна согласилась. 29 декабря состоялась первая беседа.

«Дорогие товарищи! Послезавтра мы будем встречать Новый год. Год тысяча девятьсот сорок второй. Еще никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне незачем рассказывать вам, какая она. Каждый ленинградец знает об этом сам, каждый чувствует сейчас, вот в эту минуту, ее небывалое дыхание… И все-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник. Ведь мы встречаем тысяча девятьсот сорок второй в своем Ленинграде, — наша армия и мы вместе с ней не отдали его немцу, не дали ему вторгнуться в город. Мы остановили врага. Наш город в кольце, но не в плену, не в рабстве.

Это уже безмерно много.

Да, нам сейчас трудно… Но мы верим… нет, не верим — знаем — она будет! Ведь немцев отогнали от Москвы, ведь наши войска отбили обратно Тихвин. Победа придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленинграде и тепло, и светло, и даже… весело. И может быть, товарищи, мы увидим наш сегодняшний хлебный паек, этот бедный, черный кусочек хлеба, в витрине какого-нибудь музея… И мы вспомним тогда наши сегодняшние — декабрьские — дни с удивлением, с уважением, с законной гордостью».

В заключение первого разговора с ленинградцами Ольга Берггольц прочла два стихотворения: «Первое письмо на Каму», написанное в сентябре, и «Второе письмо на Каму», написанное 20 декабря, — неизвестные ленинградцам, потому что они

читались в передачах на страну.

Специальный номер «Радиохроники» был посвящен встрече Нового года. Для этого номера, который передавался поздним вечером 31 декабря, Ольга Берггольц написала стихотворение «Новогодний тост»:

В еще невиданном уборе —
Завьюженный огромный дот, —
Так Ленинград, гвардеец-город,
Встречает этот Новый год.
Как беден стол, как меркнут свечи!
Но я клянусь: мы никогда
Правдивей и
теплее встречи
Не знали в прежние года…

Январь и февраль были самыми суровыми месяцами блокады. Число жертв в Радиокомитете возрастало. Почти каждый день мы теряли наших товарищей. Но работа продолжалась и в прежнем объеме и с прежней интенсивностью. Обязанности павших брали на себя живые.

Ольга Берггольц выполняла различные поручения наших многочисленных редакций. Но в январе у нее последние силы отнимали тягчайшие походы в больницу к Николаю Молчанову. Дистрофия свирепо и ожесточенно пыталась сломить ее волю к жизни, уничтожить ее сопротивляемость болезни.

В конце января, как-то ночью сидя в нашем общежитии, где кто-то беспокойно спал, кто-то тихо стонал в забытьи, мы с Яшей Бабушкиным заговорили о том, что нас уже давно беспокоило и тревожило: как спасти Ольгу? Решили, что будем настойчиво добиваться разрешения эвакуации Ольги Берггольц самолетом. Но мы понимали, что эти хлопоты могут затянуться надолго, а надо — крайне необходимо было — уже сейчас найти что-то. Так родился *план* поручить Ольге Берггольц срочную и ответственную работу. Конкретно — решили просить ее написать… поэму о блокаде, о сражающемся и сопротивляющемся в осаде городе. При этом была поставлена дата, чтобы задание, как всегда, носило точный и определенный каким-то событием срок. Время подсказывало эту дату: поэма о Ленинграде должна быть написана к Дню Красной Армии, к 23 февраля.

Предложение было неожиданным для Ольги Федоровны, оно смутило ее. Берггольц раньше поэм не писала. И — поэма о Ленинграде… сейчас, в эти месяцы блокады?.. Но высокое чувство ответственности, сознание своего долга, выработанная за месяцы

войны внутренняя дисциплина определили ее решение. Если нужно — значит, она обязана сделать!

Днем мы все были заняты, нас ждали сотни редакционных дел, очередные передачи, беседы с авторами, заказы, редактирование. И дела бытовые, становившиеся все более сложными и хлопотливыми: нужно было организовывать в Доме радио «баню», следовало найти в городе парикмахершу и открыть парикмахерскую у себя в подвале, чтобы люди не опускались, следили за собой, мылись, стриглись и брились…

Ольга Федоровна сидела в дневное время на диване, закутавшись в платок, и что-то писала, тихо «бормоча» рождавшиеся стихи… Мысль о поэме все больше захватывала ее. А ночами, несмотря на слабость, на отеки, словно расцветала: сбивчиво и увлеченно говорила нам с Яшей о будущей поэме и твердо заверяла, что она обязательно будет «личной». И требовала, чтобы мы высказывали свои пожелания…

Потом эти беседы прекратились. В послеполуночные часы, когда затихало наше общежитие, Ольга забиралась в отдаленный угол громадного председательского кабинета, садилась за маленький столик, накрывала платком лампу, чтоб свет не мешал спящим рядом усталым товарищам, и начинала работать.

К середине февраля поэма была написана. Так же ночью, негромким голосом, но с той, присущей только Ольге Берггольц, чеканной и волевой интонацией она прочитала нам свою поэму, названную — «Февральский дневник». Форма повествования — дневник — естественно сочетала лично пережитое ею и общее в судьбе всех ленинградцев, живущих в сражающемся и осажденном городе. В поэме естественно прозвучало единство лирического, исповедального и библейско-эпического начал. Поразителен был совершенно новый, впервые созданный образ великого города, о котором было столько написано русскими поэтами. Будничные и горестные приметы блокадного быта («дремучий иней», «уездные сугробы», «степная туманная мгла») обретали высокий поэтический смысл, вырастали в символы нашей жизни, когда страшный и безумный быт становился бытием героического города.

Но мы были потрясены прежде всего интонацией поэмы, ее страстным, захватывающим и гипнотизирующим читателя пророчеством. Только большой поэт мог почувствовать сердцем, что в эти жестокие дни войны и осады нужен именно этот эмоционально-категорический пафос, утверждающий неизбежность поражения врага и сегодняшнюю победу — победу духа, несмотря на все бесчеловечные испытания, обрушенные на ленинградцев.

Поэма «Февральский дневник» была впервые прочитана Ольгой Берггольц 22 февраля 1942 года в очередном, 195 номере «Радиохроники». Для Берггольц это был рубеж: она бессознательно, где-то в глубинах души, в тайниках сердца, почувствовала и поняла, что теперь навечно связала себя с Ленинградом, что завоевала дорогой ценой звание поэта своего города.

В одну из январских ночей Ольга Берггольц, Яша Бабушкин и я заговорили о пути, пройденном с начала войны, о нашей работе, о том месте, какое заняло радио в жизни и борьбе осажденного города. У микрофона выступали сотни его защитников. Сколько было написано отличных стихотворений, песен, рассказов… Сколько передано волнующих репортажей с места событий: бой на отдельном рубеже, завод, работающий под бомбами и снарядами, спасение детей, пострадавших от артиллерийского обстрела… Какие люди выступали в передачах на страну и в перекличках сражающихся городов — Ленинграда с Одессой, Севастополем… Какие письма писали ленинградцы на радио… За каждым выступлением, очерком, стихотворением, репортажем — реальные судьбы людей.

Радио обладало только ему свойственной способностью объединять сотни тысяч людей в одну аудиторию, превращать разбросанных по городу и фронту слушателей в соучастников тех событий, о которых рассказывал боец, рабочий, писатель или диктор.

Но слово, произнесенное по радио, западая в души слушателей, не закреплялось печатно. К нему нельзя было вернуться. А ведь на Ленинградском радио был накоплен огромный опыт. Так родилось предложение подготовить книгу «Говорит Ленинград», куда вошли бы лучшие материалы, передававшиеся по радио в месяцы осады. Вспоминая теперь о наших планах создать такую книгу, поражаешься тому обостренному чувству истории, которое нас вдохновляло. Война была еще в начале, блокада продолжалась, а мы действительно жили завтрашним днем. Задумывая книгу о радио в блокаде, мы как-то просто и естественно думали о завершенном периоде, об истории осажденного города, о нашей победе… Только вот когда это будет — никто не знал.

Но в декабре 1941 года разгромили немцев под Москвой. В январе наши войска освободили Тихвин. Безотказно действовала автомобильная трасса через Ладожское озеро, хотя немцы беспрестанно и ожесточенно ее бомбили и обстреливали. По ней шли бесценные для Ленинграда грузы, и прежде всего продовольствие, хлеб. Народ любовно назвал эту трассу Дорогой

жизни. В январе уже было объявлено о прибавке хлеба по карточкам. Все дышало нарастающей, трудной, дальней, но неукоснительно приближающейся победой народа…

В конце января Николай Тихонов был вызван в Москву для выполнения срочных заданий. Он рассказал в Союзе писателей о бедственном положении ленинградцев. Владимир Ставский добился разрешения послать через Ладогу машину с продовольствием. Сопровождать эту машину самоотверженно согласилась сестра Ольги Федоровны — Мария. И вот в конце февраля в Доме писателя появилась Муся Берггольц, та, которую мы знали по сентябрьским стихам Ольги Берггольц: «Машенька, сестра моя, москвичка…» Запомнилось несколько февральских вечеров в нашем общежитии, когда у весело горящей печки собирались сотрудники редакции, чтобы послушать двух сестер. А они, укутавшись одним платком, пели старинные печальные народные песни.

…А дистрофия продолжала свое грозное дело. Ольга Федоровна с каждым днем все больше слабела — истощение приобрело отечный характер. Нужно было срочно вывезти ее на Большую землю. 1 марта Берггольц вылетела в Москву, где прожила почти два месяца. Этот период жизни получил отражение в ее письмах из Москвы.

<…>

ЛЕВ ЛЕВИН [396] Фрагменты из воспоминаний «Жестокий расцвет»

<…> 6 ноября 1941 года мой товарищ по курсам младших лейтенантов при Первом учебном запасном минометном полку известный ленинградский кинооператор Анатолий Погорелый и я патрулировали по Невскому. Мы ходили взад-вперед по его левой стороне, если стоять спиной к Адмиралтейству, от Садовой до Московского вокзала. Заступили в шестнадцать часов. Должны были патрулировать до двадцати четырех.

Праздничную демонстрацию отменили. Можно было ждать, что немцы подготовят к празднику сюрприз, но ничего особенного, кажется, не произошло. Где-то в отдалении лопались снаряды и рвались бомбы, но к этому, в общем, уже привыкли. Во всяком случае, на Невском было спокойно. Наше дежурство обошлось без происшествий.

В полночь пришла смена. Закоченевшие и, как всегда в те дни, голодные, мы заторопились домой. Наши курсы помещались в одном из больших казарменных зданий неподалеку от Витебского вокзала.

Когда мы поравнялись с улицей Рубинштейна, я увидел на другой стороне, возле хорошо известного ленинградцам рыбного магазина, дворничиху, сгребавшую снег (тогда его кое-где еще убирали).

Недолго думая, я попросил Погорелого минутку подождать, нацарапал короткую записку и передал дворничихе, с тем чтобы она завтра утром как можно раньше отнесла ее на улицу Рубинштейна, семь, Ольге Федоровне Берггольц. Просьба была, естественно, подкреплена некоторой суммой денег.

Я написал, что завтра буду патрулировать по левой стороне Невского, если стоять к Адмиралтейству спиной, и попросил Ольгу, если это возможно, хотя бы ненадолго появиться на Невском от восьми до шестнадцати.

— В чем дело? — вяло поинтересовался Погорелый, когда мы пошли дальше.

Я рассказал.

Погорелый с сомнением покачал головой.

— Вряд ли Берггольц придет, — сказал он. — Да и не стоило ее тревожить. Уверяю вас, ей сейчас не до свиданий с друзьями.

Я стал горячо возражать. С Ольгой, говорил я, меня связывает десятилетняя дружба, а это кое-что да значит.

— Посмотрим, — усмехнулся Погорелый. — Завтра увидим, кто из нас прав. — Он помолчал. — Если, конечно, дворничиха вообще передаст вашу записку. Что, как говорится, вряд ли. Очень ей нужно в такое время бегать по чужим квартирам. Вы хоть дали ей что-нибудь?

— Двадцать пять рублей, — с достоинством сказал я.

— Тоже мне деньги! По такому случаю могли бы и раскошелиться.

Тем временем мы подошли к казарме, поднялись по зашарканной лестнице, добрались до нар и, не раздеваясь, повалились на них.

— Спать! — приказал Погорелый. — Завтра подъем чуть свет.

Он повернулся ко мне спиной и вскоре уже похрапывал.

А я, несмотря на усталость, заснул не сразу. «Придет Ольга или не придет? — гадал я. — Вероятно, ей сейчас и в самом деле не до меня. Силенок, конечно, маловато. Да и откуда им взяться? Живет наверняка на тех же правах, что и все остальные. Так же голодает».

Встали мы с Погорелым действительно чуть свет, похлебали редкого блокадного супа, взяли винтовки, противогазы и пошли на Невский.

Было ясно, что с утра Ольга во всяком случае не появится. Но я все-таки присматривался к каждой женщине, попадавшейся

навстречу. Однажды мне издали почудилась Ольга, ее фигура, ее походка, ее прядка. Я уже шагнул, чтобы заговорить, и только тут увидел незнакомый удивленный взгляд.

Погорелый молчал, но посматривал на меня насмешливо.

Время шло, а Ольга все не появлялась.

На углу Литейного я неожиданно встретил старого знакомого — И. Меттера, чью повесть «Разлука» еще так недавно редактировал для «Литературного современника». Мне показалось, что на нем пальто с чужого плеча, но тут же я понял, что он просто очень похудел, как бы уменьшился в размерах. Тем не менее был бодр и, как всегда, улыбался.

— Понимаешь, какая штука, — торопливо заговорил Меттер таким тоном, как будто мы с ним виделись вчера в редакции и на мне обычный штатский костюм, — на днях мы с Сергеем Дмитриевичем Спасским выступали в одном месте. Нас накормили ужином, а сегодня обещали угостить обедом. Который час? Боюсь опоздать. Бегу… — Он на ходу пожал мне руку и быстро пошел, скорее, побежал по Невскому.

До конца дежурства оставалось не так уж много времени. Ольги не было. Погорелый посматривал на меня с явным сожалением.

Я столько раз ошибался, принимая за Ольгу незнакомых женщин, что, когда она на самом деле появилась, чуть не прошел мимо.

Ольга пришла с Колей Молчановым. Прежде всего меня поразила перемена, происшедшая в нем. Когда я видел его последний раз — это было еще до войны, — он производил впечатление полного сил, цветущего молодого человека. Я знал, что он серьезно болен — у него была эпилепсия, — но на щеках его всегда играл румянец, он казался бодрым и даже физически сильным. Сейчас в лице его не было, что называется, ни кровинки, глаза потухли, он улыбался вялой улыбкой, больше похожей на гримасу.

Ольга тоже заметно осунулась и побледнела, но была неестественно оживлена.

Обняв меня и обхватив при этом холодный приклад винтовки, Ольга ткнулась лбом в мое ухо и неожиданно сказала:

— Здравствуй, Ландыш. А где Фиалка?

Это так вопиюще противоречило всему нас окружавшему, что я онемел. Ольга же, блестя глазами и коротко похохатывая, рассказывала, какими молодцами оказались наши старые друзья. Женя Шварц, например. Как много она работает, сколько стихов написала. Среди них есть, между прочим, и такие, которыми она, в общем, довольна.

— Читал? Может быть, по радио слышал?

Пришлось признаться, что не читал и по радио не слышал.

— Э, братец, так ты, видно, про меня ничего не знаешь, — засмеялась Ольга. — Значит, ты и мое письмо Муське не слышал? Я его еще в сентябре написала. «Машенька, сестра моя, москвичка!» Не слышал?

Пришлось признаться, что не слышал.

Не объяснять же ей было, что, обучаясь на своих курсах, я после полевых занятий с непривычки падал на нары или просто на пол и засыпал мертвым сном. Откуда мне было знать, что за эти месяцы в жизни Ольги произошли разительные перемены, что она стала поэтом борющегося Ленинграда, что судьба ее отныне и навсегда связана с судьбой осажденного города, что в ее стихи с болью и надеждой вслушиваются люди не только в кольце блокады, но и далеко за его пределами. Короче говоря, я не знал, что случилось настоящее чудо: война и блокада подняли Ольгу на самый гребень трагических событий, разом проявили то, что годами копилось и зрело в ее душе, превратили ее в истинного поэта-гражданина, чей искренний, чуждый ложного пафоса, живой человеческий голос уверенно и властно звучал над опустевшими улицами и площадями Ленинграда, в оледеневших пещерных жилищах, в землянках и блиндажах переднего края.

Это был неожиданный для многих, но глубоко оправданный и выстраданный поэтический расцвет. Сама Ольга назвала его *жестоким:* «Я счастлива, и все яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого жестокого расцвета»; «Благодарю ж тебя, благословляю, жестокий мой, короткий мой расцвет…».

…Между тем Ольга не умолкала ни на минуту. То и дело она со скрытой тревогой поглядывала на Молчанова. Он стоял молча, с равнодушным видом и явно не прислушивался к нашему разговору.

— Коля у нас комиссован по болезни, — предвосхищая возможные расспросы и как бы оправдываясь, говорила Ольга. — Но без дела тоже не сидит. Много работает в ПВО. Пишет большую статью «Лермонтов и Маяковский». А потом будет писать книгу «Пять поэтов». Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок и Маяковский. Правда, здорово?

— Очень здорово. — Я глядел на по-прежнему отсутствовавшего Молчанова и с грустью думал, что вряд ли ему удастся все это написать.

— Вчера передавали по радио мое праздничное письмо. В это время поднялся страшный шум. Немцы стреляли, бомбили, ты же слышал. Но письмо все-таки пошло в эфир. У меня есть копия. Хочешь, подарю? Кроме того, стихи написала. Прочесть?

Мы шли по Аничкову мосту. Ольга и я впереди, Молчанов и Погорелый немного сзади. Молчанов так и не сказал еще ни одного слова.

— «И мы справляли, как могли, — читала Ольга, — великий день… И как дерзанье, в бомбоубежищах прошли торжественные заседанья. Сюда, под землю, принесли мы наши гордые знамена. А бомбы с грохотом рвались, и с пением мешались стоны…» Это я вчера написала. Что скажешь?

Не дожидаясь ответа, она наклонилась ко мне и быстро зашептала:

— Ты не представляешь, как я боюсь за Колю. Он не выдержит. У него участились припадки. Есть возможность уехать, увезти его. Но я не могу. Понимаешь, не могу. Ленинград — моя судьба. Понимаешь?

— Оля, — вдруг сказал Молчанов незнакомым хриплым голосом. — Мы опоздаем.

Это были единственные слова, которые он произнес за все время нашей встречи.

— Да, да, — заспешила Ольга. — Нужно идти. Меня ждут в Радиокомитете. Готовим перекличку с Севастополем. Боже мой, но ты-то как?

Мы обнялись, и вот они уже заскользили по заснеженному Невскому, издали помахали мне — Молчанов нехотя и вяло, Ольга с улыбкой и от души, — заговорили о чем-то, видимо, уже забыли о нашей встрече, скрылись за поворотом.

— Все-таки пришла, — негромко сказал Погорелый. — Честно говоря, не ждал. О дружба, это ты! — Он шутил, но тон у него был виноватый. — А муженек ее долго не протянет. По всему видно, что не жилец…

Увы, Погорелый оказался прав: после нашей встречи Коля Молчанов прожил немногим больше двух месяцев — он умер от голода в январе 1942 года.

Через тридцать с лишним лет Ольга прислала мне трехтомное собрание своих сочинений. Во втором томе, в разделе «Говорит Ленинград», я нашел праздничное письмо — то самое, о котором она рассказывала на Невском 7 ноября 1941 года и копию которого предлагала подарить.

«В этом году, — писала Ольга накануне нашей встречи, — мы ничем не украшаем наш город. Не будет ни знамен, ни огней. Деревянными ставенками, фанерными листами прикрыты окна жилищ. Праздничный стол ленинградцев будет скуден — разве немного погуще суп. Как и вчера, на улицах Ленинграда будут ходить только ночные патрули, — и шаг их на пустых улицах будет звучать гулко и мерно».

* * *

Через неделю после встречи на Невском наше пребывание в запасном минометном полку закончилось. Мы с Погорелым получили назначение в соседние полки 10-й стрелковой дивизии. На ходу формируясь и обучаясь, дивизия двигалась к передовой и в начале декабря вышла на Невскую Дубровку. Однако пробыл я здесь всего месяца полтора, — в конце января 1942 года меня отозвали в редакцию армейской газеты, где я и прослужил до конца войны.

Вскоре наша 8-я армия перешла из Ленинградского фронта в Волховский. Морозной ночью мы перемахнули через Ладожское озеро. Началось долгое сидение в приладожских лесах и болотах.

До Ленинграда стало дальше, чем прежде, но все-таки близко — несколько часов езды на машине. Тем не менее выбрался я туда только летом 1943 года. Редакции понадобились стихи ленинградских поэтов. Мне было поручено их «организовать».

Задание я выполнил: В. Инбер, Б. Лихарев, А. Прокофьев, В. Саянов дали мне стихи, написанные специально для нашей газеты. Но повидаться с Ольгой и получить у нее стихи не удалось, — именно тогда она ненадолго уехала в Москву. Мы с Николаем Чуковским пришли к Леониду Малюгину в «Асторию» и выпили за здоровье Ольги, но встреча с ней откладывалась на неопределенное время.

Состоялась она только в конце 1944 года.

24 ноября 1944 года на первой полосе нашей газеты «Ленинский путь» появился крупный заголовок: «Доколотили!» Это означало, что войска нашей армии уничтожили наконец фашистскую группировку, окопавшуюся на полуострове Сырве (западная оконечность острова Сааремаа). Война на Ленинградском фронте закончилась.

В декабре мне было разрешено на несколько дней съездить в Ленинград. Поехали мы вдвоем с Дм. Хренковым. Дружба с ним сыграла большую роль в моей жизни и работе фронтового журналиста. Он моложе меня на целых восемь лет, но успел побывать и на войне с белофиннами. Вместе с ним я не раз ходил в нелегкие командировки по частям нашей армии. Эти совместные походы стали для меня школой не только газетного опыта, но и воинского мужества. В конце войны Хренков — единственный из нас! — был награжден орденом Красного Знамени.

Приехав в Ленинград, мы с комфортом расположились в уютном номере «Европейской» гостиницы (это после волховских-то землянок!). Жили в свое удовольствие. Кому-то из нас пришла

в голову идея пойти в цирк. Сказано — сделано! В тот же вечер мы были в цирке. Правда, это чуть не кончилось драматически: мы пришли в цирк несколько навеселе и — каждый сам по себе, независимо друг от друга — были задержаны военным комендантом. Я за то, что шел в расстегнутой шинели, а Хренков — за пререкания. Когда меня привели к коменданту, Хренков был уже там и встретил меня с энтузиазмом. Это не вызвало сочувствия у коменданта, но испортить нам вечер он все-таки не захотел…

На следующий день мы были приглашены в гости к Берггольц.

Она жила на той же улице Рубинштейна, но уже не в «слезе», а в другом доме, неподалеку от Пяти углов.

> …Я живу в квартире, где зимою
> чужая чья-то вымерла семья.
> Все, что кругом, — накоплено не мною,
> все — не мое, как будто я — не я.

Когда мы пришли, я сразу понял, что жизнь Ольги обставлена теперь отнюдь не так, как в «слезе». Бросалось в глаза обилие красного дерева. На столе, покрытом белой скатертью, стояла отличная посуда. Я невольно вспомнил квартиру в «слезе», с обеденным столом, накрытым газетами, и чаем из граненых стаканов.

За то время, что я не видел Ольгу, мы обменялись несколькими письмами. К сожалению, они не сохранились. Хорошо помню, что писал ей, узнав о смерти Коли Молчанова, и получил ответ. Но встретились мы за все время войны лишь второй раз. На книжке «Ленинград», подаренной мне в этот вечер, Ольга написала: «В день встречи во второй раз за три года войны. Ольга. Ленинград. 1944 (7/XI 41)».

Кроме нас с Хренковым, по моей просьбе был приглашен Малюгин. Насколько я знаю, Ольга никогда с ним особенно не дружила, но рада была видеть его вместе с нами.

Вечер, проведенный вчетвером (Макогоненко почему-то не было), я вспоминаю как один из самых счастливых и веселых в моей жизни.

Все мы были еще молоды: самому старшему из нас — Малюгину — исполнилось тридцать пять. Страшная война, участниками которой мы оказались, шла к концу. Исход ее не вызывал уже никаких сомнений. Каждый из нас честно выполнил свой долг. Особенно это относилось, конечно, к Ольге. Она не просто выполнила свой долг. Она совершила подвиг. Тоненькая

девочка в красном платке, сидевшая когда-то на подоконнике в Доме печати, писавшая книжки для детей и, в сущности, только начинавшая работу во «взрослой» поэзии, стала вдохновенным певцом осажденного героического Ленинграда!

Все годы блокады она жила счастливой — да, да, именно счастливой! — жизнью. Вся предыдущая жизнь казалась Ольге лишь закономерным подступом к ее жестокому, короткому расцвету.

Летом 1942 года она прочитала по радио стихотворение «Мы шли на фронт…»:

> Да. Знаю. Все, что с детства в нас горело,
> все, что в душе болит, поет, живет, —
> все шло к тебе, торжественная зрелость,
> на этот фронт у городских ворот.

Торжественная зрелость — как это сказано!

Невольно вспоминается «государственная печаль» Я. Смелякова. Но дело не только в том, что пришла зрелость. Случилось нечто еще более торжественное — обновилась душа: «У каменки, блокадного божка, я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока».

В поэме «Твой путь», откуда взяты эти слова, Берггольц вспоминает, как задолго до войны она стояла на Мамиссоне — одном из самых высоких кавказских перевалов: «…О девочка с вершины Мамиссона, что знала ты о счастии?»

Девочка с вершины Мамиссона, глядящая на мир широко открытыми наивными глазами, — это и есть довоенная Ольга Берггольц, которая демонстративно застилала стол газетами, обвиняла Либединского в мещанском перерождении, а Германа называла попутчиком…

Поэму «Твой путь» Берггольц написала в апреле 1945 года, в пору «торжественной зрелости». Мечтая о счастье, «девочка с вершины Мамиссона» не знала, что «оно неласково, сурово и бессонно и с гибелью порой сопряжено». В том, что это именно так, автор поэмы «Твой путь» убедился на своем собственном нелегком жизненном опыте последнего десятилетия.

После этого особым вещим смыслом наполняются строки из поэмы, которые я частично уже цитировал:

> Я счастлива.
> И все яснее мне,
> что я всегда жила для этих дней,
> для этого жестокого расцвета.

И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла в судьбу твою,
мой город,
в званье твоего поэта.

В декабре 1944 года, когда мы собрались у Ольги, она была в зените своей «торжественной зрелости», своего «жестокого расцвета».

…В тот вечер все мы нежно любили друг друга и были счастливы.

Самый молодой из нас — двадцатипятилетний Митя Хренков, впервые видевший Ольгу вблизи, — смотрел на нее и слушал ее с восхищением. Да и я смотрел на нее новыми глазами. Это была другая Ольга. Не та, которую я знал до войны. Не та, с которой я встретился на Невском 7 ноября 1941 года.

Ольга, разумеется, не могла не чувствовать нашего восхищения, понимала, что сегодня все мы влюблены в нее, и это делало ее особенно обаятельной и веселой. Она была так же счастлива, как и мы.

Не помню уж, кто из нас первым произнес эти слова, но тотчас после того, как они были сказаны, мы хором повторяли их. Они стали как бы девизом этого счастливого вечера.

— Единение фронта с тылом!

Привычная газетная фраза вдруг прозвучала по-особому, наполнилась жизненной плотью, приобрела неожиданный личный смысл.

Фронт представляли мы с Хренковым просто потому, что на нас была военная форма. Штатская Берггольц не хуже нас знала, как рвутся снаряды и бомбы. Тем не менее она представляла тыл. Впрочем, дело было вовсе не в том, кто что представляет. Мы от души веселились, конечно же, потому, что война кончалась, победа была не за горами и каждого из нас еще ждала длинная-длинная жизнь…

Мы ели, пили, пели песни, танцевали. Кто-то засыпал, просыпался, снова садился к столу. Ольга читала стихи. Мы захлебывались от восторга, становились перед ней на колени, благодарили ее от имени фронтовиков, тыловиков, от имени советского народа, всего передового, прогрессивного человечества…

Прощаясь, мы никак не могли расстаться и клялись друг другу в вечной любви и преданности.

В гостинице Хренков долго не мог угомониться, расспрашивал меня об Ольге, о том, как и когда я с ней

познакомился, о ее довоенных книгах, о Борисе Корнилове.

Впоследствии Ольга часто вспоминала нашу встречу и никогда не упускала случая помянуть добрым словом «единение фронта с тылом». Даря нам свои книги, она всегда так или иначе возвращалась к нашему славному единению.

Как-то — это было, видимо, в 1965 году — я получил от Ольги подарок: недавно вышедшую книгу «Узел». На ней была надпись: «Леве Левину за единственное и блистательное единение фронта с тылом. Всегда твоя Ольга». <…>

АЛЕКСАНДР КРОН[397]
Фрагмент из воспоминаний «Дань людскому братству»

До войны я никогда не видел Ольгу Берггольц и не читал ее стихов. Ее младшая сестра Мария, актриса Московского Камерного театра, была замужем за моим близким другом Юрием Либединским, от них я не раз слышал, что Ляля необыкновенно умна и талантлива, но Ляля жила в Ленинграде, наезжала редко, печаталась еще реже, и теперь мне уже трудно объяснить, почему в те годы я был так нелюбопытен. Но сегодня, перечитывая довоенные стихи Ольги Берггольц и написанную уже в зрелые годы повесть о поэтической юности, слушая записанный на долгоиграющую пластинку голос Ольги, читающей стихотворения разных лет, я твердо знаю: не война сделала Ольгу Берггольц поэтом, дух поэзии жил в ней всегда, война только раскрыла до конца ее большой самобытный талант, придала ее негромкому голосу покоряющую мощь.

Поэтическая юность Ольги не была бурной, она не заявляла себя ни традиционалисткой, ни новатором, формальные декларации были ей чужды. Не отступая от традиционных размеров, она с первых шагов отличалась своей неповторимой интонацией, очень интимной и в то же время ярко гражданственной. Анатоль Франс говорил, что писать можно в двух случаях: в силу осознанного общественного долга или острой личной необходимости. Для Ольги этого «или» не существовало. Оба начала были в ней органически слиты.

«Вот то, что я пишу, и есть наконец самое главное, вот тут-то я и выражу все самое свое тайное и драгоценное, необходимое согражданам» — это из «Дневных звезд», замечательной книги, написанной прозой, где в каждой строчке, начиная с названия, слышен голос поэта. Такова была мечта всей ее жизни, цель, много раз достигнутая и вновь ускользавшая, потому что движение вперед всегда заставляет горизонт передвинуться и достигнутое — никогда не предел. Недаром Ольга говорила, что

Главная книга должна начаться с самого детства, с первых страниц жизни — и так до последнего дыхания.

Впервые мы встретились с Ольгой зимой 1941/42 года в литературной редакции Ленинградского радиокомитета, или, как мы говорили тогда, «на Радио». Это слово мы писали (да и произносили) только с большой буквы. Чтобы понять это, надо хоть на минуту представить себе, что значило Радио для жителей и защитников осажденного города. Радиоприемники были только в воинских частях и на кораблях, но черная картонная «тарелка» городской трансляционной сети была в каждой квартире, а мощные уличные репродукторы — на каждом перекрестке. Когда ослабевший от голода ленинградец брел своей падающей походкой по почти безлюдной, заметенной снегом улице, репродукторы бережно передавали его из рук в руки, — там, где кончалась слышимость одного, начиналась зона слышимости другого.

По Радио передавали сигналы воздушной и артиллерийской тревоги, читались сводки о военных действиях, звучала человеческая речь, песня, оркестровая музыка, утром и в полночь отбивали время кремлевские куранты, в паузах и после окончания передач включался метроном. Радио должно было работать всегда — таков был закон, и, быть может, самым страшным днем за историю блокады был тот, когда по техническим причинам Радио целых три часа безмолвствовало, не стучал даже метроном. Радио было духовным хлебом осажденного города, оно сплачивало и вдохновляло, вселяло надежду и уверенность в завтрашнем дне, напоминало, что, несмотря на все обрушившиеся на него испытания, Ленинград живет и борется, а за кольцом блокады есть Большая земля.

В здании Радиокомитета на улице Пролеткульта литераторы — армейские, флотские и гражданские — были своими людьми. Мы выступали с речами, читали стихи, рассказы и очерки. В большинстве случаев нас передавали прямо в эфир, иногда записывали. Магнитофонов тогда еще не было, и запись велась на восковые диски, недалеко ушедшие от валиков эдиссоновского фонографа. Фонограмма получалась достаточно четкой, но очень искажала тембр голоса — нас не узнавали, и мы сами не всегда узнавали себя. Но были два голоса — мужской и женский, — которые узнавали все ленинградцы с первого произнесенного слова. Это были голоса Всеволода Вишневского и Ольги Берггольц.

В моем блокадном дневничке не отмечена дата нашей первой встречи. Это и понятно: не такое было время, чтоб поверять

дневнику свои личные впечатления, едва хватало времени и сил на самые скупые деловые записи. А между тем впечатление было сильное. Ольга была полна тогда еще смутно осознаваемым ощущением своей миссии, своего «звездного часа» — и это делало ее не по-блокадному оживленной — и, хотя в ту зиму об этом никто всерьез не заботился, очень красивой. Не отмеченное в дневнике, это первое впечатление нашло косвенное отражение в написанном мной уже после войны романе, где в одной из глав возникает блокадный Радиокомитет:

«…Повсюду кипы скоросшивателей и горы газетных подшивок, среди этого разгрома два десятка мужчин и женщин заняты кто чем: паренек с падающим на лоб чубом склонился над столом и торопливо пишет, пожилая женщина с заплаканным лицом стучит на машинке, кто-то спит, укрывшись ватником, видны только вылезающие из рваных носков голые пятки, а в ногах у спящего лежит, свернувшись калачиком, девочка лет пяти и возится с куклой. Наибольшее оживление у огня. Две раскаленные докрасна времянки установлены посередине зала, здесь кипятят воду и разогревают еду. Худенькая девушка, весь костюм которой состоял из белого лифчика и стеганых армейских штанов, мыла в окоренке длинные волосы, другая — стриженая блондинка — читала сидящим вокруг нее женщинам стихи, вероятно свои. Она слегка грассировала, лицо у нее было задорное и страдальческое…»

Конечно, это Ольга, только увиденная глазами моего героя, лейтенанта-подводника, случайно оказавшегося в этом странном мире, прекрасно изображенном ею самой в поэме «Твой путь».

Во время войны отношения складываются быстро, а этикет упрощается. Нас никто не представлял, мы заговорили сами и через полчаса разговаривали так, как будто знали друг друга с детства. Нас многое сближало: и общие друзья в Москве, и комсомольское прошлое, — мы были сверстниками, выходцами из интеллигентских семей, для которых завод (для Ольги — «Электросила», для меня — «Красный пролетарий») стал второй школой, во многом определившей дальнейший жизненный путь.

Мы подружились сразу, как бывает только в молодости или на войне, и сегодня, просматривая свой блокадный дневник, я вижу, что почти каждое увольнение в город — из Кронштадта или со стоящего на Неве корабля — означало встречу с Ольгой, на Радио или у нее дома.

Ольга жила тогда на улице Рубинштейна, невдалеке от Невского проспекта и Московского вокзала, в доме ничем не примечательном, кроме надписи крупными буквами — суриком по беленому фасаду: «Береги дом, сохраняя его, ты сохраняешь

социалистическую собственность!» В годы блокады мы относились к этой прописи с юмором: уважение к социалистической собственности было не единственной причиной, по которой нам хотелось, чтобы дом уцелел.

Ольга была общительна и гостеприимна. И в голодное время, и позже, когда пришел достаток, она любила угощать. В блокаду — при свете коптилки, а после войны, когда на Невском уже зажглись электрические фонари, — при свечах. Их таинственный свет нравился Ольге, он напоминал ей то прекрасное и трагическое время, когда она впервые ощутила свою покоряющую силу. Страшное время, но — «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» — блокада на всю жизнь осталась для Ольги незаживающей раной и источником поэтического вдохновения.

На всю жизнь сохранила Ольга ощущение блокадного братства: люди, которых она узнала и полюбила в военные годы, навсегда становились для нее родными душами.

Застолье в доме на улице Рубинштейна никогда не было пустой болтовней, говорили о жизни и о литературе, бывало весело, и все-таки, вспоминая наши встречи, я не могу отделаться от укоров совести, не думать о том, как мы, друзья, нежно любившие Ольгу, мало ее берегли, как скоро мы привыкли к тому, что Оля — «свой парень», и забывали, что она все-таки женщина, притом многое пережившая, с незалеченными травмами, с необыкновенно тонкой, легко возбудимой нервной организацией, и не всегда понимали, что Ольга заметно отличается от нас, в большинстве своем здоровенных мужиков, своей незащищенностью. Ольга ни в чем не знала удержу и беречь себя не умела.

Ох, сколько раз я впоследствии убеждался, что талант — качество не только драгоценное, но и опасное для его обладателя!

О человеке такого яркого таланта, как Ольга Берггольц, всегда много говорят; обсуждали ее при жизни, вспоминают часто и теперь, когда ее уже нет среди нас. В этих разговорах Ольга представала в самых разных обличьях: то трогательно нежной, то до грубости резкой, радостно-доверчивой и угрюмо-замкнутой, расточительно-щедрой и неожиданно скуповатой, по-комсомольски простой в обращении и высокомерно-отчужденной. Во всех этих суждениях, если исключить откровенно недоброжелательные, есть то, что я назвал бы частной правдой.

Любой человек, а человек талантливый в особенности, в разные моменты своей жизни, с разными людьми проявляет себя различно. Одному приоткрывается одно, другому — нечто другое. Но для всестороннего понимания такого сложного характера, как Ольга Берггольц, надо помнить: даже недостатки его —

естественное продолжение достоинств. Приступы бережливости — кратковременная оторопь, наступавшая после длительного периода, когда деньги тратились без счета; резкость и кажущееся высокомерие — защитная реакция на злоупотребление доверием, на бесцеремонность литературных и иных чиновников. Если же попытаться определить, что же было в этом привлекательном человеческом характере доминантой, определяющей чертой, то я не знаю лучшего определения, чем ее собственное:

Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю ее,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить.

У Ольги Берггольц был великий дар любви, и приведенная цитата лучше, чем я сумел бы это сделать, объясняет, какое широкое содержание она вкладывала в слово «любовь».

Ольге было свойственно самозабвенно отдаваться любовному чувству, но любовь была для нее понятием гораздо более всеобъемлющим, чем любовная страсть. Она любила детей и страдала оттого, что из-за перенесенной травмы материнство было для нее недоступно. Любила друзей, не просто приятельствовала, а любила — требовательно и самоотверженно. Даря друзьям свои книги, чаще всего писала на титуле: «с любовью», и это не было пустой фразой; она говорила другу: «Я тебя люблю» — с целомудрием четырехлетней девочки и при случае доказывала это делом. Она любила Анну Андреевну Ахматову и бросалась ей на помощь в самые критические моменты ее жизни; любила Александра Александровича Фадеева, — узнав о его смерти, выскочила из дому в одном платье, без билета приехала «стрелой» на похороны, обратно ее привезли простуженную, закутанную в шубу Софьи Касьяновны Вишневецкой, тоже друга блокадных лет. Она любила свой город, свою страну, и это не была абстрактная любовь, позволяющая оставаться равнодушной к частным судьбам.

Обостренная способность к сопереживанию — один из самых пленительных секретов ее творчества; яркое доказательство тому — изумительные стихотворные беседы с сестрой, с соседкой по дому. Не знаю, существовала ли на самом деле соседка по имени Дарья Власьевна, но женщины Ленинграда были для Ольги не

безликой массой, а именно соседками, чьи заботы и горести она знала, как свои.

Эту ее способность к сопереживанию я особенно оценил во время нашего эпизодического сотрудничества. Зимой 1943 года мне была дана возможность написать пьесу для Театра Балтийского флота. В непривычно короткий срок пьеса была готова, не хватало только песни. В этом жанре Ольга никогда или почти никогда не работала, на флоте были свои поэты-песенники, и все-таки я обратился к Ольге. Ольга согласилась сразу. Но тут же ее обуяли сомнения:

— Ты думаешь, я могу?

— Уверен.

— Застольная песня? Это что же — за тех, кто в море?

— Приблизительно. Но это тост. А мне нужен призыв, страстная мольба… Притом женская…

— Ну, ну! Скажи еще что-нибудь…

— Это должно быть как заклинание. Где бы ты ни был, моряк, в этот час…

Ольга задумалась. И вдруг засмеялась:

— Где бы ты ни был, моряк, в этот час? Знаешь, это уже похоже на первую строчку. Ладно, попробую.

На следующий день при встрече я получил листок бумаги с написанными от руки словами будущей песни:

Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай — тебя ожидает подруга, дыханья верней,
С моря не сводит влюбленных, тоскующих глаз.
Радуясь волнам и солнцу — помни о ней!
Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай — тебя ожидают друзья боевые твои,
Ловят молву о тебе,
как мужчины мужчиной гордясь.
Гибели глядя в глаза — помни о них!
Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай — на земле и друзья, и подруга, и дом.
Милый отеческий край, где весна пролегает сейчас.
Каждым биением сердца — помни о нем.

Помнится, я ничего не говорил Ольге о весне, но она знала: флот готовится к весенней кампании, премьера, вероятнее всего, состоится весной, и ее удивительная способность к сопереживанию подсказала ей строчку о пролетающей весне. Вероятно, Ольга была права, не включая в свои поэтические сборники эти искренние, но наспех рожденные строчки. Однако

мне они дороги. Положенные на музыку, они неизменно находили горячий отклик у моряков…

Способность пылко отдаваться чувству бесконечно обогащала творчество Ольги Берггольц, но она же делала ее ранимой. Потери и разочарования становились для нее катастрофой, незаживающей душевной травмой. Накапливаясь, они приводили к приступам тяжелой депрессии.

Другим прекрасным и опасным качеством Ольги была искренность. Она проявлялась не только в стремлении открыться, но и в неумении что-либо скрывать. Открытая в своих привязанностях, она не умела таить неприязнь. Ложь, трусость, чванство и фарисейство Ольга ненавидела до глубины души, и даже когда она молчала, приговор можно было прочитать на ее лице. Делалось это совершенно непроизвольно и оттого еще больше задевало. Она не боялась наживать себе врагов. Искренность ее публичных выступлений покоряла, но, случалось, навлекала на нее серьезные неприятности, и меня всегда восхищало редкостное достоинство, с каким она держала себя в самых трудных ситуациях. У нее было настоящее гражданское мужество — качество, по моим наблюдениям, более редкое, чем физическая отвага. Даже в последние годы жизни, уже подточенная тяжелой болезнью, Ольга сохраняла свой неукротимый дух и творческий запал. Вспомним, что «Дневные звезды» — книгу, которую она считала как бы прологом к своей Главной книге, — она написала, когда здоровье ее было уже подорвано.

После войны мы с Ольгой виделись реже, но не теряли друг друга никогда. Ленинград стал для меня, москвича, вторым родным городом, а Ольга каждый год, иногда подолгу, бывала в Москве. С Москвой ее связывали и творческие интересы, но еще больше — сестра и близкие друзья, старые и новые, в том числе Софья Тихоновна Дунина, театровед и критик, женщина образованная и остроумная, удивительно умевшая ободрять и даже веселить Ольгу. Ольга часто звонила ей из Ленинграда, звонки раздавались вечером, а иногда и ночью: «Соф***и***я, скажите мне что-нибудь…» Бывало, разговор затягивался настолько, что телефонистка сурово предупреждала: «Вы говорите уже двадцать пять минут», а Ольга сердито шипела: «Не прерывайте, мне нужно еще пять минут. Ну, десять…»

Мне память сохранила Ольгу всякой: печальной, задорной, величественной, ребячливой, общительной, замкнутой. Светящейся от радости в преддверии материнства и опустошенной. Помню язвительной и помню нежной, в Ленинграде и в Москве, в Крыму и в Подмосковье, в разные годы,

в разном состоянии духа, но неизменно привлекавшей сердца окружавших ее людей обаянием ума и таланта. Помню и в более поздние времена, когда здоровье Ольги ухудшилось, развивающаяся болезнь зачастую делала ее трудной в быту и в повседневном общении. Но и в этом состоянии у нее были блистательные просветы, заставлявшие помнить, что Ольга — это Ольга, чей талант и разум не угасли, и, может быть, именно поэтому мне особенно врезались в память несколько эпизодов, относящихся к послевоенным годам ее жизни.

Первый — начало пятидесятых годов. Ольга в Москве. Приезжая в столицу, она неизменно останавливалась в гостинице «Москва», всегда на одном и том же этаже. Получить без брони номер в центральной гостинице — задача вообще не легкая, а в сезон съездов, научных конгрессов или наплыва иностранных туристов особенно. Для Ольги Берггольц номер находился всегда. Секрет был самый простой: ее знали и любили. На этаже за ней ухаживали как за дорогой гостьей и не слишком обременяли соблюдением суровых гостиничных правил. Друзья засиживались у нее до поздней ночи.

И вот как-то поздним вечером раздается телефонный звонок: «Шура, Лиза… Ребята, пустите меня к себе. Я не могу одна…»

Я жил тогда вместе с женой и падчерицей — студенткой ГИТИСа — в крошечной и неудобной квартирке; на гостей, особливо беспокойных, она рассчитана не была, но законы блокадной дружбы священны — для Ольги место нашлось. Она приехала на «леваке» и прожила у нас двое суток, за это время ни разу не вышла на улицу, почти ничего не ела и, главное, почти не спала. Ночью она жаловалась, что ей мешают спать поселившиеся у нас в форточке-отдушине голуби, они вызывали у нее какие-то тягостные воспоминания. Среди ночи на нее нападало желание читать стихи, и ей нужна была аудитория. Но стихи она читала прекрасные, а ее рассказами о своих юных годах можно было заслушаться. Впрочем, Ольга не только говорила, но и слушала жадно…

Конечно, этот неожиданный визит порядком нарушил мои рабочие планы, но у меня и у моих близких от посещения Ольги осталось ощущение праздника: вместе с беспокойной гостьей в нашу хмуроватую квартирку ворвалась сама Поэзия.

Второе воспоминание — это уже шестидесятые годы, точнее — февраль 1969 года. По городу расклеены афиши: «Писатели — участники героической обороны Ленинграда». Дата круглая — двадцать пять лет со дня снятия блокады. На афише два десятка писательских имен, ленинградцев и москвичей, в том числе несколько знаменитых. Но я уверен: никого с таким нетерпением

не ждали ленинградцы, как Ольгу Берггольц. А Ольга была в больнице и выступать ей было запрещено.

Этот вечер я запомнил на всю жизнь, и вот уже десять лет не снимаю со стены своей комнаты приколотую кнопками старую афишу. Мы вновь оказались в том самом прекрасном Колонном зале Ленинградской филармонии, где четверть века назад выступали перед жителями осажденного города, где впервые была исполнена Седьмая симфония Шостаковича. С тех пор внешний вид зала заметно изменился, некогда сырой и холодный, он обрел довоенный уют, стал светлее и наряднее, но многое властно напоминало о блокаде: и то, что начало было объявлено не на семь часов вечера, как обычно, а по-блокадному — на четыре часа, как в те годы, когда в Ленинграде соблюдался комендантский час; и то, что среди зрителей первых рядов я, сидя на эстраде, безошибочно различал бывших блокадников, различал не столько даже по зеленым муаровым ленточкам медали «За оборону Ленинграда», сколько по глазам, по тому, как взволнованно эти немолодые люди, пришедшие в этот зал с детьми, а кто и с внуками, ловили каждое слово. Всех выступавших принимали очень тепло, но настоящую овацию всего зала вызвало появление на эстраде запоздавшей к началу Ольги Берггольц.

Она была не одна, рядом с ней шел явно смущенный своим появлением перед переполненным залом человек в темной пиджачной паре — это был фельдшер из больницы, Ольгу отпустили под его личную ответственность, и в течение всего вечера он сидел с нею рядом, стараясь быть как можно более незаметным.

Я с волнением ждал выступления Ольги. Кроме волнения было и беспокойство: как она? Моя тревога еще усилилась, когда, встреченная горячими аплодисментами, Ольга встала и пошла к установленной на краю эстрады стойке с микрофоном, — походка у нее была неуверенная. Я не отрывал глаз от ее ног в высоких черных замшевых ботинках. Но, подойдя к микрофону, Ольга вдруг обрела прежнюю осанку — прямизну плеч, гордый постав головы, знакомую манеру встряхивать падающей на лоб светлой — все еще не седой — прядью. Не помню, что говорила и читала Ольга, — к слову сказать, в тот день, разогретые приемом аудитории, многие писатели выступали хорошо, — но выступление Ольги было незабываемым, и то, что я не в силах восстановить его в памяти, ничуть тому не противоречит: незабываемым было потрясение.

Все пережившие блокаду — и те, кто сидел на эстраде, и те, кто был в зале, — на несколько минут помолодели, они

вспомнили себя такими, какими были двадцать пять лет назад, опаленными войной и блокадой, но гордыми своей причастностью к историческому подвигу. Ольге аплодировали стоя, кричали «спасибо!».

Последняя встреча. Я опять в Ленинграде и опять — с делегацией москвичей. После памятного мне вечера я долго не виделся с Ольгой, хотя всегда знал о ней от общих друзей, чаще всего от Веры Казимировны Кетлинской. Вера Казимировна относилась к Ольге с трогательной заботливостью. Резкая и самолюбивая, она с поражавшей меня терпимостью сносила перепады в настроении Ольги и не позволяла с собою поссориться.

Приехав, я первым делом справился об Ольге. Мне сказали, что она тяжело больна, нигде не бывает и никого не пускает к себе; звонить ей бесполезно, к телефону подходит ее домоправительница, сама Ольга берет трубку редко. Я еще раздумывал, как быть, когда мне позвонил приехавший с той же делегацией Лев Ильич Левин: «Ольга хочет нас видеть…» И мы поехали в тот же день на набережную Черной речки, застроенную новыми домами, где лишь немногие жители знают точное место дуэли Пушкина.

Ольгу мы застали лежащей в постели; по-видимому, она была очень слаба, такой тихой и беспомощной я ее никогда не видел. Затем она оживилась, голос ее окреп, мы заговорили о литературе, вспомнили блокадные годы — перед нами была прежняя Ольга, ласковая и смешливая, с ясной памятью на людей и события. В середине нашего разговора позвонил некий руководящий товарищ, то ли из издательства, то ли из Радиокомитета, и Ольге пришлось взять трубку — не потому, что это было какое-то начальство, а потому, что существовал требовавший срочного разрешения конфликтный вопрос, — и я хорошо запомнил, как твердо, с каким спокойным достоинством Ольга отстаивала свою точку зрения. Не только отстаивала, но и отстояла. Когда она, извинившись перед нами, вернулась к прерванному разговору, глаза ее задорно блестели.

Разговор наш продолжался еще около часа, пока мы не почувствовали, что Ольга устала. На прощание мы получили по долгоиграющей пластинке с записью стихотворений разных лет в авторском чтении. Никаких лишних слов при этом сказано не было — прощались так, как люди, которые еще не раз увидятся, но у меня — вероятно, и у Льва Ильича тоже — было тревожно на душе.

Я очень дорожу подаренными Ольгой книгами, но эта пластинка мне еще дороже. На плотном глянцевом конверте

большой фотопортрет Ольги — лучший из всех, какие я знаю. В левом верхнем углу твердым Ольгиным почерком: «Саше Крону, другу, с любовью Ольга Берггольц». Я часто подолгу смотрю на пластинку, но на проигрыватель ставлю редко. Это каждый раз событие. В первые послевоенные годы мне нужно было сделать усилие над собой, чтобы заглянуть в свои блокадные дневники, — слишком свежа была боль. Нечто подобное я ощущаю, слушая голос Ольги, — в этот день я уже не умею думать ни о чем другом.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ [398]
Фрагменты из воспоминаний «Голос»

…из рупоров звеневший голос мой…

Ольга Берггольц

У нас в классе было в сорок первом году сорок три человека, живут — пять.

Я был обыкновенный ленинградский мальчишка, о которых тогда любили писать в «Ленинградской правде» и в «Смене», как они тушат зажигалки, какие они ловкие и смелые… Все это, конечно, правда. Мы действительно хотели и часто на самом деле были и бесстрашными, и ловкими. Но нас умерло так много…

<…>

Я написал книгу, и один знакомый, соединившись с Ольгой Берггольц по телефону, передал мне трубку. И я услышал в трубке — в обыкновенной черной телефонной трубке — тот самый Голос. Он мне сказал: «Приходите, но сначала все же позвоните».

На следующий день я позвонил «голосу», что само по себе уже было странно, как если бы я позвонил в ту зиму.

Но я позвонил, и ее голос сказал: «Приходите…»

Мне так хорошо были знакомы «его» интонации, что я сразу же понял: «голос» прочитал присланную ему рукопись и на меня не сердится.

Оказалось, Берггольц живет на Черной речке — там, где погиб Пушкин.

Дверь открыла маленькая светлая женщина, что-то произнесла и тотчас метнулась к зазвеневшему в прихожей телефону. Это дало мне возможность освоиться: я слушал знакомый голос — тот самый, говоривший что-то обыкновенное; и я ленно выходил из той зимы в теперешнюю действительность.

У меня на глазах этот голос, столько лет живший звуком в эфире, невесомый, невидимый, всегда раздававшийся сверху, из репродуктора, превращался в человека. У Берггольц оказалась теплая маленькая ладонь, ласковые глаза, быстрая походка…

Ольга Федоровна жила в небольшой квартире, заставленной книгами стихов, — в доме, которого не существовало во время блокады. Может быть, ей легче было жить в этом доме?

Все-таки я, хотя и написал уже книжку об Ольге Берггольц, еще недостаточно знал ее!

В ней главным была память. Настолько главным, что Голос теперь уже можно было бы с равным правом именовать также и Памятью, и это вполне соответствовало бы ее сокровенной душевной сути.

Первый наш разговор начался с воспоминаний. Я был для Берггольц человеком с блокадной улицы, совершенно ей незнакомым, то есть тем самым, для кого она говорила по радио все три блокадных года. Я чувствовал, что не только я вспоминаю тот Голос, но и она вспоминает меня, блокадного, узнает во мне какие-то ей одной видимые черты и очень любит меня, еще как следует не познакомившись со мною, за то, что я оттуда, из той зимы, за то, что я знал, помнил и любил ее Голос… И я рассказывал ей, как звучал ее голос в пустых квартирах, над мертвецами, и это не было страшно, а казалось обыкновенным. Впрочем, тогда и все уже не было страшно, и сама смерть казалась простой…

Она долго, очень долго молчала.

Наша беседа, начавшаяся в тот первый вечер, не закончилась ни через час, ни через два — она продолжалась двадцать лет. И все эти двадцать лет со мною разговаривала Память, наша общая память, соединявшая живых и мертвых. Ничего не забывшая память. Она говорила знакомым голосом, в котором звучали для меня по-прежнему неповторимые интонации Блокады. И я постепенно начал понимать, хотя и прежде догадывался об этом, что к слову «Голос» и к слову «Память» еще необходимо добавить слово «Правда». Объединившись вместе, эти три слова как раз и обозначают то необыкновенное явление в жизни и в искусстве, которое мы называем именем Ольги Берггольц. <…>

НАТАЛЬЯ БАНК [399]
Фрагменты из воспоминаний «Запоминай всё это!.»

<…> Я встретила О. Ф. Берггольц в ту пору, когда желание говорить о лучшем в людях еще преобладало в ней. «Вот жаль, забыла сказать об этом у вас в университете: как мало у нашей

молодежи настоящей, хорошей влюбленности. У нас уж если любят, то не совсем, а с критическим отношением, — рассуждала она. — А как раньше все общество преклонялось перед Блоком, Комиссаржевской!..»

Я любила тогда Ольгу Федоровну совершенно безоглядно, без намека на «критическое отношение». Ее авторитет был непререкаем, оценки людей, литературы казались единственно правильными. Она разрешала брать домой книги, которых почти никто из нас, будущих филологов, и в руках-то никогда не держал. Мы переписывали стихи Ахматовой, цветаевские «Версты», отрывки из «Моей Африки» Б. Корнилова. До сих пор храню эти тетрадки, и в них чувствуется время, и в них, пусть косвенно, живет память об О. Ф. Берггольц. Она так много вкладывала в образование моей души и ума, так щедро и радостно делилась всем, что знает и любит сама.

Полушутя-полусерьезно она говорила: «В старых литературоведов, как и во МХАТ, — не верю! Очень трудно писать о советском искусстве, о судьбах, необычайно сложных».

Имея дело с человеком, совсем еще не сложившимся, наивным, Ольга Федоровна, вероятно, чего-то ждала от меня в будущем — отдачи, возврата о котором написала потом в «Дневных звездах». Ждала не в мелком, тщеславном смысле — «прославления» ее судьбы, ее, и только ее творчества. Однако понимания и сопереживания искала, и это тоже ко многому обязывало.

Трудновато мне было выполнять дипломную работу объективно, «научно». На обсуждениях в семинаре мне крепко доставалось за апологетические ноты, преувеличения.

Ольга Федоровна сама помогала мне изживать неумеренность оценок, завышенный пафос. Сохранились страницы с ее пометками. Вот, например, рядом с фразой, которая начиналась так: «Героическая общественная деятельность…» — на полях написано: «Не надо. Я еще живая!»

А дальше, по поводу рассуждений об афористичности «Ленинградской поэмы», о связи автора с «древнерусской повествовательной литературой» — ни больше ни меньше! — она заметила: «О. Б. и древнерусская культура! Заманчиво, но чрезмерно и — „сопряжение далековатых понятий“».

«Сильн***о***!» — иронически откомментировала она торжественно-приподнятый период: «Верная принципу утверждения драматизма в жизни и поэзии…» И под словами «в жизни» — издевательская змейка карандашом.

«Многовато всюду о святости, святом и т. д.», — сказано в другом месте.

Замечания касались стиля: «Так цитировать нельзя»; «Ну и фраза — ногу сломать можно!» — из телефонного разговора.

И не только стиля.

О. Ф. Берггольц попутно высказывала мысли, которые стоило развить. «Важно развернуть — право поэта на стихи с настроением „мгновенья“. См. у Пушкина об этом: „Искренность драгоценна нам в поэте“ и т. д.», — писала она на той странице, где шел разбор стихотворения «Отрывок» («…Октябрьский дождь стучит в квадрат оконный…»).

«Реквием и трагедия — не одно и то же. Путь к трагедии через реквием — не обязателен» — это она объясняла в связи с моим анализом поэмы «Памяти защитников». В той части работы, где шел разговор об этой поэме, было больше всего пометок.

Ольга Федоровна как-то сказала, причем без тени кокетства, что испытывает сомнения, является ли девяносто процентов написанного ею *литературой,* имеет ли художественную ценность. А когда я спросила, что же она включает в те десять процентов, ответила: «Памяти защитников», «Твой путь», — в них «все (то есть душевная жизнь поэта, — Н. Б.) объективировалось».

Берггольц учила меня быть смелее — «не запихивать в сноски дорогих мыслей». Ее удивляло, огорчало, бесило внушенное нам, как «должно быть» в литературе. И стыдно, и смешно теперь читать собственноручно выведенные строки о том, что произведение («Памяти защитников») «в указанных местах» было лишено «должной страстности». «Выдумки», — пишет рядом Берггольц, приберегая более точное и крепкое слово для личной беседы.

Между прочим, забегая вперед, скажу, что Ольга Федоровна прекрасно владела всеми «стилями», всеми оттенками родного языка: пуристкой не была и меня учила знать язык без вычетов «нелитературных» слов («Ведь ты филолог!»). Помню, я позвонила ей однажды, в день ответственного публичного выступления, и попросила, по обычаю, ругнуть, на что Ольга Федоровна с готовностью сказала: «Не беспокойся, уж я тряхну словарем Даля!..» — и точно, должно быть, «тряхнула», потому что все у меня прошло хорошо.

Я приводила примеры замечаний О. Ф. Берггольц к главе о поэзии военных лет. С первой же — предвоенной — главой все было гораздо сложнее! Читая первоначальный ее вариант, Ольга Федоровна оказалась бессильна что-либо связное написать — оспорить, не согласиться со мной: настолько прямолинейно я обрушилась на нее — за стихи 1937–1940 годов — с упреками в «камерности», в «неверных нотах», в уходе от больших событий современности и от явлений, волнующих мир. Был долгий и

нелегкий разговор о времени, когда рождались эти стихи. О том, почему они не могли быть более «бодрыми». Одну мысль она высказала сразу, еще при чтении. Я писала по поводу стихотворения 1939 года «Родине» («Все, что пошлешь: нежданную беду…»): «Оскорбительными, унижающими достоинство поэтессы являются просительные интонации…» Ольга Федоровна вывела рядом: «Перед ней (Родиной, — Н.Б.) ничего не стыдно», — из контекста ясно следует, что именно *не стыдно* перед Родиной: ее не стыдно попросить о помощи, о понимании, доверии, с ней стыдно лукавить, лицемерить, фальшивить. В этой короткой категорической фразе — жизненная позиция, суть гражданской лирики Берггольц, зерно ее понимания взаимоотношений человека с Родиной.

Как важно в молодости, на пороге самостоятельной жизни, встретить человека старшего поколения, которому ты сможешь поверить до конца, довериться вполне, за которым пойдешь не задумываясь, страстно желая хоть в чем-то продолжить его дело. При всей исключительности ее судьбы в Ольге Берггольц для меня и моих друзей, узнававших ее, конкретно воплощалась высокая, прекрасная, трудная судьба Родины.

Была середина пятидесятых годов, «середина века» — так назвал тогда В. Луговской свою книгу поэм. Многое менялось в нашей общественной жизни. Тем значительнее казалась связь поколений, окрепшая благодаря людям, подобным Ольге Федоровне Берггольц, благодаря их стойкой, чистой вере в большие идеалы, которую они передавали тем, кто моложе…

Как свято для нее было — думаю, здесь она бы не упрекнула меня за это слово! — сознание принадлежности к советской художественной культуре, к советской интеллигенции, сознание причастности великой русской литературе.

Помню сияющий огнями зал Таврического дворца, где в ноябре 1955 года праздновалось семидесятипятилетие со дня рождения Блока. Помню Ольгу Федоровну Берггольц на трибуне. Вдохновенную. Красивую.

В записной книжке осталось лишь несколько фраз: «Блок и Маяковский воспринимались нами взаимно… Любовь к Родине — это культура, которая не только дается, но и воспитывается… Блок ненавидел видимость правды, деятельности», — но живо и сейчас общее впечатление от ее речи, проникнутой радостью.

За несколько месяцев до этого, в первых числах июня, я слушала другую речь О. Ф. Берггольц — о Пушкине, на VIII Пушкинской конференции в Институте русской литературы. «Товарищи! Поскольку речь сегодня идет о лирике Пушкина, позвольте и мне говорить о ней лирически», — начала Ольга

Федоровна.

Она вспомнила свою прошлогоднюю поездку в Бахчисарай. Кто-то из людей, впервые там бывших, спросил: «А где же пушкинский фонтан?» — «Так вот же он», — ответила Ольга Берггольц. «И тогда, — рассказывала она, — все сразу по-новому взглянули на этот, казалось бы, невзрачный фонтан — фонтан слез, фонтан любви… А в чаше плавали две розы. Служитель парка сказал нам, что зимой и летом кто-то кладет сюда две розы… Над Крымом пронеслась война, гораздо более ужасная, чем анчар, а эти розы вечны…»

Переписывая сейчас из дневника эти слова — увы, лишь слова (много значили интонации голоса, очень тихого, и жест, непривычно мягкий), — думаю: может быть, и они что-нибудь добавят к облику О. Ф. Берггольц. <…>

…В те первые годы нашей дружбы Ольга Федоровна еще умела бороться с собой. Срывалась — и возвращалась к жизни, жадно желая наверстать упущенное, ответить на письма, кому-то позвонить, с кем-то увидеться.

Мы столько тогда посмотрели, послушали, прочитали вместе. Многих поэтов я открыла для себя благодаря ей.

От нее — из рук в руки — получила тоненькую книжку стихотворений Леонида Мартынова («зелененькую», как называла ее Ольга Федоровна). «Что-то новое в мире. Человечеству хочется песен…», «Слышите! Не рупор, не мембрана звуки издает — громогласно, ясно, без обмана человек поет», — Берггольц ликовала: после большого перерыва вновь слышен голос прекрасного поэта, автора «Лукоморья».

Вышел первый «День поэзии» — и там целая подборка Марины Цветаевой. «Ты только послушай: „Вчера еще в глаза глядел, а нынче всё косится в сторону, вчера еще до птиц сидел — все жаворонки нынче вороны… Уводят милых корабли, уводит их дорога белая… И стон стоит вдоль всей земли: „Мой милый, что тебе я сделала?!““ Какая поэзия! Ты понимаешь, какая это поэзия?..»

Ломалась жизнь, уходила любовь — и стихи такого плана особенно много значили для души: и эти, и мартыновский «Первый снег» («Ушел он рано вечером…»), и знаменитые строки Пастернака — Ольга Федоровна часто их твердила:

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему…

Эти стихи постоянно звучат для меня голосом Ольги Федоровны Берггольц. <…>

ОЛЬГА ОКОНЕВСКАЯ [400]
Фрагмент из книги «И возвращусь опять»

<…> Этот день я запомнила навсегда. Пятница, 14 ноября 1975 года. Запыхавшаяся дежурная поднимается ко мне в класс. У нас это не принято. С уроков никогда никого не вызывают. Значит, ЧП.

…Ночной ленинградский аэропорт. Точнее, вечерний по времени, но ночной по восприятию. Не могу ничего сказать водителю такси, чтобы не разрыдаться. Едем по воспетому Ольгой Федоровной Московскому проспекту. За окнами машины Московский парк Победы, «Электросила»…

— И все-таки — куда?

— На Черную речку.

И сразу все черно. Вечная Черная речка российской поэзии.

Вот и писательское жилище. Даже в гробу Ольге Федоровне не суждено будет вернуться сюда, ибо власти заранее распишут маршрут.

Вхожу в освещенную пустоту подъезда. Страшнее всего сейчас — позвонить. Отдышаться бы. Побыть на лестнице хоть до утра. Как 12 лет назад, боюсь нажать кнопку звонка. Но теперь совсем по другой причине. Очень дрожит рука, и звук раздался какой-то резкий, рваный, жалобный. Открывает Антонина Николаевна, поникшая, черная — не одеждой, лицом.

Почему-то приходили милиционеры и, не сняв фуражки, проверяли в комнате наши паспорта, а у меня даже потребовали письменное объяснение.

— Вы хоть головной убор в доме покойной снимите, — попросила я.

— Мы в форме.

Вечером звонили из Союза писателей, спрашивали, в чем собираемся хоронить. Тем же интересовался и Макогоненко.

— Ольга Федоровна просила в костюме и обязательно с цепью.

— Нет, нет! Только в черном платье. Мы когда-то об этом с ней говорили.

— Георгий Пантелеймонович! Это было давно и, пожалуй, в другом измерении.

На следующий день поехали покупать одежду и обувь. Искали туфли на небольшом каблучке и долго не могли сообразить, какой же размер ей нужен теперь. Как назло, все

попадались со светлой подошвой. Пришлось купить что было, и дома упорно закрашивали черной тушью.

В записной книжке Ольги Федоровны разыскали телефон скульптора Е. Г. Ефремова. Через несколько часов он приехал в Ленинград — прямо из своей московской мастерской, в чем был — в легком пальто по настоящему ленинградскому снегу, захватив с собой только генеральный план Пискаревского кладбища: там, думалось, будет последний приют поэта.

На следующий день он помогал выбрать место на Литераторских мостках Волкова кладбища — так, чтобы ближе к «братьям писателям» и чтобы солнце и дневные звезды не терялись в ветвях деревьев.

А потом решили снять посмертную маску и сделать слепок руки: может быть, когда-нибудь пригодится для памятника.

Скорбный узел был наготове, и в понедельник утром мы поехали в Военно-медицинскую академию. Было очень холодно и очень трудно дышать. Казалось, холод исходил от Ольги Федоровны, до подбородка прикрытой простыней. Я бережно вынула и положила на дощечку уже чужую, холодную, негнущуюся руку.

Несколько часов делали слепок, но, когда собирались уходить, он соскользнул и разбился вдребезги. Ефремов выскочил за дверь:

— Больше я сюда не вернусь.

Не предполагал Евгений Георгиевич, что он будет последним, кто прикоснется к руке Ольги Федоровны — руке, протянутой ему на дружбу двадцать два года назад в старинном русском городе Угличе.

Я собрала все кусочки слепка руки в какую-то картонную коробку. Возвращались по темным ленинградским улицам. Падал снег. Мороз пробирал не только снаружи, но и изнутри. Охватывало состояние вселенской боли и пустоты. Пришли домой, сварили картошку, вскипятили чай и первый раз за эти дни поели. Нам еще нужны были силы.

Всю ночь и следующий день мы помогали Евгению Георгиевичу собрать из осколков слепок руки и сушить маску.

В среду предстоял последний путь.

Приезжаем с гробом, чтобы одеть Ольгу Федоровну и приготовить к последнему посещению Дома писателя. Нам протягивают толстую инвентарную книгу:

— Распишитесь в получении…

Сидим в автобусе у черного гроба с серебряной отделкой. Спрашиваю у водителя, когда заедем на Пискаревское кладбище — сейчас или по пути на Мостки?

— Совсем не заедем, — вдруг ошарашивает он своим ответом. — Маршрутом не предусмотрено, а он утвержден свыше.

— Тогда сейчас. Пожалуйста, — прошу я.

— Это невозможно. Нас ведь ждут на гражданскую панихиду, — возражает он.

— Успеем. Не поехать нельзя, — твердо умоляю я и подкрепляю материально свою просьбу.

— Хорошо. Только обещайте: быстро и не вынося гроба из автобуса, иначе я лишусь работы.

Мы подъезжаем к воротам «ее кладбища»,

где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришел,
чтоб землю вздыбить под могилы…

Разворачиваем автобус так, чтобы Ольга Федоровна была лицом к памятнику, к чеканным строкам, ставшим теперь и собственной эпитафией. Бесконечной вереницей идут люди. И никто из них не знает, что кладбище прощается сейчас со своим поэтом, не имея права принять ее в себя. Я взяла горсть этой земли для гроба. Нам казалось: «бронзовая Слава, держа венок в обугленных руках», неслышно спускается со своего постамента, чтобы возложить его на гроб музы блокадного Ленинграда.

Здесь, на камнях, горит твой стих,
и камни стали как бы зримей.
Как будто тенью Хиросимы
ты отпечаталась на них, —

прочитает Глеб Горбовский на панихиде.

О прощании с О. Берггольц в Доме писателя знали немногие, так как ленинградские газеты с сообщением вышли в день похорон, а люди возвращались с работы уже вечером.

И все-таки сотни ленинградцев пришли проститься. Старые и молодые, блокадники и их внуки, те, кто видел Ольгу Федоровну, и те, кто только слышал ее по радио.

Мы привезли с собой пластинки — «Всенощную» Рахманинова и «Ныне отпущаеши»: Ольга Федоровна хотела, чтобы эта музыка и голос Шаляпина звучали над нею и тогда, когда она их уже не услышит. Но кого бы мы ни просили поставить пластинки, в ответ слышали только бесстрастное:

— Ну что вы? Ведь Берггольц — коммунист. Она давно

отреклась от религии.

Когда же забыли мы, что перед вечностью все равны и что не исполнить последнюю волю — общечеловеческий грех?

Очень мало времени отведено было для прощания на этих, как и у Твардовского, «воровских похоронах» (по выражению Б. Чичибабина). Сколько людей не успели, не пробились, не попрощались.

Начинается панихида. Не помню всех выступавших. Но помню, что бесстрашней всех (по тем временам) говорил Федор Абрамов: «…нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда — на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен и стягов, ибо Ольга Берггольц — великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда».

Стоят в почетном карауле бывшие солдаты и военачальники, писатели, электросиловцы — те, кто знал и любил Берггольц.

Теперь возможно и о ней
писать стихи в высоком стиле…
Прощай, поэт! С не женской силой
твой голос пел на хорах дней, —

читает Глеб Горбовский. Скорее!

Закрываются дверцы автобуса, и остаются на улице люди, которым не на чем доехать до кладбища… Уже открыты ворота Литераторских мостков. Навсегда закрывается черная крышка гроба. Она сразу становится белой от снега, потом снова черной — первые комья земли, согретые теплом дружеских рук, и снова белой. Первый могильный саван, а на нем, почти вертикально, — мраморная светло-серая плита **с** надписью золотом, в которой нет ничего лишнего:

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ 1910–1975

И лица… лица… В них растерянность, отчаяние, воспоминания, боль…

<…>

…На девятый день решили собраться в доме самые близкие люди. Мы сидели за первым и последним в этой квартире поминальным столом. Горели свечи, освещая огромный портрет, и как-то. до неприличия громко тикали часы: время — понятие не только относительное, но и абсолютное.

Знаю, смерти нет: не подкрадется,
Не задушит медленно она, —
Просто жизнь сверкнет и оборвется,

Точно песней полная струна.

ФЕДОР АБРАМОВ[401]
Слово у гроба

Этот небольшой круглый зал давно уже стал не только местом встреч живых писателей, свидетелем их земных радостей и тревог. Он стал и местом последнего прощания с нашими товарищами.

Но нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда — на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен и стягов, ибо Ольга Берггольц — великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда. И сегодня над ее гробом в последнем низком поклоне склонились все: и живые и мертвые, и герои и жертвы, все участники великой битвы за город на Неве.

Я знаю, не по наслышке знаю, что такое блокада. Я помню, не забыл, как в самую страшную пору — в декабре-январе — лежал в нетопленном госпитале с простреленными ногами, в одной из аудиторий исторического факультета, где всего еще каких-то полгода назад доводилось мне слушать лекции. Лежал в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был завален еще двумя матрацами.

Так ведь то было в военном госпитале, где был все ж таки кое-какой уход за больными, была — худо-бедно — трехразовая кормежка. А что сказать о тех, домашних госпиталях? А Ленинград — мы помним это — на две трети, на три четверти в то время был госпиталем. Великое множество промороженных склепов и пещер, в которых медленно умирали истощенные ленинградцы.

И может быть, самым страшным для них, для этих умирающих, был еще не голод, не стужа, не кромешная тьма, а одиночество. Да, да, одиночество, самое обычное одиночество, когда некому сказать тебе последнего слова, когда не от кого услышать слова поддержки и утешения.

И вот в часы этого страшного одиночества над головой блокадника из промороженного, мохнатого от инея репродуктора-тарелки — такие тогда были — вдруг раздавался живой человеческий голос. Голос, полный неподдельной любви и сострадания к ленинградцам, голос, опаленный ненавистью к врагу, голос, взывающий к жизни, к борьбе.

То был голос Ольги Берггольц.

И тогда совершалось чудо: силою слова, силою только одного

человеческого слова, правда, слова Ольги Берггольц, безнадежно больные, истощенные, умирающие воскресали к жизни.

Но человеку не только надо помочь жить. Человеку надо еще помочь умереть. Умереть достойно, по-человечески. И это, между прочим, хорошо понимала и понимает Церковь, облегчая душевные страдания умирающего словами утешения и отпущения земных грехов.

Ольга Берггольц не утешала, не отпускала грехов. Да и какие грехи были у блокадных ленинградцев? А если и были у кого, то они дотла вымерзли в лютом холоде тех дней.

Ольга Берггольц давала умирающим другую веру — веру в торжество жизни, в торжество света и разума, веру в Победу, в победу человека над оборотнем, над двуногим зверем.

Ольга Берггольц как человек умерла. Отмучилась. Кончились ее земные страдания, а их на ее долю выпало немало. Все муки, все беды эпохи сполна прошли через ее жизнь, через ее сердце. Физические недуги годами терзали ее. Но не будем оскорблять ее память слезами сентиментальной жалости. Покойница не любила этого. Она была мужественным человеком.

Ольга Берггольц прожила большую и завидную жизнь. Ей выпало великое и трудное счастье стать поэтической музой, поэтическим знаменем блокадного Ленинграда. И поэтому смерть ее необычна. Она перешагнула за порог жизни, чтобы обрести новую жизнь, обрести бессмертие, стать легендой. Она умерла, чтобы жить в веках. Жить столь же долго, сколько суждено жить нашему бессмертному городу на Неве.

* * *

18/XI-75

Я никогда бы не признал ее — так она изменилась. Ни дать ни взять в гробу лежит старая крестьянка-страстотерпица.

Да, чего-чего, а горя и мук она хватила. Первая барабанщица эпохи, и по ней же всей тяжестью своей эта железная эпоха.

Народу было порядочно. Больше, пожалуй, чем на всех панихидах, когда-либо бывших в доме 18 на Воинова. И все же, думал я, больше будет людей. Невпроворот. Весь Ленинград хлынет к Союзу писателей…

Блокадники, блокадники, — вы-то где? Своего первого поэта не смогли проводить в последний путь как следует. Или вас уже нету? Вымерли вы?

Я выступал. Не мог не выступить. Историческое событие. И, кажется, удалось мне растопить сердца. Многие плакали, многие

благодарили, многие просто, без слов целовали…

Но была на поминках и суета, мелочность, попытка свести счеты с эпохой.

Верно, верно, хватила мук О. Б. Но разве поэт может быть вне мук и страданий эпохи? А многие выступавшие хотели без мук, без страданий войти в поэзию.

ДАНИИЛ ГРАНИН [402]
Похороны 18 ноября 1975 года

Вот и похоронили Ольгу, Ольгу Федоровну Берггольц. Умерла она в четверг вечером. Некролог напечатали в день похорон. В субботу не успели! В воскресенье не дают ничего траурного, чтобы не портить счастливого настроения горожан. Пусть выходной день они проводят без всяких печалей. В понедельник газета «Ленинградская правда» выходная. Во вторник не дали: что, мол, особенного, куда спешить. Народ ничего не знал, на похороны многие не пришли именно потому, что не знали. Газету-то читают, придя с работы. Могли ведь дать хотя бы траурную рамку, то есть просто объявление: когда и где похороны, дать можно было еще в субботу. Нет, не пожелали. Скопления народа не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыграться за все неприятности, какие доставляла ему Ольга. Нагнали милиции и к Дому писателя, и на Волково кладбище. Добились своего — народу пришло немного. А как речей боялись, боялись, чтобы не проговорились — что была она врагом народа, эта великая дочь русского народа была врагом народа, была арестована, сидела, у нее вытоптали ребенка, ее исключили из партии, поносили… На самом деле она была врагом этого позорного режима. Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Не проговорились. Только Федя Абрамов намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел попрощаться, сказать, за что любил ее, а с этими шакалами счеты у гроба сводить мелко перед горем ее ухода, заплакал, задохнулся, слишком много нас связывало. Только потом, когда шел с кладбища, нет, даже на следующий день заподозрил себя: может, все же убоялся? Неужели даже над ее гробом лжем, робеем?

Зато начальство было довольно. Похоронили на Волковой, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И вроде бы почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила с блокадниками. Но где кому лежать, решает сам Романов. Спорить с ним никто не посмел. А он решает все во имя

своих интересов, а интерес у него главный был — наверх, в Москву, чтобы ничего этому не помешало!

Надо было оповестить о ее смерти и по радио, и по телевидению, устроить траурный митинг, траурное шествие. Но у нас считают, что воспитывать можно только радостью. Что горе — это чувство вредное, мешающее, не свойственное советским людям. О своей кончине начальники не думают, мысли о своей смерти у них не появляется. Они бессмертны. Может, они и правы. Их приход и уход ничего не меняет, они плавно замещают друг друга, они вполне взаимозаменяемы, как детали в машине.

Машина эта и Ольгу, смерть ее тоже старалась перемолоть, пропустить через свое сито, через свои фильтры, дробилки, катки. Некролог, написанный Володей Бахтиным, написанный со слезами, любящим сердцем, — искромсали, не оставили ни одной его фразы. И то же сделали с некрологом Миши Дудина в «Литгазете».

Накануне я был у Ольги дома. Ее сестра, Муся, рвалась к ней ночью, домработница Антонина Николаевна не пустила ее. Какая-то грязная возня, скандал разразились вокруг ее наследства. Еле удалось погасить. А Леваневский, старый стукач, уже требовал передать ее архив КГБ (!).

На поминках выступала писательница Елена Серебровская, тоже сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла. На могиле выступал поэт Хаустов. Зачем? Чужой ей человек. Обозначить себя хотел? Вся нечисть облепила ее кончину, как жирные трупные мухи.

Мне все это напомнило похороны Зощенко, Ахматовой, Пастернака. Как у нас трусливо хоронили писателей! Чисто русская традиция. Начиная с Пушкина. И далее Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Есенин, Маяковский, Фадеев… Не знаю, как хоронили Булгакова, Платонова. Но представляю, как хоронили Цветаеву.

На поминках опять выступала Елена Серебровская, оговорила, что не была другом Ольги Федоровны, но должна сказать, как популярно имя Ольги Берггольц за границей и т. д. Не была другом — да Ольга ненавидела эту доносчицу, презирала ее. Она бы никогда не села с ней рядом, увидела бы ее за столом — выгнала бы, изматерила. Если бы она знала только, что эта падла будет выступать на ее поминках, жрать ее балык, пить ее водку, приобретенную на заработанные Ольгой деньги.

И на похороны Юрия Павловича Германа эта Серебровская пришла и стояла в почетном карауле у гроба человека, которого травила, на которого писала доносы, которого убивала.

Что это такое? Ведь кощунство — это самое постыднейшее,

самое безнравственное извращение человеческой души, где не осталось ничего запретного, нет ничего стыдного, нечего уже совеститься. Не то что — все дозволено, а все сладко, самое мерзкое сладко, человечину жрать — радость…

И мы тоже хороши, вместо печалей, благодарной памяти — злоба, злоба.

МИХАИЛ КУРАЕВ [403]
Беззащитное прошлое

Высокое имя поэта Ольги Федоровны Берггольц принадлежит нашему прошлому.

Мы помним евангельский стих о вере, о том, что имеющий веру размером даже с горчичное зерно, скажет горе: сдвинься, и гора сдвинется. Примеров пока не видели. Но вера в революцию, в возможность осуществить вековые, как говорилось, мечты человечества, дала миллионам людей реальные силы двигать горы вовсе не в метафорическом смысле.

Невозможно отдать дань таланту и мужеству Ольги Берггольц, отдать дань уважения и признательности за ее вдохновенный, жизнетворящий труд, не признавая высокого достоинства времени, в котором она жила, которому она была верна. И вера ее в избранный народом путь, и гордость за свою страну не были слепы. Она знала о сталинских застенках, о жертвах произвола не по рассказам, не из книг. Слово «сталинщина» я впервые услышал из ее уст. Но даже тяготы, полной мерой доставшиеся ей, тяготы, выпавшие на долю страны, не только не убили, но и не поколебали в ней убежденного строителя нового мира, строителя мировой коммуны.

> Не может быть, чтоб жили мы напрасно!
> Вот, обернувшись к юности, кричу:
> «Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна!
> Ты, горнему подобная лучу!»

Услышать и понять этот крик сердца в пору торжества мещанской глухоты, мещанской пошлости, увы, невозможно.

Мне, познакомившемуся с Ольгой Федоровной Берггольц в начале 60-х годов, не хватало воображения, и, увы, не только воображения, чтобы в немолодой даме, не имеющей сил следить за строгостью стрелок на чулке, увидеть олицетворение революции как мечты. Мне трудно было представить, что передо мной та, что стояла у гроба Маяковского в красной косынке и с

револьвером на поясе, обхватывающем юнгштурмовку. Разве эта женщина, со строгим напряженным лицом, нетвердо ступающая по коридорам «Ленфильма», та самая Берггольц, чья «Ленинградская поэма», изданная в Ленинграде в 1942 году, долгие годы жила, именно жила в дамской сумочке моей матери, рядом с карточками, документами и деньгами. Она и сейчас передо мной, эта книжка, в бледно-голубоватой, как щеки блокадника, обложке.

Почему у меня не хватило ума или смелости подойти к Ольге Федоровне Берггольц, члену Художественного совета 2-го творческого объединения, где я начал работу после института, показать заветную мамину книжку, попросить автограф?..

Нет, думаю я, дело не в уме и смелости. Это было бы все равно что подойти с иконой к великомученице и попросить автограф. Это уже не литература…

В конце 1962 года, когда производственная программа «Ленфильма» выросла до шестнадцати картин в год, было принято решение создать три творческих объединения, как бы самостоятельные киностудии, с программой пять-шесть картин в год. Приглашение Ольги Федоровны Берггольц в худсовет именно 2-го творческого объединения, как покажут последующие события, оказалось неслучайным. Впрочем, во главе 1-го объединения стоял народный артист СССР Г. М. Козинцев, автор трилогии о Максиме, а во главе 3-го объединения народный артист СССР Ф. М. Эрмлер, прославившийся «Великим гражданином». Наш художественный руководитель, народный артист СССР А. Г. Иванов был не только постановщиком лучших военных картин: «На границе», «Звезда», «Солдаты», но и участником и Первой мировой, и Гражданской войн. Впрочем, Козинцев художником в агитпоездах, Эрмлер в ЧК, Иванов в Красной кавалерии по убеждению, по выбору сердцем служили революции. Именно Александр Гаврилович Иванов завершит свою творческую биографию кинорежиссера постановкой фильма по поэме Ольги Федоровны Берггольц.

Поэзия наименее «экранизируемый» род литературы, и тем не менее уже в 1943 году в Ленинграде поэт Ольга Федоровна Берггольц в соавторстве с Георгием Пантелеймоновичем Макогоненко пишут по заданию ЦК ВЛКСМ сценарий о Ленинградской блокаде, сама Ольга Федоровна уже по ходу работы считала, что «сценарий получился даже более „театрален“, чем кинематографичен».

Придет час, и «театральность» другого сценария, написанного Берггольц на основе своей поэмы «Первороссийск», даст

совершенно неожиданный толчок для создания фильма, не имеющего аналогов в отечественном кинематографе.

В основу поэмы, отмеченной высокой государственной наградой, взята реальная история Первого Российского общества хлеборобов-коммунаров, созданного на землях Алтая рабочими Невской заставы, рабочими Обуховского завода в 1918 году.

«Первым в будущее брошен / и жизнью вымощен живой, / он никогда не станет прошлым, / твой трудный путь, твой огневой» («Первороссийск», 1950)

Когда сегодня читаешь Берггольц, душа замирает, кажется, что с тобой говорит свидетель Первого дня творенья. Но именно так она слышала зов времени. И «Первороссийск», это поэма Исхода, это свидетельство пришествия *первороссиян* в землю обетованную.

Не многим дано жить так, как жила Ольга Берггольц, для этого нужно поднять и расположить свою душу так высоко, откуда только и можно обозреть «всю жизнь разом».

Приближался 1967 год, 50-летие Октября, время оглянуться назад, время осуществить мечту.

«Я до сих пор считаю недоразумением, что поэма больше чем на пятнадцать лет отстала от сценария. С настойчивостью, достойной, наверное, лучшего применения, я из года в год предлагала „Первороссийск“ для художественного фильма, и только сейчас моя мечта становится реальностью… Но верила и верю в жизненную необходимость именно этой темы на экране», — писала О. Берггольц в газете «Советское кино» в апреле 1966 года.

Замечу, забегая вперед, что в *юбилейной* программе нашего творческого объединения было три фильма на темы революции: «Первороссияне», «Интервенция» по подзабытой к этому времени пьесе Л. Славина и «Свадьба в Малиновке». К зрителю вышла только безупречная во всех отношениях «Свадьба в Малиновке». Героическая комедия, решенная в оригинальной гротесковой манере, «Интервенция» выйдет на экраны лишь через двадцать пять лет, а реквием коммунарам Невской заставы широкий зритель так и не увидит.

Охранители соцреалистического благонравия в нашем кинематографе твердой рукой вели «важнейшее из искусств»; шаг влево, шаг вправо считался побегом… и принимались меры.

Но ближе к «Первороссиянам».

Александр Гаврилович Иванов предпочитал в своем творчестве иметь дело с хорошей литературой. В титрах лучших

его фильмов — В. Биль-Белоцерковский, Э. Казакевич, В. Некрасов, М. Шолохов… Редактор нашего объединения, жена поэта Михаила Дудина, Ирина Николаевна Тарсанова, близкий Ольге Федоровне человек, предложила нашему художественному руководителю перечитать поэму «Первороссийск». Александр Гаврилович, как всегда, был немногословен: «Я буду это снимать, давайте сценарий».

Сценарий… Состояние здоровья Ольги Федоровны было нестабильным, а кинопроизводство — это план, это сроки, это большие деньги. Было принято простое решение: к Ольге Федоровне будет приезжать секретарь сценарного отдела, владеющая стенографией Ксения Николаевна Сотникова, и записывать сценарий с голоса под диктовку.

Помню состояние Ксении Николаевны, вернувшейся от Берггольц после первого дня работы. Опытнейший стенограф, прослужившая на киностудии, записывая заседания худсоветов с довоенных времен, была полна удивления и восторга. «Когда я пишу стенограмму, — рассказывала нам Ксения Николаевна, — я пишу вперед не только отдельные слова, но и куски фраз. Записывая за Ольгой Федоровной, я не угадала ни одного слова! Интересно, в следующий раз угадаю?» Нет, не угадала и во все последующие встречи. Сценарий «Первороссиян» не был импровизацией, Ольга Федоровна готовилась и только потом приглашала стенографистку.

Ни одного банального, легко угадываемого слова так и не легло в стенографическую тетрадь, а стало быть, и в сценарий. Это и есть поэтический дар — владеть словами, отличающимися от наших. Сценарий «Первороссиян» стал вполне законченным самостоятельным литературным произведением и был в свое время опубликован. Поэма, сценарий и фильм — они очень разные, но в них биение одного сердца, одна кровь, они похожи, как и должны быть похожи дети одной матери.

Сказать, что фильм «Первороссияне» снят по сценарию, нельзя. Написанный в поэтической стилистике, сценарий тем не менее предполагал, а стало быть, и предписывал по преимуществу традиционное, вполне реалистическое изложение описываемых событий. Однако в сценарии входила, например, призрачной тенью Ведущая, соединявшая время минувшее и наставшее, звучали стихи. Но внутренний пафос сценария, требовавший сделать шаг от *быта к бытию,* не прорвал традиционную ткань повествования. Этот смелый шаг, потребовавший совершенно оригинального воплощения истории на экране, был совершен Александром Гавриловичем Ивановым, пригласившим себе в помощники дерзкого, авангардного, как

тогда говорилось, молодого театрального режиссера Евгения Шифферса и его друга, едва начавшего работу на «Ленфильме», художника, тоже театрального, Михаила Щеглова.

Сама поэма и сам сценарий дали толчок к поиску совершенно новых в кино пластических решений.

Вот сцена в сценарии. Ссыльные питерцы на Алтае, мужчина и женщина, ждут товарищей. Где обычно встречаются поднадзорные ссыльные в кино? В каком-то укромном месте. А в сценарии Берггольц они стоят посреди первозданной снежной равнины, исполненной величественной красоты и *надменности,* как сказано в сценарии. Извольте изобразить *надменную* равнину?! Набивший руку режиссер скажет в этом месте сценаристу: это непрофессионально — писать в сценарии то, что не может быть снято.

А вот это может быть снято, но как?

«Они стоят, счастливые и смелые, незабвенные питерские рабочие, солдаты Революции. И облака идут под их ногами. Кажется порой, что они стоят на облаках в заоблачной легендарной долине, как древние боги».

Как это снять? Построить подмостки, напустить пару? Подобрать оптику? Поставить ветродуй? И получится, скорее всего, что-то аляповатое.

Иванов и его соратники приняли сценарий как вызов.

Так родится фильм-фреска, фильм-реквием, фильм-поэма…

Да, это слово и страсть поэта, запечатленные в поэме и сценарии, дали постановщикам право освободить свое повествование о людях новой веры от быта.

И тема костра, аввакумова костра, пронизывающая сценарий, стала ведущей изобразительной доминантой фильма.

Фильм завораживает открытостью поэтической метафоры. Нужна красная трава? Щеглов красит в красное и траву и камни… А жатва? Это месса, где женщины, одетые в монашеское облаченье, но красное, расставленные по ослепительно-золотому жнивью, собирают снопы… Или похороны жертв революции на Марсовом поле. Экран огромен! Это первая широкоформатная картина на «Ленфильме», именно широкоформатная, на пленке 76 мм, а не привычная нынче широкоэкранная. Посередине необъятного экрана — черный прямоугольник ямы, к ней с четырех сторон несут ослепительно-алые, словно только что извлеченные из горна гробы. Шествие исполнено торжества и величия…

По собственному опыту, и редакторскому и сценарному, знаю, с какой ревностью и требовательностью относится наш брат сценарист к воплощению своего детища на экране. В советское

время у автора сценария даже было право остановить работу, а то и закрыть картину, если режиссер позволял себе слишком вольно обращаться со сценарием. А перманентные конфликты между сценаристом и режиссером сопровождали работу над большинством картин.

Ольга Федоровна приняла фильм безоговорочно. Ее душе — душе художника — был созвучен пафос фильма, его библейская стилистика, искренность.

На худсовете «Ленфильма», где принимали картину, царила атмосфера тревожного торжества. Все знали, что опекающие искусство функционеры твердо усвоили в своих ВПШ, что «формализьм» — это то, за что бьют. Они скорее могли допустить что-нибудь либеральное, но непременно «социалистическое» по форме. Поэты Орлов и Дудин, режиссеры Козинцев и Эрмлер, критики говорили о возрождении искусства первых лет революции.

«О бессмертном подвиге коммунаров-первороссиян нам хотелось рассказать языком не прозаическим, не разговорно-бытовым, но слогом, близким к слогу Маяковского, Петрова-Водкина, слогом Шостаковича», — пояснил эстетическую позицию авторов фильма Александр Иванов.

Поджав губы сидели соглядатаи из Смольного, убежденные по присяге в том, что в нашей стране все трагедии могут быть только оптимистическими.

Ольга Федоровна встала на защиту фильма, оставив без внимания все попытки противопоставить сценарий фильму. Она заговорила о главном:

«Я никак не могу понять, с каких это пор слово „трагедия“ стало ругательным. Это слово стало ругательством во времена „сталинщины“… Пусть молодежь знает, что революция начинается с жертв и что завоевания революции даны ценой жертв, а не ценой чечетки. Как же мы иначе будем воспитывать молодежь?.. В картине достаточно слияния быта и бытия… Могут фрески ожить и заговорить? Мне кажется, могут. Это доказала картина».

Формально фильм и партийным начальством, и начальниками Госкино был принят. Авторитет и Ольги Берггольц, и Александра Иванова, члена партии с 1918 года, призывал чиновников к осторожности. Но как раз «осторожность» подсказала иезуитское решение: фильм принять… но зрителям не показывать. Было дано распоряжение изготовить шесть копий фильма. Фильм на экраны не вышел.

Но история «Первороссиян», к счастью, не закончена.

В 2009 году, в ретроспективной программе XXXI

Международного московского кинофестиваля состоялась демонстрация фильма из запасников Госфильмофонда — «Первороссияне»!

Картину помнят, о картине говорят, пишут, спорят — значит, она жива. Значит, в ней живет и бьется сердце поэта, исполненное боли и сострадания за своих единоверцев.

И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.

АРХИВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № П-8870

Я встану над жизнью бездонной своею,
над страхом ее, над железной тоскою…
Я знаю о многом. Я помню.
Я ***смею****.*
Я тоже чего-нибудь страшного стою.

О. Берггольц

НАТАЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ
«Тюрьма — исток победы над фашизмом»

«Вот и похоронили Ольгу, Ольгу Федоровну Берггольц». Первая строка рассказанной Даниилом Граниным истории о похоронах Ольги Берггольц 18 ноября 1975 года. Строка как строка. Но что-то в ней цепляло. Интонация. Цезура, прозой не предусмотренная. Обрыв. Пауза длиною в жизнь. Из этой паузы возник сборник «Память» (СПб.: Азбука-классика, 2009). Собрать его было несложно: избранные стихотворения, книга «Дневные звезды». Сложно было остановиться, вынырнуть из этой уже не чужой судьбы. Особенно обжигали стихи, подписанные: «Январь 1939. Камера 33», «Апрель 1939. Одиночка 17», «Апрель 1939. Арсеналка. Больница», «Май. Одиночка 29».

То, что с 14 декабря 1938 года по 3 июля 1939 года О. Берггольц находилась под арестом, известно. Об этих днях сохранились и ее дневниковые записи. До последнего времени оставалось неясным, по какому делу она проходила, что, собственно, инкриминировалось будущей «Блокадной музе», «Голосу блокадного города». В воспоминаниях современников осталась ироничная реплика Берггольц об обвинении ее «в пятикратных попытках убить Жданова».

Первый запрос в КГБ с целью ознакомления с Делом О. Ф. Берггольц был сделан 4 октября 1989 года и подписан заместителем председателя правления Ленинградской писательской организации. Запись об этом есть в архиве критика Натальи Банк, хранящемся ныне в Российской национальной

библиотеке. Надо полагать, инициатором запроса и была Н. Банк, близкий Ольге Федоровне человек, исследователь ее творчества. 27 ноября из КГБ пришел ответ (документ за № 10/28–015832): «В результате поисковой работы наличия в архивах КГБ МВД уголовного дела по обвинению О. Ф. Берггольц не обнаружено» (*Динаров З.* Распятые. СПб., 1993).

Ответ из архивов КГБ МВД следовало принять на веру. Во всяком случае, попыток получить доступ к Делу О. Ф. Берггольц больше не предпринималось (Н. Банк не стало в 1997 году).

Спустя почти двадцать лет, в августе 2009 года, в связи с подготовкой настоящего издания, было сделано еще одно обращение в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой о получении доступа к Делу О. Ф. Берггольц. Сила инерции могла сработать и в этом случае: зачем запрашивать то, что уже «не обнаружено».

Мысль повторно запросить следственные материалы принадлежит Д. А. Гранину. «Интересно было бы посмотреть на Дело». — «Но ведь оно не сохранилось». — «А вы попробуйте».

24 сентября позвонили из Службы регистрации и архивных фондов УФСБ. А в понедельник, 28-го, Архивное следственное дело № П-8870 лежало передо мной на столе в одном из кабинетов на Литейном, 4.

Из «Справки о наличии сведений» (все материалы из следственного Дела цитируются впервые. — *Я.* ***С):***

«…Бергольц О. Ф. (в Деле фамилия О. Берггольц везде пишется с ошибкой. — Н. *С.)* было предъявлено обвинение в том, что она являлась активной участницей контрреволюционной террористической организации, ликвидированной в г. Кирове, готовившей террористические акты над т. Ждановым и т. Ворошиловым; в том, что квартира Бергольц в г. Ленинграде являлась явочной квартирой террориста Дьяконова Л. Д., который в 1937 г. приезжал к ней и совместно с ней намечал план убийства т. Жданова, т. е. в пр<еступлениях> пр<едусмотренных> ст<статьями> 58–8, 58–10 и 58–11 УК РСФСР.

Постановлением Управления НКВД ЛО от 2 июля 1939 г. следственное дело по обвинению Бергольц О. Ф. за недоказанностью состава преступления производством прекращено. 3 июля 1939 г. Бергольц О. Ф. из-под стражи освобождена».

Напомним, что статья 58–8 означает «совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов,

хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в ст. 58–2». То есть «высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества». Неизвестно, нашлись бы для О. Берггольц «смягчающие обстоятельства».

О Леониде Дьяконове читаем в дневнике О. Берггольц от 20 мая 1942 года: «Вчера были у Матюшиной, тетки Тамары Франчески. Тамара — сестра Игоря Франчески и близкая подруга Леньки Анка — двух людей из 6, которые оговорили меня в 38-м году, и из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали, но все же их показания чуть-чуть не погубили меня…»

Анк — журналистский псевдоним Л. Дьяконова. Упоминается его имя и в подготовительных материалах ко второй, ненаписанной части «Дневных звезд»:

«Это был 1931 год. Чума, холера, черная оспа. Там хранили воду в выдолбленных тыквах и пытались замостить почти болотистые улицы Алма-Аты, там, где пламенеют канны и где сейчас асфальт… <…> Все было далеко не только до социализма — до нормальной человеческой жизни. Жизни, достойной человека.

Но мы круто повернули, послушные дороге — пути, и сразу открылась сверкающая красота земли.

— Вот, ребята, — сказал Ленька, — вот так мы войдем в социализм.

И мы молча и безоговорочно согласились с ним, только кивнув головой (молча от волнения).

…Мы были молоды, очень молоды, я и Коля (Николай Молчанов, муж О. Берггольц. — *Н. С.),* приехавшие работать в казахскую газету, и друг наш, Леонид Д., — сотрудник той же газеты.

<…>

Все было не так, как нам в тот зеленый день казалось.

Всем нам троим, и мне, и Леониду пришлось выдержать 37-й, 39-й год.

И даже самоотверженную работу нашу в 31-м, в дни мечты о социализме, — оклеветали и представили как вражескую деятельность. Потом была война. Николай умер от голода в январе 42-го года. То, что было с нами троими, было с миллионами».

Шестой лист из 226 листов, составляющих Дело О. Берггольц — «Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения». Лист седьмой — ордер на арест № 11/046. Постановление утверждено комиссаром 2-го ранга Гоглидзе. Его же подпись на ордере на арест.

Комиссар Гоглидзе назван в дневниковой записи от 1 марта 1940 г.

«…Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: „Это будет читать следователь“ преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали „материал“ для идиотских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — „для следователя“ — или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя…

О, позор, позор, позор!.. <…>»

Об изъятых дневниках, которые будут «загажены», тоже есть в Деле. Лист восьмой. Протокол обыска. Под номером семь значатся «пятнадцать записных книжек», под номером десять — девять тетрадей. В Примечании к протоколу сказано также и об опечатанной комнате, в которой находится много рукописей, письма, материалы по истории завода «Электросила», где О. Берггольц работала пропагандистом и историю которого писала.

Неоднократно в Деле встречается и фамилия И. Т. Мусатова, следователя следчасти УНКВД ЛО.

Об И. Т. Мусатове можно прочитать в набросках ко второй части «Дневных звезд»:

«(На внутритюремном допросе с Иваном Тимофеевичем Мусатовым.)

Он добивается, чтобы я сказала, какие шифры я передала Лизе Косульниковой. Я чувствую, что Лиза явно предала или кто-то другой, кому она доверила. Лизе так хотелось к Ванечке и Виталику. Мусатов говорит под конец:

— Ольга Федоровна… Вы поступаете нечестно.

Я взглянула ему прямо в глаза, и взгляды наши столкнулись и вошли друг в друга, — всепонимающий то был, единый взгляд людей.

Взгляд людей друг другу в глаза, взгляд коммунистов — не боюсь сказать. И так мы говорили друг с другом не менее трех секунд, целую вечность.

— Иван Тимофеевич, я поступаю честно, — сказала я, не отводя своего взгляда от его человеческого взгляда (коммуниста), — и вы понимаете это.

— Я понимаю, — ответил он и опустил глаза на мое „дело“ и несколько раз быстро сожмурился, похлопал веками, как делают люди, которые, прямо взглянув на солнце, сразу вновь погружаются в сумерки…

<…>

Нет, таких век не могло быть ни у кутилы, ни у фанатика, ни у развратника, ни у бессонного поэта.

Усталый человек, усталые, коричневые, в мелкую продольную желтую складочку веки… Да ведь он устал… устал этот человек… Потому что он — тоже человек… (как с немцами). Это мгновенное видение век прошло сквозь сознание сквозным, но не колющим, а тупым прободающим ударом, но не задержалось в сердце, в сознании… Я как будто бы отложила его. „Потом, — сказала я себе, — потом…“ С чего ты устал, так твою…

— Ну так как же, значит, у вас в камере вы врагов народа не обнаружили?

Мы вновь были не людьми, а следователем и подследственной…»

Под Постановлением об избрании меры пресечения стоят три фамилии: лейтенанта ГБ Резникова, младшего лейтенанта ГБ Кудрявцева, младшего лейтенанта ГБ Дроздова.

Подпись начальника 6-го отделения Ивана Кудрявцева видим и на Протоколе первого допроса О. Берггольц от 14 декабря (листы 14, 15 Дела).

«**Вопрос**. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаете себя виновной в этом?

Ответ. Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.

Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам

упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.

Ответ. Я говорю только правду.

Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан.

О. Берггольц

Допросил Иван Кудрявцев».

В протоколе обозначено время, которое шел этот *допрос из семи фраз.* Он шел *три часа,* с 21:30 до 00:30.

Дневниковая запись от 14 декабря 1939 г.

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняв этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б<ольшой> дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

<…>

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». <…>

<…> Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то… Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отрава. <…>»

«…На днях меня будут утверждать на парткоме». Из кандидатов в члены ВКП(б) Ольгу Берггольц исключали дважды. Первый раз, с последующим восстановлением, — в мае 1937 года, это было связано, вероятно, с делом Л. Авербаха (расстрелян в августе 1937 г.).

5 января 1939 года Берггольц исключили из кандидатов в члены ВКП(б) повторно. В Деле имеется выписка из протокола № 57 заседания бюро РК ВКП(б) Московского района по партийной организации завода «Электросила» им. Кирова (лист 182): «Бергольц Ольга Федоровна, г./рожд. 1910, кандидат в члены ВПК(б) с 1932 года, к/карт. № 0 478 579, национ. — русская, соц. положение — служащая, работала редактором-автором истории завода „Электросила“. Бергольц О. Ф. арестована органами НКВД, как враг народа.

П/организация завода исключила Бергольц из рядов ВКП(б).

Постановили: Бергольц О. Ф., как врага народа, арестованную

органами НКВД, из кандидатов ВКП(б) исключить».

В это время она уже три недели находилась в тюрьме, оговоренная Л. Д. Дьяконовым, И. Г. Франчески, А. И. Семеновым-Алданом (писатель, в начале 1930-х также работал в Алма-Ате в редакции газеты «Советская степь»).

А. Семенов-Алдан (показания от 5 апреля 1938 г.):

«…В Алма-Ате Дьяконов был связан с троцкисткой О. Бергольц, которая потом переехала в Ленинград. В начале 1937 г. Дьяконов приезжал в Ленинград (из Кирова. — Я. С.), где связался с О. Бергольц. Бергольц обещала нам полную поддержку».

Л. Дьяконов (показания от 14 апреля 1938 г.):

«…Подобно мне она уже готовила себя для террористической деятельности. И на мой первый же вопрос, как она смотрит на террор? Ольга ответила: только положительно. Она знала о моем вступлении в группу еще в 1936 г. и спросила о работе. <…> В одной из маленьких комнат ее квартиры мы в течение нескольких дней обсуждали план покушения на Жданова. <…> На первомайском параде 1937 г. мы готовили два терр-акта. По одному из них предполагалось произвести выстрел по трибуне из танка. Это дело, как сообщила мне Бергольц, было задумано военной террористической группой, но *не состоялось из-за внезапного заболевания надежного танкиста* (курсив мой! — *Н. С.)*. Второй вариант покушения продумали мы сами. Мы предполагали использовать прохождение перед трибуной кавалерии, бросить в нее шумно-взрывающееся вещество типа больших петард, чтобы напугать лошадей и в получившейся панике проникнуть на трибуну через места у трибуны и стрелять. Бросать вещество должен был я, а стрелять или Бергольц, или Молчанов, смотря по тому, кому удастся ближе подойти. Но я струсил, приехал в Ленинград только первого мая, а они без меня не решились».

Из показаний И. Франчески:

«В начале 1937 г. Дьяконов выезжал в Ленинград. По возвращении он сообщил, что покушение на Жданова по договоренности с Бергольц решено приурочить к торжественному заседанию в театре, посвященному 20-й годовщине Октября. Бергольц взяла на себя достать пропуск в театр…»

Знаю, знаю — в доме каменном
Судят, рядят, говорят
О душе моей о пламенной,
Заточить ее хотят.
За страдание за правое,

За неписаных друзей
Мне окно присудят ржавое,
Часового у дверей…

1938

Спустя годы она делает наброски об этом времени для второй части «Дневных звезд»:

«Мои даты: 7/XI-37.

Меня выгнали из демонстрации.

Ничего. Я не сержусь на вас. Я еще напишу о вас такое, что вы будете плакать над этим. Парикмахер, который стрижет меня сейчас, когда-нибудь будет гордиться этим.

Затем — блокада. И вот я на „Электросиле“ — веду кружок, и *<неразб.>* они просят у меня прощения за то, что они выбросили из демонстрации…»

Тогда, в 1937-м, «обошлось». В мае выгнали из кандидатов в члены ВКП(б), потом выгнали с октябрьской демонстрации (но, кажется, и тюрьму ей было бы пережить легче, чем это унижение!), в ноябре 1937 года выгнали и с «Электросилы». С 19 декабря 1937 года по 1 сентября 1938 года она работала учительницей в школе.

С 1937 годом связан еще один эпизод, отраженный в Деле.

В «Постановлении о прекращении дела № 58 120-38 г. по обвинению Бергольц О. Ф.» читаем (синтаксис и стиль оригинала сохранены): «…Что же касается показаний Бергольц, данных ею во время допроса в качестве свидетеля в июле м-це 1937 г., где она показала, что является участником троцкистско-зиновьевской контрреволюционной организации, являются, как установлено следствием, показаниями вынужденными, даны в состоянии очень тяжелого морального и физического состояния, о чем свидетельствует тот факт, что сразу же после допроса Бергольц попала в больницу с преждевременными родами».

Удивительно: о том, что она летом 1937 года проходила свидетелем по какому-то делу, сама О. Берггольц не пишет. По крайней мере, в опубликованной части предельно откровенных дневников никаких упоминаний об этом нет, разве что глухие намеки на то, что испытания начались для нее уже в 1937 году (а не в конце 1938-го, как принято считать). Может быть, причина такого «умолчания» прояснится, когда будут опубликованы дневники, находящиеся в РГАЛИ.

В 1937-м Берггольц действительно ждала ребенка, лежала на сохранении, о чем свидетельствуют письма к Н. Молчанову от 14 и 17 марта (архив Н. Банк в РНБ, цитируется впервые). Из письма

от 14 марта: «Знаешь, после того, как врачи дали определенный срок, я почувствовала некоторый прилив бодрости. <…> О, конечно, конечно, лучше всего было бы родить толстого, милого Степу, — назло жизни, которая в этом пункте точно заговор против нас соорудила, родить, чтобы освободиться от милых, но мучительных теней Иришки и Маечки… да просто так, потому что это нужно и хорошо. Я и стараюсь…» Но есть в этом сугубо житейском, бытовом письме странная фраза: «Здесь, на свободе, много думаю». О какой свободе — или свободе в сравнении с чем — пишет она, находясь по определению не на свободе (в больнице)? Что значит в данном контексте «на свободе»? Обо всех общественных ипостасях своей жизни — ни слова в письме. Только многозначительно подчеркнутая фраза: «**Как здоровье, — всё** в порядке?»

Тогда, весной, случилось почти чудо: ребенка она удержала.

«Что же касается показаний Бергольц, данных ею во время допроса в качестве свидетеля в июле м-це 1937 г…» Письмо к Н. Молчанову от 13 июля написано опять в больнице. И ребенок уже потерян («Чувствую себя не плохо — а ведь могли быть всякие сюрпризы, вплоть до заражения крови»).

Это совпадает с данными из Дела.

В апреле 1938 года она действительно была первый раз восстановлена как кандидат в члены ВКП(б) и, судя по всему, в сентябре, уволившись из школы, первый раз возвращается на завод.

Существует и запись о втором, уже послетюремном, возвращении:

«К 1939 г., к возвращению на „Электросилу“»

Надо ли уточнять, что зубы в этой записи упоминаются в совершенно определенном контексте: они не были выбиты на допросах (в связи с этим вспомним пересказ М. Ф. Берггольц фразы О. Б. о Леониде Дьяконове: «Он не знал тогда, что на первом же допросе, где ему выбьют зубы, он предаст меня, Колю и свою мечту» (Встреча. СПб., 2003. С. 279).

Вернемся к справке от 27 ноября 1989 года, выданной КГБ на первый запрос о Деле О. Ф. Берггольц.

«С 8 апреля 1939 года находилась во внутренней тюремной больнице (причина болезни не указана), откуда была направлена в Областную больницу для составления заключения. Возвращена 22 апреля 1939 года».

«— Гражданин следователь! да ведь я беременная баба, куда уж мне покушаться! (на Жданова. — *Н. С.)*. (Диалог воспроизведен О. Оконевской по рассказу О. Берггольц (*Оконевская О.*…И возвращусь опять. СПб., 2005).

Следователь. Подумайте хорошо! Вы еще можете спасти ребенка. Только нужно назвать имена сообщников.

— Нет, гражданин следователь. Я ребенка не сохраню. (И в это время кровь как хлынет…) Немедленно отправьте меня в больницу!

— Еще чего захотела!

— Называйте меня на вы. Я — политическая.

— Ты заключенная.

— Но ведь я в советской тюрьме…

Меня все-таки повели в больницу. Пешком. По снегу. Босую. Под конвоем.

— Доктор Солнцев! Помогите мне!

Сидели несколько врачей. Не подошел никто. Молодой конвойный со штыком наперевес, пряча слезы, отвернулся.

— Ты что, солдатик, плачешь? Испугался? А ты стой и смотри, как русские бабы мертвых в тюрьмах рожают!

— Доктор Солнцев! Вы на воле. Вы можете передать моему мужу, что Степки больше нет… Всего два слова, понимаете, два слова: „Степки нет!“

С тех пор ни мальчики, ни девочки у меня больше не рождались».

Думала — родится сын:

…Не я ли это, желанный сын,
С тобой, с тобой?
Когда мы вернемся, желанный сын,
К себе домой?

(Март. Одиночка 17)

А потеряла девочку:

…Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма…

(Апрель. Арсеналка. Больница)

Был ли на самом деле доктор с неподходящей для тюремной больницы фамилией Солнцев или его звали как-то иначе? Не исключено, что в Деле есть ответ и на этот вопрос, и на многие другие вопросы, связанные с самым страшным периодом жизни большого русского поэта и гражданина О. Ф. Берггольц. Однако большая часть листов Дела, вдетая в конверты из плотной

коричневой бумаги, недоступна. Объяснений этому несколько: «информация личного характера», «не снят гриф секретности», «нужно разрешение родственников». Но многие факты своей жизни неоднозначно прояснила в дневниках и письмах сама Берггольц.

Хранится в открытой части Дела и документ, от которого не веет болью и отчаянием. Это характеристика, данная Берггольц директором неполной средней школы № 6 Московского района (сейчас школы с таким номером нет), в которой та работала между изгнанием и восстановлением на работе в «Электросиле». Характеристика дана для Следственной части облсуда. Сверху карандашом сотрудника НКВД написано: «Мусатову».

«Берггольц Ольга Федоровна работала в 6 школе Москов. р-на с 19.XII-37 г. по 1.IX-38 г. Вела русский язык и литературу в седьмых классах. Чувствуя себя молодым педагогом, Берггольц О. Ф. много внимания уделяла вопросу подготовки к урокам. Имела всегда планы уроков. Консультировалась с методистами, как лучше поставить работу в классе. С дисциплиной в классе справлялась.

Принимала участие в общественной жизни школы. Вела воспитательский класс. Проводила беседы с учителями по датам красного календаря. Вела кружок текущей политики».

Фамилии директора школы нет, только подпись.

Берггольц проработала в школе чуть больше восьми месяцев. С вычетом зимних, весенних и летних каникул — меньше полугода. Надо думать, что к молодой учительнице с «подмоченной репутацией» — выгнана с завода и из кандидатов в члены ВКП(б) — и привыкнуть еще не успели. Но в характеристике сказано, кажется, *все* лучшее, что можно было сказать в этой ситуации, что, несомненно, можно считать поступком, учитывая, *какой* организацией затребован документ. Показалось несправедливым оставить в нетях имя человека, написавшего эту характеристику. На запрос пришел ответ из Объединенного архива Комитета по образованию. Из архивной справки следует, что с 1936 по 1941 год директором неполной средней школы № 6 Московского района (Смоленская ул., 14) была Левитина Елена Давыдовна, 1905 года рождения, беспартийная, преподаватель русского языка, проживающая по Международному (ныне Московскому) проспекту, 125.

Здание школы на Смоленской, 14, уцелело. Сегодня в нем расположен проектный институт «Гипрообр».

В архиве Натальи Банк сохранилась корректура любимого детища О. Берггольц, книги «Узел», вышедшей в 1965 году. Откровенная и очень сильная поэтическая книга успела

проскочить на излете «оттепели». Первый лист содержит автограф стихотворения 1952 года, озаглавленного «Отрывок»: «Достигшей немого отчаянья, / давно не молящейся Богу, / иконку „Благое Молчание“ / мне мать подарила в дорогу…» Стихотворение входит в состав самого сборника, но этот рукописный эпиграф ко всей книге усиливает, подчеркивает его значение для автора. «Молчание душу измучит мне, / и лжи заржавеет печать…» Так оно заканчивается, словно указывая, что и этой смелой книгой сказано еще далеко не все.

На титульном листе рукой О. Берггольц написано: «По исправлении печатать! Ольга Берггольц. 28.IV-65». Мелкой авторской правки довольно много. Она сделана синими чернилами, с сильным нажимом. Есть и вставленная строфа. В первом из двух стихотворений, обращенных к Евгению Львовичу Шварцу. Вот она:

> Уж нас ли с тобой не драконили
> разные господа
> разными беззакониями
> без смысла и без суда?!

Строфа эта аккуратно перечеркнута крест-накрест цензорским карандашом. Правда, не красным. Тем же карандашом перечеркнуто стихотворение «Нет, не из книжек наших скудных…». И если стихотворение вошло в трехтомник 1989 года, то строфа, благодаря сохраненной Н. Банк верстке, просто нашлась, образовав, таким образом, смысловую рифму с нашедшимся Делом.

Судя по блокадным дневникам, О. Берггольц была готова к тому, что надежды и народа, и ее собственные на послевоенную «оттепель» не оправдаются.

«— Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны? — спросила я его (Ю. Эшмана, журналиста. — Я. С.).

— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь… вижу, что нет…

Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!). <…> „ОНИ“ делают с нами что хотят» (дневниковая запись от 9/IV-42).

«Они» и после войны делали что хотели. Тучи начали сгущаться над О. Берггольц очень быстро, а 1949 год стал в этом смысле критическим. Именно с этим годом связана история «пробитого дневника». Пробитую гвоздем тетрадь показал Даниилу Гранину Г. П. Макогоненко, сопроводив рассказом о том,

как однажды они с Ольгой Федоровной увидели, что к даче на Карельском перешейке, где они отдыхали, подъезжают черные машины. Макогоненко сделал единственно возможное в той ситуации: схватил «крамольную тетрадь» и прибил ее к внутренней стороне садовой скамейки. Тетрадь сохранилась и находится сейчас в РГАЛИ. В описи сказано: «Тетрадь проколота острым предметом». Теперь, благодаря свидетельству Даниила Гранина, происхождение «колотой раны» стало известно.

И этот пробитый гвоздем дневник рифмуется с «точащей кровь и пламя» рукой из стихотворения О. Берггольц конца 1930-х.

…А я бы над костром горящим
Сумела руку продержать,
Когда б о правде настоящей
Хоть так позволили писать.

Рукой, точащей кровь и пламя,
Я написала б обо всем,
О настоящей нашей славе,
О страшном подвиге Твоем…

В этой пробитой тетради оказались датированные 20–27 мая 1949 года страшные, на самом деле «точащие кровь и пламя» записи о жизни села Старое Рахино.

Там есть и такие строки: «…жизненной миссии своей выполнить мне не удастся — не удастся даже написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу — даже здесь». На отдельных листах сохранилась и запись от 31 октября 1949 года, в ней рассказано о поездке на дачу. По всей видимости, именно тогда тетрадь и была прибита к садовой скамье.

В той же октябрьской записи встречается имя Всеволода Александровича Марина, тогда сотрудника дирекции Публичной библиотеки.«…Приходил Волька, — сказал, что ПБ получила задание — доставить компрометирующие материалы на „Говорит Л-д“». Таким образом О. Берггольц пытались сделать фигурантом «Ленинградского дела». Но из этой точки вернемся на десять лет назад, к следственному Делу Берггольц. Лист 174, протокол допроса Марии Васильевны Машковой, жены В. А. Марина (в 1939 году он — зам. директора ПБ, она — аспирант ПБ, там же работал и Н. Молчанов):

«— …Бергольц О. Ф. я знаю с 1928 г., по ЛГУ, она была в то время студенткой.

— А что вам известно о взаимоотношениях Бергольц с

Авербахом?

— Авербаха я лично не знаю. Из разговоров Бергольц мне известно, что они с Авербахом были знакомы, это знакомство было непродолжительным.

— О преступном характере связей Бергольц с Авербахом вам что-нибудь известно?

— О преступном характере связей мне ничего не известно. Вся ее вина заключается в том, что она, зная его, своевременно не смогла разглядеть в нем врага, ослеплена была его авторитетом».

И еще из «Постановления о прекращении дела № 58 120-38 г. по обвинению Берггольц О. Ф.» (лист 222):

«…Марин и Машкова охарактеризовали Бергольц с положительной стороны».

И последнее: «Других материалов, изобличающих Бергольц в преступной антисоветской деятельности, *не добыто*» (курсив мой. — *Н. С.)*.

Не все друзья предали, ни тогда, в 1939-м, ни потом, в 1949-м.

Итак, позади осталась тюрьма. Впереди была война. Эти две бездны также срифмуются в сознании О. Берггольц. 26 сентября, на восемнадцатый день блокады, Берггольц писала сестре Марии в Москву: «Что касается положения Ленинграда, — конечно, почти трагическое, душа болит страшно, но уверена, что вывернемся, — такая же убежденность, как в кутузке, когда была почти петля, а я была уверена, что выйду, — и вышла». «Неразрывно спаять тюрьму с блокадой» — одна из записей ко второй части «Дневных звезд». О. Берггольц «спаяла» тюрьму с блокадой антитезой, потому что как раз *блокадное заточение* дало пусть и относительную, но все-таки возможность почувствовать себя свободными от идеологического гнета («…такой свободой бурною дышали, / что внуки позавидовали б нам»). Но тюрьму она «спаяла» — еще шире — с войной. «Тюрьма — исток победы над фашизмом. Потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней».

АЛЕКСАНДР РУБАШКИН
«— Луна гналась за нами, как гепеушник»

Война стала одной из Вершин (слово О. Берггольц), взятой поэтессой. Пройдя через испытания тюрьмой, едва ее не сгубившие, она нашла силы выразить настроения, переживания двух важнейших этапов своей жизни. О стихах предвоенных, тюремных и послетюремных мало кто знал, но они звучали в ней.

Как и открытые, искренние июня 1941-го, выразившие ее гражданскую позицию:

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня,
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Этих слов Родина тогда не услышала. Но если бы О. Берггольц их не написала, ей было бы трудно выполнить миссию… «Блокадной музы». Она стала ею во многом благодаря радио. «Сквозь рупора звучащий голос мой» — так вспоминала Берггольц уже конец августа сорок первого, когда враг был у ворот города.

Радио позволило ей стать голосом блокадного Ленинграда, беседовать со своими согражданами, помогать им выдержать неисчислимые беды, потери. Голодные люди в промерзших квартирах, лишенных воды и света, прислушивались к репродуктору, порой едва шептавшему. В феврале 1942 года, прочитав по радио свою поэму «Февральский дневник», она стала поистине народной поэтессой. Голос Ленинградского радио, голос Берггольц, выходя в эфир, прорывал блокаду.

Потом, уже летом 1942-го, была «Ленинградская поэма», с ее железными строками «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», их тоже услыхали за блокадным кольцом. Ее земляки понимали: с ними — «по праву разделенного страданья» — говорит близкий им человек, такой же, как они, блокадник.

В конце войны О. Берггольц написала и сразу же опубликовала (Знамя. 1945. № 5/6) лучшее свое поэтическое произведение — поэму «Твой путь»…

Ей тридцать пять лет, у нее слава широкая и заслуженная. Казалось, с горькой несправедливостью прошлого покончено… Почему же в ее стихах (1945!) появляются странные полемические ноты:

И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец

на желтый снег пустынных площадей…

И откуда появилась инвектива, каких раньше у Берггольц не было? Видно, произошло что-то неожиданное, потрясшее ее:

Уже готов позорить нашу славу,
Уже готов на мертвых клеветать
герой прописки
и стандартных справок…
Но на асфальте нашем —
след кровавый,
не вышаркать его, не затоптать…

1946

Отношение к Берггольц ее слушателей и читателей расходилось с официальным и раньше. Уже в феврале 1942 года секретарь горкома ВКП(б) Н. Д. Шумилов требовал не передавать в эфир «Февральский дневник». В те же дни поэтесса отметила в своих записях: «Ведь они же (партийные работники. — *А. Р.)* утвердятся в случае победы, им зачтут именно то, что они делают, а их деятельность состоит сейчас в усиленном умерщвлении живого слова, в уродовании его в лучшем случае. Им ведь ордена за это дадут. Мне не надо орденов, плевала я на них. Я хотела бы сказать людям то, о чем говорит мое и — я знаю — их сердце» (Апрель. 1991. Вып. IV; в ком. М. Ф. Берггольц (с. 142) запись от 21.02.1942).

С тем, что Берггольц предчувствовала в 1942-м, ей пришлось столкнуться в мае 1945-го. После победного салюта, но до июньского Парада Победы. На X пленуме правления Союза советских писателей выступил поэт А. А. Прокофьев. Он говорил в основном о Берггольц. Относясь, по его словам, «положительно к ее <…> ленинградским стихам», Прокофьев заметил, что они «более выразительны», чем довоенные. Это сопоставление вряд ли правомерно: слишком мало смогла тогда напечатать О. Берггольц. Лишь спустя многие годы стало очевидно — именно те стихи — по меньшей мере 35 стихотворений 1938–1940 годов — подготовили ее взлет военной поры. О тюремных и других стихах, тогда не печатавшихся, Прокофьев мог не знать, но об аресте, исключении из СП знал слишком хорошо. Знал, как звучали ее стихи в блокаду, и все-таки (она называла его «Сашкой») предъявил свой «счет»: «Я хочу сказать, что Берггольц, как и некоторые другие поэты (безымянные. — *А. Р.),* заставили звучать в стихах исключительно тему страдания, связанного с

бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Приведем стихи, так задевшие Прокофьева:

> Вот женщина стоит с доской в объятьях;
> угрюмо сомкнуты ее уста,
> доска в гвоздях — как будто часть распятья,
> большой обломок русского креста.

Замечая «сказано сильно», Прокофьев предъявляет идеологические претензии. Еще бы — «с таким представлением связывается евангельская Голгофа». Если бы речь шла о солдатах, обороняющих город, можно было бы понять сурового критика, но женщины, дети, старики «укладываются» в тот поэтический образ, который дает Берггольц, более миллиона из них погибли на той Голгофе. В 1942-м А. Прокофьев «не заметил» этого образа. Теперь можно было поставить поэтессу «на место».

То же произошло с отношением поэта-критика к поэме «Твой путь». В. Панова, свидетельница резких высказываний А. Прокофьева о поэме, сокрушалась: «По-моему, выступать так резко поэту против поэта нехорошо». Что же так не понравилось руководителю ленинградских писателей? Образ вмерзшего в блокадный лед ленинградца, высокий трагический образ: «Я знаю все. Я тоже там была, / я ту же воду жгучую брала / на улице, меж темными домами, / где человек, судьбы моей собрат, / как мамонт, павший сто веков назад, / лежал, затертый городскими льдами».

Поэт Прокофьев видит некое бытовое событие, он оспаривает самое поэзию. Его замысел очевиден. «Да, голод валил ленинградцев на улице, да, трупы лежали на них, как на поле сражения, но мы убирали тела павших, об этом хорошо знает Берггольц» (Ленинград. 1945. № 10–11. С. 26).

Поэтесса должна была понять — с такой «критикой» не поспоришь.

Но бывало и хуже.

Следы критических нападок «в разнузданно-хамских тонах» оставили горький след в ее душе. В пронзительной автобиографии 1952 года Берггольц приводит еще одно высказывание о поэме: «В этом произведении рассказывается о том, как некая женщина, потеряв горячо любимого мужа, тотчас же благополучно выходит за другого. Эта пошлая история не имеет ничего общего с героической обороной Ленинграда». «Мирное время» хорошего Берггольц не обещало. Получалось, что с героической историей, с защитой города у нее теперь тоже нет «ничего общего».

В январе 1946 года было объявлено о присуждении Сталинских премий большой группе деятелей искусства и литературы. Из ленинградцев лауреатами (за войну!) стали Вера Инбер, в частности за поэму «Пулковский меридиан», Александр Прокофьев за стихи. Еще раньше, в 1942-м, отметили этой премией Николая Тихонова за поэму «Киров с нами».

Ольгу Берггольц, автора четырех (!) поэм и многих широко известных стихов, повторявшихся в блокаду как заклинания, просто «забыли». Позднее, комментируя отрывки из публикуемых в периодике дневников сестры, М. Ф. Берггольц так определила позицию официальную: «Закончилась война — закончилась Берггольц».

Августовское постановление ЦК ВКП(б) 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» ошеломило Ольгу Берггольц. Помимо главных объектов травли — Ахматовой и Зощенко, нарочито упомянутых всюду по фамилиям, но без имен, а также еще нескольких ленинградских писателей, сильно задело и бывшую Блокадную Музу (чему удивляться, что «бывшую», ведь у нас были бывшие маршалы, бывшие великие режиссеры и бывший дважды Герой Советского Союза летчик Я. Смушкевич). Постановление, осудившее А. Ахматову и М. Зощенко, продержалось 42 года, прежде чем его отменили. Но были еще разного рода решения, за которые никто не извинялся. Скажем, резолюция Общегородского писательского собрания по докладу тогдашнего главного идеолога тов. Жданова. Эту резолюцию «Ленинградская правда» опубликовала 22 августа 1946 года, те есть через несколько дней после указующего доклада. В ней, в частности, говорилось: «Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди (Берггольц, Орлов, Герман, Добин и др.), раздувавшие „авторитет“ Зощенко и Ахматовой и пропагандирующие их писания».

Через месяц с лишним проходит двухдневное отчетно-выборное собрание писателей города, 11 октября та же «Ленинградская правда» сообщает: «Ни в коей мере не удовлетворило собрание выступление Ольги Берггольц. Внезапно потеряв столь обычную для ее прежних речей (видимо, блокадной поры. — *А. Р.)* взволнованность и искренность, она отделалась сухой констатацией ошибочности своих статей об Ахматовой». Что называется, «бьют и плакать не дают». «Свистопляску» вокруг нее начали, как она сама писала в упомянутой «Автобиографии» (1952), — «братья писатели», которые исключали ее из партии в 1937 году, «имена их не стали широко известны советскому читателю, а мое, к их прискорбию, стало». Сверх того, она так и не выступила с осуждением опальных писателей. За все это

пришлась платить.

В 1946 году обвинения в адрес О. Берггольц приобретали направленный характер. Раньше главная ленинградская газета охотно печатала ее стихи. Теперь шпыняет: «Возражая против упреков в любовании страданиями, в воспевании перенесенных мук, она (Берггольц. — *А. Р.)* стала приводить не имеющие ничего общего с существом вопроса цитаты из Белинского, Горького и Маркса…»

Было открытое недовольство позицией О. Берггольц, она даже могла «возражать против упреков». Но что-то происходило за ее спиной. Мы и сейчас не можем ответить, кто и зачем востребовал характеристику Берггольц в начале ноября 1946 года. (Хранится в бывшем партархиве.) Она начинается «за здравие»: «Поднимала моральный дух защитников Ленинграда». Но заказана характеристика совсем не для этой констатации. А вот для чего:

«В послевоенном творчестве Берггольц появились нотки упадничества, индивидуализма — она не смогла перестроиться на лад мирной жизни и продолжала воспевать в ленинградской теме, главным образом, тему страдания и ужасов перенесенной блокады. В то же время О. Берггольц допустила крупную ошибку, восхваляя безыдейно-эстетское творчество Ахматовой. В настоящее время О. Берггольц заявила о своем разрыве с влиявшим на нее творчеством Ахматовой, но пока не доказала этого своими произведениями. В общественной работе Союза и в жизни писателей и парторганизации принимает слабое участие» В середине тридцатых Сталин оценивал положение Бухарина, тогда редактора «Известий», «на три с минусом». Характеристика О. Берггольц тянет на ту же оценку: ни больше ни меньше — оторванный ломоть. Все теперь зависело от положения самой Ахматовой. Одно дело — «связь» с исключенной из СП, другое — с тем, кого объявляют в ином качестве…

В 1946 году единственное, что обрадовало Берггольц, — выход книги ее радиовыступлений (лишь некоторых) блокадной поры «Говорит Ленинград». Даже поставленная пьеса «Они жили в Ленинграде» (написана вместе с Г. Макогоненко) вызвала нарекания партруководства. Но что не зависело от него, так это встреча у нее 1947 года вместе с друзьями и опальной Ахматовой.

Осенние проработки не прошли бесследно. Весной 1947-го она признает: «Прошло полгода молчанья…» Отмеченное двойной датой (1935, 1947) стихотворение «Феодосия» (характерно для настроений послевоенных). Оно и о том, «что к самому себе потерян след / для всех, прошедших зоною пустыни…». И вот наконец звучит ответ на все, что пришлось Берггольц вынести после словно бы обесцененного военного

подвига: «На собранье целый день сидела — / то голосовала, то лгала… / Как я от тоски не поседела? / Как я от стыда не померла?» (датируется предположительно 1948–1949 годами, но, судя по дневнику 1949 года, ближе к последнему). По своему характеру этот год соответствует 1937-му — новой волной арестов, «Ленинградскому делу», беспримерному потоку приветствий кремлевскому тирану.

Обратимся к дневникам Ольги Берггольц — «Записям о Старом Рахине».

Вот что увидела Берггольц в деревне на Валдае, возле городка Крестцы: «угнетенно-покорное состояние людей», «живут чуть не впроголодь», «весенний сев превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности». Наконец, печальная констатация: «Это и есть народ-победитель». У Берггольц не просто «заметки с натуры», но выводы, противоречащие всей тогдашней идеологии. В записи 20 мая 1949 года она ставит диагноз: «Это общее отчуждение государства от общества».

В 1937–1939-м ей приписывали преступления, которых не было. Но за эти записи ее неминуемо исключили бы еще раз из партии, что открывало бы для органов широкие возможности. Кризис, который переживает Берггольц в конце сороковых, вполне сравним с предвоенным и, может быть, даже сильнее. «Рассказ о женщине, которая умерла в сохе», то есть когда на ней пахали в упряжи, вызвало у ответственных за это стыдливое: «Некрасиво получилось». Но от этой картинки Берггольц идет к другому, тоже широкому обобщению: «Баба, умирающая в сохе, — ужасно, а со мною — не то же ли самое! И могу ли я быть, при этом-то родстве (конечно, „негласном“, „неопубликованном“, „секретном“), могу ли я быть при этой бабе — „пустоплясом“, как Грибачев и К°». Берггольц не зря вспоминает щедринскую сказку «Коняга», она, в отличие от казенных писателей типа Николая Грибачева (Сталинская премия за поэму «Колхоз „Большевик“»), за эти свои записки могла бы получить отнюдь не премию. За четыре года войны Берггольц написала четыре поэмы и замечательные стихи, за четыре послевоенных — несравнимо меньше. В старорахинских записях есть тому объяснение: «Внутренняя несвобода — обязанность написать то-то и то-то, видимо, больше всего сковывает меня». И это не все, ей еще предстоит «обелиться», то есть отчитаться на партбюро перед поэтом Б. Кежуном, критиками В. Друзиным и А. Дементьевым, как она исправилась после критики ее творчества. «Это мне-то, за мою блокаду, каяться и „исправляться“. Эх, эх, эх… Соха!»

Вот теперь уже понятно, почему она написала в дневнике — «только раз или два прошелся по душе творческий трепет и

тотчас угас». Вместо творчества приходится отвечать за лучшее, ею написанное, Берггольц даже боится «этой несчастной тетрадчонки», в которую заносит самое откровенное. Эх, соха! От всего этого — строки из стихотворения «На собранье целый день сидела…»: «В подворотне — с дворником курила, / водку в забегаловке пила…»

И вопреки всему — усталая, потерявшая многих близких, уже во многом сомневающаяся женщина пишет триптих 1949 года, который накладывается на записи в дневнике. В разгаре «Ленинградское дело». Уже арестовали многих партийных работников, уже никто не может быть уверенным, что он не «связан» с таким-то и не работал с другим, Берггольц знает от друзей из Публичной библиотеки, что ищут компромат в ее книге «Говорит Ленинград». И ведь нашли — это издание отправили на многие годы в спецхран. Как тут не задуматься о своей возможной судьбе. «Не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, — попытаются сделать „идеологом“ ленинградского противопоставления (речь идет о якобы существовавшей в городе оппозиции центру страны. — *А. Р.). со* всеми вытекающими выводами вплоть до тюрьмы».

31 октября 1949 года Берггольц вместе со своим мужем Г. П. Макогоненко едут на дачу в отдаленный от города район Карельского перешейка. Описание поездки напоминает фильм ужасов, герои которого бегут от погони. Кажется, что каждая машина, которая осветила фарами дорогу, преследует именно их.«…В полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. „Эта“. Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась — идет сзади. „Она“. Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой… <…> Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник».

Насколько глубоко задевала О. Берггольц ситуация, которая складывалась вокруг нее тогда, видно по уже упомянутому циклу из трех стихотворений с условным названием <Триптих 1949 года>. Это поэтическое решение выходит за рамки конкретного опыта, такого у нее не было и в 1937-м. Только в тюрьме, к своему ужасу, поняла, что сидят люди невиновные. В «Триптихе» поэтесса вспоминает о недавнем событии на Карельском перешейке:

…в то воскресенье,
в темный день погони,
когда разлуки каторжная даль

открылась мне —
ясней, чем на ладони…
Как плакал ты!

Но сильнее конкретики — обобщение, обстановка поголовного преследования. Автор может говорить о верности «знаменам», но, встречая «мордастого энкаведешника» или бывшего своего следователя, она повторяет: «Не могу без судорожной ненависти говорить о них». В первом стихотворении «Триптиха» это выражено так:

Я не люблю за мной идущих следом
по площадям
и
улицам
Мой путь —
мне кажется тогда —
стремится к бедам:
Скорей дойти до дома
как-нибудь.
Они в затылок дышат горячо…
Сейчас положат руку
на плечо!

Слова «не люблю» звучат здесь даже сильнее, чем «ненавижу», заставляя вспомнить непримиримого Владимира Высоцкого: «Я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно когда в нее плюют». 1949-й проходит под неослабевающей угрозой: «…меня не покидает страх знакомый, что по Следам Идущие — придут». Исповедальная открытость, откровенность этих стихов возвращает им поэтическую силу, Поэт никуда скрыться не может (Живу — тишком. / Живу — едва дыша), потому что душа оставляет свои следы — «то болью, то доверием, то песней».

Почему Идущие Следом за ней в 1949-м не пришли, можно лишь догадываться. Во-первых, О. Берггольц практически сошла с литературной арены, ее противники, «конкуренты» утолили свои амбиции. Во-вторых, у нее остались влиятельные друзья. Тот же А Фадеев, который, по ее словам (см. книгу О. Оконевской«…И возвращусь опять»), вызволил ее в 1939-м, теперь — генеральный секретарь СП СССР, вновь использовал свой ресурс, помог вернуть из сибирской ссылки в европейскую часть страны отца сестер Берггольц, высланного из блокадного Ленинграда. Поддерживал Ольгу Берггольц ее собрат по блокаде, влиятельный

Вс. Вишневский. Личность противоречивая (приложил руку к травле М. Зощенко), Вс. Вишневский уже осенью 1946 года умерил некоторые оргмеры против Берггольц, а еще раньше, как известно, опубликовал в своем журнале поэму «Твой путь».

Запойность — тоже смягчающее обстоятельство… Но, может быть, главным спасением стал адский труд над поэмой «Первороссийск». Он занял долгих восемь лет (1949–1957). В 1951 году поэтесса написала: «О, возмести хоть миг труда / в глухонемое наше время». Горькое, точное определение тех лет. О. Берггольц обратилась к прошлому, к легенде, она душой была с теми рабочими Невской заставы, которые в годы революции погибали за тысячи километров от родного дома, пытаясь построить новую, утопическую жизнь в коммуне.

Спасала Берггольц и любовь, что бы ни говорили о ее трудных отношениях с мужем — Г. Макогоненко («последнее желанье на земле»)… «Первороссийск» — скорее не поэма, но повесть в стихах, ее журнальный вариант появился в 1950-м (тоже в журнале «Знамя», еще у Вс. Вишневского), а уже в 1951 году поэтесса получила за нее Сталинскую премию. Премия несколько обезопасила саму Берггольц, но «глухонемое время» продолжалось. Лишь последним стихотворением из цикла «Пять обращений к трагедии», начатым в августе 1946-го, а завершенным в январе 1954-го, Берггольц распрощалась с эпохой. Обращаясь к трагедии, «матери живого огня», она написала:

О, не твои ли трубы рыдали
Четыре ночи, четыре дня
с пятого марта в Колонном зале
над прахом, при жизни
кромсавшим меня…

Последняя строка изменена[404] по предложению рецензента. Раньше было: «над прахом эпохи, кромсавшей меня». Рецензент обиделся за «эпоху», мол, как это можно называть ее «сталинской»… Во всяком случае, после марта 1953 года «каменный дом» уже не угрожал большому поэту и гражданину Ольге Федоровне Берггольц.

ПАМЯТЬ
избранные стихотворения и поэмы [405]

…А я бы над костром горящим
Сумела руку продержать,
Когда б о правде настоящей
Хоть так позволили писать.

Рукой, точащей кровь и пламя,
Я написала б обо всем,
О настоящей нашей славе,
О страшном подвиге Твоем.
……
Меж строк безжизненных и лживых
Вы не сумеете прочесть,
Как сберегали мы ревниво
Знамен поруганную честь.

Пусть продадут и разбазарят,
Я верю — смертью на лету
Вся кровь прапрадедов ударит
В сердца, предавшие мечту.

<Конец 1930-х>

КАМЕННАЯ ДУДКА

Я каменная утка,
я каменная дудка,
я песни простые пою.
Ко рту прислони,
тихонько дыхни —
и песню услышишь мою.
Лежала я у речки
простою землею,
бродили по мне журавли,

а люди с лопатой
приехали за мною,
в телегах меня увезли.
Мяли меня, мяли
руками и ногами,
сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
в самое пламя,
горела я там три дня.
Стала я тонкой,
стала я звонкой,
точно огонь, я красна.
Я каменная утка,
я каменная дудка,
пою потому, что весна.

1926, 1930

БЕАТРИЧЕ

В небе грозно бродят тучи,
закрываю Данте я…
В сумрак стройный и дремучий
входит комната моя…

Часто-часто сердце кличет
в эти злые вечера:
Беатриче, Беатриче,
неизвестная сестра…

Почему у нас не могут
так лелеять и любить?
Даже радость и тревогу
не укроешь от обид…

Почему у нас не верят,
а позорно и смешно
так любить, как Алигьери
полюбил тебя — давно?..

Тупорылыми словами
может броситься любой,
заклеймили сами, сами

эту строгую любовь…

И напрасно сердце кличет,
затихая ввечеру,
Беатриче, Беатриче,
непонятную сестру.

1 октября 1927

"Вот затихает, затихает…"

Вот затихает, затихает
и в сумерки ютится день.
Я шепотом перебираю
названья дальних деревень.

Ты вечереешь, Заручевье,
и не смутит твоих огней
на дикой улице кочевье
пугливых молодых коней…

Ты знаешь, что за темным полем
стоит старинный, смуглый Бор
и звездным заводям Заполек
вручает прясла и забор…

Крепки в Неронове уставы
старообрядческих годов,
и скобки древние у ставен,
и винный запах у садов.

А заповедные кладбища
шмурыгой-лесом занесло,
и соглядатай не разыщет
и не прочтет заветных слов.

Ты вечереешь, Заручевье,
грибами пахнет по дворам…
……
А ты? Не знаю, где ты, чей ты
и кто с тобой по вечерам…

Ленинград

Октябрь 1927

"О, если б ясную, как пламя..."

О, если б ясную, как пламя,
иную душу раздобыть.
Одной из лучших между вами,
друзья, прославиться, прожить.

Не для корысти и забавы,
не для тщеславия хочу
людской любви и верной славы,
подобной звездному лучу.

Звезда умрет — сиянье мчится
сквозь бездны душ, и лет, и тьмы, —
и скажет тот, кто вновь родится:
«Ее впервые видим мы».

Быть может, с дальним поколеньем,
жива, горда и хороша,
его труды и вдохновенья
переживет моя душа.

И вот тружусь и не скрываю:
о да, я лучшей быть хочу,
о да, любви людской желаю,
подобной звездному лучу.

Невская застава

1927

ПЕСНЯ

Мы больше не увидимся —
прощай, улыбнись…
Скажи, не в обиде ты
на быстрые дни?..

Прошли, прошли — не мимо ли,

как сквозняки по комнате,
как тростниковый стон…

…Не вспомнишь
как любимую,
не вспомни — как знакомую,
а вспомни как сон…

Мои шальные песенки
да косы на ветру,
к сеновалу лесенку,
дрожь поутру…

1927

"Потеряла я вечером слово…"

Б. К.

Потеряла я вечером слово,
что придумала для тебя.
Начинала снова и снова
эту песнь — сердясь, любя…
И уснула в слезах, не веря,
что увижу к утру во сне,
как найдешь ты мою потерю,
начиная песнь обо мне.

Март — апрель 1927 или 1928

ПОСВЯЩЕНИЕ

Позволь мне как другу — не ворогу —
руками беду развести.
Позволь мне с четыре короба
сегодня тебе наплести.

Ты должен поверить напраслинам
на горе, на мир, на себя,
затем что я молодость праздную,
затем что люблю тебя.

1927 или 1928

"Вешний утренник прянул по грядкам…"

Вешний утренник прянул по грядкам,
мерзлотой под шагами звеня,
и скворешня летит без оглядки
мимо туч молодых — на меня…

Глядя в темное око скворешни,
я решаю опять и опять
быть спокойной, как утренник вешний,
никогда
никого
не встречать.

Февраль 1928

"Какая мне убыль, какая беда…"

Какая мне убыль, какая беда,
Что я не увижу тебя никогда,

что хмурому не обещалась тебе,
как самой своей неразумной судьбе?

Ты бросишь жилище, хозяйство, жену,
уйдешь на охоту, на пир, на войну,

и будешь ты счастлив,
и будешь тосклив,
коней укрощая, водя корабли.

Бок о бок с тобою пройдется гроза,
и хмель, и весна опаляют глаза,

и всё это минет,
и всё без следа,
и я не увижу тебя. Никогда.

Какая ж мне доля,
какой же мне сон,
какой же у песни исполнится звон?..

Октябрь 1928

"Мне многое в мире открыто..."

Мне многое в мире открыто,
безвестное темным словам,
как сон — беломорскому скиту,
как пена — морским берегам.

Не сразу, не всем и не громко
должна я об этом сказать,
то строчкой мальчишески ломкой,
то просто поглядом в глаза.

И каждый, узнавший об этом,
уже не утешится сам
и снова придет за ответом
к моим беспокойным глазам…

1928

"Я не куплю воскресного венка..."

Я не куплю воскресного венка
у кладбища, из розоватых стружек —
ведь под апрельским дерном бугорка
нет у меня ни матери, ни мужа.
Но я люблю забвенные кресты
и надписей беспомощные скорби.
……
……
Я ничего не знаю о судьбе
меня забывшего, неузнанного, злого…
Он десять месяцев не подал о себе
ни скудного, ни радостного слова…

Он собирался с севера уйти, —
куда, зачем — я странно позабыла.
И если он умрет — мне не найти
его непримиримую могилу.

< 1928 >

ОСЕНЬ

Мне осень озерного края,
как милая ноша, легка.
Уж яблочным соком, играя,
веселая плоть налита.
Мы взяли наш сад на поруки,
мы зрелостью окружены,
мы слышим плодов перестуки,
сорвавшихся с вышины.
Ты скажешь, что падает время,
как яблоко ночью в саду,
как изморозь пала на темя
в каком неизвестно году…
Но круглое и золотое,
как будто одна из планет,
но яблоко молодое
тебе протяну я в ответ.
Оно запотело немного
от теплой руки и огня…
Прими его как тревогу,
как первый упрек от меня.

7 ноября 1929

"Будет весело тебе со мною…"

Будет весело тебе со мною,
если ты со мной захочешь жить:
и спою и расскажу смешное,
руки протяну тебе — держи.

Приведу к товарищам, к подругам
(как я долго этого ждала!).
«Вот, — скажу, — еще нашла вам друга,
самого хорошего нашла.

Жалуйте, любите, не робейте.
Он упрямый, ласковый, простой.
Но прошу, подруги, не отбейте:
я сама отбила у другой».

Вот что я товарищам сказала б,
вот как жили б весело с тобой —
без обиды, горечи и жалоб,
без прощаний в полночь на вокзалах…

1932

ПОРУКА

У нас еще с три короба разлуки,
ночных перронов,
дальних поездов.
Но, как друзья, берут нас на поруки
Республика, работа и любовь.
У нас еще — не перемерить — горя…
И все-таки не пропадет любой:
ручаются,
с тоской и горем споря,
Республика, работа и любовь.
Прекрасна жизнь,
и мир ничуть не страшен,
и если надо только — вновь и вновь
мы отдадим всю молодость —
за нашу
Республику, работу и любовь.

1933

ПЕСНЯ

Слышала — приедешь к нам не скоро ты.
Говорят товарищи: не ждем.
Брошу всё. Пойду бродить по городу,
по дорогам, пройденным вдвоем.

До Невы дойду, спущусь по лесенке.
Рядом ходит черная вода.
На унылой, безголосой песенке
вымещу обиду навсегда.

Все следы размоет дождик начисто.

Все мосты за мною разведут.
А приедешь, пожалеешь, схватишься —
не найдешь, и справок не дадут.

Декабрь 1933

МАЙЯ

Как маленькие дети умирают…
Чистейшие, веселые глаза
им влажной ваткой сразу прикрывают.
Четыре дня — бессонница и жалость.
Четыре дня Республика сражалась
за девочку в удушье и жару,
вливала кровь свою и камфару…
Я с кладбища зеленого иду,
оглядываясь часто и упорно
на маленькую красную звезду
над грядкою сырого дерна…
Но я — живу и буду жить, работать,
еще упрямей буду я и злей,
чтобы скорей свести с природой счеты
за боль, и смерть, и горе на земле.

1933

ПАМЯТЬ

О девочка, всё связано с тобою:
морской весны первоначальный цвет,
окраина в дыму, трамваи с бою,
холодный чай, нетронутый обед…

Вся белизна, сравнимая с палатой,
вся тишина и грохот за окном.
Всё, чем перед тобою виновата, —
работа, спешка, неуютный дом.

И все слова, которые ты знала
и, как скворец, могла произносить,
и всё, что на земле зовется «жалость»,
и всё, что хочет зеленеть и жить…

И странно знать и невозможно верить,
что эту память называем смертью.

1934

ВСТРЕЧА

На углу случилась остановка,
поглядела я в окно мельком:
в желтой куртке, молодой и ловкий,
проходил товарищ военком.

Я не знаю — может быть, ошибка,
может быть, напротив, — повезло:
самой замечательной улыбкой
обменялись мы через стекло.

А потом вперед пошел автобус,
закачался город у окна…
Я не знаю — может быть, мы оба
пожалели, может — я одна.

Я простая. Не люблю таиться.
Слушайте, товарищ военком:
вот мой адрес. Может, пригодится?
Может, забежите вечерком?

Если ж снова я вас повстречаю
в Доме Красной Армии, в саду
или на проспекте — не смущайтесь, —
я к вам непременно подойду.

Очень страшно, что, случайно встретив,
только из-за странного стыда,
может быть, вернейшего на свете
друга потеряешь навсегда…

1934

КАТОРГА

…Бродяга к Байкалу подходит.
Убогую лодку берет.
Унылую песню заводит,
О родине что-то поет…

Народная песня

И в сказке, и в были, и в дрёме
стоит одичалой судьбой
острожная песня на стрёме
над русской землей и водой.
Она над любою дорогой,
и каждый не знает того —
он минет ли в жизни острога,
а может, не минет его.
Тогда за гульбу и свободу,
за славные бубны, за бунт —
три тысячи верст переходу,
железо и плети — в судьбу…
И вот закачаются — много —
не люди, не звери, не дым,
Владимирской торной дорогой
да трактом сибирским твоим.
Проходят они, запевают,
проносят щепотку земли,
где весны родные играют,
откуда их всех увели.
Но глухо бормочет земля им,
что, может, оправишься сам?
Варнак-баргузин замышляет
шалить по дремучим лесам,
свой след заметаючи куний,
да ждать небывалой поры…
…И тщетно Михайло Бакунин,
забредив, зовет в топоры…
И стонет, листы переметив
кандальною сталью пера,
высокий и злой эпилептик,
за скудной свечой до утра
опять вспоминая дороги,
и клейма, и каторжный дым…
А стены седые острога
до неба, до смерти над ним.

Он бьется о грузные пали,
он беса и Бога зовет,
пока конвульсивной печалью
его на полу не сведет.
…И я отдираю ресницы
с его воспаленных страниц.
Ты знаешь, мне каторга снится
сквозь эти прозрачные дни.
Откуда мне дума такая?..
Уйди же, души не тяни!
Но каторга снится седая
сквозь эти просторные дни…
Я ж песен ее не завою,
ни муж мой, ни сын мой, ни брат.
Я с вольной моею землею
бреду и пою наугад…
Ты скажешь — обида забыта,
и сказки, и мертвые сны,
но жирных камней Моабита
всё те же слышны кандалы.
А каторга за рубежами
грозится бывалой лихвой?..
Но верь мне, ее каторжане
уже запевают со мной.

Первая половина 1930-х годов

ПЕРЕЛЕТНАЯ

Скворешницы темное око
глядит в зацветающий сад,
и в небе высоко-высоко
на родину птицы летят.

Так много вас, быстрые птицы,
что голову только закинь —
лицо опаляя, помчится
крылатая, шумная синь.

О летный, о реющий воздух,
серебряный воздух высот!
Дневные, могучие звезды
вплелись по пути в перелет…

Скворешницы темное око
глядит в зацветающий сад,
и в небе высоко-высоко
пилоты и птицы летят.

1935

ГОРОД

1

Как уходила по утрам
и как старалась быть веселой!
Калитки пели по дворам,
и школьники спешили в школы…
Тихонько, ощупью, впотьмах,
вознобе утро проступает.
Окошки теплились в домах,
обледенев, брели трамваи.
Как будто с полюса они
брели, в молочном блеске стекол,
зеленоватые огни
сияли на дуге высокой…
Особый свет у фонарей —
тревожный, желтый и непрочный…
Шли на работу. У дверей
крестьянский говорок молочниц.
Морозит, брезжит. Всё нежней
и трепетней огни. Светает.
Но знаю, в комнате твоей
темно и дым табачный тает.
Бессонный папиросный чад
и чаепитья беспорядок,
и только часики стучат
с холодной пепельницей рядом…

2

А ночь шумит еще в ушах

с неутихающею силой,
и осторожная душа
нарочно сонной притворилась.
Она пока утолена
беседой милого свиданья,
не обращается она
ни к слову, ни к воспоминанью…

3

И утренний шумит вокзал.
Здесь рубежи просторов, странствий.
Он все такой же, как сказал, —
вне времени и вне пространства.
Он все такой же, старый друг,
свидетель всех моих скитаний,
неубывающих разлук,
неубывающих свиданий…

1935

ТРИ ПЕСНИ

1

Как я за тобой ходила,
сколько сбила каблуков,
сколько тапочек сносила,
чистых извела платков.
Те платки слезами выжгла,
те — в клочки изорвала.
Как хотела — так и вышло,
так и стало, как ждала.
Нам теперь с тобою долго
горевать, работать, жить,
точно нитка за иголкой
друг за дружкою ходить.

2

Так порою затоскую,
точно в проруби тону:
ах, наверно, не такую
надо бы тебе жену.
Только я тебя к другой
не пущу, хороший мой.
Уж придется горе мыкать,
уж придется жить со мной.

3

Вот подруга хитрая спросила:
«Отчего о муже не споешь?»
Я подруге хитрой, некрасивой
отвечала правду, а не ложь:
«Если я о нем спою,
да заветную мою,
да еще на весь Союз —
отобьют его, боюсь…»

1935

СИДЕЛКА

Ночная, горькая больница,
палаты, горе, полутьма…
В сиделках — Жизнь, и ей не спится,
и с каждым нянчится сама.
Косынкой повязалась гладко,
и рыжевата, как всегда.
А на груди, поверх халата,
знак Обороны и Труда.
И все, кому она подушки
поправит, в бред и забытье
уносят нежные веснушки
и руки жесткие ее.
И все, кому она прилежно
прохладное подаст питье,
запоминают говор нежный
и руки жесткие ее.
И каждый, костенея, труся,

о смерти зная наперед,
зовет ее к себе:
«Маруся,
Марусенька…»
И Жизнь идет.

1935

"Как много пережито в эти лета…"

Как много пережито в эти лета
любви и горя, счастья и утрат…
Свистя, обратно падал на планету
мешком обледеневшим стратостат.

А перебитое крыло косое
огромного, как слава, самолета,
а лодка, павшая на дно морское,
краса орденоносного Балтфлота?

Но даже скорбь, смущаясь, отступала
и вечность нам приоткрывалась даже,
когда невнятно смерть повествовала —
как погибали наши экипажи.

Они держали руку на приборах,
хранящих стратосферы откровенья,
и успевали выключить моторы,
чтобы земные уберечь селенья.

Так велика любовь была и память,
в смертельную минуту не померкнув,
у них о нас, — что мы как будто сами,
как и они, становимся бессмертны.

1935

ПРИЯТЕЛЯМ

Мы прощаемся, мы наготове,
мы разъедемся кто куда.
Нет, не вспомнит на добром слове

обо мне никто, никогда.

Сколько раз посмеетесь, сколько
оклевещете, не ценя,
за веселую скороговорку,
за упрямство мое меня?

Не потрафила — что ж, простите,
обращаюсь сразу ко всем.
Что ж, попробуйте разлюбите,
позабудьте меня совсем.

Я исхода не предрекаю,
я не жалуюсь, не горжусь…
Я ведь знаю, что я — такая,
одному в подруги гожусь.

Он один меня не осудит,
как любой и лучший из вас,
на мгновение не забудет,
под угрозами не предаст.

…И когда зарастут дорожки,
где ходила с вами вдвоем,
я-то вспомню вас на хорошем,
на певучем слове своем.

Я-то знаю, кто вы такие, —
бережете сердца свои…
Дорогие мои, дорогие,
ненадежные вы мои…

1935, 1936

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ДОЧЕРЯМ

1

Сама я тебя отпустила,
сама угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец…

Как дико пустует жилище,
как стынут объятья мои:
разжатые руки не сыщут
веселых ручонок твоих.

Они ль хлопотали, они ли,
теплом озарив бытие,
играли, и в ладушки били,
и сердце держали мое?

Зачем я тебя отпустила,
зачем угадала конец,
мой ласковый, рыженький, милый,
мой первый, мой лучший птенец?

1937

2

На Сиверской, на станции сосновой,
какой мы страшный месяц провели,
не вспоминая, не обмолвясь словом
о холмике из дерна и земли.
Мы обживались, будто новоселы,
всему учились заново подряд
на Сиверской, на станции веселой,
в краю пилотов, дюн и октябрят.
А по кустам играли в прятки дети,
парашютисты прыгали с небес,
фанфары ликовали на рассвете,
грибным дождем затягивало лес,
и кто-то маленький, не уставая,
кричал в соседнем молодом саду
баском, в ладошки: «Майя, Майя!
Майя!..»
И отзывалась девочка: «Иду…»

1935

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Нет, я не знаю, как придется
тебя на битву провожать,
как вдруг дыханье оборвется,
как за конем твоим бежать…
И где придется нам проститься,
где мы расстанемся с тобой:
на перепутье в поле чистом
иль у заставы городской?
Сигнал ли огненный взовьется,
иль просто скажет командир:
«Пора, пускай жена вернется.
Пора, простись и уходи…»
Но в ту минуту сердце станет
простым и чистым, как стекло.
И в очи Родина заглянет
спокойно, строго и светло.
И в ней, готовой к муке боя,
как никогда, почуем вновь
нас окрылявшую обоих
единую свою любовь.
И снова станет сердце чистым,
разлука страшная легка…
И разгласит труба горниста
победу твоего полка.

1936

"Ты у жизни мною добыт…"

Ты у жизни мною д***о***быт,
словно искра из кремня,
чтобы не расстаться,
чтобы ты всегда любил меня.
Ты прости, что я такая,
что который год подряд
то влюбляюсь, то скитаюсь,
только люди говорят…

Друг мой верный, в час тревоги,
в час раздумья о судьбе
все пути мои, дороги
приведут меня к тебе,
все пути мои, дороги

на твоем сошлись пороге…

Я ж сильней всего скучаю,
коль в глазах твоих порой
ласковой не замечаю
искры темно-золотой,
дорогой усмешки той —
искры темно-золотой.

Не ее ли я искала,
в очи каждому взглянув,
не ее ли высекала
в ту холодную весну?..

1936

"Я уеду, я уеду по открытию воды!.."

Я уеду, я уеду
по открытию воды!..
Не ищи меня по следу —
смоет беглые следы.

А за мною для начала
все мосты поразведут
и на пристанях-вокзалах
даже справок не дадут.

…Вспоминай мой легкий голос,
голос песенки простой,
мой послушный мягкий волос
масти светло-золотой…

Но не спрашивай прохожих
о приметах — не поймут:
новой стану, непохожей,
не известной никому.
И когда вернусь иная,
возмужалой и простой,
поклонюсь — и не узнаешь,
кто здоровался с тобой.
Но внезапно затоскуешь,
спросишь, руку не отняв:

«Ты не знаешь ли такую,
разлюбившую меня?»
«Да, — отвечу, — я встречала
эту женщину в пути.
Как она тогда скучала —
места не могла найти…
Не давала мне покою,
что-то путала, плела…
Чуждой власти над собою
Эта женщина ждала.
Я давно рассталась с нею,
я жила совсем одна,
я судить ее не смею
и не знаю, где она».

1936

"Не утаю от Тебя печали…"

Не утаю от Тебя печали,
так же как радости не утаю.
Сердце свое раскрываю вначале,
как достоверную повесть Твою.

Не в монументах и не в обелисках,
не в застекленно-бетонных дворцах —
Ты возникаешь невидимо, близко,
в древних и жадных наших сердцах.

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

И я не таю от Тебя печали
и самого тайного не таю:
сердце свое раскрываю вначале,
как исповедную повесть Твою…

1937

ПАМЯТЬ

1

Не выплакалась я, не накричалась,
о камни я не билась головой:
о девочка, я думала сначала,
что ты вернешься прежней и живой…

Нет, не безумием и не рассудком,
я верила страшнее и теплей —
всем, что во мне заложено, — с минуты
возникновенья жизни на земле…

И как взгляну теперь я на весенний
веселый сад детей и матерей?
Чем станет мир моложе и нетленней,
тем скорбь завистливее и старей.

Как примирю теперь я мой нескладный,
и утлый мой, и вдохновенный быт
с твоею ручкой, легкой и прохладной,
что, как снежок, в руке моей лежит?

Неудержимая, не согреваясь, тает…
Ни сердцем, ни дыханьем, ни слезой
мне не согреть ее, мне не заставить,
чтоб шевельнулась прежней и живой…

И мне теперь без слез, без утоленья
тот холодок руки твоей хранить…
Но — только б ничего не позабыть,
но только бы не пожелать забвенья!

2

О душа моя, проси забвенья:
ты сама не справишься с тоской.
Умоляй с надеждой и терпеньем
вешний ветер, теплый и сырой,
умоляй мерцающую землю,
клейкие, в сережках, тополя
и траву, которой еле-еле
городская убрана земля.

Умоляй без гордости, без воли
всю прекрасную земную твердь —
пусть она забыть тебе позволит
существа возлюбленного смерть.
И чего б ни стоило смиренье,
как ни отомстило бы потом —
о душа моя, проси забвенья
так, как я прошу тебя о том.

1937

<СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКА>

Так цепко обнимала,
так ловила,
так подождать молила я тебя,
а ты всё уходила,
уходила,
другую оставляла за себя.
Не ту, с улыбкой доброй и веселой, —
другую, с гордой скорбью
на устах.
Нет, этой тихой, мудрой и
тяжелой
не знала я…
А где ж моя, где та?
И вдруг по крови собственной,
по стону,
по боли, но не прежней, не такой,
я поняла, что ты вернулась в лоно,
в меня вернулась —
смертною тоской.
О, как она томит и раздирает,
как одевает в траур бытие,
да будет вечной жизнь
твоя вторая,
дитя несбереженное мое…

<1936, 1954>

"Нет, не наступит примиренья…"

Нет, не наступит примиренья
с твоею гибелью, поверь.
Рубеж безумья и прозренья
так часто чувствую теперь.
Мне всё знакомей, всё привычней
у края жизни быть одной,
где, точно столбик пограничный,
дощечка с траурной звездой.
Шуршанье листьев прошлогодних…
Смотрю и знаю: подхожу
к невидимому рубежу.
Страшнее сердцу — и свободней.
Еще мгновенье — и понятной
не только станет смерть твоя,
но вся бесцельность, невозвратность,
неудержимость бытия.
…И вдруг разгневанная сила
отбрасывает с рубежа,
и только на могиле милой
цветы засохшие дрожат…

1937, март 1938

ЛИСТОПАД

Осенью в Москве на бульварах вывешивают дощечки с надписью: «Осторожно, листопад!»

В. Л.

Осень, осень! Над Москвою
журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
загораются сады,
и дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
«Осторожно, листопад!»

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.

Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
«Осторожно, листопад!»?

Ничего не нужно было —
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь…
Нет, всего страшнее нежность
На прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень,
весь — сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
за прощание, как дождь.
…Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не всё тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
«Осторожно, листопад!..»

1938

"Знаю, знаю — в доме каменном…"

Знаю, знаю — в доме каменном
Судят, рядят, говорят
О душе моей о пламенной,
Заточить ее хотят.
За страдание за правое,
За неписаных друзей
Мне окно присудят ржавое,
Часового у дверей…

1938

ИСПЫТАНИЕ

1

…И снова хватит сил
увидеть и узнать,
как всё, что ты любил,
начнет тебя терзать.
И оборотнем вдруг
предстанет пред тобой
и оклевещет друг,
и оттолкнет другой.
И станут искушать,
прикажут: «Отрекись!» —
и скорчится душа
от страха и тоски.
И снова хватит сил
одно твердить в ответ:
«Ото всего, чем жил,
не отрекаюсь, нет!»
И снова хватит сил,
запомнив эти дни,
всему, что ты любил,
кричать: «Вернись! Верни…»

Январь 1939

Камера 33

2

Дни проводила в диком молчании,
Зубы сцепив, охватив колени.
Сердце мое сторожило отчаянье,
Разум — безумия цепкие тени.
Друг мой, ты спросишь —
как же я выжила,
Как не лишилась ума, души?

Голос твой милый все время слышала,
Его ничто
не могло
заглушить.

Ни стоны друзей озверевшей ночью,
Ни скрип дверей и ни лязг замка,
Ни тишина моей одиночки,
Ни грохот квадратного грузовика.

Все отошло, ничего не осталося,
Молодость, счастие — все равно.
Голос твой, полный любви и жалости,
Голос отчизны моей больной…

Он не шептал утешений без устали,
Слов мне возвышенных не говорил —
Только одно мое имя русское,
Имя простое мое твердил…

И знала я, что еще жива я,
Что много жизни
еще
впереди,
Пока твой голос, моля, взывая,
Имя мое — на воле! — твердит…

Январь 1939

К<амера> 33

3

Как странно знать, что в городе одном
Почти что рядом мы с тобой живем…
Я знаю, как домой дойти: пятнадцать
Минут ходьбы, пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать.
Ты ждешь меня, возлюбленный! Я знаю,
Ты ждешь меня, тоскуя и любя…
Нет, я не виновата, что страдаю,
Что заставляю мучиться тебя!

О, только бы домой дойти! Сумею
Рубцы и язвы от тебя укрыть,
И даже сердце снова отогрею,
И даже верить буду и любить.
О, только бы домой дойти! Пятнадцать
Минут ходьбы. Пять улиц миновать.
По лестнице на самый верх подняться
И в дверь условным стуком постучать…

Январь 1939

Кам<ера> 33

4

Из края тьмы, бессмысленной и дикой,
В забытое земное бытие
Я душу увожу, как Эвридику,
Нельзя мне оглянуться на нее.
Шуршат изодранные покрывала,
Скользят босые слабые ступни…
Нет, — не глядеть, не знать, какой ты стала
За эти смертью отнятые дни,
Нет, — если я условие нарушу
И обернусь к запретной стороне, —
Тогда навек я потеряю душу
И даже песни не помогут мне…

<1939> Май

Одиночка 9

5

Где жду я тебя, желанный сын?! —
В тюрьме, в тюрьме!
Ты точно далекий огонь, мой сын,
В пути, во тьме.
Вдали человеческое жилье,
Очаг тепла.
И мать пеленает дитя свое,

Лицом светла.
Не я ли это, желанный сын,
С тобой, с тобой?
Когда мы вернемся, желанный сын,
К себе домой?
Кругом пустынно, кругом темно,
И страх, и ложь,
И голубь пророчит за темным окном,
Что ты — умрешь…

Март 1939

Одиночка 17

6

Сестре

Мне старое снилось жилище,
где раннее детство прошло,
где сердце, как прежде, отыщет
приют, и любовь, и тепло.

Мне снилось, что Святки, что елка,
что громко смеется сестра,
что искрятся нежно и колко
румяные окна с утра.

А вечером дарят подарки,
и сказками пахнет хвоя,
и звезд золотые огарки
над самою крышей стоят.

…Я знаю — убогим и ветхим
становится старый наш дом;
нагие унылые ветки
стучат за померкшим окном.

А в комнате с мебелью старой,
в обиде и тесноте,
живет одинокий, усталый,
покинутый нами отец…

Зачем же, зачем же мне снится
страна отгоревшей любви?
Мария, подруга, сестрица,
окликни меня, позови…

Март 1939

7. Воспоминание

Ночника зеленоватый свет,
Бабочка и жук на абажуре.
Вот и легче… Отступает бред.
Это мама около дежурит.

Вот уже не страшно, снится лес,
пряничная, пестрая избушка…
Хорошо, что с горла снят компресс
и прохладной сделалась подушка.

Я сама не знаю — почему
мне из детства,
мне издалека
льется в эту каменную мглу
только свет зеленый ночника.

Тихий, кроткий, милый, милый
Свет, ты не оставляй меня одну.
Ты свети в удушье, в горе, в бред —
может быть, поплачу и — усну…

И в ребячьем свете ночника
мне приснится всё, что я люблю,
и родная мамина рука
снимет с горла белую петлю.

Апрель 1939

Одиночка 17

8. Малолетки на прогулке

Догоняя друг друга,
В желто-серых отрепьях,
Ходят дети по кругу
Мимо голых деревьев.

Точно малые звери,
Лисенята в темнице…
О, туман желто-серый
На ребяческих лицах!

Двух детей схоронила
Я на воле сама,
Третью дочь погубила
До рожденья — тюрьма…

Люди милые, хватит!
Матерей не казнят!
Вы хоть к этим ребятам
Подпустите меня.

Апрель 1939

Арсеналка. Больница

9. Желание

Кораблик сделала бы я
из сердца своего.
По темным ладожским волнам
пустила бы его.
Волна вечерняя, шуми,
неси кораблик вдаль.
Ему не страшно в темноте,
ему себя не жаль.
И маленький бы самолет
из сердца сделать мне,
и бросить вверх его,
чтоб он кружился в вышине.
Лети, свободный самолет,
блести своим крылом,
тебе не страшно в вышине,
в сиянии родном…
А я в тюрьме останусь жить,

не помня ничего,
и будет мне легко-легко
без сердца моего.

Май 1939

Одиночка 29

10

Костер пылает. До рассвета
угрюмый ельник озарен.
Туман и полночь, рядом где-то
томится песня-полусон…
Как мы зашли сюда? Не знаю.
Мы вместе будем до утра.
Июнь, туман, костер пылает,
звенит и плачет мошкара.
Я говорю:
«Теперь, как жажда,
во мне желание одно:
таким костром сгореть однажды
в лесу, где сыро и темно.
Я жалобою не нарушу
судьбу горящую свою:
пусть у костра погреют души
и песнь отрадную споют…»

Июнь 1939

11. Просьба

Нет, ни слез, ни сожалений —
ничего не надо ждать.
Только б спать без сновидений —
долго, долго, долго спать.
А уж коль не дремлет мука,
бередит и гонит кровь —
пусть не снится мне разлука,
наша горькая любовь.
Сон про встречу, про отраду

пусть минует стороной.
Даже ты не снись, не надо,
мой единственный, родной…
Пусть с березками болотце
мне приснится иногда.
В срубе темного колодца
одинокая звезда…

Июнь 1939

12. Маргарите Коршуновой

Когда испытание злое
сомкнулось на жизни кольцом,
мне встретилась женщина-воин
с упрямым и скорбным лицом.

Не слава ее овевала,
но гнев, клевета и печаль.
И снят был ремень, и отняли
ее боевую медаль.

Была в ней такая суровость,
и нежность, и простота,
что сердце согрела мне снова
бессмертная наша мечта.

Никто никогда не узнает,
о чем говорили мы с ней.
Но видеть хочу, умирая,
ее у постели моей.

Пусть в очи померкшие глянет,
сурова, нежна и проста.
Пусть Ангелом Смерти предстанет
бессмертная наша Мечта.

Июнь 1939

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Перешагнув порог высокий,
остановилась у ворот.
Июльский вечер светлоокий
спускался медленно с высот.
И невский ветер, милый, зримый,
летел с мостов гремя, смеясь…
…Но столько раз мне это снилось,
что не обрадовалась я.
Я не упала тут же рядом
в слезах отважных и живых, —
лишь обвела усталым взглядом
унылый камень мостовых.
О, грозный вечер возвращенья,
когда, спаленная дотла,
душа моя не приняла
ни мира, ни освобожденья…

1939

2

Мне надо было, покидая
угрюмый дом, упасть в слезах
и на камнях лежать, рыдая,
у всех прохожих на глазах.
Пускай столпились бы, молчали,
пускай бы плакали со мной.
Со мной исполнены печали
неутолимой и одной…
Пускай, с камней не поднимая,
но только плечи охватив,
сказали б мне:
«Поплачь, родная.
Когда наплачешься — прости».
Но злая гордость помешала.
И, стиснув губы добела,
стыдясь, презрев людскую жалость,
я усмехнулась и ушла.
И мне друзья потом твердили
о неком мужестве моем

и как победою — гордились
удушливо бесслезным днем.
Им не понять, что черной платой
за это мужество плач***у***:
мне петь бы вам — и плакать,
плакать…
Но слезы отняты. Молчу.

1939

3. Встреча

Пахнет соснами, гарью, тленьем.
Рядом бьется родник — лови!
Это запах освобожденья,
облик вечной нашей любви.

Не считаем ни дней, ни сроков.
Не гадаем, что впереди…
Трезвый, яростный и жестокий
полдень жизни — не отходи!

Июль 1939

4. Колыбельная

Расстилает тьму
ночь метельная.
Дай спою тебе, муж,
колыбельную.
Ты приляг — теплей
на плече моем…
Много-много дней
проживем вдвоем.
Нам враги вокруг
удивляются,
нами каждый друг
похваляется…
Нам в последний бой
уходить с тобой,
если смерть придет —

умирать с тобой.
Если ж ранят вдруг,
искалечат вдруг —
ты не бойся, друг,
не смущайся, друг:
буду нянькою,
буду мамкою…

Ты приляг — теплей
на плече моем.
Много-много дней
будем жить вдвоем…

Осень 1939

5. На воле

Неужели вправду это было:
На окне решетки, на дверях?..
Я забыла б — сердце не забыло
Это унижение и страх.
До сих пор неровно и нечетко,
Все изодрано, обожжено,
Точно о железную решетку —
Так о жизнь колотится оно…
В этом стуке горестном и темном
Различаю слово я одно:
«Помни», — говорит оно мне… Помню!
Рада бы забыть — не суждено…

Октябрь 1939

6. О песне

…Посадила розу край вікна…

Плакала и пела неустанно,
долго плакала и пела я —
нашу песенку о дальних странах
заучила камера моя…
О далеких, о прекрасных странах!

Молодость, румянец и весна,
и у самых-самых ног играет
невская прозрачная волна…
Вот как там,
вот как мы там ходили,
руки онемевшие сомкнув,
как бесстрашным сердцем полюбили
нашу заболевшую страну.
Разве знала я, что это будет,
что простую песенку мою
запоют измученные люди,
с горестной отрадой запоют…
Только что же? Если эти стены
заучили милые слова,
значит, нет ни горя,
ни измены,
значит,
наша Родина —
жива!

1939, февраль

Кам<ера> 33

7

…и я не могу иначе…

Лютер

Нет, не из книжек наших скудных,
подобья нищенской сумы,
узнаете о том, как трудно,
как невозможно жили мы.
Как мы любили — горько, грубо.
Как обманулись мы, любя,
как на допросах, стиснув зубы,
мы отрекались от себя.
И в духоте бессонных камер,
все дни и ночи напролет,
без слез, разбитыми губами
шептали: «родина… народ…»
И находили оправданья

жестокой матери своей,
на бесполезное страданье
пославшей лучших сыновей.
…О, дни позора и печали!
О, неужели даже мы
тоски людской не исчерпали
в беззвездных топях Колымы?
А те, что вырвались случайно, —
осуждены еще страшней
на малодушное молчанье,
на недоверие друзей.
И молча, только втайне плача,
зачем-то жили мы опять —
затем, что не могли иначе
ни жить, ни плакать, ни дышать.
И ежедневно, ежечасно,
трудясь, страшилися тюрьмы,
и не было людей бесстрашней
и горделивее, чем мы.
За облик призрачный, любимый,
за обманувшую навек
пески монгольские прошли мы
и падали на финский снег.
Но наши цепи и вериги
она воспеть нам не дала.
И равнодушны наши книги,
и трижды лжива их хвала.
Но если, скрюченный от боли,
вы этот стих найдете вдруг,
как от костра в пустынном поле
обугленный и мертвый круг;
но если жгучего преданья
дойдет до вас холодный дым —
ну что ж, почтите нас молчаньем,
как мы, встречая вас, молчим…

Осень 1940

8

Я так боюсь, что всех, кого люблю,
утрачу вновь…

Я так теперь лелею и коплю
людей любовь.

И если кто смеется — не боюсь:
настанут дни,
когда тревогу вещую мою
поймут они.

Июль 1939

"На асфальт расплавленный похожа…"

На асфальт расплавленный похожа
память ненасытная моя:
я запоминаю всех прохожих,
каждое движенье бытия…
След колес, железных и зубчатых, —
ржавый след обиды и тоски.
Рядом птичий милый отпечаток —
дочери погибшей башмачки.
Здесь друзья чредою проходили.
Всех запоминала — для чего?
Ведь они меня давно забыли,
больше не увижу никого.
Вот один прошел совсем по краю.
Укоризны след его темней.
Где-то он теперь живет? Не знаю.
Может, только в памяти моей.
В наказание такую память
мне судьба-насмешница дала,
чтоб томило долгими годами
то, что сердцем выжжено дотла.
Лучше б мне беспамятство, чем память,
как асфальт расплавленный, как путь, —
вечный путь под самыми стопами:
не сойти с него, не повернуть…

Октябрь 1939

РОДИНЕ

1

Все, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье —
все вынесу и через всё пройду.
Но не лишай доверья и участья.
Как будто вновь забьют тогда окно
щитом железным, сумрачным
и ржавым…
Вдруг в этом отчуждении неправом
наступит смерть — вдруг станет
все равно.

Октябрь 1939

2

Не искушай доверья моего.
Я сквозь темницу пронесла его.

Сквозь жалкое предательство друзей.
Сквозь смерть моих возлюбленных детей.

Ни помыслом, ни делом не солгу.
Не искушай — я больше не могу…

1939

3

Изранила и душу опалила,
лишила сна, почти свела с ума…
Не отнимай хоть песенную силу,
не отнимай — раскаешься сама!
Не отнимай, чтоб горестный и славный
твой путь воспеть.
Чтоб хоть в немой строке
мне говорить с тобой, как равной
с равной, —
на вольном и жестоком языке!

Осень 1939

4

Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила — знала:
Ты — дикая. Ты — не со зла.

Служу и верю неизменно,
Угрюмей стала и сильней.
…Не знай, как велика надменность
Любви недрогнувшей моей.

<1940>

5

Раскаиваться? Поздно. Да и в чем?
В том, что не научилась лицемерить?
Что, прежде чем любить, и брать, и верить,
не спрашивала, как торгаш, — «почем?»

Ты так сама учила… Как могла
помыслить, что придешь заимодавцем,
что за отказ — продать и распродаться —
отнимешь все и разоришь дотла.

Что ж, продавай по рыночной цене
все то, что было для души бесценно.
Я все равно богаче и сильней и чище —
в нищете своей надменной.

Конец 40-х

6

Я все еще верю, что к жизни вернусь, —
однажды на раннем рассвете проснусь.
На раннем, на легком, в прозрачной росе,
где каплями ветки унизаны все,

и в чаше росянки стоит озерк***о***,
и в нем отражается бег облаков,
и я, наклоняясь лицом молодым,
смотрю, как на чудо, на каплю воды,
и слезы восторга бегут, и легко,
и виден весь мир далеко-далеко…

Я все еще верю, что раннее утро,
знобя и сверкая, вернется опять
ко мне — обнищавшей,
безрадостно-мудрой,
не смеющей радоваться и рыдать…

1949

7. Обращение к песне

Очнись, как хочешь, но очнись во мне —
в холодной, онемевшей глубине.

Я не мечтаю — вымолить слова.
Но дай мне знак, что ты еще жива.

Я не прошу надолго — хоть на миг.
Хотя б не стих, а только вздох и крик.

Хотя бы шепот только или стон.
Хотя б цепей твоих негромкий звон.

1951

"Поздней ночью, февральской, унылой…"

Галине

Поздней ночью, февральской, унылой,
стала в двери подруга стучать:
«Ольга, сына я схоронила!
Не вздохнуть мне, не закричать.
Расскажи, ничего не скрывая, —
ты детей потеряла сама, —
скоро ль слезы придут, облегчая,

посветлеет ли смертная тьма?»
Я с подругой всю ночь говорила,
я утешила сердце ее…
…Вот и горе мое пригодилось,
безутешное горе мое…

1939

ПЕСНЯ

Знаю, чем меня пленила
жизнь моя, красавица, —
одарила страшной силой,
что самой не справиться.

Не скупилась на нее
ни в любви, ни в бедах я —
сердце щедрое мое
осуждали, бедные.

Где ж им счастье разгадать
ни за что, без жалости
всё, что было, вдруг отдать
до последней малости.

Я себя не берегла,
я друзей не мучила…
Разлетелись сокола…
Что же, может, к лучшему?

Елка, елка, елочка,
вершинка — что иголочка,
после милого осталась
только поговорочка.

Знаю, знаю, чем пленила
жизнь моя, красавица, —
силой, силой, страшной силой.
Ей самой не справиться.

1936,1940

ИРЭНЕ ГУРСКОЙ

Им снится лес — я знаю, знаю!
Мне тоже снилась год подряд
дорога дальняя лесная,
лесной узорчатый закат.

Мне снилось — я иду на **воле**,
в живой и мудрой тишине.
Ольха колдует, никнут ели,
струится солнце по сосне…

А всех милей — листва березы.
И вот — не властны над душой
ни гнев, ни счастие, ни слезы,
но только **воля и покой**.

Им снится лес — зеленый, мудрый,
березовый и молодой,
родник безродный, мостик узкий,
замшелый камень над водой…

Им снится лес — я знаю, знаю!
Вот почему, считая дни,
я так же по ночам стенаю
и так же плачу, как они.

Весна 1940

"Виденье паруса возникло в море…"

Виденье паруса возникло в море
Как знак судьбы скитальческой моей.
Не бойся, спутник, мы простимся вскоре,
И мне не надо верности твоей.
Но ты запомни паруса виденье,
Залив неповторимо голубой
И быстрой ласточки прикосновенье,
Перекрестившей воздух над тобой.

1940

БОРИСУ КОРНИЛОВУ

…И всё не так, и ты теперь иная,
поёшь другое, плачешь о другом…

Б. Корнилов

1

О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь…
Я так постарела, что ты не узнаешь.
А может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою о чем.

1939

2

Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи…»

…Но годы шли всё горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый
и пропащий, —
пою другое,
плачу о другом…

А юные девчонки и мальчишки,

они — о том же: сумерки, Нева…
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.

1940

"Что я делаю?! Отпускаю…"

Что я делаю?! Отпускаю
завоеванного, одного,
от самой себя отрекаюсь,
от дыхания своего…

Не тебя ль своею судьбою
называла сама, любя?
Настигала быстрой ходьбою,
песней вымолила тебя?

Краем света, каменной кромкой
поднебесных горных хребтов,
пограничных ночей потемками
нас завязывала любовь…

Так работали, так скитались
неразлучные — ты да я,
что завистники любовались
и завидовали друзья…

1940

"Синеглазый мальчик, синеглазый…"

Синеглазый мальчик, синеглазый,
ни о чем не спрашивай пока.
У меня угрюмые рассказы,
песенка — чернее уголька.

А душа — как свечка восковая:
пламенея, тает — не помочь.
Ведь ее, ничем не прикрывая,
я несу сквозь ледяную ночь.

Свищет ветер, хлопьями разлуки
мой бездомный путь оледенив.
Мечется и обжигает руки
маленький огонь свечи-души.

Сколько лет друзья корят за это,
свой убогий светик обложив
малыми кульками из газеты,
матовыми стеклышками лжи.

Синеглазый, ты меня не слушай,
ты один совет запомни мой:
ты неси сквозь мрак и ветер душу,
не прикрыв ни песней, ни рукой.

1940

"Это всё неправда. Ты любим…"

Это всё неправда. Ты любим.
Ты навек останешься моим.
Ничего тебе я не прощу.
Милых рук твоих не отпущу.
А тебе меня не оттолкнуть,
даже негодуя и скорбя.
Как я вижу твой тернистый путь,
скрытый, неизвестный для тебя.
Только мне под силу, чтоб идти —
мне — с тобой по твоему пути…

1940

"Не сына, не младшего брата…"

Не сына, не младшего брата —
тебя бы окликнуть, любя:
«Волчонок, волчонок, куда ты?
Я очень боюсь за тебя!»
Сама приручать не хотела
и правды сказать не могла.
На юность, на счастье, на смелость,
на гордость тебя обрекла.

Мы так же росли и мужали.
Пусть ноет недавний рубец —
прекрасно, что ранняя жалость
не трогала наших сердец.
И вот зазвенела в тумане,
в холодном тумане струна.
Тебя искушает и манит
на встречу с бессмертьем война.

Прости, я кругом виновата —
горит и рыдает в груди;
«Волчонок, волчонок, куда ты?»
Но я не окликну. Иди.

1940

"Еще редактор книжки не листает..."

…Еще редактор книжки не листает
с унылой и значительною миной,
и расторопный критик не ругает
в статье благонамеренной и длинной,
и я уже не потому печальна:
нет, всё, что днями трудными сияло,
нет, всё, что горько плакало ночами, —
не выплакала я, не рассказала.

Я — не они — одна об этом знаю!
О тайны сердца, зреющего в бури!
Они ревнуют, и они ж взывают
к стихам…
И ждут, чело нахмурив…

1940

"Подбирают фомки и отмычки..."

Подбирают фомки и отмычки,
Чтоб живую душу отмыкать.
Страшно мне и больно с непривычки,
Не простить обиды, не понять.

Разве же я прятала, таила
Что-нибудь от мира и людей?
С тайным горем к людям выходила,
С самой тайной радостью своей.

Но правдивым — больше всех не верят.
Вот и я теперь уже не та.
Что ж, взломайте…
За последней дверью
Горстка пепла, дым и пустота.

1940

АЛЕНУШКА

1

Когда весна зеленая
затеплится опять —
пойду, пойду Аленушкой
над омутом рыдать.
Кругом березы кроткие
склоняются, горя.
Узорною решеткою
подернута заря.

А в омуте прозрачная
вода весной стоит.
А в омуте-то братец мой
на самом дне лежит.

На грудь положен камушек —
граненый, не простой…
Иванушка, Иванушка,
что сделали с тобой?!

Иванушка, возлюбленный,
светлей и краше дня, —
потопленный, погубленный,
ты слышишь ли меня?

Оболганный, обманутый,

ни в чем не виноват —
Иванушка, Иванушка,
воротишься ль назад?

Молчат березы кроткие,
над омутом горя.
И тоненькой решеткою
подернута заря…

2

Голосом звериным, исступленная,
я кричу над омутом с утра:
«Совесть светлая моя, Аленушка!
Отзовись мне, старшая сестра.

На дворе костры разложат вечером,
смертные отточат лезвия.
Возврати мне облик человеческий,
светлая Аленушка моя.

Я боюсь не гибели, не пламени —
оборотнем страшно умирать.
О, прости, прости за ослушание!
Помоги заклятье снять, сестра.

О, прости меня за то, что, жаждая,
ночью из звериного следа
напилась водой ночной однажды я…
Страшной оказалась та вода…»

Мне сестра ответила: «Родимая!
Не поправить нам людское зло.
Камень, камень, камень на груди моей.
Черной тиной очи занесло…»

…Но опять кричу я, исступленная,
страх звериный в сердце не тая…
Вдруг спасет меня моя Аленушка,
совесть отчужденная моя?

1940

"Откуда такое молчание?.."

Откуда такое молчание?
О новый задуманный мир!
Ты наш, ты желанен, ты чаян,
Ты Сердца и Разума пир.

Откуда ж молчанье на пире?
И чаши с вином не стучат,
И струны безмолвны на лире,
И гости, потупясь, молчат.

Финляндия

1940

"О друг, я не думала, что тишина…"

О друг, я не думала, что тишина
Страшнее всего, что оставит война.

Так тихо, так тихо, что мысль о войне
Как вопль, как рыдание в тишине.

Здесь люди, рыча, извиваясь, ползли,
Здесь пенилась кровь на вершок от земли…
Здесь тихо, так тихо, что мнится — вовек
Сюда не придет ни один человек,
Ни пахарь, ни плотник и ни садовод —
никто никогда, никогда не придет.

Так тихо, так немо — не смерть и не жизнь.
О, это суровее всех укоризн.
Не смерть и не жизнь — немота, немота —
Отчаяние, стиснувшее уста.

Безмирно живущему мертвые мстят:
Все знают, все помнят, а сами молчат.

Финляндия

1940

"Не может быть, чтоб жили мы напрасно!.."

…Врубелевский Демон год от года тускнеет, погасает, так как он написан бронзовыми красками, которые трудно удержать…

Сообщение в печати

Не может быть, чтоб жили мы напрасно!
Вот, обернувшись к юности, кричу:
«Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна!
Ты, горнему подобная лучу!»
……
Так — далеко, в картинной галерее —
тускнеет Демон, сброшенный с высот.
И лишь зари обломок, не тускнея,
в его венце отверженном цветет.
И чем темнее бронзовые перья,
тем ярче свет невидимой зари,
как знак Мечты, Возмездья и Доверья,
над взором несмирившимся горит…

1940

ДОРОГА В ГОРЫ

1

Мы шли на перевал. С рассвета
менялись года времена:
в долинах утром было лето,
в горах — прозрачная весна.

Альпийской нежностью дышали
зеленоватые луга,
а в полдень мы на перевале
настигли зимние снега,

а вечером, когда спуститься
пришлось к рионским берегам, —

как шамаханская царица,
навстречу осень вышла к нам.

Предел и время разрушая,
порядок спутав без труда, —
о, если б жизнь моя — такая,
как этот день, была всегда!

1939

2

На Мамисонском перевале
остановились мы на час.
Снега бессмертные сияли,
короной окружая нас.
Не наш, высокий, запредельный
простор, казалось, говорил:
«А я живу без вас, отдельно,
тысячелетьями, как жил».
И диким этим безучастьем
была душа поражена.
И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.
Такая тишина, такое
сошло спокойствие ее,
что думал — ничего не стоит
перешагнуть в небытие.
Что было вечно? Что мгновенно?
Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно.
Когда такая тишина,
когда собой душа полна,
когда она бесстрашно верит
в один-единственный ответ —
что время бытию не мера, ч
то смерти не было и нет.

1940

"Не знаю, не знаю, живу — и не знаю..."

Не знаю, не знаю, живу — и не знаю,
когда же успею, когда запою
в средине лазурную, черную с края,
заветную, лучшую песню мою.

Такую желанную всеми, такую
еще неизвестную спела бы я,
чтоб люди на землю упали, тоскуя,
а встали с земли — хорошея, смеясь.

О чем она будет? Не знаю, не знаю,
а знает об этом июньский прибой,
да чаек бездомных отважная стая,
да сердце, которое только с тобой.

Март 1941

"И все неодолимее усталость..."

И все неодолимее усталость,
И все ясней, что невозможно жить,
Но я живу: еще одно осталось —
В бою другого грудью заслонить.

Май 1941

"Мы предчувствовали полыханье..."

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!

Но была б мертва, осуждена —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — **я не могу иначе**,
я и Ты — по-прежнему — одно.

Июнь 1941

НАЧАЛО ПОЭМЫ

…Всю ночь не разнимали руки,
всю ночь не спали мы с тобой:
я после долгой, злой разлуки
опять пришла к тебе — домой.

Мы говорили долго, жадно,
мы не стыдились слез отрадных —
мы так крепились в дни ненастья…
Теперь душа светла, мудра,
и зрелое людское счастье,
как солнце, встретит нас с утра.
Теперь навек — ты веришь, веришь? —
любовь одна и жизнь одна…
…И вдруг стучит соседка в двери,
вошла и говорит:
«Война!»

Война уже с рассвета длится.
Войне уже девятый час.
Уж враг за новою границей.
Уж сотни первых вдов у нас.
Войне идет девятый час.
И в вечность канул день вчерашний.
Ты говоришь:

«Ну как? Не страшно?»

«Нет… Ты идешь в военкомат?»
Еще ты муж, но больше — брат…
Ступай, родной…
И ты — солдат,
ты соотечественник мне,
и в этом — всё.
Мы на войне.

1941 или 1942

"Я говорю с тобой под свист снарядов…"

Август 1941 года. Немцы неистово рвутся к Ленинграду. Ленинградцы строят баррикады на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным боям.

…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…

Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза…
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады —
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:

Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

22 августа 1941

ИЗ БЛОКНОТА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

1

…Видим — опять надвигается ночь,
и этому не помочь:
ничем нельзя отвратить темноту,
прикрыть небесную высоту…

2

Я не дома, не города житель,
не живой и не мертвый — ничей:
я живу между двух перекрытий,
в груде сложенных кирпичей…

3

О, это явь — не чудится, не снится:
сирены вопль, и тихо — и тогда
одно мгновенье слышно — птицы,
птицы поют и свищут в городских садах.

Да, в тишине предбоевой, в печали
так торжествуют хоры вешних птиц,
как будто б рады, что перекричали

огромный город, падающий ниц…

4

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят…
……
…Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была…

5

Да, я солгу, да, я тебе скажу:
«Не знаю, что случилося со мной,
но так легко я по земле хожу,
как не ходила долго и давно.
И так мила мне вся земная твердь,
так песнь моя чиста и высока…
Не потому ль, что в город входит смерть,
а новая любовь недалека?..»

6

…Сидят на корточках и дремлют
под арками домов чужих.
Разрывам бомб почти не внемлют,
не слышат, как земля дрожит.
Ни дум, ни жалоб, ни желаний…
Одно стремление — уснуть,
к чужому городскому камню
щекой горящею прильнуть…

Сентябрь 1941

"И под огнем на черной шаткой крыше..."

И под огнем на черной шаткой крыше
ты крикнул мне,
не отводя лица:
«А если кто-нибудь из нас…
Ты слышишь?
Другой трагедию досмотрит до конца».
Мы слишком рано вышли —
в первом акте,
но помнил ты, что оставлял.
И я не выйду до конца спектакля —
его актер, и зритель, и судья.
Но, Господи, дай раньше умереть,
чем мне сказать
«Не стоило смотреть».

Октябрь (?) 1941

РАЗГОВОР С СОСЕДКОЙ

Пятое декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять — двенадцать часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.

Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа —
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке…

Для того чтоб жить в кольце блокады,

ежедневно смертный слышать свист —
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви…

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»
Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

Дарья Власьевна, еще немного,
день придет — над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной…
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
Медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе — да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
Нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть — Россия.
Стой же и мужайся, как она!

5 декабря 1941

ВТОРОЕ ПИСЬМО НА КАМУ

…Вот я снова пишу на далекую Каму.
Ставлю дату: двадцатое декабря.
Как я счастлива, что горячо и упрямо
штемпеля Ленинграда на конверте горят.
Штемпеля Ленинграда! Это надо понять.
Все защитники города понимают меня.

Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад,
в полугодье войны, изумляясь себе:
мы ведь смерти самой поглядели в глаза.
Мы готовились к самой последней борьбе.

Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре…
Златосумрачный, царственный листопад,
скрежет первых бомбежек, рыданье сирен,
темно-ржавые контуры баррикад.

Только все, что тогда я на Каму писала,
все, о чем я так скупо теперь говорю, —
ленинградец, ты знаешь, — было только началом,
было только вступленьем к твоему декабрю.

Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре,
как угрюмо твое ледяное жилье,
как врагами изранено тело твое…

Мама, Родина светлая, из-за кольца
ты твердишь:
«Ежечасно гордимся тобой».
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,
принимаем голодный и медленный бой.

Ленинградец, мой спутник,
мой испытанный друг,
нам декабрьские дни сентября тяжелей.
Все равно не разнимем
слабеющих рук:
мы и это, и это должны одолеть.

Он придет, ленинградский торжественный
полдень,
тишины, и покоя, и хлеба душистого полный.
О, какая отрада,
какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
— Я жила в Ленинграде
в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала
известия первых побед.
…Нет, не вышло второе письмо
на далекую Каму.
Это гимн ленинградцам — опухшим, упрямым,

родным.
Я отправлю от имени их за кольцо
телеграмму:
«Живы. Выдержим. Победим!»

29 декабря 1941

29 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

Памяти друга и мужа Николая Степановича Молчанова

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней м**у**ка
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.

И разве для меня победы будут?

В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — везде и всюду
в твоем последнем пасмурном бреду…

Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.

На песни. На пустячные желанья.
На страсть и ревность — пусть придет другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.

Ну что ж, пусть будет так…

Конец января 1942

ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
Поэма

1

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова,
я тоже — ленинградская вдова.

Мы съели хлеб,
что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном…

И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,

похожее на радугу слегка.

Когда немного посветлело небо,
мы вместе вышли за водой и хлебом
и услыхали дальней канонады
рыдающий, тяжелый, мерный гул:
то Армия рвала кольцо блокады,
вела огонь по нашему врагу.

2

А город был в дремучий убран иней.
Уездные сугробы, тишина…
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
в кастрюльках воду голубую возят,
дрова и скарб, умерших и больных…

Так с декабря кочуют горожане
за много верст, в густой туманной мгле,
в глуши слепых, обледеневших зданий
отыскивая угол потеплей.

Вот женщина ведет куда-то мужа.
Седая полумаска на лице,
в руках бидончик — это суп на ужин.
Свистят снаряды, свирепеет стужа…
«Товарищи, мы в огненном кольце».

А девушка с лицом заиндевелым,
упрямо стиснув почерневший рот,
завернутое в одеяло тело
на Охтинское кладбище везет.

Везет, качаясь, — к вечеру добраться б…
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин!
Провозят ленинградца,
погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят…
Как многих нам уже недосчитаться!
Но мы не плачем: правду говорят,
что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
Нам ненависть заплакать не дает.
Нам ненависть залогом жизни стала:
объединяет, греет и ведет.

О том, чтоб не прощала, не щадила,
чтоб мстила, мстила, мстила, как могу,
ко мне взывает братская могила
на Охтинском, на правом берегу.

3

Как мы в ту ночь молчали, как молчали…
Но я должна, мне надо говорить
с тобой, сестра по гневу и печали:
прозрачны мысли и душа горит.

Уже страданьям нашим не найти
ни меры, ни названья, ни сравненья.
Но мы в конце тернистого пути
и знаем — близок день освобожденья.

Наверно, будет грозный этот день
давно забытой радостью отмечен:
наверное, огонь дадут везде,
во все дома дадут, на целый вечер.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце, во мраке, в голоде, в печали
мы дышим завтрашним,
свободным, щедрым днем,
мы этот день уже завоевали.

4

Враги ломились в город наш свободный, —
крошились камни городских ворот…
Но вышел на проспект Международный
вооруженный трудовой народ.

Он шел с бессмертным
возгласом в груди:
«Умрем, но Красный Питер
не сдадим!..»
Красногвардейцы, вспомнив о былом,
формировали новые отряды,
и собирал бутылки каждый дом,
и собственную строил баррикаду.
И вот за это долгими ночами
пытал нас враг железом и огнем…
«Ты сдашься, струсишь, — бомбы нам
кричали, —
забьешься в землю, упадешь ничком.
Дрожа, запросят плена, как пощады,
не только люди — камни Ленинграда!»

Но мы стояли на высоких крышах
с закинутою к небу головой,
не покидали хрупких наших вышек,
лопату сжав немеющей рукой.

…Настанет день,
и, радуясь, спеша,
еще печальных не убрав развалин,
мы будем так наш город украшать,
как люди никогда не украшали.

И вот тогда на самом стройном зданье,
лицом к восходу солнца самого
поставим мраморное изваянье
простого труженика ПВО.

Пускай стоит, всегда зарей объятый,
так, как стоял, держа неравный бой:
с закинутою к небу головой,
с единственным оружием — лопатой.

О древнее орудие земное,
лопата,
верная сестра земли!
Какой мы путь немыслимый с тобою
от баррикад до кладбища прошли!

Мне и самой порою не понять
всего, что выдержали мы с тобою…
Пройдя сквозь пытки страха и огня,
мы выдержали испытанье боем.

И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,
не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.

Но тот, кто не жил с нами, — не поверит,
что в сотни раз почетней и трудней
в блокаде, в окруженье палачей
не превратиться в оборотня, в зверя…
……

6

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
не изменяла радости земной,
что как роса сияла эта радость,
угрюмо озаренная войной.

И если чем-нибудь могу гордиться,
то, как и все друзья мои вокруг,
горжусь, что до сих пор могу трудиться,
не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,

где смерть как тень тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли —
достойно не воспетое пока, —
когда последней коркою делились,
последнею щепоткой табака;
когда вели полночные беседы
у бедного и дымного огня,
как будем жить,
когда придет победа,
всю нашу жизнь по-новому ценя.
И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
как полдень жизни, будешь вспоминать
дом на проспекте Красных Командиров,
где тлел огонь и дуло от окна.

Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
и эту тьму, и голос мой, и холод,
и баррикаду около ворот.

Да здравствует, да царствует всегда
простая человеческая радость,
основа обороны и труда,
бессмертие и сила Ленинграда!

Да здравствует суровый и спокойный,
глядевший смерти в самое лицо,
удушливое вынесший кольцо
как Человек,
как Труженик,
как Воин!

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
ведь это мы, крещенные блокадой!
Нас вместе называют — Ленинград,
и шар земной гордится Ленинградом.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
в кольце и стуже, в голоде, в печали,
мы дышим завтрашним,

счастливым, щедрым днем —
мы сами этот день завоевали.

И ночь ли будет, утро или вечер,
но в этот день мы встанем и пойдем
воительнице-армии навстречу
в освобожденном городе своем.

Мы выйдем без цветов,
в помятых касках,
в тяжелых ватниках, в промерзших
полумасках,
как равные, приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
над нами встанет бронзовая Слава,
держа венок в обугленных руках.

Январь — февраль 1942

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭМА (Отрывок)

1

Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
«Сменяй на платье, — говорит, —
менять не хочешь — дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала…»
И я сказала: «Не отдам».
И бедный ломоть крепче сжала.
«Отдай, — она просила, — ты
сама ребенка хоронила.
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу».
…Как будто на краю земли,
одни, во мгле, в жестокой схватке,

две женщины, мы рядом шли,
две матери, две ленинградки.
И, одержимая, она
молила долго, горько, робко.
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило — привести
ее к себе, шепнув угрюмо:
«На, съешь кусочек, съешь… прости!
Мне для живых не жаль — не думай»

…Прожив декабрь, январь, февраль,
я повторяю с дрожью счастья:
мне ничего живым не жаль —
ни слез, ни радости, ни страсти.
Перед лицом твоим, Война,
я поднимаю клятву эту,
как вечной жизни эстафету,
что мне друзьями вручена.
Их множество — друзей моих,
друзей родного Ленинграда.
О, мы задохлись бы без них
в мучительном кольце блокады.
<…>

Июнь — июль 1942

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины

1

В дни наступленья армий ленинградских,
в январские свирепые морозы,
ко мне явилась девушка чужая
и попросила написать стихи…

Она пришла ко мне в тот самый вечер,
когда как раз два года исполнялось

со дня жестокой гибели твоей.

Она не знала этого, конечно.
Стараясь быть спокойной, строгой, взрослой,
она просила написать о брате,
три дня назад убитом в Дудергофе.

Он пал, Воронью гору атакуя,
ту высоту проклятую, откуда
два года вел фашист корректировку
всего артиллерийского огня.

Стараясь быть суровой, как большие,
она портрет из сумочки достала:
«Вот мальчик наш,
мой младший брат Володя…»
И я безмолвно ахнула: с портрета
глядели на меня твои глаза.

Не те, уже обугленные смертью,
не те, безумья полные и муки,
но те, которыми глядел мне в сердце
в дни юности, тринадцать лет назад.

Она не знала этого, конечно.
Она просила только: «Напишите
не для того, чтобы его прославить,
но чтоб над ним могли другие плакать
со мной и мамой — точно о родном…»

Она, чужая девочка, не знала,
какое сердцу предложила бремя, —
ведь до сих пор еще за это время
я реквием тебе — тебе! — не написала…

2

Ты в двери мои постучала,
доверчивая и прямая.
Во имя народной печали
твой тяжкий заказ принимаю.
Позволь же правдиво и прямо,

своим неукрашенным словом
поведать сегодня
о самом
обычном,
простом и суровом…

3

Когда прижимались солдаты, как тени,
к земле и уже не могли оторваться, —
всегда находился в такое мгновенье
один безымянный, Сумевший Подняться.

Правдива грядущая гордая повесть:
она подтвердит, не прикрасив нимало, —
один поднимался, но был он — как совесть.
И всех за такими с земли поднимало.

Не все имена поколенье запомнит.
Но в тот исступленный, клокочущий полдень
безусый мальчишка, гвардеец и школьник,
поднялся — и цепи штурмующих поднял.

Он знал, что такое Воронья гора.
Он встал и шепнул, а не крикнул: «Пора!»
Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся,
он звал, и хрипел, и карабкался в гору,
он первым взлетел на нее, обернулся
и ахнул, увидев открывшийся город!

И, может быть, самый счастливый на свете,
всей жизнью в тот миг торжествуя победу, —
он смерти мгновенной своей не заметил,
ни страха, ни боли ее не изведав.

Он падал лицом к Ленинграду.
Он падал,
а город стремительно мчался навстречу…
…Впервые за долгие годы снаряды
на улицы к нам не ложились в тот вечер.

И звезды мерцали, как в детстве, отрадно

над городом темным, уставшим от бедствий…
«Как тихо сегодня у нас в Ленинграде», —
сказала сестра и уснула, как в детстве.

«Как тихо», — подумала мать и вздохнула.
Так вольно давно никому не вздыхалось.
Но сердце, привыкшее к смертному гулу,
забытой земной тишины испугалось.

4

…Как одинок убитый человек
на поле боя, стихшем и морозном.
Кто б ни пришел к нему,
кто ни придет, —
ему теперь всё будет поздно, поздно.

Еще мгновенье, может быть, назад
он ждал родных, в такое чудо веря…

Теперь лежит — всеобщий сын и брат,
пока что не опознанный солдат,
пока одной лишь Родины потеря.

Еще не плачут близкие в дому,
еще, приказу вечером внимая,
никто не слышит и не понимает,
что ведь уже о нем,
уже к нему
обращены от имени Державы
прощальные слова любви и вечной славы.

Судьба щадит перед ударом нас,
мудрей, наверно, не смогли бы люди…
А он —
он **отдан** Родине сейчас,
она одна сегодня с ним пробудет.

Единственная мать, сестра, вдова,
единственные заявив права, —
всю ночь пробудет у сыновних ног
земля распластанная,

тьма ночная,
одна за всех горюя, плача, зная,
что сын —
непоправимо одинок.

5

Мертвый, мертвый…
Он лежит и слышит
всё, что недоступно нам, живым:
слышит — ветер облако колышет,
высоко идущее над ним.

Слышит всё, что движется без шума,
что молчит и дремлет на земле;
и глубокая застыла дума
на его разглаженном челе.

Этой думы больше не нарушить…
О, не плачь над ним — не беспокой
тихо торжествующую душу,
услыхавшую земной покой.

6

Знаю: утешеньем и отрадой
этим строчкам быть не суждено.
Павшим с честью — ничего не надо,
утешать утративших — грешно.

По своей, такой же, скорби — знаю,
что, неукротимую, ее
сильные сердца не обменяют
на забвенье и небытие.

Пусть она, чистейшая, святая,
душу нечерствеющей хранит.
Пусть, любовь и мужество питая,
навсегда с народом породнит.

Незабвенной спаянное кровью,
лишь оно — народное родство —
обещает в будущем любому
обновление и торжество.

…Девочка, в январские морозы
прибегавшая ко мне домой, —
вот — прими печаль мою и слезы,
реквием несовершенный мой.

Всё горчайшее в своей утрате,
всё, душе светившее во мгле,
я вложила в плач о нашем брате,
брате всех живущих на земле…

…Неоплаканный и невоспетый,
самый дорогой из дорогих,
знаю, ты простишь меня за это,
ты, отдавший душу за других.

Апрель — май 1944

МОЛИТВА

Полземли в пожаре и крови,
светлые потушены огни…

Господи, прости, что в эти дни
начала я песню о любви.

Слышу стон людской и детский плач,
но кого-то доброго молю:
там, где смерть, и горе, и зола,
да возникнет песнь моя светла,
потому что я его люблю.

Потому что я его нашла
прежде как солдат, а не жена,
там, где горе было и зола,
там, где властвовала смерть одна.

Может быть, когда-нибудь казнишь
тем, что на земле страшней всего, —

пусть, я не скрываю — в эти дни
пожелала я любви его.

Матери просили одного —
чтобы на детей не рухнул кров;
я вымаливала — сверх всего —
неизвестную его любовь.

Воины просили одного —
чтоб не дрогнуть в тягостных боях,
я вымаливала — сверх всего —
пусть исполнится любовь моя.

Господи, я не стыжусь — о нет, —
ни перед людьми, ни пред Тобой,
и готова я держать ответ
за свершенную свою любовь…

1944

ТВОЙ ПУТЬ
Поэма

Аще забуду тебя, Иерусалиме, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.

Псалом 136

Умри — и стань!

Гёте

1

…И всё осталось там — за белым-белым,
за тем январским ледовитым днем.
О, как я жить решилась, как я смела!
Ведь мы давно условились: вдвоем.
……

А тот, который с августа запомнил
сквозь рупора звеневший голос мой, —
зачем-то вдруг нашел меня и поднял,
со снега поднял и привел домой.

Как в притчах позабытых и священных,
пред путником, который изнемог,
ты встал передо мною на колено
и обувь снял с моих отекших ног;
высокое сложил мне изголовье,
чтоб легче сердцу было по ночам,
и лег в ногах, окоченевший сам,
и ничего не называл любовью…

2

Я знаю, слишком знаю это зданье.
И каждый раз, когда иду сюда,
все кажется, что вышла на свиданье
сама с собой, такой же, как тогда.
Но это больше, чем воспоминанье.

Я не боюсь самой себя — вчерашней.
На все отвечу, если уж пришла, —
вот этой серой, беспощадной, страшной,
глядящей из блокадного угла.

Я той боюсь, которая однажды
на Мамисоне
искрящимся днем
глядела в мир с неукротимой жаждой
и верила во всем ему, во всем…

Но это больше, чем воспоминанье.
Я не о ней.
Я о гранитном зданье.

Здесь, как в бреду, все было смещено:
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще
вставать с постелей,
пораньше утром,

растемнив окно,
в кружок усевшись,
перьями скрипели.

Отсюда передачи шли на город —
стихи и сводки,
и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
поэт, артистки…
Всех не перечесть.

Они давно покинули жилища
там, где-то в недрах города,
вдали;
они одни из первых на кладбища
последних родственников отвезли
и, спаяны сильней, чем кровью рода,
родней, чем дети одного отца,
сюда зимой сорок второго года
сошлись — сопротивляться до конца.

Здесь, на походной койке-раскладушке,
у каменки, блокадного божка,
я новую почувствовала душу,
самой мне непонятную пока.

Я здесь стихи горчайшие писала,
спеша, чтоб свет использовать дневной…
Сюда, в тот день,
когда я в снег упала,
ты и привел бездомную — **домой**.

3

…По сумрачным утрам
ты за водой ходил на льдистый Невский,
где выл норд-вест,
седой, косматый, резкий,
и запах гари стлался по дворам.
Стоял, пылая, город.
В семь утра
темнел скелет

Гостиного двора.
……
И на Литейном был один источник.
Трубу прорвав, подземная вода
однажды с воплем вырвалась из почвы
и поплыла, смерзаясь в глыбы льда.
Вода плыла, гремя и коченея,
и люди к стенам жались перед нею,
но вдруг один, устав пережидать, —
наперерез пошел
по корке льда,
ожесточась пошел,
но не прорвался,
а, сбит волной, свалился на ходу,
и вмерз в поток,
и так лежать остался
здесь,
на Литейном,
видный всем, —
во льду.
А люди утром прорубь продолбили
невдалеке
и длинною чредой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Тому, кому пришлось когда-нибудь
ходить сюда, — не говори: «Забудь».
Я знаю всё. Я тоже там была,
я ту же воду жгучую брала
на улице, меж темными домами,
где человек, судьбы моей собрат,
как мамонт, павший сто веков назад,
лежал, затертый городскими льдами.

…Вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй, необоримый год.
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
год его зимы,
год Сталинградского
единоборства.

4

В те дни исчез, отхлынул **быт**.
И смело
в права свои вступило **бытие**.
А я жила.
Изнемогало тело,
и то сияло, то бессильно тлело
сознание смятенное мое.
Сжималась жизнь во мне…
Совсем похоже,
как древняя шагреневая кожа
с неистовой сжималась быстротою,
едва владелец — бедный раб ее —
любое, незапретное, простое
осуществлял желание свое.
Сжималась жизнь…
Так вот что значит — смерть:
не сметь желать.
Самой — совсем не сметь.
Ну что же, пусть.
Я все равно устала,
я все равно не этого ждала
на тех далеких горных перевалах,
под небосводом синего стекла,
там, где цветок глядел из-за сугроба,
где в облаках, на кромке крутизны,
мы так тогда прекрасны были оба,
так молоды, бесстрашны и сильны…

…Всё превратилось вдруг в воспоминанье:
вся жизнь,
все чувства,
даже я сама,
пока вокруг в свирепом ожиданье
стоят враги, безумствует зима,
и надо всем —
сквозь лед, и бред, и ночи,
не погасить его, не отойти —
рублевский лик и стынущие очи
тому, кому не сказано:

«Прости!»
Того, кто был со мной на перевале,
на одиноком блещущем пути,
и умер здесь, от голода, в подвале,
а я —
я не могла его спасти…
…Еще хотелось повидать сестру.
Я думала о ней с такой любовью,
что стало ясно мне: на днях — умру.
То кровь тоскует по родимой крови.
Но незнакомый, чей-то, не родной,
ты ближе всех, ты рядом был со мной.
И ты не утешал меня.
Ночами,
когда, как все, утратив радость слез,
от горя корчась, я почти мычала,
ни рук моих не гладил, ни волос.
Ты сам, без просьб,
как будто б стал на страже
глухого отчужденья моего;
ты не коснулся ревностью его
и не нарушил нежностию даже.
Ты просто мне глоток воды горячей
давал с утра,
и хлеба,
и тетрадь
и заставлял писать для передачи:
ты просто не давал мне умирать…

Не знаю — как, но я на дне страданья,
о мертвом счастье бредя, о тепле,
открыла вдруг, что ты — мое желанье,
последнее желанье на земле.

Я так хочу.
Я так хочу сама.

Пускай, озлясь, грозится мне зима,
что радости вместить уже не сможет
остаток жизни —
мстительная кожа, —
я так хочу.
Пускай сойдет на нет:
мне мерзок своеволия запрет.

Я даже пела что-то в этот вечер,
почти забытое, у огонька,
цветным платком плотней укрыла плечи
и темный рот подкрасила слегка.

В тот самый день сказал ты мне, смущаясь:
«А все считают, ты — моя жена…»
И люди нас не попрекнули счастьем
в том городе,
где бредила война.

5

Мы жили высоко — седьмой этаж.
Отсюда был далёко виден город.
Он обгоревший, тихий был и гордый,
пустынный был
и весь, до пепла, — наш.
А мы ходили в Летний по грибы,
где, как в бору, кукушка куковала.
Возили реже мертвых.
Но гробы
не появлялись: сил недоставало
на этот древний горестный обряд.
О нем забыл блокадный Ленинград.
И первый гроб, обитый кумачом,
проехавший на катафалке красном,
обрадовал людей: нам стало ясно,
что к жизни возвращаемся и мы
из недр нечеловеческой зимы.

О нет, я не кощунствую!
Так было!
Нам всё о жизни яростно твердило,
и, точно дар торжественный, — для нас
всё на земле
явилось
в первый раз.
И солнце мы впервые увидали,
и с наших крыш,
постов сторожевых, —

Большой Земли мерцающие дали
в румяных зорях,
в дымке синевы.

До стона,
до озноба,
до восторга
мы вглядывались в эту синеву…
Прекрасная!
Нельзя тебя отторгнуть.
Ты — это жизнь.
Ты есть — и я живу.

…Я помню час, когда, толкнув рукой
окошко, перекрещенное слепо,
я в одичавший зимний угол свой
впустила полднем дышащее небо.
Я отойти не смела от окна!
Слепорожденный
в первый день прозренья
глядел бы так,
с таким же изумленьем
на всё, что знал под именем «весна»!

6

…А в темноте, почти касаясь кровли,
всю ночь снаряды бешеные шли,
так метров семь над сонной нашей кровью,
и рушились то близко, то вдали.
Ты рядом спал, как спал весь город — камнем,
сменясь с дежурства.
Мы с утра в бою…
Как страшно мне.
Услышав свист, руками
я прикрываю голову твою.
Невольный жест, напрасный — знаю, знаю…
А ночь светла.
И над лицом твоим
с тысячелетней нежностью склоняясь,
я тороплюсь налюбоваться им.
Я тороплюсь, я знаю, что сосчитан

свиданья срок.
Разлука настает.
Но ты не знай…
Спи под моей защитой,
солдат уставший,
муж,
дитя мое…

Три выстрела — три грохота подряд.
Поблизости… Пока не в наш квадрат…
…А рядом, в изголовье надо мною,
охапка веток, полная весною, —
ты с фронта, из Рыбацкого, принес…
Как пахнут листья, господи, — до слез!
Так ты вернулась, встала в изголовье,
о молодость… твой запах узнаю.
Сплети ж с моей сегодняшней любовью
всю чистоту и трепетность твою,
верни мне всё…
Свистит. Опять фугас!
Сюда идет… Враг обнаружил нас,
засек,
нашел,
сюда кладет снаряды,
невидимый,
нацелился в упор
откуда-то из гатчинского сада,
от царскосельских дремлющих озер, —
сюда идет…
В ночной молочной дымке
я узнаю, безносый невидимка,
тебя.
Ты приходил ко мне зимой.
Свистишь?
Свисти.
Я принимаю бой.

Ты утопить хотел меня в отеке.
Ты до костей обтягивал мне щеки.
Ты мне глаза мои вдавил в глазницы,
ты зубы мне расшатывал во рту,
ты гнал меня в подвалы,
в темноту,
под свод психиатрической больницы…

Но меж развалин горестных и дымных,
в ожогах вся,
в рубцах, в крови, в золе,
я поднялась,
как все, — неистребима,
с неистребимой верностью Земле,
и здесь, под этой обреченной крышей,
нашла возлюбленного своего.
Он рядом спит.
Он жив.
Он мирно дышит.
Я ни за что не разбужу его.

Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю ее,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить.
Грозишь?
Грози.
Свисти со всех сторон.
Мы победили.
Ты приговорен.
Обстрел затих.
Зарею полон город,
сменяются усталые дозоры,
на улицах пустынно и светло.
Сметают в кучи дворники стекло,
и неустанным эхом повторен
щемящий, тонкий, шаркающий звон,
и радуги бегут по тротуарам
в стеклянных брызгах.
В городе весна,
разбитым камнем пахнет и пожаром,
в гранитный берег плещется волна,
как сотни лет плескалась. Тишина.

…О девочка с вершины Мамисона,
что знала ты о счастии?
Оно
неласково,

сурово и бессонно
и с гибелью порой сопряжено.
Пред ним ничто — веселье.
Радость — прах.
Пред ним бессилен враг,
и тлен,
и страх.
Оно несет на крыльях лебединых
к таким неугасающим вершинам,
к столь одиноким, нежным и нагим,
что боги позавидовали б им.

Я счастлива.
И всё яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.
И гордости своей не утаю,
что рядовым вошла
в судьбу твою,
мой город,
в званье твоего поэта.
Не ты ли сам зимой библейски грозной
меня к траншеям братским подозвал
и, весь окостеневший и бесслезный,
своих детей оплакать приказал.
И там, где памятников ты не ставил,
где счесть не мог,
где никого не славил,
где снег лежал,
от зарев розоватый,
где выгрызал траншеи экскаватор
и динамит на помощь нам, без силы,
пришел,
чтоб землю вздыбить под могилы,
там я приказ твой гордый выполняла…
Неся избранье трудное свое,
из недр души
я стих свой выдирала,
не пощадив живую ткань ее…

И ясно мне судьбы моей веленье:
своим стихом на много лет вперед
я к твоему пригвождена виденью,
я вмерзла

в твой неповторимый лед.

…А тот,
над кем светло и неустанно
мне горевать, печалиться, жалеть,
кого прославлю славой безымянной —
немою славой, высшей на земле, —
ты слит со всем, что больше жизни было —
мечта,
душа,
отчизна,
бытие, —
и для меня везде твоя могила
и всюду — воскресение твое.

Твердит об этом
трубный глас Москвы,
когда она,
колебля своды ночи,
как равных — славит павших и живых
и Смерти — смертный приговор пророчит.

Апрель 1945

"Так вот она какая. Вот какой…"

…Так вот она какая. Вот какой
мой город, воскресающий весной.

Трава — зеленая. А неба купол
не черный и не серо-голубой.
Какой же я бесцветный мир нащупал
незрячею, неверною рукой.
Прозревший недоверчив: он испуган,
он так обжился в сумраке своем.
Он опознать не сразу может друга,
того, что был его поводырем.
Он быстро утомляется на пире
цветов и света, правды и щедрот.
Он долго одиночествует в мире
и всё на ощупь пробует вперед…

1945

"О да — простые, бедные слова…"

…О да — простые, бедные слова
мы точно в первый раз произносили,
мы говорили: солнце, свет, трава,
как произносят: жизнь, любовь и сила.

А помнишь ли, как с города ледник
сдирали мы, четырежды проклятый,
как бил в панель ногой один старик
и всё кричал: «Асфальт, асфальт, ребята!..»

Так, милый берег видя с корабля,
кричали в старину: «Земля, земля!..»

1945

СТИХИ О СЕБЕ

…И вот в послевоенной тишине
к себе прислушалась наедине.
……

Какое сердце стало у меня,
сама не знаю — лучше или хуже:
не отогреть у мирного огня,
не остудить на самой лютой стуже.

И в черный час зажженные войною
затем, чтобы не гаснуть, не стихать,
неженские созвездья надо мною,
неженский ямб в черствеющих стихах…

…И даже тем, кто всё хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

И как стволы, поднявшиеся рядом,
сплетают корни в душной глубине
и слили кроны в чистой вышине,

даря прохожим мощную прохладу, —
так скорбь и счастие живут во мне —
единым корнем — в муке Ленинграда,
единой кроною — в грядущем дне.

И всё неукротимей год от года
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего —
единственная на земле свобода.

1945

"Я никогда не напишу такого..."

Я никогда не напишу такого.
В той потрясенной, вещей немоте
ко мне тогда само являлось слово
в нагой и неподкупной чистоте.

Уже готов позорить нашу славу,
уже готов на мертвых клеветать
герой прописки
и стандартных справок…

Но на асфальте нашем —
след кровавый,
не вышаркать его, не затоптать…

1946

СТИХИ О ЛЮБВИ

1

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным, с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.

2

Я тайно и горько ревную,
угрюмую думу тая:
тебе бы, наверно, иную —
светлей и отрадней, чем я…

За мною такие утраты
и столько любимых могил!
Пред ними я так виновата,
что если б ты знал — не простил.
Я стала так редко смеяться,
так злобно порою шутить,
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.
Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.

Туда, где ни мрака, ни света —
сырая рассветная дрожь…
И ты окликаешь: «Ну, где ты?»
О, знал бы, откуда зовешь!
Еще ты не знаешь, что будут
такие минуты, когда
тебе не откликнусь оттуда,
назад не вернусь никогда.

Я тайно и горько ревную,
но ты погоди — не покинь.
Тебе бы меня, но иную,
не знавшую этих пустынь:
до этого смертного лета,
когда повстречалися мы,
до горестной славы, до этой
полсердца отнявшей зимы.

Подумать — и точно осколок,
гор*я*, шевельнется в груди…
Я стану простой и веселой —

тверди ж мне, что любишь, тверди!

1947

3

Ни до серебряной и ни до золотой,
всем ясно, я не доживу с тобой.
Зато у нас железная была —
по кромке смерти на войне прошла.
Всем золотым ее не уступлю:
всё так же, как в железную, люблю…

1949

"О, не оглядывайтесь назад…"

О, не оглядывайтесь назад,
на этот лед,
на эту тьму;
там жадно ждет вас
чей-то взгляд,
не сможете вы не ответить ему.

Вот я оглянулась сегодня… Вдруг
вижу: глядит на меня изо льда
живыми глазами живой мой друг,
единственный мой — навсегда, навсегда.

А я и не знала, что это так.
Я думала, что дышу иным.
Но, казнь моя, радость моя, мечта,
жива я только под взглядом твоим!

Я только ему еще верна,
я только этим еще права:
для всех живущих — его жена,
для нас с тобою — твоя вдова.

1947

ФЕОДОСИЯ

Юрию Герману

Когда я в мертвом городе искала
ту улицу, где были мы с тобой,
когда нашла — и всё же не узнала
……
А сизый прах и ржавчина вокзала!

…Но был когда-то синий-синий день,
и душно пахло нефтью, и дрожала
седых акаций вычурная тень…
От шпал струился зной — стеклянный,
зримый, —
дышало море близкое, а друг,
уже чужой, но все еще любимый,
не выпускал моих холодных рук.
Я знала: всё. Уже ни слов, ни споров,
ни милых встреч…
И все же будет год:
один из нас приедет в этот город
и все, что было, вновь переживет.
Обдаст лицо блаженный воздух юга,
подкатит к горлу незабытый зной,
на берегу проступит облик друга —
неистребимой радости земной.
О, если б кто-то, вставший с нами рядом,
шепнул, какие движутся года!
Ведь лишь теперь, на эти камни глядя,
я поняла, что значит — «никогда»,
что прошлого — и то на свете нет,
что нет твоих свидетелей отныне,
что к самому себе потерян след
для всех, прошедших зоною пустыни…

Феодосия

1935, 1947

"На собранье целый день сидела…"

На собранье целый день сидела —

то голосовала, то лгала…
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?..
Долго с улицы не уходила —
только там сама собой была.
В подворотне — с дворником курила,
водку в забегаловке пила…
В той шарашке двое инвалидов
(в сорок третьем брали Красный Бор)
рассказали о своих обидах, —
вот — был интересный разговор!
Мы припомнили между собою,
старый пепел в сердце шевеля:
штрафники идут в разведку боем —
прямо через минные поля!..
Кто-нибудь вернется награжденный,
остальные лягут здесь — тихи,
искупая кровью забубённой
все свои **небывшие** грехи!
И, соображая еле-еле,
я сказала в гневе, во хмелю:
«Как мне наши праведники надоели,
как я наших грешников люблю!»

<1948–1949>

"Сегодня вновь растрачено души…"

Сегодня вновь растрачено души
на сотни лет,
на тьмы и тьмы ничтожеств.
Хотя бы часть ее в ночной тиши,
как пепел в горсть, собрать в стихи…
И что же?
Уже не вспомнить и не повторить
высоких дум, стремительных и чистых,
которыми посмела одарить
лжецов неверующих и речистых.
И щедрой доброте не просиять,
не озарить души потайным светом;
я умудрилась всю ее отдать
жестоким, не нуждающимся в этом.

Все роздано: влачащимся — полет,
трусливым и безгласным — дерзновенье,
и тем, кто всех глумливей осмеет, —
глубинный жемчуг сердца — умиленье.
Как нищенка, перед столом стою.
Как мать, дитя родившая до срока.
А завтра вновь иду и отдаю
всё, что осталось, не приняв урока.
А может быть — мечты заветней нет, —
вдруг чье-то сердце просто и открыто
такую искру высечет в ответ,
что будут все утраты позабыты?

1949

< ТРИПТИХ 1949 ГОДА >

1

Я не люблю за мной идущих следом
по площадям
и улицам.

Мой путь —
мне кажется тогда —
стремится к бедам:
Скорей дойти до дома
как-нибудь.
Они в затылок дышат горячо…
Сейчас положат руку
на плечо!
Я оглянусь: чужими
притворятся,
прохожими…
Но нас не обмануть: к беде —
к БЕДЕ —
стремглав
идет мой
путь.
О, только бы: скорей. Домой.
Укрыться.
Дойти и запереться

и вернуться.
Во что угодно сразу
погрузиться:
в вино!
в заботы!
в бесполезный труд…
Но вот уж много дней,
как даже дома
меня не покидает страх
знакомый,
что по Следам
Идущие —
придут.

2

Не будет дома
или будет дом
и легче будет
иль еще печальней —
об этом годе расскажу потом,
о том, как стало
ничего не жаль мне.
Не жаль стареть.
Не жаль тебя терять.
Зачем мне красота, любовь
и дом уютный, —
затем, чтобы молчать?
Не-ет, не молчать, а лгать.
Лгать и дрожать ежеминутно.
Лгать и дрожать:
а вдруг — не так солгу?
И сразу — унизительная кара.
Нет. Больше не хочу и не могу.
Сама погибну.
Подло — ждать удара!
Не женское занятье: пить вино,
по кабакам шататься в одиночку…
Но я — пила.
Мне стало все равно:
продлится ли позорная отсрочка.
Мне только слез твоих

последних жаль,
в то воскресенье,
в темный день погони,
когда разлуки каторжная даль
открылась мне
ясней, чем на ладони…
Как плакал ты!
Последний в мире свет
мне хлынул в душу —
слез твоих сиянье!
Молитвы нет такой
и песни нет,
чтобы воспеть во мне
твое рыданье.
Но… Даже их мне не дают воспеть…
В проклятой немоте изнемогаю…
И странно знать,
что вот придет другая,
чтобы тебе с лица их утереть…
Живу — тишком.
Живу — едва дыша.
Припоминая, вижу — повсеместно
следы свои оставила душа:
то болью, то доверием, то песней…
Их время и сомненье не сотрет,
не облегчить их никаким побегом,
их тут же обнаружит
и придет
и уведет меня —
Идущий Следом…

Осень 1949

3

Я не люблю звонков по телефону,
когда за ними разговора нет.
«Кто говорит? Я слушаю!»
В ответ
молчание и гул, подобный стону.
Кто позвонил и испугался вдруг,
кто замолчал за комнатной стеною?

«Далекий мой,
желанный,
верный друг,
не ты ли смолк? Нет, говори со мною!
Одною скорбью мы разлучены,
одной безмолвной скованы печалью,
и все-таки средь этой тишины
поговорим… Нельзя, чтоб мы молчали!»

А может быть, звонил мой давний враг?
Хотел узнать, я дома иль не дома?
И вот, услышав голос мой знакомый,
спокоен стал и отошел на шаг.
Нет, я скрываться не хочу, не тщусь.
Я всем открыта, точно домочадцам…
Но так привыкла с домом я прощаться,
что, уходя, забуду — не прощусь.
Разлука никакая не страшна:
я знаю — я со всеми, не одна…
Но, господи, как одиноко вдруг,
когда такой настигнут тишиною…
Кто б ни был ты,
мой враг или мой друг, —
я слушаю! Заговори со мною!

1949

ПЯТЬ ОБРАЩЕНИЙ К ТРАГЕДИИ

1

От сердца к сердцу.
Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.
……
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих стихах глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,

я говорю, как плоть твоя, народ,
по праву разделенного страданья…

И вот я становлюся многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено самой собой
остаться в разных обликах и душах,
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать
и знать, что ничего не утаишь…
Все слышат всё, до скрытого рыданья…
И друг придет с ненужным состраданьем,
и посмеются недруги мои.

Пусть будет так. Я не могу иначе.
Не ты ли учишь, Родина, опять:
не брать, не ждать и не просить подачек
за счастие творить и отдавать.

…И вновь я вижу все твои приметы,
бессмертный твой, кровавый, горький зной,
сорок второй, неистовое лето
и все живое, вставшее стеной
на бой со смертью…

Август 1946

2

Прошло полгода молчанья
с тех пор, как стали клубиться
в жажде преображенья,
в горячей творящей мгле
твоих развалин оскалы,
твоих защитников лица,
легенды твои, которым
подобных нет на земле.

Прошло полгода молчанья
с тех пор, как мне стала сниться
твоя свирепая круча —
не отвести лица!

Как трудно к тебе прорваться,
как трудно к тебе пробиться,
к тебе, которой вручила
всю жизнь свою — до конца.

Но, как сквозь терний колючий,
сквозь ложь, клевету, обиды,
к тебе — по любой дороге,
везде — у чужих и в дому,
в вагоне, где о тебе же
навзрыд поют инвалиды,
в труде, в обычной заботе
к сиянию твоему.

И только с чистейшим сердцем,
и только склонив колено
тебе присягаю, как знамени,
целуя его края, —
Трагедия всех трагедий —
душа моего поколенья,
единственная,
прекрасная,
большая душа моя.

Весна 1947

3

Друзья твердят: «Все средства хороши,
чтобы спасти от злобы и напасти
хоть часть Трагедии,
хоть часть души…»
А кто сказал, что я делюсь на части?

И как мне скрыть — наполовину — страсть,
чтоб страстью быть она не перестала?
Как мне отдать на зов народа часть,
когда и жизни слишком мало?
Нет, если боль, то вся душа болит,
а радость — вся пред всеми пламенеет.
И ей не страх открытой быть велит —
ее свобода,

та, что всех сильнее.

Я так хочу, так верю, так люблю.
Не смейте проявлять ко мне участья.
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше принудительное счастье…

1949

4

Когда ж ты запоешь, когда
откроешь крылья перед всеми?
О, возмести хоть миг труда
в глухонемое наше время!
Я так молю — спеша, скорбя,
молю невнятно, немо, глухо…
Я так боюсь забыть тебя
под непрерывной пыткой духа.
Чем хочешь отомсти: тюрьмой,
безмолвием, подобным казни,
но дай хоть раз тебя — самой,
одной —
прослушать без боязни.
……

1951

5

О, где ты запела,
откуда взманила,
откуда к жизни зовешь меня…
Склоняюсь перед твоею силой,
Трагедия, матерь живого огня.

Огонь, и воду, и медные трубы
(о, медные трубы — прежде всего!)
я прохожу,
не сжимая губы,
страшное славя твое торжество.

Не ты ли сама
последние годы
по новым кругам вела и вела,
горчайшие в мире
волго-донские воды
из пригоршни полной испить дала…
О, не твои ли трубы рыдали
четыре ночи, четыре дня
с пятого марта в Колонном зале
над прахом, при жизни
кромсавшим меня…
Не ты ль —
чтоб твоим защитникам в лица
я вновь заглянула —
меня загнала
в психиатрическую больницу,
и здесь, где горю ночами не спится,
встала в рост
и вновь позвала
на новый круг,
и опять за собой,
за нашей
совместной
народной судьбой.
Веди ж, я знаю — тебе подвластно
все существующее во мне.
Я знаю паденья, позор напрасный,
я слабой бывала, постыдной, ужасной —
я никогда не бывала **несчастной**
в твоем сокрушающем ложь огне.
Веди ж, открывай, и рубцуй, и радуй!
Прямо в глаза взгляни
и скажи:
«Ты погибала взаправду — как надо.
Так подобало. Да будет жизнь!»

31 января 1954

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЭМЕ

«…и я с упованием и с любовью обернулся назад…»

А. И. Герцен

— Спаси меня.
Снова к тебе обращаюсь.
Не так, как тогда, — тяжелей и страшней:
с последней любовью своею прощаюсь,
с последней, заветною правдой своей.

Как холодно, как одиноко на свете…
Никто не услышит, никто не придет…
О, пусть твой орлиный,
твой горный,
твой ветер
дохнет на меня,
загремит —
запоет…

1949

ОТРЫВОК

Достигшей немого отчаянья,
давно не молящейся Богу,
иконку «Благое Молчание»
мне мать подарила в дорогу.

И ангел Благого Молчания
ревниво меня охранял.
Он дважды меня не нечаянно
с пути повернул. Он знал…

Он знал, никакими созвучьями
увиденного не передать.
Молчание душу измучит мне,
и лжи заржавеет печать…

1952

ОБЕЩАНИЕ

…Я недругов смертью своей не утешу,
чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.

Не вбит еще крюк, на котором повешусь.
Не скован. Не вырыт рудой из земли.
Я встану над жизнью бездонной своею,
над страхом ее, над железной тоскою…
Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою…

1952

ОТВЕТ

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной, —
ее нетленно-чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.

1952, 1960

ИЗ «ПИСЕМ С ДОРОГИ»

1

Темный вечер легчайшей метелью увит,
волго-донская степь беспощадно бела…
Вот когда я хочу говорить о любви,
о бесстрашной, сжигающей душу дотла.

Я ее, как сейчас, никогда не звала.

Отыщи меня в этой февральской степи,
в дебрях взрытой земли, между свай эстакады.
Если трудно со мной — ничего, потерпи.
Я сама-то себе временами не рада.

Что мне делать, скажи, если сердце мое
обвивает, глубоко впиваясь, колючка,
и дозорная вышка над нею встает,
и о штык часового терзаются низкие тучи?
Так упрямо смотрю я в заветную даль,
так хочу разглядеть я далекое, милое
солнце…
Кровь и соль на глазах!
Я смотрю на него сквозь большую печаль,
сквозь колючую мглу,
сквозь судьбу волгодонца…

Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты со мной
у ночного костра — он огромный,
трескучий и
жаркий,
где строители греются тесной гурьбой
и в огонь неподвижные смотрят овчарки.
Нет, не дома, не возле ручного огня,
только здесь я хочу говорить о любви.
Если помнишь меня, если понял меня,
если любишь меня — позови, позови!
Ожидаю тебя так, как моря в степи
ждет ему воздвигающий берега
в ночь, когда окаянная вьюга свистит,
и смерзаются губы, и душат снега;
в ночь, когда костенеет от стужи земля, —
ни костры, ни железо ее не берут.
Ненавидя ее, ни о чем не моля,
как любовь, беспощадным становится труд.
Здесь пройдет, озаряя пустыню, волна.
Это всё про любовь. Это только она.

1952

О, как я от сердца тебя отрывала!
Любовь свою — не было чище и лучше —
сперва волго-донским степям отдавала…
Клочок за клочком повисал на колючках.
Полынью, полынью горчайшею веет
над шлюзами, над раскаленной землею…
Нет запаха бедственнее и древнее,
и только любовь, как конвойный, со мною.
Нас жизнь разводила по разным дорогам.
Ты умный, ты добрый, я верю доныне.
Но ты этой жесткой земли не потрогал,
и ты не вдыхал этот запах полыни.
А я неустанно вбирала дыханьем
тот запах полынный, то горе людское,
и стало оно, безысходно простое,
глубинным и горьким моим достояньем…
Полынью, полынью бессмертною веет
от шлюзов бетонных до нашего дома…
Ну как же могу я, ну как же я смею,
вернувшись, «люблю» не сказать по-другому!

1952,1960

ИЗ ЦИКЛА «ВОЛГО-ДОН»

1

Я сердце свое никогда не щадила:
ни в песне, ни в горе, ни в дружбе,
ни в страсти…
Прости меня, милый. Что было — то было.
Мне горько.
И все-таки всё это — счастье.

И то, что я страстно, горюче тоскую,
и то, что, страшась неизбежной напасти,
на призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно…
И все-таки всё это — счастье.

О, пусть эти слезы и это удушье,
пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье.

Страшней — всепрощенье. Страшней —
равнодушье.
Любовь не прощает. И всё это — счастье.

Я знаю теперь, что она убивает,
не ждет состраданья, не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая.
Покуда она не утеха, а — счастье.

1952

ТОТ ГОД

И я всю жизнь свою припоминала,
и все припоминала жизнь моя
в тот год, когда со дна морей, с каналов
вдруг возвращаться начали друзья.

Зачем скрывать — их возвращалось мало.
Семнадцать лет — всегда семнадцать лет.
Но те, кто возвращались, — шли сначала,
чтоб получить свой старый партбилет.

Я не прибавлю к этому ни звука,
ни стона даже: заново живем.
Ну что ж еще? Товарищ, дай мне руку!
Как хорошо, что мы опять вдвоем.

1955

"Здесь лежат ленинградцы..."

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
они защищали тебя, Ленинград,
колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
никто не забыт, и ничто не забыто.

В город ломились враги, в броню и железо одеты,
но с армией вместе встали
рабочие, школьники, учителя, ополченцы.
И все, как один, сказали они:
«Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти».
Не забыта голодная, лютая, темная
зима сорок первого — сорок второго,
ни свирепость обстрелов,
ни ужас бомбежек в сорок третьем.
Вся земля городская пробита.

Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.
Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды
подвиг свой ежедневный
вы свершали достойно и просто,
и вместе с отчизной своей
вы все одержали победу.

Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
на этом печально-торжественном поле
вечно склоняет знамена народ благодарный,
Родина-мать и город-герой Ленинград.

1956

БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина…
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и темною нивой…
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю… И все же,
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды всё строже…

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться…
…А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться…

1956,1960

ЕВГЕНИЮ ЛЬВОВИЧУ ШВАРЦУ

1

В день шестидесятилетия

Не только в день этот праздничный —
в будни не позабуду:
живет между нами сказочник,
обыкновенное Чудо.

И сказочна его доля,
и вовсе не шестьдесят
лет ему — много более!
Века-то летят, летят…

Он ведь из мира древнейшего,
из недр человеческих грез
свое волшебство вернейшее,
слово свое нежнейшее
к нашим сердцам пронес.

К нашим сердцам, закованным
в лед (тяжелей брони!),
честным путем, рискованным
дошел,
растопил,
приник.

Но в самые темные годы
от сказочника-поэта
мы столько вдохнули свободы,
столько видали света.

Поэзия — не стареется.
Сказка — не «отстает».
Сердце о сказку греется,
тайной ее живет.

Есть множество лживых сказок —
нам ли не знать про это!
Но не лгала ни разу
мудрая сказка поэта.

Ни словом, ни помышлением
она не лгала, суровая.
Спокойно готова к гонениям,
к народной славе готовая.

Мы день твой с отрадой празднуем,
нам день твой и труд — ответ,
что к людям любовь — это правда.
А меры для правды нет.

21 октября 1956

2

Простите бедность этих строк,
но чем я суть их приукрашу?
Я так горжусь, что дал мне Бог
поэзию и дружбу Вашу.
Неотторжимый клин души,
часть неплененного сознанья,
чистейший воздух тех вершин,
где стало творчеством — страданье —
вот надо мною Ваша власть,
мне все желаннее с годами…
На что бы совесть оперлась,
когда б Вас не было меж нами?!

21 октября 1957

"Рассыпали набор..."

Рассыпали набор —
тягчайших дней,
Светлейших, пламенных —
Его не понимаю.
Рассыпали набор — всей книжки,
всей моей...
О, Господи, к Тебе в тоске, взываю...
Разобрали набор...

1959

ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

1

...Пусть падают листки календаря,
пусть будет долог жизненный твой путь.
Но день двадцать шестого октября,
но первый снег его — забудь.
Совсем забудь.

Как не было... Тот мокрый, вьюжный снег,
застывшее движенье городское —
и до смерти счастливый человек,
под артогнем бредущий человек
в жилье чужое, но еще людское.

Как буйствовала в подворотне мгла,
голодная, в багровых вспышках вьюга!
Как я боялась в доме — как ждала
войной-судьбою суженого друга.

О, первый грозный, нищий наш ночлег,
горсть чечевицы, посвист канонады
и первый сон вдвоем...
Забудь о нем навек.
Совсем забудь. Как не было. Так надо.

1960

2

Я всё оставляю тебе при уходе:
всё лучшее
в каждом промчавшемся годе.
Всю нежность былую,
всю верность былую
и краешек счастья, как знамя, целую:
военному, грозному —
вновь присягаю,
с колена поднявшись, из рук отпускаю.

Уже не узнаем — ни ты и ни я —
такого же счастья, владевшего нами.
Но верю, что лучшая песня моя навек
сбережет отслужившее знамя…

…Я ласточку тоже тебе оставляю
из первой, бесстрашно вернувшейся стаи —
блокадную нашу, под бедственной крышей.
В свой час одинокий
ее ты услышишь…
А я забираю с собою все слезы,
все наши утраты,
удары,
угрозы,
все наши смятенья,
все наши дерзанья,
нелегкое наше большое мужанье,
не спетый над дочкой
напев колыбельный,
задуманный ночью военной, метельной,
неспетый напев — ты его не услышишь,
он только со мною — ни громче, ни тише…

Прощай же, мой щедрый! Я крепко любила.
Ты будешь богаче — я так поделила.

1956, 1960

"Но я всё время помню про одну…"

Но я всё время помню про одну,
про первую блокадную весну.
……
А сколько ржавых коек и кроватей
на улицах столпилось в эти дни!
Вокруг развалин горбились они,
бессмысленно пытаясь прикрывать их.
Костлявый их, угрюмый хоровод
кружил везде, где рыли огород…
И просто так толпились тут и там
на набережной —
черные, нагие,
как будто б отдыхала по ночам
на них сама врагиня Дистрофия.
Идешь, считаешь, и — не сосчитать…
Не спать на них хозяевам, не спать!
Железным пухом ложе им стеля,
покоит их державная земля.
……
Я столько раз сердца терзала ваши
неумолимым перечнем утрат.
Я говорила вслух о самом страшном,
о чем и шепотом не говорят.
Но Ленинград,
отец мой,
дом и путь,
всё в новые пространства посылая,
ты говоришь мне:
«Только не забудь!»
И вот — ты видишь:
я не забываю.

1963–1964

"Вновь тебя увидала во сне я…"

Вновь тебя увидала во сне я.
Не просила я этого сна…
Мне довольно того,
что имею.
Этот город, стихи и война.

Не смущай же меня,
не забытый,
не достойный моей строки,
не оплаканный,
не убитый,
не подавший в беде руки.

Между 1965 и 1968 (?)

ИЗ ЦИКЛА «АННЕ АХМАТОВОЙ»

1

…Она **дарить** любила.
Всем. И — разное.
Надбитые флаконы и картинки
и жизнь свою, надменную, прекрасную,
до самой той, горючей той кровинки.
Всю — без запинки.
Всю — без заминки.

…Что же мне подарила она?
Свою нерекламную твердость.
Окаяннейшую свою,
молчаливую гордость.
Волю — не обижаться на тех,
кто желает обидеть.
Волю — видеть до рези в глазах,
и все-таки видеть.
Волю — тихо, своею рукой задушить
подступившее к сердцу отчаянье,
Волю — к чистому, звонкому слову.
И грозную волю — к молчанию.

1970

2

Анна Ахматова в 1941 году в Ленинграде

У Фонтанного дома, у Фонтанного дома,
у подъездов, глухо запахнутых,
у резных чугунных ворот
гражданка Анна Андреевна Ахматова,
поэт Анна Ахматова
на дежурство ночью встает.

На левом бедре ее
тяжелеет, обвиснув, противогаз,
а по правую руку, как всегда, налегке,
в покрывале одном,
приоткинутом
над сиянием
глаз,
гостья милая — Муза
с легкою дудочкою в руке.
А напротив, через Фонтанку, —
немые сплошные дома,
окна в белых крестах. А за ними ни искры,
ни зги.
И мерцает на стеклах
жемчужно-прозрачная тьма.
И на подступах ближних отброшены
снова враги.
О, кого ты, кого, супостат, захотел
превозмочь?
Или Анну Ахматову,
вставшую у Фонтанного дома,
от
Армии невдалеке?
Или стражу ее, ленинградскую эту бессмертную

белую ночь?
Или Музу ее со смертельным оружьем,
с легкой дудочкой
в
легкой руке?

1970 или 1971

"О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!.."

О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи!

Пеплом ее трагедий, пеплом ее души…
Из зыбкой своей могилы: «Милый, — кричу я, —

милый, спаси,
хотя бы внемли!..»
Из жаркой своей могилы кричу: «Что было, то было.
То, что свершается, свершается не при нас…
Но — с **моего** согласья!..»

1970-е годы

ЛЕНИНГРАДУ

Но для меня не существует дат.

Теперь уж навеки,
теперь до конца
незыблемо наше единство.
Я мужа тебе отдала, и отца,
и радость свою — материнство.

И нет мне дороже награды,
чем в годы военной угрозы
моих благородных сограждан
скупые и светлые слезы.

За всё и за всех виноватой,
душе не сказавшей «прости»,
одной мне из этой палаты,
одной никогда не уйти.

"Вот обижали и судили…"

Вот обижали и судили,
забрасывали клеветой,
а все-таки не разлюбили
ни глаз моих,
ни голос мой.

1970-е годы

Иллюстрации

Ф. Х. и М. Т. Берггольц с Ольгой. 1912

Ф. Х. и М. Т. Берггольц с Ольгой. 1912

Ф. Х. Берггольц. 1914

Ф. Х. Берггольц. Надпись: «Милой моей дочке Ляле. Углич. 30. VIII/19». В паспарту вставлена фотография более раннего периода (ИРЛИ)

О. Берггольц.

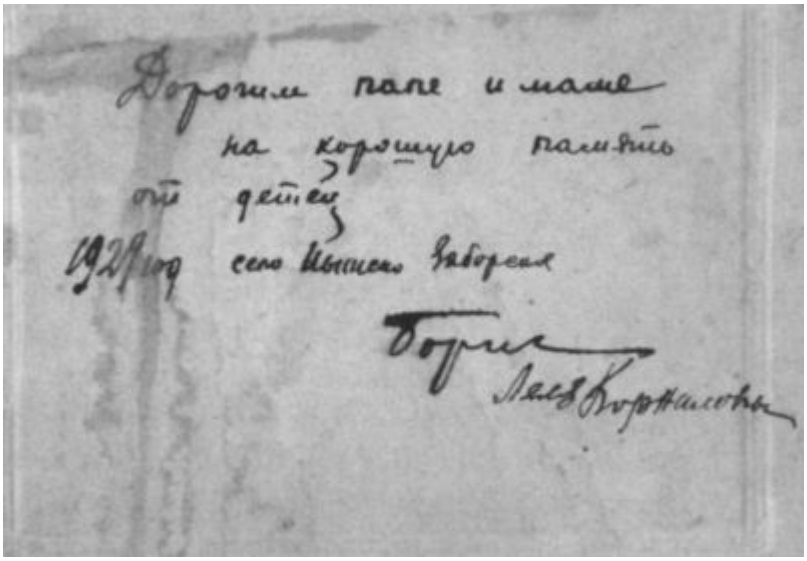
Лето 1927 г. Высокий остров, Новгородская губерния. На обороте фотографии надписи О. Берггольц:

«О весенние зори и теплые майские росы!..

О прекрасная юность моя!.. И<ван> Б<унин>. Июнь-июль-август 1927 г.». «Пройдет моя весна, /И этот день пройдет, / Но радостно бродить / И знать, что все проходит. Ив<ан> Бун<ин>».

А также помета Н. Молчанова: «Салютую тебе, красавица! Николай. 28/II 1931 г. Алма-Ата» (РГАЛИ)

Борис Корнилов и Ольга. 1929



Оборот фотографии с надписью, сделанной во время посещения родителей Б. Корнилова: «Дорогим папе и маме на хорошую память от детей. 1929 год, село Ильинско Заборское. Борис, Ляля Корниловы» (РГАЛИ)

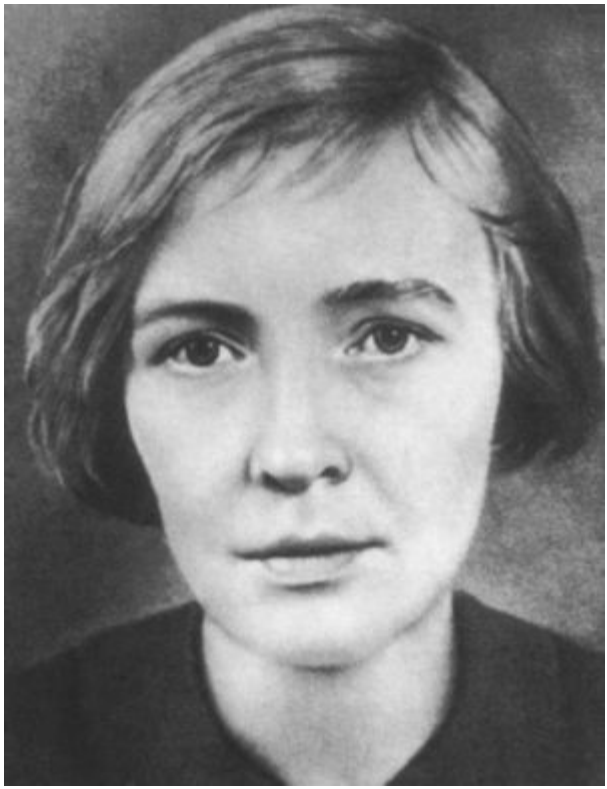
О. Берггольц (второй ряд, третья слева) в группе со студентами III курса ЛГУ. Ленинград, 8 июня 1930 г.

На обороте надпись О. Берггольц: «„Группа кошмариков“ (комсомольская группа III курса Слав<янского> цикла ЛГУ). Гринберг - отец семейства (благородного), ныне процветающий критик, Я - Берггольц - дама-патронесса, Еселев - тоскующая Лорелея, в центре А. Гробовщикова» (РГАЛИ)

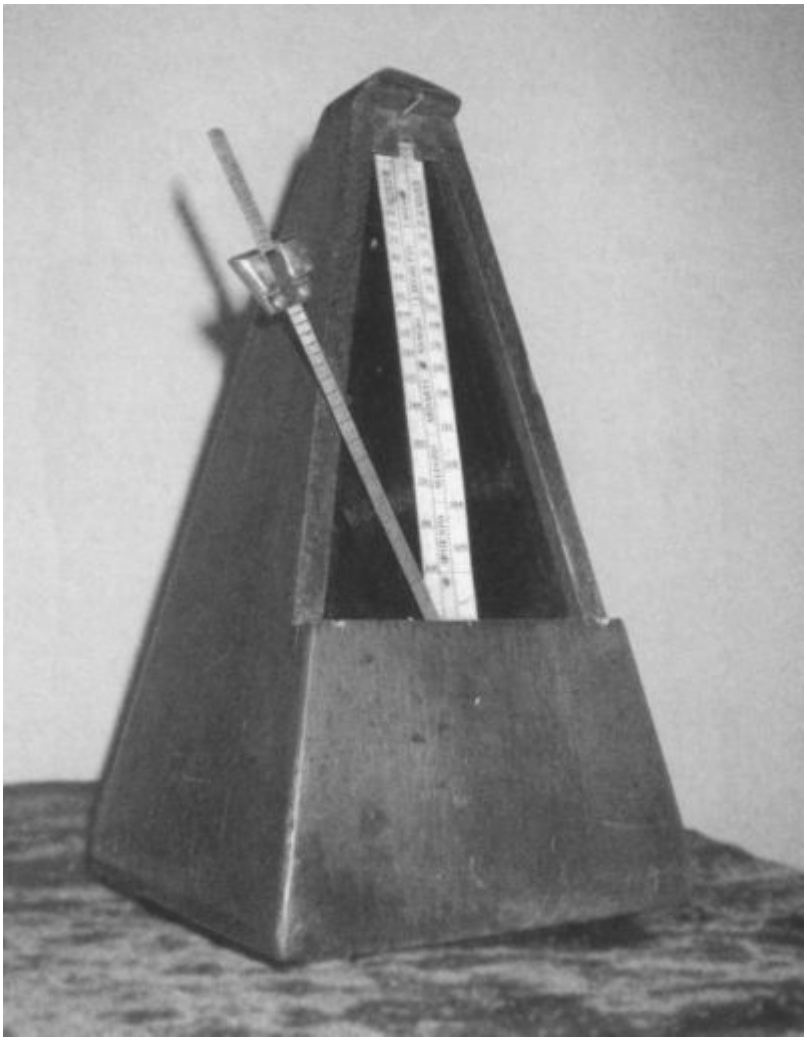
Ольга Берггольц и Николай Молчанов. Казахстан, 1930

Николай Молчанов на срочной службе в Туркестане. 1932

Ирина, дочь О. Берггольц и Б. Корнилова. 1935 (РГАЛИ)

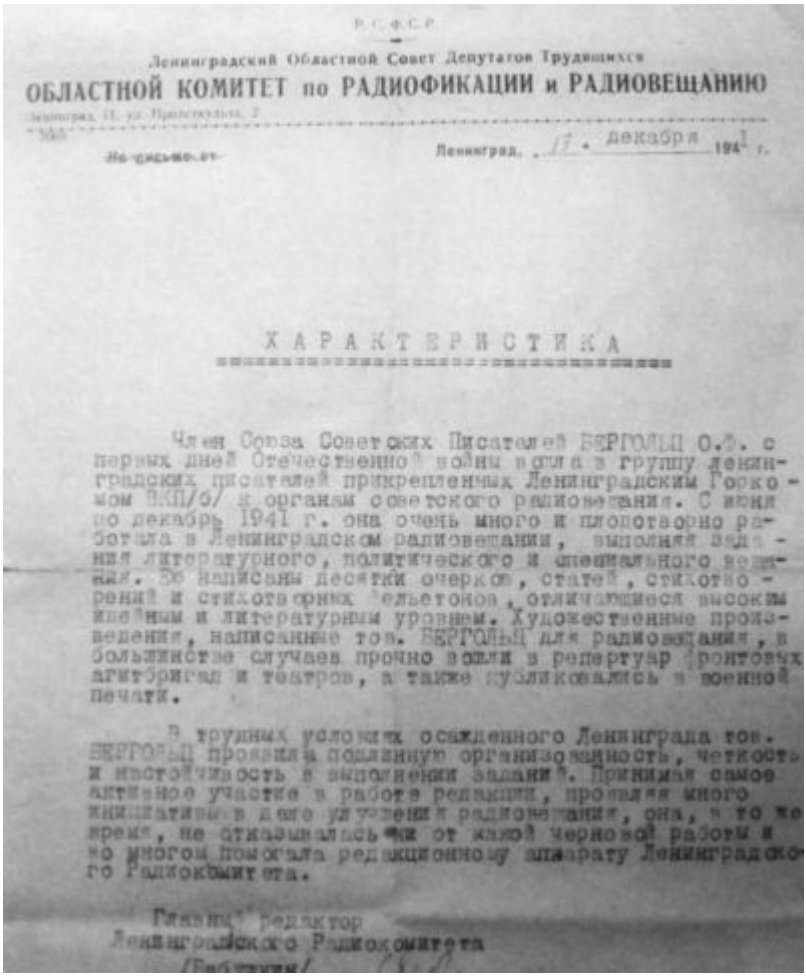


О. Берггольц. Конец 1930-х.



Блокадный метроном. Февраль 2010 г. (Музей Дома Радио)

«Говорит Ленинград». Центральная часть триптиха (1967). Художник Л. Кривицкий (Собственность художника)



Р.С.Ф.С.Р.

Ленинградский Областной Совет Депутатов Трудящихся

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ по РАДИОФИКАЦИИ и РАДИОВЕЩАНИЮ

Ленинград, П. ул. Пролетарская, 7

№ _____ На письмо от _____

Ленинград, 13 декабря 1941 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Член Союза Советских Писателей БЕРГОЛЬЦ О.Ф. с первых дней Отечественной войны вошла в группу ленинградских писателей прикрепленных Ленинградским Горкомом ВКП(б) к органам советского радиовещания. С июня по декабрь 1941 г. она очень много и плодотворно работала в Ленинградском радиовещании, выполняя задания литературного, политического и специального ведения. Ею написаны десятки очерков, статей, стихотворений и стихотворных фельетонов, отличающиеся высоким идейным и литературным уровнем. Художественные произведения, написанные тов. БЕРГОЛЬЦ для радиовещания, в большинстве случаев прочно вошли в репертуар фронтовых агитбригад и театров, а также публиковались в военной печати.

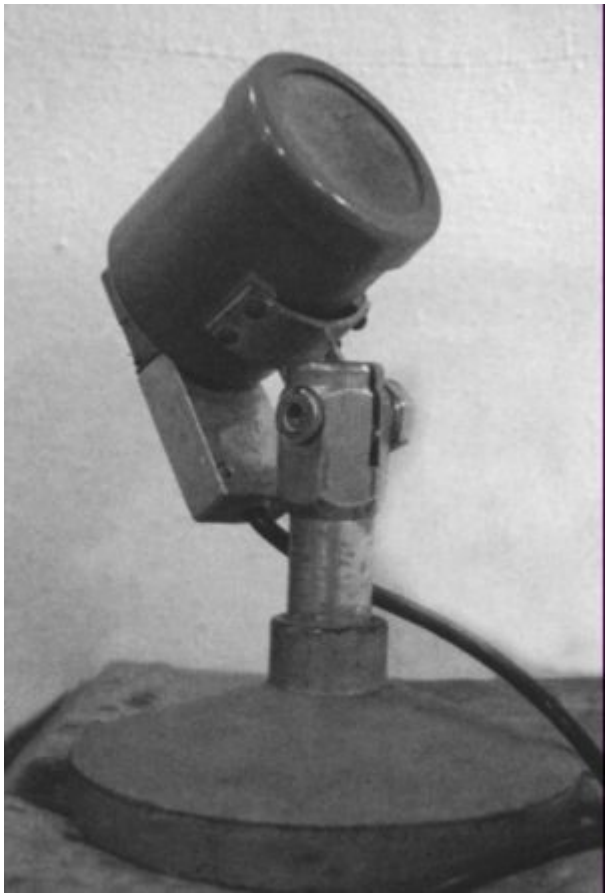
В трудных условиях осажденного Ленинграда тов. БЕРГОЛЬЦ проявила подлинную организованность, четкость и настойчивость в выполнении заданий. Принимая самое активное участие в работе редакции, проявляя много инициативы в деле улучшения радиовещания, она, в то же время, не отказывалась ни от какой черновой работы и во многом помогала редакционному аппарату Ленинградского Радиокомитета.

Главный редактор
Ленинградского Радиокомитета
/Бабушкин/

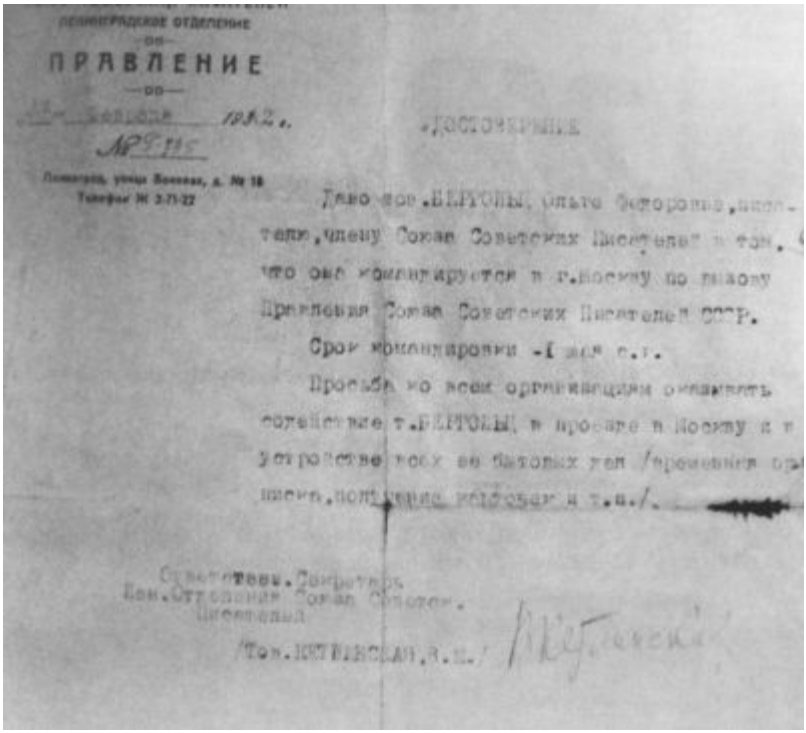
Характеристика, выданная О. Берггольц в Радиокомитете 13 декабря 1941 г. за подписью Я. Бабушкина (Музей Дома Радио)

Г. Макогоненко, О. Берггольц и Я. Бабушкин в Радиокомитете. Ноябрь 1941 г. (РГАЛИ)

О. Берггольц и Г. Макогоненко (второй слева). На обороте надпись рукой Берггольц: «Фронт, Карельский перешеек, сентябрь 1942 г.» (РГАЛИ)



С помощью таких микрофонов велись трансляции на блокадный город. Февраль 2010 г. (Музей Дома Радио)



ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЕ

1942 г.

№ 9-115

Ленинград, улица Воинова, д. № 18
Телефон № 2-71-22

«Достоверно.»

Дано сие ...ГОЛЬЦ, Ольге Федоровне, писательнице, члену Союза Советских Писателей в том, что она командируется в г. Москву по делам Правления Союза Советских Писателей СССР.

Срок командировки - 1 (один) м.

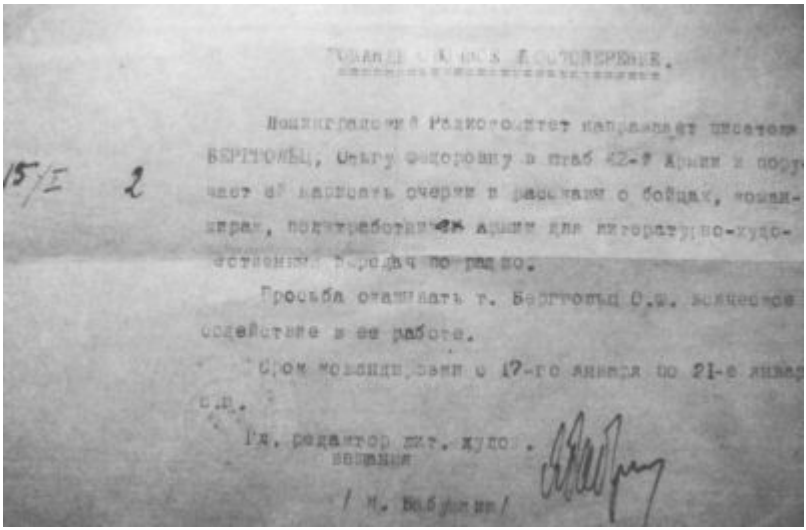
Просьба ко всем организациям оказывать содействие т. БЕРГОЛЬЦ в проезде в Москву и в устройстве всех ее бытовых дел (временная прописка, получение хлебных карточек и т.п.).

Ответственный Секретарь
Ленинградского Союза Советских Писателей

(Тов. ...ВСКАЯ)

Удостоверение от 27 февраля 1942 г., выданное правлением Ленинградского отделения Союза советских писателей.

Именно эта командировка, организованная друзьями, спасла О. Берггольц от гибели. В Ленинград она вернулась на десять дней раньше предписанного срока (Музей Дома Радио)



15/I 2

Ленинградский Радиокомитет направляет писателя
БЕРГГОЛЬЦ, Ольгу Федоровну в штаб 42-й Армии и поруч
чает ей написать очерки и рассказы о бойцах, команди
рах, подготовить для Армии для литературно-худо
жественных передач по радио.

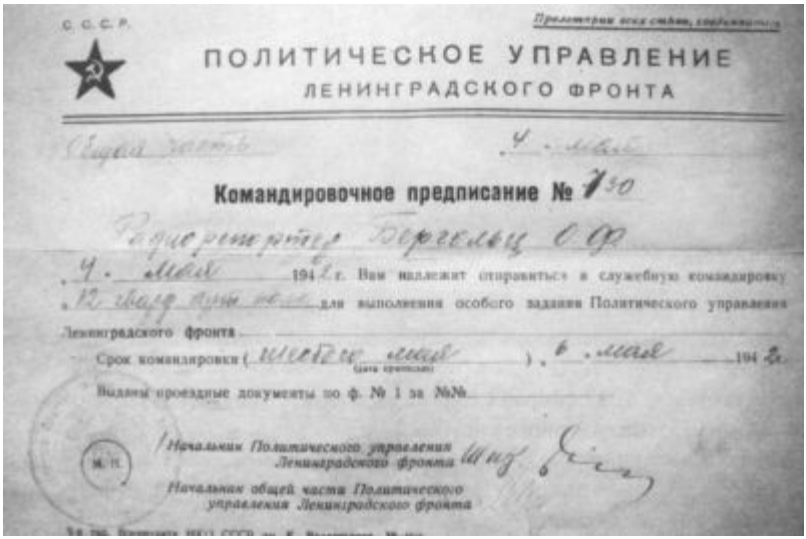
Просьба оказывать т. Бергольц О.Ф. всяческое
содействие в ее работе.

Срок командировки с 17-го января по 21-е янва
р.с.г.

Гл. редактор лит. худо
вещания

/ М. Бабушкин /

Командировочное удостоверение от 15 января 1942 г., выданное для поездки в штаб 42-й Армии (Музей Дома Радио)



С. С. С. Р.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

4 мая

Командировочное предписание № 730

Радиорежиссер Бергольц О.Ф.

4 мая 1942 г. Вам надлежит отправиться в служебную командировку
в 12 гвард. арт. роту для выполнения особого задания Политического управления
Ленинградского фронта.

Срок командировки (шестнадцать суток) (цифра прописью) 6 мая 1942 г.

Выданы проездные документы по ф. № 1 за №№

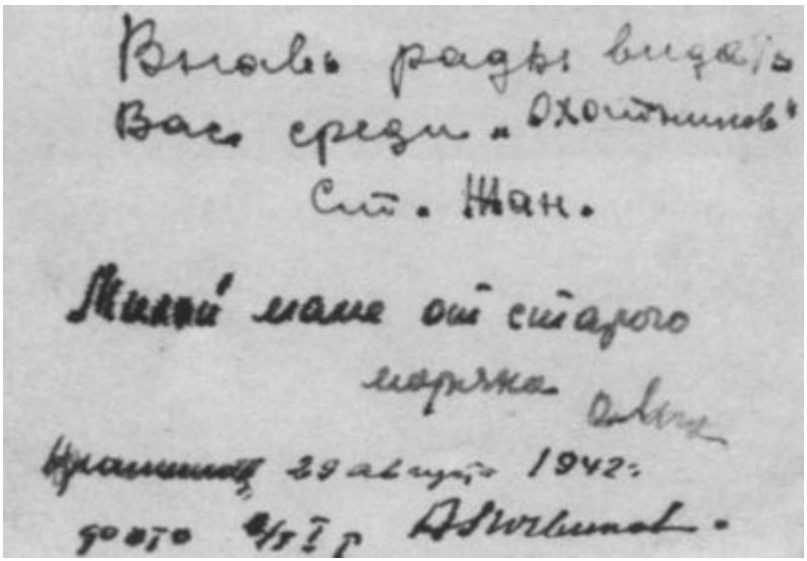
М. П.

Начальник Политического управления
Ленинградского фронта

Начальник общей части Политического
управления Ленинградского фронта

Командировочное предписание от 4 мая 1942 г., выданное для поездки в 12-ю гвардейскую артиллерийскую роту (Музей Дома Радио)

В расположении дивизиона МО (Морских охотников). 29 августа 1942 г.

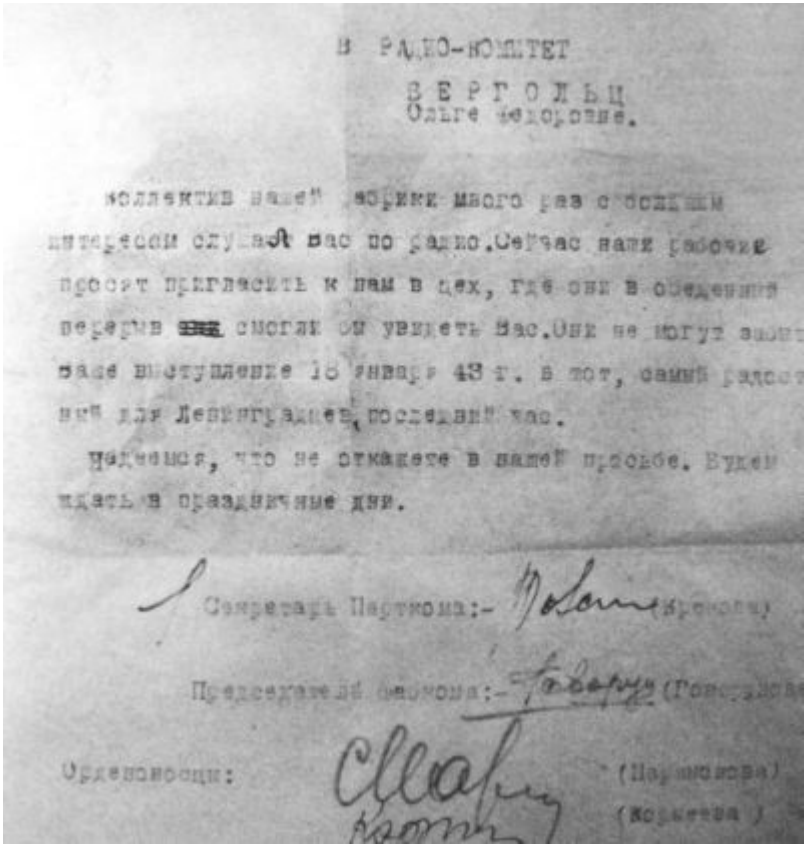


Подписи на обороте фотографии (РГАЛИ)

Осень 1942 г. (РГАЛИ)

На совещании писателей-балтийцев. Зима 1942/43 г. (ИРЛИ)

Сигнальный аппарат (сирена), оповещавший ленинградцев о начале воздушного налета (Музей Дома Радио)



В РАДИО-КОМИТЕТ

БЕРГОЛЬЦ
Ольге Федоровне.

Коллектив нашей фабрики много раз с большим интересом слушал вас по радио. Сейчас наши рабочие просят пригласить к нам в цех, где они в обеденный перерыв смогли бы увидеть Вас. Они не могут забыть ваше выступление 18 января 43 г. в тот, самый радостный для Ленинградцев, последний час.

Надеемся, что не откажете в нашей просьбе. Будем ждать в праздничные дни.

Секретарь Парткома:-

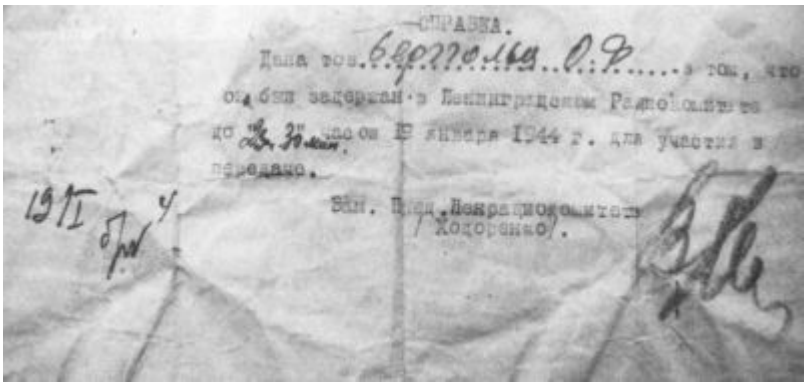
Председатель месткома:-

Орденоносцы:

(Парамонова)

(Кокорева)

Письмо на имя О. Берггольц от 16 февраля 1943 г. с приглашением выступить перед рабочими одной из ленинградских фабрик (Музей Дома Радио)



СПРАВКА.

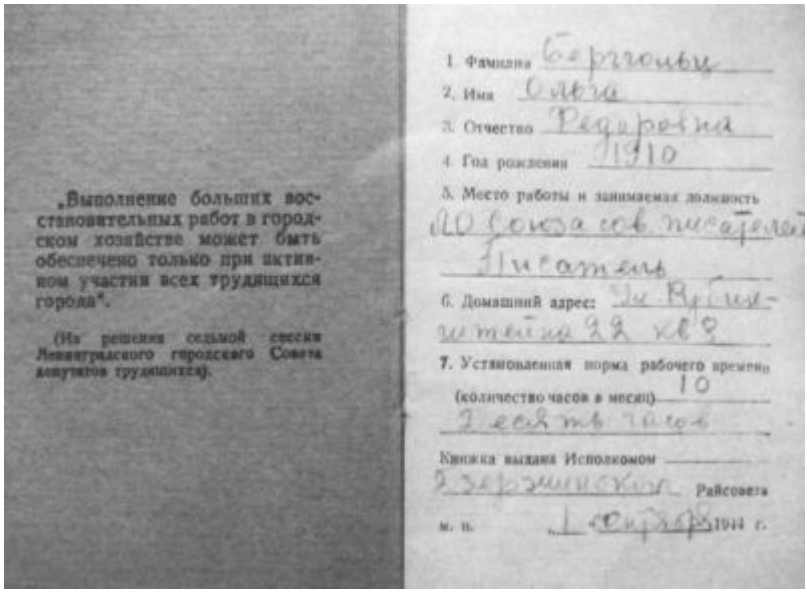
Дана тов. Берггольц О.Ф. в том, что она была делегатом в Ленинградском Радиокомитете до 23 часов 19 января 1944 г. для участия в передаче.

Зам. Пред. Ленрадиокомитета
/Кокорева/.

19 I

Справка от 19 января 1944 г., выданная для передвижения по

городу во время комендантского часа (Музей Дома Радио)



„Выполнение больших восстановительных работ в городском хозяйстве может быть обеспечено только при активном участии всех трудящихся города".

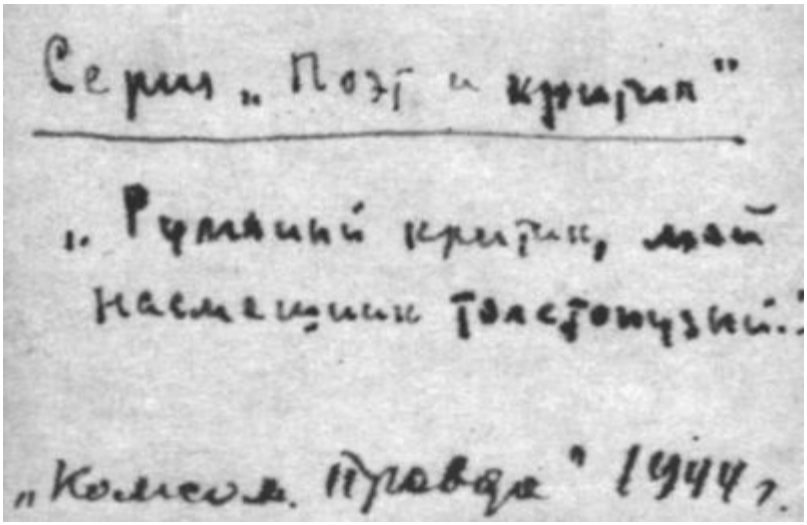
(Из решения седьмой сессии Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся).

1. Фамилия Берггольц
2. Имя Ольга
3. Отчество Федоровна
4. Год рождения 1910
5. Место работы и занимаемая должность
Л О Союза сов. писателей
Писатель
6. Домашний адрес: Ул. Рубинштейна 22 кв 9
7. Устанавливаемая норма рабочего времени (количество часов в месяц) 10
Десять часов
Книжка выдана Исполкомом Дзержинского Райсовета
м. п. 1 Сентября 1944 г.

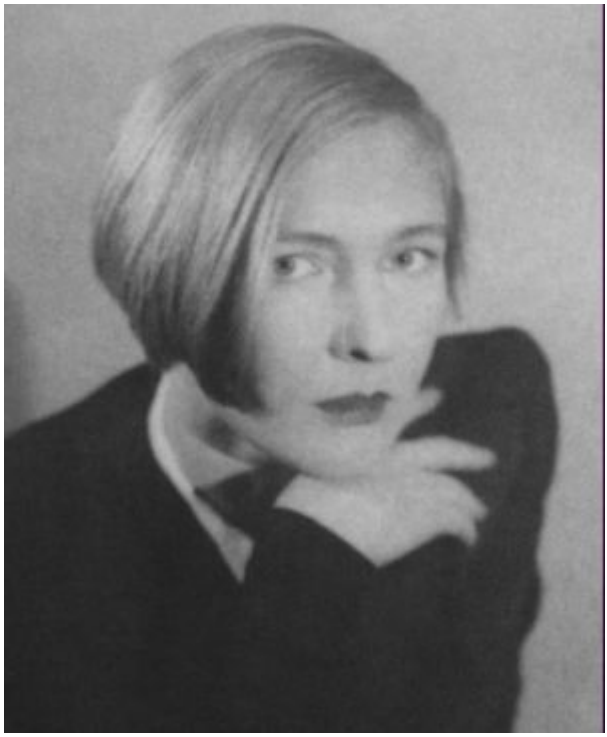
Членский билет Л О Союза советских писателей (Музей Дома Радио)

«Уголок редактора» со знаменитым репродуктором-«тарелкой». 1941 — 1945. Февраль 2010 г. (Музей Дома Радио)

Москва. В редакции газеты «Комсомольская правда». 1944 (ИРЛИ)



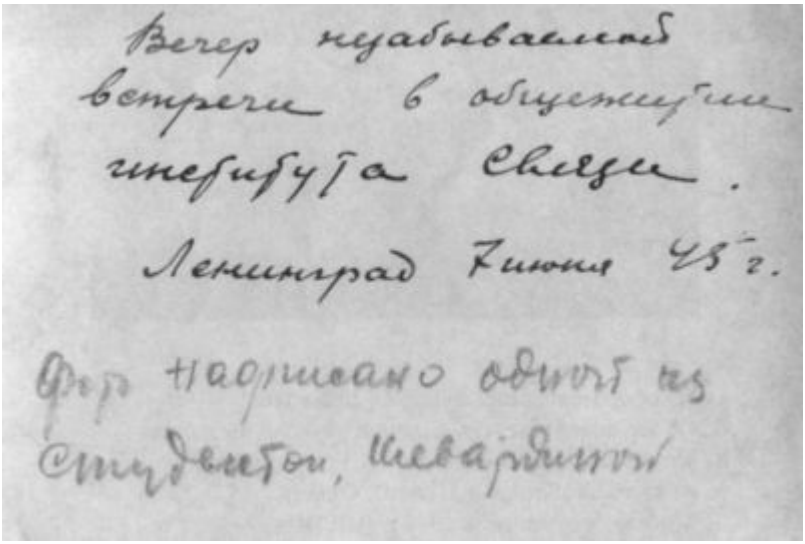
На обороте фотографии надпись, сделанная О. Берггольц (ИРЛИ)



О. Берггольц. 1945 (РГАЛИ)

7 июня 1945 г. После выступления в общежитии

Ленинградского электротехнического института связи (ЛЭИС) им. Бонч-Бруевича



Надписи на обороте фотографии (внизу рукой О. Берггольц: «Фото надписано одной из студенток, Шевардиной») (РГАЛИ)

Москва, март-апрель 1946 г. (ИРЛИ)

На обороте надпись рукой О. Берггольц:

«А это вовсе и не я, т. е., вернее, я, если бы я была членом Верховного Совета ССР, знатной дояркой из колхоза „Красные Пупк***и***“. Ольга».

Ольга Форш, Александр Фадеев, Ольга Берггольц, Елена Катерли, Константин Симонов, Александр Прокофьев. 1946 (ИРЛИ)

О. Берггольц. 1946 (ИРЛИ)

Ф. Х. Берггольц. 1940-е (РГАЛИ)

А. Ахматова и О. Берггольц. 1947

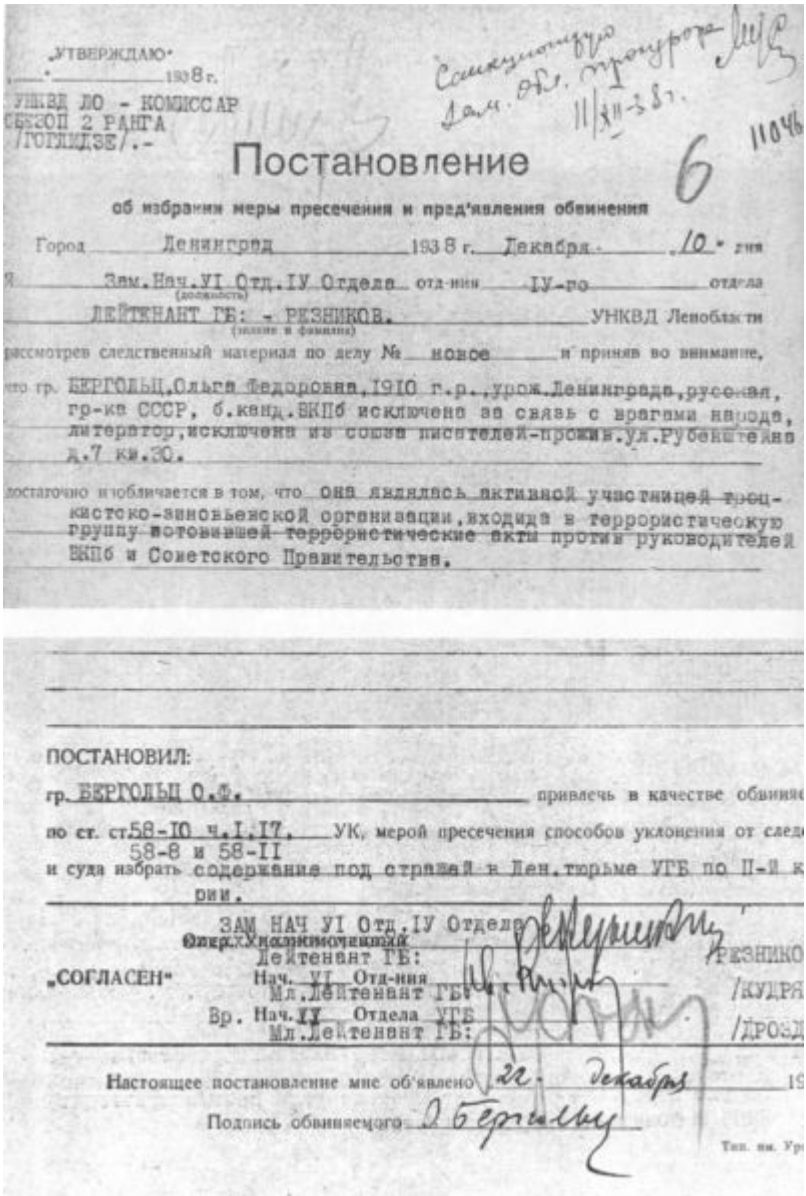
Пишущая машинка «ремингтон», «арестованная» в 1938 г. и вместе с О. Берггольц вернувшаяся на волю.

На этой машинке написаны тексты, относящиеся ко времени «жестокого расцвета»: тюремные и блокадные стихотворения, поэмы «Февральский дневник», «Ленинградская поэма» и «Твой путь»...

(Семейная реликвия. Изображение любезно предоставлено Г. А. Лебединской). *Публикуется впервые.*

Фотографии из архивного следственного Дела № П-8870 (Архив Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

Все материалы из Дела публикуются впервые.



"УТВЕРЖДАЮ"
"____" _____ 1938 г.
УНКВД ЛО - КОМИССАР
ГОСБЕЗОП 2 РАНГА
/ГОГЛИДЗЕ/.-

Совершенно секретно
Зам. Нач. 1 Отд. Прокурора
11/XII-38 г.

6 11046

Постановление

об избрании меры пресечения и пред'явления обвинения

Город Ленинград 1938 г. Декабря 10 дня

Я Зам. Нач. VI Отд. IV Отдела отд-ния IV-го отдела
(должность)
ЛЕЙТЕНАНТ ГБ: - РЕЗНИКОВ. УНКВД Ленобласти
(звание и фамилия)

рассмотрев следственный материал по делу № новое и приняв во внимание,

что гр. БЕРГОЛЬЦ, Ольга Федоровна, 1910 г.р., урож. Ленинграда, русская, гр-ка СССР, б. канд. ВКПб исключена за связь с врагами народа, литератор, исключена из союза писателей-прожив. ул. Рубинштейна д. 7 кв. 30.

достаточно изобличается в том, что она являлась активной участницей троцкистско-зиновьевской организации, входила в террористическую группу готовившей террористические акты против руководителей ВКПб и Советского Правительства.

ПОСТАНОВИЛ:

гр. БЕРГОЛЬЦ О.Ф. привлечь в качестве обвиняе

по ст. ст. 58-10 ч. I, 17, 58-8 и 58-11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следо

и суда избрать содержание под стражей в Лен. тюрьме УГБ по П-й ка
рии.

ЗАМ НАЧ VI Отд. IV Отдела
Оперуполномоченный
Лейтенант ГБ: /РЕЗНИКО

"СОГЛАСЕН" Нач. VI Отд-ния
Мл. Лейтенант ГБ: /КУДРЯ

Вр. Нач. IV Отдела УГБ
Мл. Лейтенант ГБ: /ДРОЗД

Настоящее постановление мне об'явлено 22 Декабря 19

Подпись обвиняемого О Бергольц

Тип. им. Ур

Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения от 10 декабря 1938 г. Указано, что уже исключена из кандидатов в члены ВКП(б) за связь с врагами народа

С. С. С. Р.

УПРАВЛЕНИЕ НКВД ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОРДЕР № 11/046

„13" Декабря 1938 г.

Выдан

Управления Государственной Безопасности УНКВД по ЛО

Ефимов-Тюленеву

производство обыска и ареста

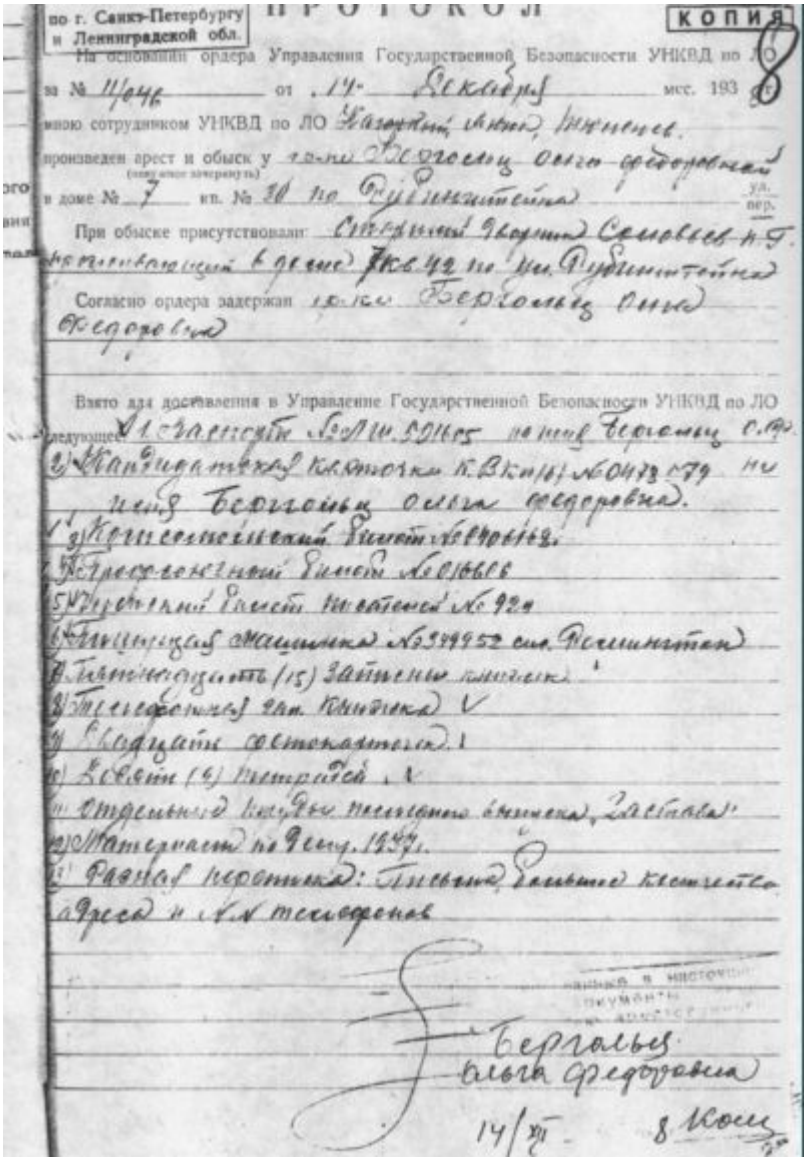
Бергольц Ольги Федоровны

ул. Рубинштейна 7 кв. 30.

Начальник Управления
НКВД по ЛО

Начальник Второго Отдела УГБ

Ордер на производство обыска и арест



ПРОТОКОЛ

КОПИЯ

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

На основании ордера Управления Государственной Безопасности УНКВД по ЛО

за № 11/946 от 14 Декабря мсс. 193 6 г.

мною сотрудником УНКВД по ЛО Лейтенант Госбезопасности Тимофеев.

произведен арест и обыск у гр-ки Бергольц Ольги Федоровны

(фам. имя отчество зачеркнуть)

в доме № 7 кв. № 20 по Бурденинской ул. пер.

При обыске присутствовали: Старший дворник Семенов Н.Г.

проживающий в доме № 7 по ул. Бурденинской

Согласно ордера задержан гр-ка Бергольц Ольга Федоровна

Взято для доставления в Управление Государственной Безопасности УНКВД по ЛО

следующее: 1) Паспорт Серия III-ОЛК № 201605 на имя Бергольц О.Ф.

2) Кандидатская карточка К.ВКП(б) № 0478679 на имя Бергольц Ольга Федоровна.

3) Комсомольский билет № 6290162.

4) Профсоюзный билет № 6290162.

5) Трудовая книжка № 929

6) Пенсионная книжка № 399952 выд. Василеостр.

7) Паспортная (15) Записей нет.

8) Телефонная кн. Книжка V

9) Квитанц. сберкнижка 1

10) Деньги (6) Тетрадей 1

11) Отдельный листок печатного текста, 3 листа.

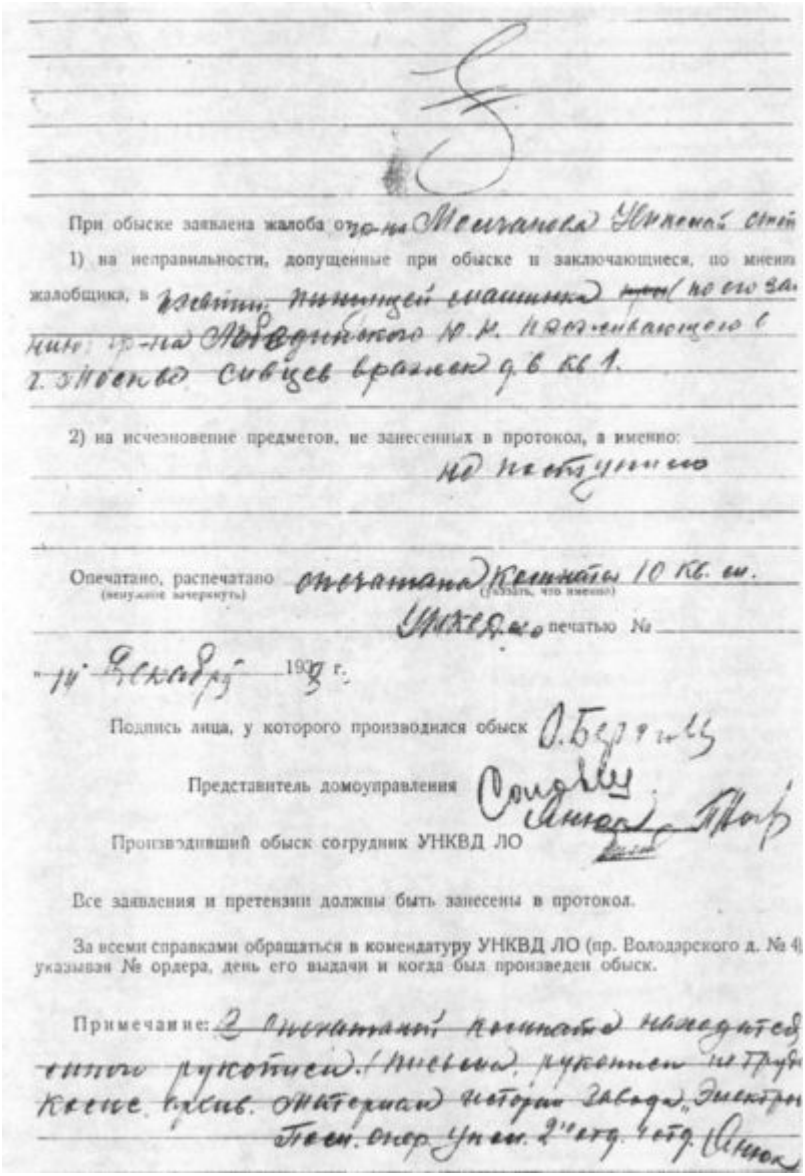
12) Материал на 9 стр. 1937 г.

13) Разная переписка: Письма, записки частного адреса и т.п. телеграмма

Бергольц Ольга Федоровна

14/XI 8 коп

Протокол обыска. Лист 1.



При обыске заявлена жалоба от гр-на Мещанова Ивана Степ

1) на неправильности, допущенные при обыске и заключающиеся, по мнению жалобщика, в изъятии пишущей машинки при не его зам. гр-на Володарского Н.К. проживающего с г. Таганрог Свободы врагам д. 6 кв 1.

2) на исчезновение предметов, не занесенных в протокол, а именно: не присутствовало

Опечатано, распечатано (ненужное зачеркнуть) опечатано Комнаты 10 кв. м. (указать, что именно) УНКВД по печатью №

"19" декабря 1937 г.

Подпись лица, у которого производился обыск О. Берггольц

Представитель домоуправления Сидоров

Производивший обыск сотрудник УНКВД ЛО

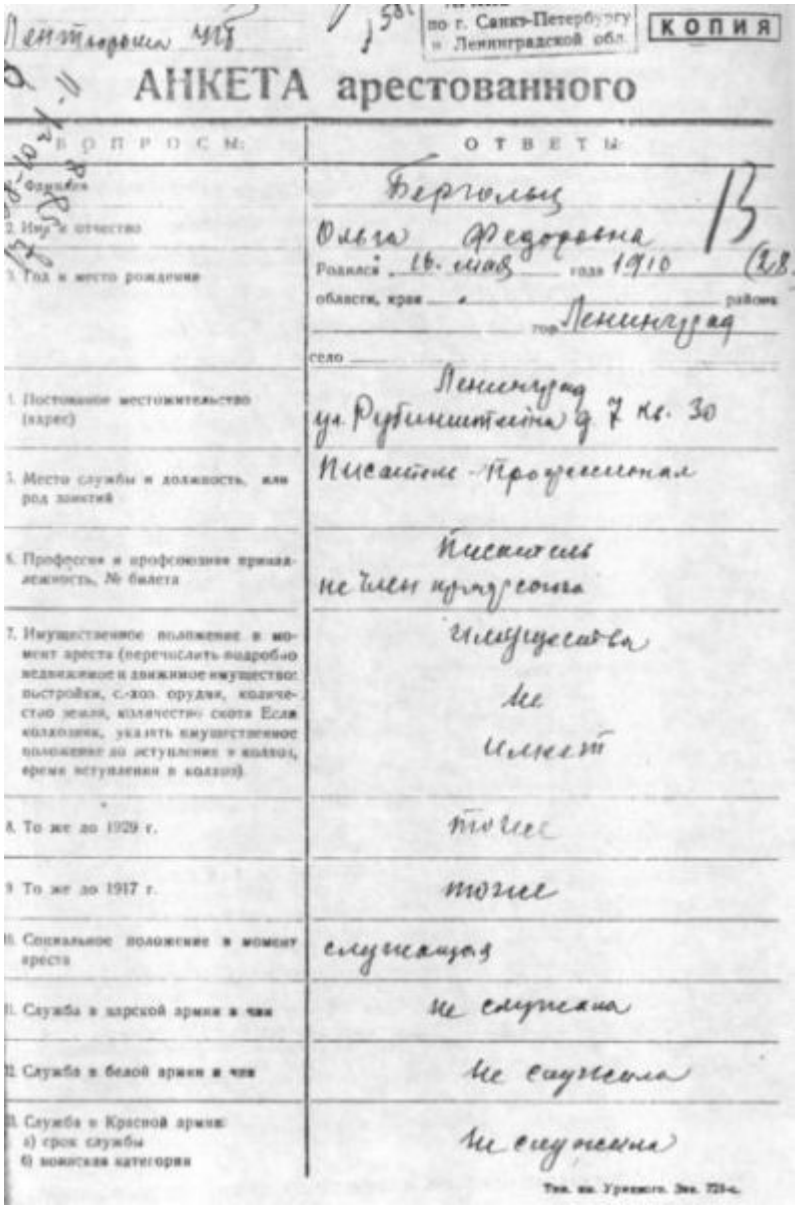
Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол.

За всеми справками обращаться в комендатуру УНКВД ЛО (пр. Володарского д. № 4) указывая № ордера, день его выдачи и когда был произведен обыск.

Примечание: 2 опечатанных комнаты находятся в этой квартире. Имеется пишущая машинка "Ремингтон" № 349952 и разные рукописи. Опечатано печатью Гаврилова Электро Госуд. опер. уполн. 2 отд. 4 отд. Иванов

Протокол обыска. Л.2

Для «доставления в Управление Государственной безопасности» изъяты среди прочего пишущая машинка №349952 системы «ремингтон», пятнадцать записных книжек, девять тетрадей, материалы к роману «Застава»



по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

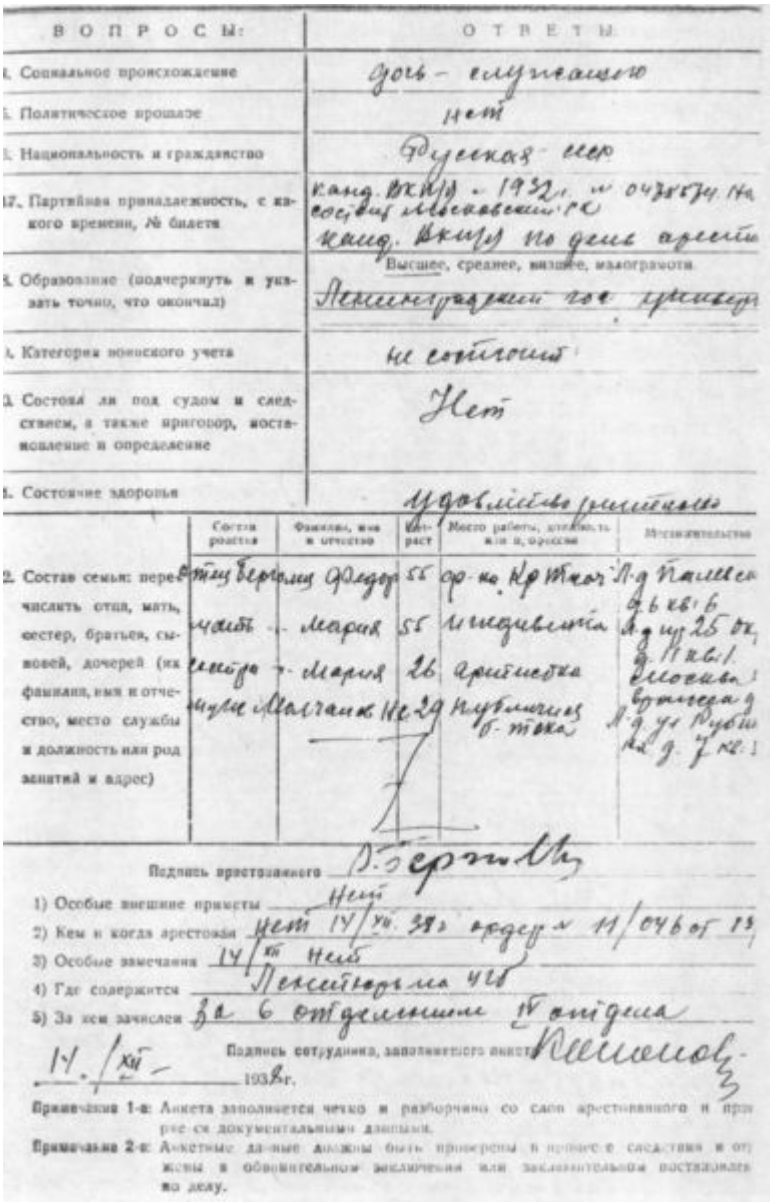
КОПИЯ

АНКЕТА арестованного

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
1. Фамилия	Бергольц
2. Имя и отчество	Ольга Федоровна
3. Год и место рождения	Родился 16 мая года 1910 (28) области, края район город Ленинград село
4. Постоянное местожительство (адрес)	Ленинград ул. Рубинштейна д 7 кв. 30
5. Место службы и должность, или род занятий	Писатель-Профессионал
6. Профессия и профсоюзная принадлежность, № билета	Писатель не член профсоюза
7. Имущественное положение в момент ареста (перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: выстройки, с.-хоз. орудия, количество земли, количество скота. Если колхозник, указать имущественное положение до вступления в колхоз, время вступления в колхоз)	Имущества не имеет
8. То же до 1929 г.	то же
9. То же до 1917 г.	то же
10. Социальное положение в момент ареста	служащая
11. Служба в царской армии и чин	не служила
12. Служба в белой армии и чин	не служила
13. Служба в Красной армии: а) срок службы б) воинская категория	не служила

Тип. им. Урицкого. Зак. 728-с.

Анкета арестованного. Л.1



ВОПРОСЫ:	ОТВЕТЫ
1. Социальное происхождение	дочь – служащего
2. Политическое прошлое	нет
3. Национальность и гражданство	Русская – ссср
17. Партийная принадлежность, с какого времени, № билета	Канд. ВКП(б) – 1932 г. № 0438574 На основ. Московского ГК Канд. ВКП(б) по делу ареста
18. Образование (подчеркнуть и указать точно, что окончил)	Высшее, среднее, низшее, малограмотн. Ленинградский гос. университет
19. Категория воинского учета	не состоит
20. Состоял ли под судом и следствием, а также приговор, постановление и определение	Нет
21. Состояние здоровья	удовлетворительное

22. Состав семьи: перечислить отец, мать, сестер, братьев, сыновей, дочерей (их фамилия, имя и отчество, место службы и должность или род занятий и адрес)

Состав родства	Фамилия, имя и отчество	Возраст	Место работы, должность или профессия	Местожительство
отец	Берхольц Федор	55	ср. на Кр. Ткач. Л-д Пашков	7 кв. 6
мать	Мария	55	домохозяйка	Л-д ул 25 Окт, д. 11 кв. 1
сестра	Мария	26	архивариус	Москва, Волхонка д. 9, ул Рубин Л-д. 7 кв. 1
муж	Мальчанк Не	29	публицист б-тека	

Подпись арестованного Берхольц

1) Особые внешние приметы Нет

2) Кем и когда арестован нет 14/XII. 37 г. ордер № 11/046 от 13

3) Особые замечания 14/XII Нет

4) Где содержится Лефортовская 46

5) За кем зачислен За 6 отделением IV отдела

14./XII – Подпись сотрудника, заполнявшего анкету Кашников

193 8г.

Примечание 1-е: Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется документальными данными.

Примечание 2-е: Анкетные данные должны быть проверены в процессе следствия и отражены в обвинительном заключении или заключительном постановлении по делу.

Анкета арестованного. Л.2

АРХИВ УФСБ РФ
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской обл.

КОПИЯ

С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление НКВД—СССР по Ленинградской области

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

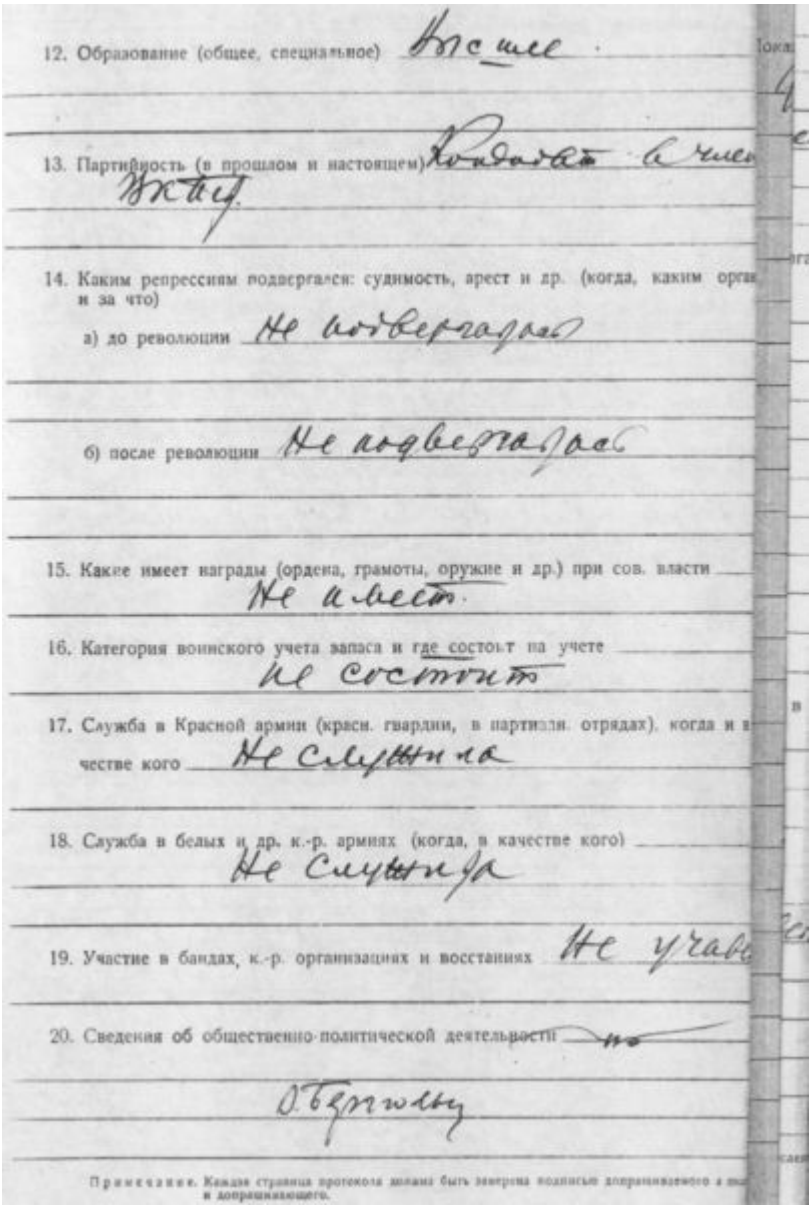
К ДЕЛУ №

193/ г. Ленингр мес. 14 дня. Я. Нач. 6 отд. 1 отд. Управ. УГБ
(должн., звание, орган, фамилия)
Куприянов допросил в качестве обвиняемого

14

1. Фамилия Берггольц
2. Имя и отчество Ольга Федоровна
3. Дата рождения 1910 г.
4. Место рождения г. Ленинград
5. Местожительство г. Ленинград ул. Рубинштейна 7 кв 30
6. Нац. и гражд. (подданство) русская
7. Паспорт арестован при аресте.
(когда и каким органом выдан, номер, категор. и место прописки)
8. Род занятий писатель
(место службы и должность)
9. Социальное происхождение служащая. Отец врач
(род занятий родителей и их имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)
а) до революции при родителях
б) после революции учебой - писатель.
11. Состав семьи Замужем. Муж Молчанов Ник. Степ. Ст. библиотекарь публичной библ., Дочь Берггольц Ирина Христофоровна 4 г., мать Мария Тимофеевна домашняя. Дочь живет Пушкинская ул. 7 б кв 6. Мать Ар. 25 ок. 1937 г.

Протокол первого допроса. Л.1



12. Образование (общее, специальное) Высшее

13. Партийность (в прошлом и настоящем) Кандидат в чле
Вжп.

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, каким орга
и за что)

а) до революции Не подвергался

б) после революции Не подвергался

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. власти
Не имеет.

16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
не состоит

17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в
честве кого Не служил

18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в качестве кого)
Не служил

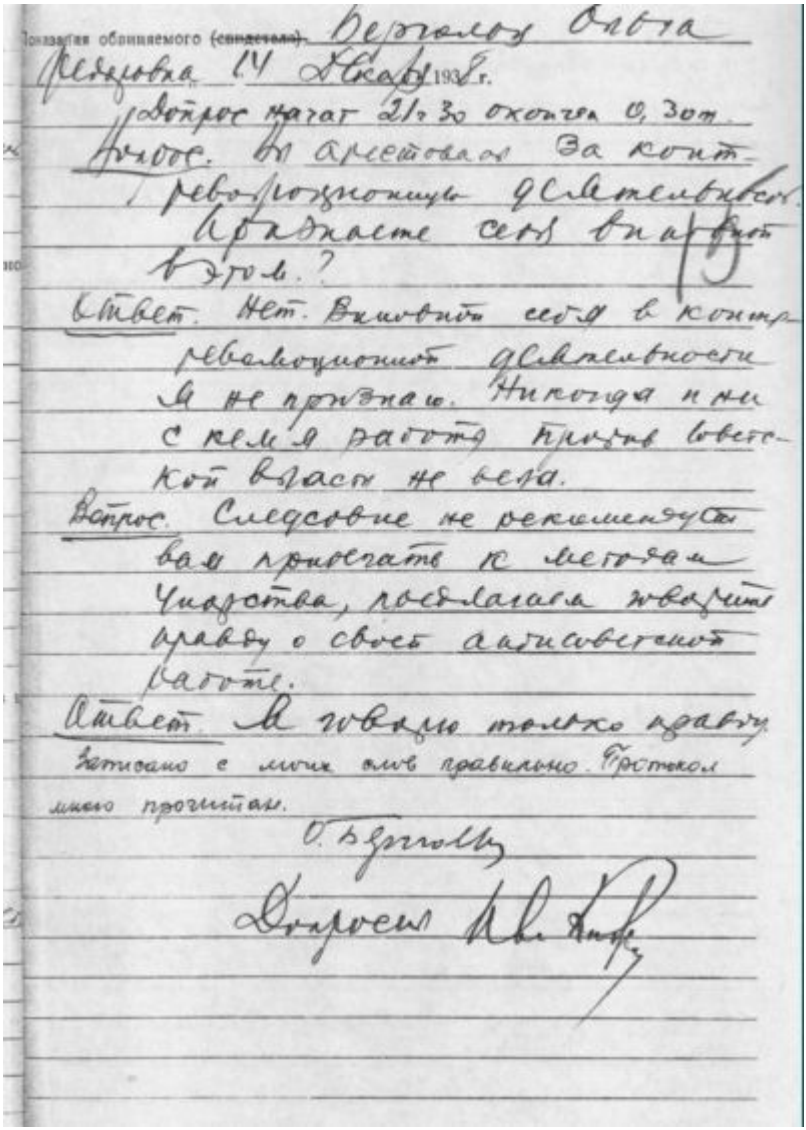
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях Не учав

20. Сведения об общественно-политической деятельности —

Обязан

Примечание. Каждая страница протокола должна быть заверена подписью допрашиваемого и
и допрашивающего.

Протокол первого допроса. Л.2



Показания обвиняемого (~~свидетеля~~) Вергольд Ольга Федоровна 14 Января 1938 г.

Допрос начат 21.30 окончен 0.30 ночи.

Вопрос. За что арестована за контрреволюционную деятельность?

Ответ. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда ни с кем я работу против советской власти не вела.

Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам умалчивания, рассчитанным уверить правду о своей шпионской работе.

Ответ. Я говорю только правду.

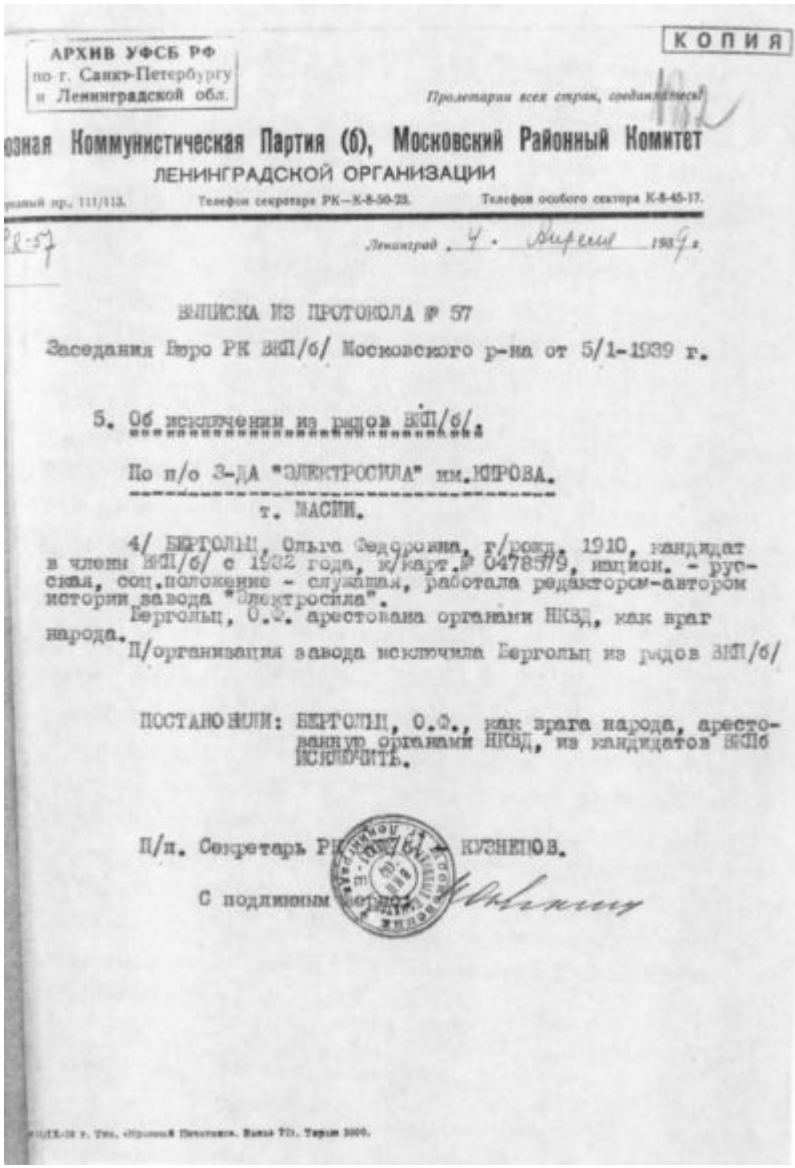
Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан.

О. Вергольд

Допросил [illegible]

Протокол первого допроса. Л.3

Допрашивал начальник 6-го отделения 4-го отдела УГБ Иван Кудрявцев. Допрос из семи фраз длился три часа.



КОПИЯ

АРХИВ УФСБ РФ
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской обл.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

...озная Коммунистическая Партия (б), Московский Районный Комитет
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

...ный пр., 111/113. Телефон секретаря РК—К-8-50-23. Телефон особого сектора К-8-45-17.

...-57 Ленинград 4 апреля 1939 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 57

Заседания Бюро РК ВКП/б/ Московского р-на от 5/1-1939 г.

5. Об исключении из рядов ВКП/б/.

По п/о З-ДА "ЭЛЕКТРОСИЛА" им.КИРОВА.

т. МАСИН.

4/ БЕРГОЛЬЦ, Ольга Федоровна, г/рожд. 1910, кандидат в члены ВКП/б/ с 1932 года, к/карт.№ 0478579, национ. - русская, соц.положение - служащая, работала редактором-автором истории завода "Электросила".

Бергольц, О.Ф. арестована органами НКВД, как враг народа.

П/организация завода исключила Бергольц из рядов ВКП/б/

ПОСТАНОВИЛИ: БЕРГОЛЬЦ, О.Ф., как врага народа, арестованную органами НКВД, из кандидатов ВКПб ИСКЛЮЧИТЬ.

П/п. Секретарь РК ВКП/б/ КУЗНЕЦОВ.

С подлинником верно

...IX-38 г. Тип. «Красная Печатница». Вывз 721. Тираж 3000.

Постановление об исключении из кандидатов в ряды ВКП(б) от 5 января 1939 г.

АРХИВ УФСБ РФ
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской обл.

КОПИЯ

В Следственную часть Облсуда

Берггольц Ольга Федоровна работала в 6 школе Московского района с 37 г. по 1/IX-38 г. Вела русский язык и литературу в классах. Чувствуя себя молодым педагогом Берггольц О. Ф. внимание уделяла вопросу подготовки к урокам. Итого на часов уроков. Консультировалась с методистами как поставить работу в классе. С дисциплиной в классе [illegible] класс.

[illegible] участие в общественной жизни школы, в воспитательской классе. Проводила беседы с уч[illegible] по датам Красного календаря. Вела кружок [illegible] политики.

[illegible] автобиографии Берггольц в деле школы нет.

Директор школы:

Характеристика на О. Берггольц, выданная директором школы № 6 Московского района Е. Д. Левитиной по запросу УГБ НКВД

В дело 14/XI-46

ХАРАКТЕРИСТИКА

БЕРГГОЛЬЦ, Ольга Федоровна, 1910 г. рожд., член ВКП/б/ с 1940 г./кандидатский срок с 1932 г./ партбилет № 3121168,- уроженка Ленинграда /б.Петербурга/, образование - высшее, русская.

Член Союза Советских Писателей с 1934 г., исключена в связи с арестом в 1937 г. и восстановлена в 1939 г.

Начала работу, как детский писатель, поэт и очеркист в 1930г.

С 1941 г. всю блокаду Ленинграда проработала в осажденном городе, писала для центральных, ленинградских, армейских газет и журналов, для Ленинградск. Радиокомитета, - выступала по радио не только со стихами, но и с публицистическими статьями, поднимавшими моральный дух защитников Ленинграда. В эти дни издала четыре книги /"Ленинградская поэма", "Ленинградская тетрадь", "Ленинграду", "Ленинградский дневник"/ определившие ее, как поэта большой гражданской темы, мужества, любви к народу и родине.

В послевоенном творчестве Берггольц появились нотки упадничества, индивидуализма, - она не смогла перестроиться на лад мирной жизни и продолжала воспевать в ленинградской теме, главным образом, тему страдания и ужасов перенесенной блокады. В тоже время О.Берггольц допустила крупную ошибку восхваляя безыдейно-эстетское творчество Ахматовой. В настоящее время Берггольц заявила о своем разрыве с влиявшей на нее творчеством Ахматовой, но пока не доказала это своими произведениями.

В общественной работе Союза и в жизни писателей и парторганизации принимает слабое участие.

Секретарь партбюро
ЛО Союза Совет. Писателей:
/Браусевич/

2.XI.46

Характеристика на О. Берггольц, подписанная Л. Браусевичем, секретарем партбюро ЛО Союза советских писателей. 1946

нерная паспортом.

Вчера, идучи к фельдшеру Бурану, видела своими глазами, как не женщинам пашут.

Репинские бурлаки - детский сон.

Врач. Земскова не дает мужу „вооружаться паспортами".

- Она каждый раз выступает, страшно нервничает, но обязательно кого-нибудь обидит, испугает, и так грубо. О ком, что она обитает, „навешивает на человека", „собирает материал" - говорят решительно все. Тогда понятно, она, видимо, полагает, что это - партийная критика и самокритика.

А я чуть было не умилилась, когда она бранила избалку Лиду, телушку-овершетку. - „Где дрова показывала?" Ишь писала, что это - фрунда.

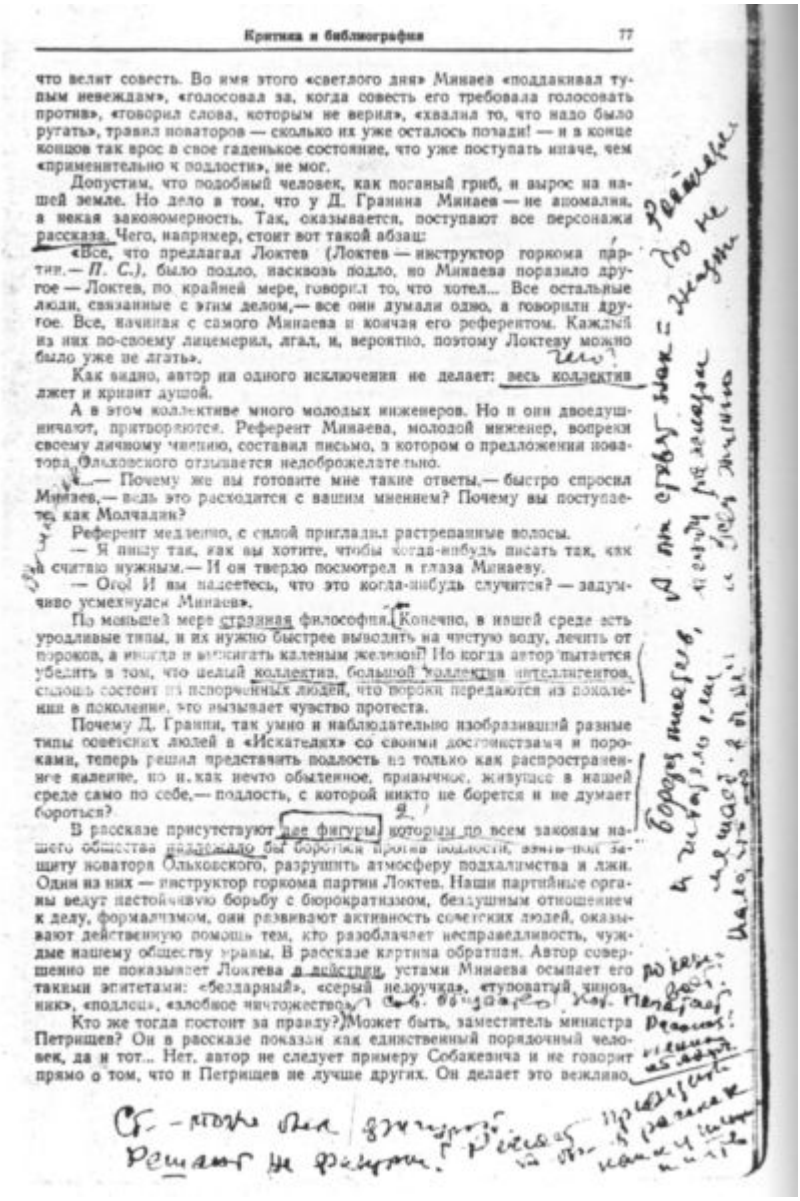
Пробитая гвоздем страница дневника с записью от 26 мая 1949 г.

Здание бывшей школы № 6 Московского района (Смоленская ул., 14), где работала О. Берггольц. Февраль 2010 г.

«Слеза социализма» (дом на ул. Рубинштейна, 7). Февраль 2010 г. Мемориальная доска на доме. Надпись: «В этом доме с 1932 по 1943 год жила и работала поэт Ольга Федоровна Берггольц»

Здание Дома Радио (бывший Ленинградский Радиокомитет). Малая Садовая ул., 2 (бывшая ул. Пролеткульта). Февраль 2010 г.

Современный вид студии № 3 Ленинградского Радиокомитета. Из нее велось в блокаду радиовещание. Подвальная студия не сохранилась. Февраль 2010 г.



Критика и библиография 77

что велит совесть. Во имя этого «светлого дня» Минаев «подлаживал тупым невеждам», «голосовал за, когда совесть его требовала голосовать против», «говорил слова, которым не верил», «хвалил то, что надо было ругать», травил новаторов — сколько их уже осталось позади! — и в конце концов так врос в свое гаденькое состояние, что уже поступать иначе, чем «применительно к подлости», не мог.

Допустим, что подобный человек, как поганый гриб, и вырос на нашей земле. Но дело в том, что у Д. Гранина Минаев — не аномалия, а некая закономерность. Так, оказывается, поступают все персонажи рассказа. Чего, например, стоит вот такой абзац:

«Все, что предлагал Локтев (Локтев — инструктор горкома партии.— *П. С.*), было подло, насквозь подло, но Минаева поразило другое — Локтев, по крайней мере, говорил то, что хотел... Все остальные люди, связанные с этим делом,— все они думали одно, а говорили другое. Все, начиная с самого Минаева и кончая его референтом. Каждый из них по-своему лицемерил, лгал, и, вероятно, поэтому Локтеву можно было уже не лгать».

Как видно, автор ни одного исключения не делает: весь коллектив лжет и хранит душой.

А в этом коллективе много молодых инженеров. Но и они двоедушничают, притворяются. Референт Минаева, молодой инженер, вопреки своему личному мнению, составил письмо, в котором о предложении новатора Ольховского отзывается недоброжелательно.

«...— Почему же вы готовите мне такие ответы,— быстро спросил Минаев,— ведь это расходится с вашим мнением? Почему вы поступаете, как Молчалин?

Референт медленно, с силой пригладил растрепанные волосы.

— Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным.— И он твердо посмотрел в глаза Минаеву.

— Ого! И вы надеетесь, что это когда-нибудь случится? — задумчиво усмехнулся Минаев».

По меньшей мере странная философия. Конечно, в нашей среде есть уродливые типы, и их нужно быстрее выводить на чистую воду, лечить от пороков, а иногда и выжигать каленым железом! Но когда автор пытается убедить в том, что целый коллектив, большой коллектив интеллигентов, сплошь состоит из испорченных людей, что пороки передаются из поколения в поколение, это вызывает чувство протеста.

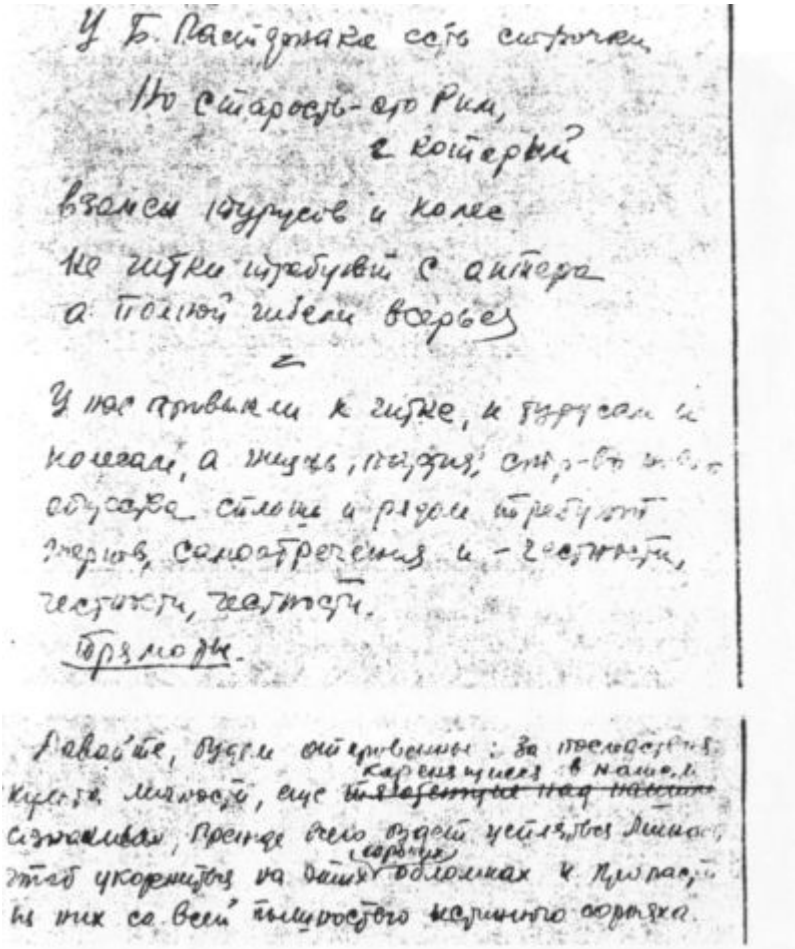
Почему Д. Гранин, так умно и наблюдательно изображавший разные типы советских людей в «Искателях» со своими достоинствами и пороками, теперь решил представить подлость не только как распространенное явление, но и как нечто обычное, привычное, живущее в нашей среде само по себе,— подлость, с которой никто не борется и не думает бороться?

В рассказе присутствуют две фигуры, которые по всем законам нашего общества обязаны бы бороться против подлости, взять под защиту новатора Ольховского, разрушить атмосферу подхалимства и лжи. Один из них — инструктор горкома партии Локтев. Наши партийные органы ведут настойчивую борьбу с бюрократизмом, бездушным отношением к делу, формализмом, они развивают активность советских людей, оказывают действенную помощь тем, кто разоблачает несправедливость, чуждые нашему обществу уроды. В рассказе картина обратная. Автор совершенно не показывает Локтева в действии, устами Минаева осыпает его такими эпитетами: «бездарный», «серый недоучка», «туповатый хитрец», «подлец», «злобное ничтожество».

Кто же тогда постоит за правду? Может быть, заместитель министра Петрищев? Он в рассказе показан как единственный порядочный человек, да и тот... Нет, автор не следует примеру Собакевича и не говорит прямо о том, что и Петрищев не лучше других. Он делает это вежливо,

Страница журнала «Партийная жизнь» с «письмом читателя» под заголовком «Рассказ, вызывающий недоумение».

Некто «полковник П. Стародубцев» обрушился с партийной критикой на «вредное произведение» Д. Гранина - рассказ «Собственное мнение» (Новый мир. 1956. № 8). На полях - пометы О. Берггольц


У Б. Пастернака есть строчки.
Но старость - это Рим,
в который
взамен турусов и колес
не читки требует с актера
а полной гибели всерьез

У нас привыкли к читке, к турусам и колесам, а жизнь, партия, стр-во нового общества сплошь и рядом требуют жертв, самоотречения и - честности, честности, честности, честности.
Прямоты.

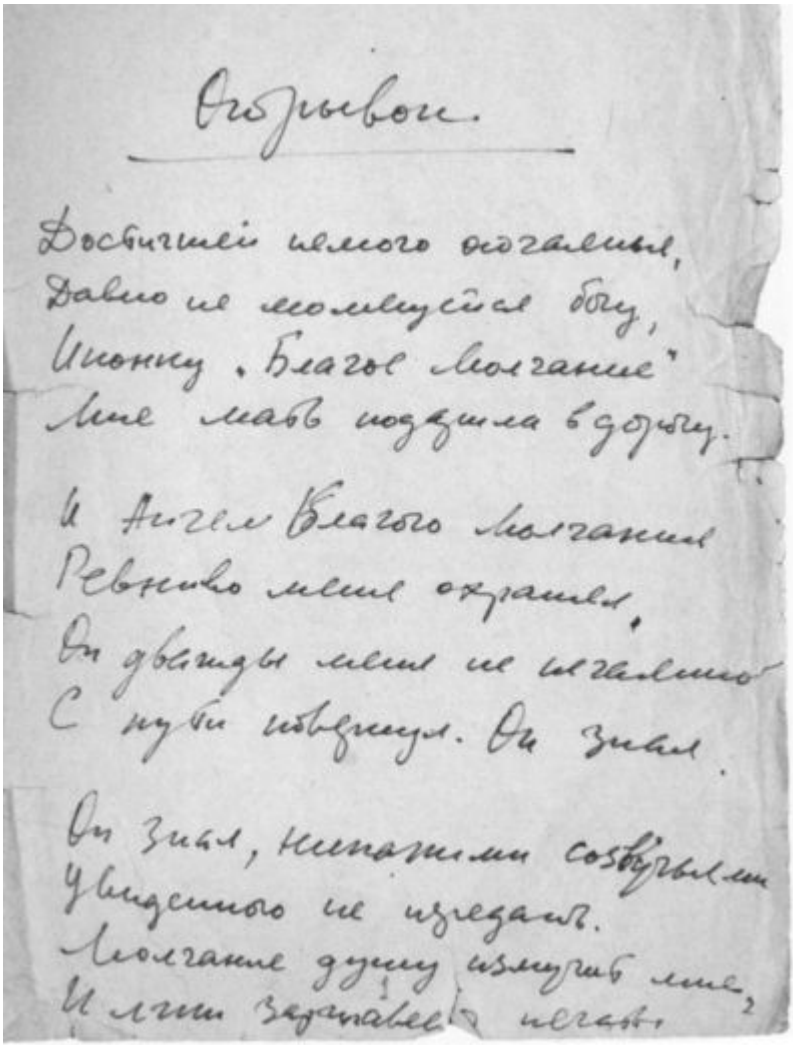
Давайте, будем откровенны: за последствия культа личности, еще коренящиеся в нашем сознании, прежде всего будет цепляться Минаев, чтоб укорениться на этих горьких обломках и прорасти из них со всей пышностью истинного сорняка.

О. Берггольц. Подготовительные материалы для статьи в защиту рассказа Д. Гранина «Собственное мнение».

«У Б. Пастернака есть строчки: „Но старость - это Рим, который, / взамен турусов и колес, / не читки требует с актера, / а полной гибели всерьез". У нас привыкли к читке, к турусам и колесам, а жизнь, партия, стр-во нового общества сплошь и рядом требуют жертв, самоотречения и - честности, честности, честности. Прямоты. <…> … Давайте будем откровенны: за последствия культа личности, еще коренящиеся в нашем сознании, прежде всего будет цепляться Минаев, чтоб укорениться на этих горьких обломках и прорасти из них со всей пышностью истинного сорняка…» (Материалы из личного архива Д. А. Гранина).

Ангел Благого Молчания. Металл, финифть, 13х15.

Икона, которую О. Берггольц хранила всю жизнь. (Семейная реликвия. Изображение любезно предоставлено Г. А. Лебединской) Публикуется впервые.



Отрывок.

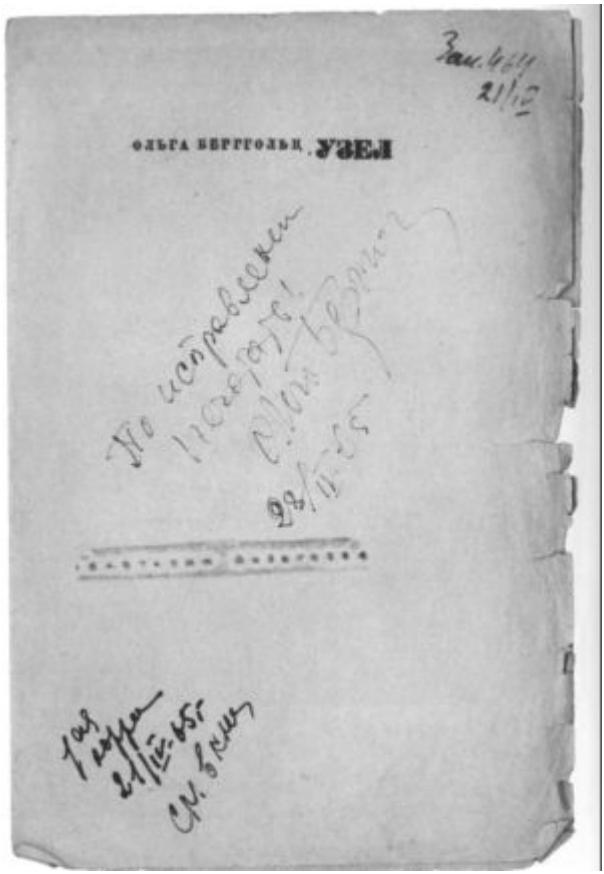
Достигший немого молчанья,
Давно не молящийся богу,
Имянно „Благое Молчанье"
Мне мать подошла в дорогу.

И Ангел Благого Молчанья
Ревниво меня охранял,
Он дважды меня не пускал
С пути повернуть. Он знал.

Он знал, нетающим созвучьям
Увидеться не удастся.
Молчанье душу изгрызть мне,
И лгать заставляет нежно.

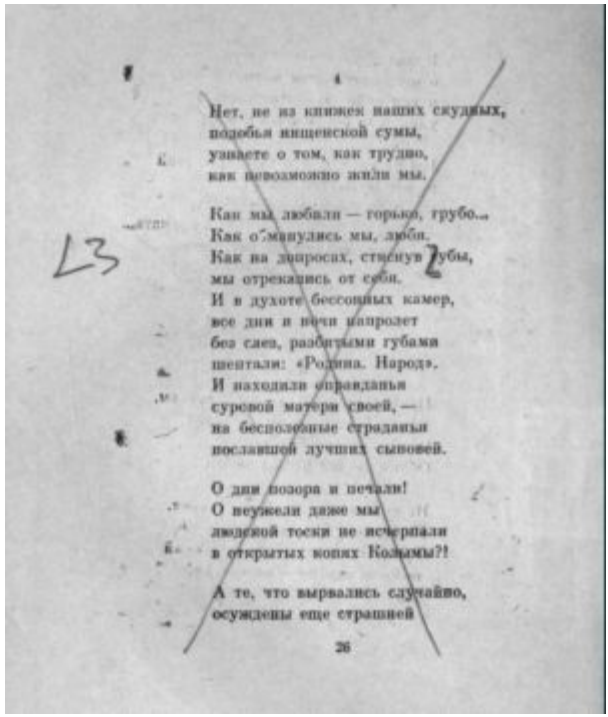
«И Ангел Благого Молчания / ревниво меня охранял…»

Автограф стихотворения «Отрывок» на корректуре книги «Узел» (РНБ). *Публикуется впервые.*



Титульный лист корректуры книги «Узел».

Рукой О. Берггольц написано: «По исправлении печатать! Ольга Берггольц. 28/IV-65» (РНБ). *Публикуется впервые.*



Нет, не из книжек наших скудных,
подобья нищенской сумы,
узнаете о том, как трудно,
как невозможно жили мы.

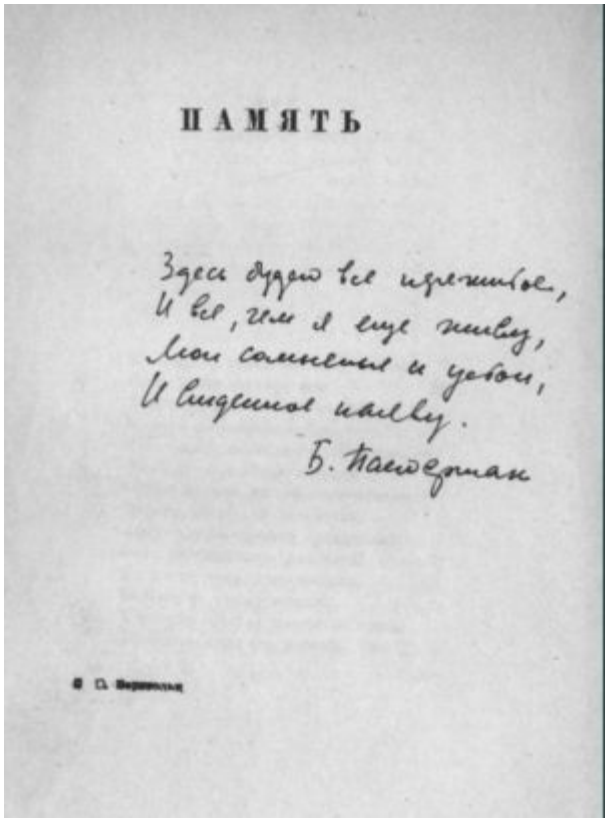
Как мы любили — горько, грубо...
Как обманулись мы, любя.
Как на допросах, стиснув зубы,
мы отрекались от себя.
И в духоте бессонных камер,
все дни и ночи напролет
без слез, разбитыми губами
шептали: «Родина. Народ».
И находили оправданья
суровой матери своей, —
на бесполезные страданья
пославшей лучших сыновей.

О дни позора и печали!
О неужели даже мы
людской тоски не исчерпали
в открытых копях Колымы?!

А те, что вырвались случайно,
осуждены еще страшней

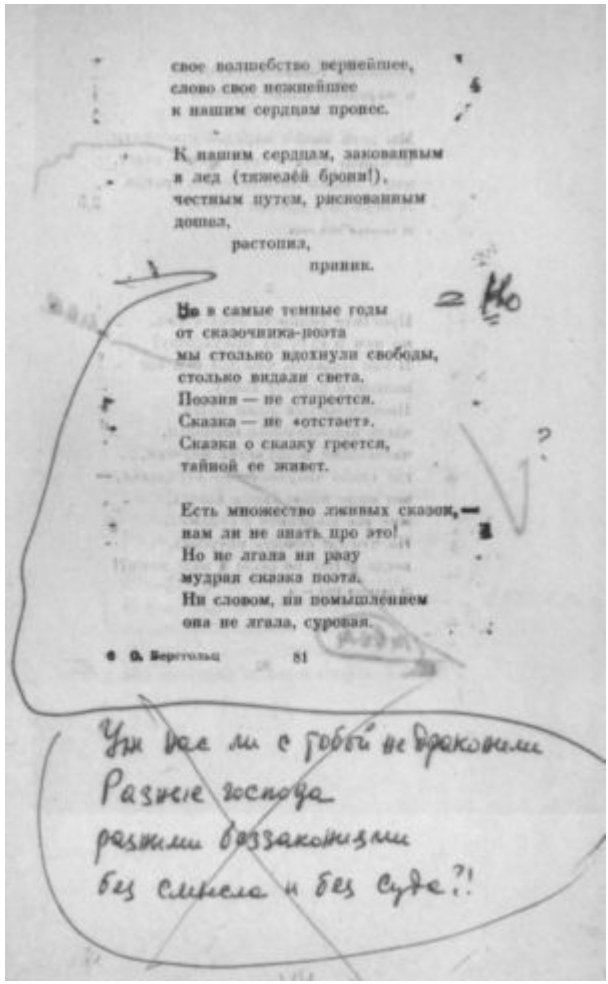
26

Стихотворение «Нет, не из книжек наших скудных…», выброшенное цензором из корректуры книги «Узел» (РНБ).Публикуется впервые.



Шмуцтитул книги «Узел».

Рукой О. Берггольц вписан эпиграф со строфой из стихотворного цикла Б. Пастернака «Волны». (Правильно: «Здесь будет все: пережитое / И то, чем я еще живу, / Мои стремленья и устои, / И виденное наяву...» (РНБ). *Публикуется впервые.*



свое волшебство вершайшее,
слово свое нежнейшее
к нашим сердцам пронес.

К нашим сердцам, закованным
в лед (тяжелей брони!),
честным путем, рискованным
дошел,
растопил,
проник.

Но в самые темные годы
от сказочника-поэта
мы столько вдохнули свободы,
столько видали света.
Поэзия — не стареется.
Сказка — не «отстает».
Сказка о сказку греется,
тайной ее живет.

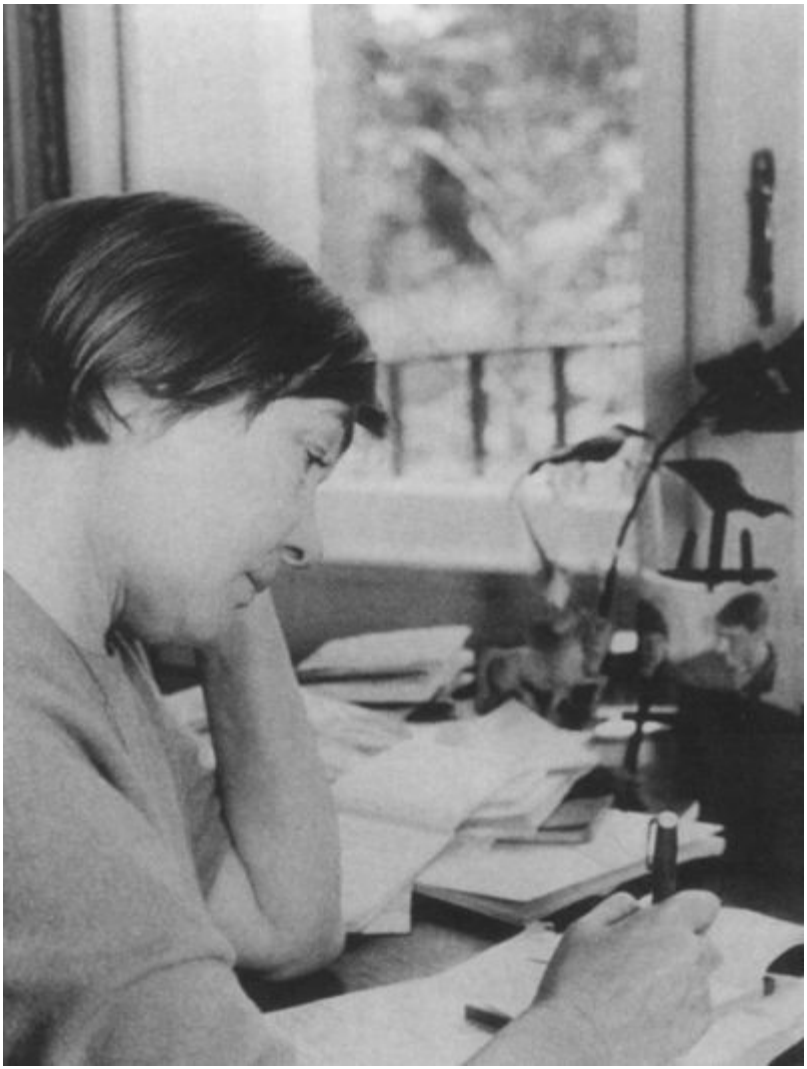
Есть множество ложных сказок, —
нам ли не знать про это!
Но не лгала ни разу
мудрая сказка поэта.
Ни словом, ни помышленьем
она не лгала, суровая.

Уж не с тобой ли сражались
Разные господа
разных безаконий
без смысла и без суда?!

Страница корректуры книги «Узел» со стихотворением, посвященным Е. Л. Шварцу.

Вписанная О. Берггольц строфа вычеркнута цензором (РНБ). *Публикуется впервые.*

Середина 1950-х (РГАЛИ)



Начало 1960-х

Ирина (дочь Б. Корнилова от второго брака), О. Берггольц, Т. М. Корнилова (мать Б. Корнилова).

На закладке памятника Б. Корнилову, г. Семенов, 1967 (Фотография из семейного архива И. Корниловой-Басовой).

О. Берггольц. Вторая половина 1960-х (ИРЛИ)

Начало 1970-х (ИРЛИ)

Слова благодарности

Издатели выражают признательность Российскому государственному архиву литературы и искусства, Институту русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Российской национальной библиотеке, ОАО ТРК «Петербург 5-й канал» и Музею Дома Радио, Центральному государственному архиву литературы и искусства Санкт-Петербурга, Объединенному межведомственному Архиву культуры Санкт-Петербурга, Центральному государственному архиву историко-политических документов Санкт-Петербурга, Объединенному архиву Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга, а также С. В. Чернову, заместителю начальника Службы регистрации и архивных фондов ФСБ РФ (Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), — за помощь, оказанную в подготовке настоящего издания.

notes

Примечания

1

Публикуется по: Звезда. 1990. № 5–6; Знамя. 1991. № 3; альманах «Апрель». 1991. Вып. IV; *Берггольц О.* Встреча. СПб., 2003.

2

Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя… (Ветхий Завет. Псалтырь. Псалом 136, ст. 5–6).

3

13 декабря был выдан ордер на арест. Арестована 14 декабря (см. документ на второй вклейке).

4

Молчанов Н. С. (1910–1942) — муж Ольги Берггольц (1930–1942). Ему посвящены многие произведения О. Б. (подробнее о нем в публикации Н. А. Прозоровой, см. с. 257 наст. изд.).

5

Эти публикации не состоялись.

6

Сокамерницы О. Б. по тюрьме.

7

Следователь Иван Кудрявцев, вел первый допрос О. Б. См. документы на второй вклейке.

8

Неточная цитата из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.

9

Тычина П. Г. (1891–1967) — украинский поэт. «Живи, як Сонце, Сталін»: Из юбилейных статей к шестидесятилетию вождя // Литературная газета. 1939. 21 декабря.

10

Луговской В. А. (1901–1957) — русский советский поэт.

11

Герцен А. И. (1812–1870) — философ, публицист, писатель. Приводится цитата из «Былого и дум».

12

Гоглидзе С. А. (1901–1953) — начальник Управления НКВД ЛО в 1938–1941 гг. Организатор массовых репрессий. Расстрелян.

13

Киров С. М. (1886–1934) — с 1926 г. первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б). Убит в Смольном Л. Николаевым выстрелом в затылок.

14

Эренбург И. Г. (1891–1967) — поэт, прозаик, публицист, автор знаковой книги «Оттепель» (1954–1956), литературных мемуаров «Люди, годы, жизнь» (1961–1965).

15

Прендель Ю. А. — врач-психиатр. *Таня* — его жена. Друзья О. Б.

16

Герман Ю. П. (1910–1967) — писатель, драматург, близкий друг О. Б. Ему посвящено стихотворение «Феодосия».

17

Дзержинский Ф. Э. (1877–1926) — председатель ВЧК-ОГПУ (1917–1926). Один из организаторов Красного террора (1918–1922). Ю. Герман написал о нем цикл рассказов «Железный Феликс».

18

Зонин А. И. (1901–1962) — прозаик-маринист, критик. В 1950 г. осужден на 10 лет лагерей. В 1955 г. реабилитирован. Второй муж В. Кетлинской.

19

Стихотворение Ф. И. Тютчева.

20

Чуковская Л. К. (1907–1996) — дочь К. И. Чуковского, редактор, писательница, мемуарист. Основные произведения: повесть «Софья Петровна», «Записки об Анне Ахматовой».

21

Наровчатов С. С. (1919–1981) — поэт. Ему посвящено стихотворение «Не сына, не младшего брата…».

22

Персонаж романа М. Е. Салтыкова (Щедрина) «Господа Головлевы», чье имя стало нарицательным.

23

Корнилов Б. П. (1907–1938) — поэт, автор поэм «Соль», «Моя Африка», неоконченной поэмы «Люся» и др. Первый муж О. Б., адресат нескольких ее стихотворений. Автор «Песни о встречном» (1932) и др. В 1937 г. арестован, расстрелян. Песни исполнялись после его гибели как народные.

24

Дочь Б. Корнилова и О. Берггольц (1928–1936).

25

Райх З. Н. (1894–1939) — известная актриса, первая жена С. Есенина, жена Вс. Мейерхольда, зверски убита после его ареста.

26

Мейерхольд Вс. Э. (1874–1940) — режиссер, актер, реформатор театра. В 1939 г. репрессирован, расстрелян.

27

Яблонский В. П. (1897–1941/42?/) — актер и режиссер 2-го МХАТа.

28

Максим Горький (Пешков А. М.) (1868–1936) — писатель, публицист, общественный деятель.

29

Авербах Л. Л. (1903–1937) — генеральный секретарь РАППа в 1928–1932 гг. С ним О. Б. была близко знакома. В апреле 1937 г. объявлен врагом народа, расстрелян.

30

Чумандрин М. Ф. (1895–1940) — писатель, погиб в советско-финляндской войне.

31

Эрлих В. И. (1902–1937) — поэт, друг С. Есенина, репрессирован.

32

Либединский Ю. Н. (1898–1959) — писатель, деятель РАППа, первый муж М. Ф. Берггольц (1912–2003), актрисы. Расстались в 1939 г.

33

К этому времени относится первоначальный замысел поэмы «Первороссийск».

34

До 1918 г. — Царское Село. С 1937 г. — г. Пушкин. Дом творчества писателей находился на Пролетарской ул., 6 (ныне Церковная ул.).

35

Толстой А. Н. (1883–1945) — граф, советский писатель, лауреат трех Сталинских премий.

Толстая Л. И. (1906–1982) — жена (четвертая) А. Н. Толстого.

37

«*Лишенец*» — гражданин СССР, лишенный избирательных и других прав по социальным признакам.

38

Строка из стихотворения А. Блока «Осенняя воля».

39

Пленкина Г. Г. (1911—?) — подруга О. Б. Знакомы с 1932 г., начала работы О. Б. на заводе «Электросила».

40

Гурская Ирэна (1902–1987) — близкий друг семьи Берггольц, в 1927 г. была вызволена МОПРом (Международная организация помощи борцам революции) из польской тюрьмы. В 1939 г. у нее отобрали паспорт и приказали выехать на родину, где ее опять ждала тюрьма. О. Б. приложила усилия, чтобы Гурская осталась в СССР.

41

Довлатова М. С. (1907–1975) — редактор, друг О. Б. (родная тетка писателя С. Довлатова).

42

Троицкий М. В. (1904–1941) — поэт, тогда редактор журнала «Литературный современник». Погиб под Ленинградом.

43

Стихотворение О. Б. «Аленушка», впервые опубликованное в кн. «Узел».

Мессер Р. Д. (1905–1984) — критик, консультант «Ленфильма».

45

С. Кара (Кара-Дэмур) (1911–1977) — критик, сценарист. Работал на студии «Ленфильм» и в редакции журнала «Нева».

46

Аллюзия на стихотворение М. Лермонтова «Расстались мы, но твой портрет…» (1837).«…Так храм оставленный — все храм, / кумир поверженный — все Бог!»

47

Герасимов С. А. (1906–1985) — советский кинорежиссер. К тому времени прославился фильмами «Семеро смелых», «Учитель», «Маскарад».

48

Роман о том, «как мы ничего не щадили, как себя не щадили во имя Ее (революции. — *Ред.),* как верили ей…». 14 декабря 1938 г. наброски к роману были изъяты при обыске во время ареста О. Б., потом возвращены. Остался незавершенным.

49

Птушко А. Л. (1900–1973) — известный режиссер-новатор. Им поставлены мультфильмы «Новый Гулливер» и «Золотой ключик».

50

Роман «Застава».

51

Зарецкий Михаил — муж И. Гурской, журналист-международник, репрессирован.

Чумандрина М. М. (1929–1969) — дочь М. Ф. Чумандрина.

53

Строки из стихотворения Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги…». Правильно: «Как помогу?!»

«*Испытание*» — цикл «тюремных» стихотворений О. Б.

55

Дмитревский В. И. (1908–1978) — писатель, критик. В 1946 г. осужден на 15 лет. В 1956 г. освобожден.

56

Homo sapiens *(лат.)* — человек разумный. Цитата из стихотворения Б. Пастернака «Образец». Правильно: «Существованье — гнет». («О, бедный Homo sapiens, / Существованье — гнет. / Былые годы за пояс / Один такой заткнет. / Все жили в сушь и впроголодь, / В борьбе ожесточась, / И никого не трогало, / Что чудо жизни — с час…»)

57

Герой романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

58

Маханов А. И. — секретарь Ленинградского горкома партии, один из инициаторов «чистки» Радиокомитета (1943) по «анкетным данным». Своей оценкой поэзии А. Ахматовой («реакционная поэтесса») опередил «ждановское» постановление.

59

Ахматова А. А. (1889–1966) — поэт. Автор «Реквиема» (1935–1940), «Поэмы без героя» (1940–1962). О. Б. была знакома с Ахматовой с конца 1920-х гг., содействовала ее эвакуации из блокадного города. В годы травли Ахматовой (Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград») вела себя по отношению к ней безупречно.

60

Неточная цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова. Надо: «… не должно сметь свое суждение иметь».

61

Говорится об отношении к советско-финляндской войне, спровоцированной СССР 30 ноября 1939 г.

Мартехов Е. Т. — рабочий «Электросилы», герой очерка О. Б. «Орден депутата».

63

Пьеса М. А. Светлова (1903–1964), поэта и драматурга, автора знаменитой «Гренады», друга О. Б.

64

Музыкальная комедия «Светлый путь» (1940), режиссер Г. Александров.

65

Речь идет о романе «Застава».

Сценарий мультфильма для А. Л. Птушко.

Ю. П. Герман.

Келомяки (с 1948 г. — Комарово) — поселок на Карельском перешейке (б. территория Финляндии).

Муська — М. Ф. Берггольц.

Радлова А. Д. (1891–1949) — поэтесса, переводчица. Репрессирована в 1944 г., умерла в лагере.

71

Постановление ЦИК и СНК от 27.06.1936 г. «О запрещении абортов…». Отменено 23.11.1955 г.

Берггольц Ф. Х. (1885–1948). Подробно историю высылки отца О. Б. см. в публикации Н. Прозоровой, наст. изд.).

73

Ходоренко В. А. (1912–1981) — с апреля 1941 г. по май 1945 г. исполнял обязанности председателя Радиокомитета. С 1957 г. по 1961 г. — директор Театра музыкальной комедии.

Капустин Я. Ф. (1904–1950) — секретарь горкома ВКП(б).

75

Правильно: «Петербург! я еще не хочу умирать…» (ст. О. Мандельштама «Ленинград»).

Бабушкин Я. Л. (1913–1944) — зав. литературно-драматической редакцией Радиокомитета, с осени 1941 г. его художественный руководитель, друг О. Б. Воссоздал весной 1942 г. оркестр, который 9 августа 1942 г. исполнил в Большом зале Филармонии Седьмую симфонию Д. Шостаковича. Весной 1943 г. Я. Бабушкина, А. Пази, В. Гурвича выгнали с работы. Недавнего «дистрофика», необученного, послали на фронт. Погиб под Нарвой.

77

Макогоненко Г. П. (1912–1985) — в дневниках — Юра, Юрка, Юрик. Будущий муж О. Б. В послевоенные годы профессор ЛГУ, исследователь русской литературы XVIII–XIX вв.

78

Дом Радио, где располагался Радиокомитет; ул. Пролеткульта, 2 (Малая Садовая ул., 2).

Ныне пр. Елизарова.

80

Цитата из романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

81

Ныне Владимирская пл.

Борис Корнилов.

В. Т. — воздушная тревога.

Васильев А. В. — путиловский рабочий, о нем О. Б. писала в первой части «Дневных звезд» (главка «Рыцарь света»). В блокаду работал на Кировском заводе. Погиб от голода на рабочем месте.

85

Были зарыты позже. См. письмо к М. Ф. Берггольц от 26/IX-41.

Лебединский М. Ю. (1931–2006) — сын М. Ф. Берггольц.

87

Строки из поэмы «Про это» В. Маяковского.

88

Шумилов Н. Д. (1904–1982) — секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, с 1942 г. ответственный редактор «Ленинградской правды». В 1949 г. арестован. В 1953 г. реабилитирован. С 1954 по 1974 г. работал в «Известиях».

89

Троицкая ул. С 1929 г. — ул. Рубинштейна, где в доме № 7 (кв. 30) с 1932 по 1943 г. жила О. Б.

Верховский Н. — начальник иностранного отдела Радиокомитета (вещание на противника).

91

Из стихотворения А. Ахматовой «Клеопатра» (1940). Правильно: «смуглую грудь».

92

Гуревич Т. Е. (ок. 1902–1941) — работала в редакции «Издательства писателей», в которое попала бомба (находилось на территории Гостиного двора).

Князев Ф. С. (1902–1941) — прозаик.

Цехновицер О. В. (1899–1941) — литературовед.

Инге Ю. А. (1905–1941) — поэт.

Гейзель М. А. (1909–1941) — писатель.

97

Хамармер Исаак Павлович (1896–1966) — с октября 1941 г. по май 1942 г. военный комиссар Управления тыла 42-й армии Лен. фронта.

98

Бывшая домработница семьи Молчановых.

99

Блокадная терминология. Крайний признак физического истощения. Опасность «лечь» была смертельной.

100

Месиво из отрубей, мякины. Блокадная «еда».

101

Машкова М. В. (1909–1997) — в те годы аспирант Публичной библиотеки, близкая подруга О. Б. с 1928 г.

102

Вскоре «тишина» распалась: напал немец, и наши сопровождающие «ястребки» вступили в бой. Самолет наш прибыл благополучно *(Прим. О. Берггольц)*.

103

В Москве на ул. Сивцев Вражек, 6, кв. 1, жила М. Ф. Берггольц.

104

Тихонов Н. С. (1896–1979) — поэт, общественный деятель.

105

Шолохов М. А. (1905–1984) — писатель, автор романа-эпопеи «Тихий Дон», лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Автор романа «Поднятая целина», повести «Судьба человека», незаконченного романа «Они сражались за Родину» и др.

106

Семьи литературоведа, писателя, текстолога *Б. В. Томашевского* (1890–1957) и литературоведа, фольклориста, этнографа *М. К. Азадовского* (1888–1954).

107

Гутнер М. Н. (1912–1942) — поэт, переводчик, историк литературы.

108

Бывший уполномоченный ГКО по продовольствию в Ленинграде Д. В. Павлов в своей книге «Ленинград в блокаде» приводит точную (!) цифру погибших от голода во время блокады: 641 803 человека. Согласно современным данным, число жертв блокады — от одного миллиона двухсот тысяч до полутора миллионов человек. О. Б. дает цифру полтора и два миллиона.

109

Жданов А. А. (1896–1948) — государственный и партийный деятель. Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Во время блокады руководил жизнью города, не разделяя, впрочем, страшных тягот горожан. Был главным организатором террора в Ленинграде.

110

Поликарпов Д. А. (1905–1965) — председатель Всесоюзного радиокомитета (1941–1945), партийный работник. Секретарь правления СП СССР.

111

Шостакович Д. Д. (1906–1975) — классик мировой музыкальной культуры. Исполнение его знаменитой Седьмой (Ленинградской) симфонии состоялось в Москве, в Колонном зале Дома союзов. Дирижер Е. А. Мравинский.

112

Город Глазов Удмуртской АССР.

113

Берия Л. П. (1899–1953) — зам. председателя СНК (1941–1953), видный политический деятель, один из главных организаторов массовых репрессий 1930-х — начала 1950-х годов.

114

Фадеев А. А. (1901–1956) — писатель, первый секретарь СП СССР с 1946 г., активный деятель РАППа, позднее член ЦК ВКП(б). После XX съезда партии покончил жизнь самоубийством. Фадеев пытался защищать своих коллег, в невиновности которых был убежден. По свидетельству О. Оконевской («…И возвращусь опять». СПб., 2005), О. Б. считала, что А. Фадеев поручился за нее в 1939 г., помог выйти на свободу.

115

Тонин Ю. А. (Эшман) — журналист и писатель.

116

Густо зачеркнуто О. Б.

117

Из стихотворения Р. Киплинга «Галерный раб».

118

Ардаматский В. И. (1911–1989) — журналист, писатель. В первые месяцы блокады представлял в Ленинграде центральное радиовещание.

119

Ставский В. П. (Кирпичников) (1900–1943) — писатель, журналист, возглавлял в 30-е годы Союз писателей. Сыграл неблаговидную роль в судьбе О. Мандельштама, Б. Корнилова. Погиб на фронте.

120

Кубаткин П. Н. — начальник Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области.

121

Ц. О. — Центральный орган печати (газета «Правда» — ЦО ЦК КПСС).

122

Лесючевский Н. В. (1908–1978) — критик, издательский работник. В 30-е годы в Ленинграде — консультант НКВД — КГБ по вопросам литературы. Писал «рецензии» на стихи Б. Корнилова и Н. Заболоцкого. Был директором издательства «Советский писатель».

123

А. С. Пушкин «Друзьям»: «Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю».

124

Еголин А. М. (1896–1959) — советский литературовед. В начале войны работал в Отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946) был назначен главным редактором журнала «Звезда».

125

М. С. Довлатова.

126

А. С. Пушкин «Герой». Правильно: «…мне дороже».

127

Алянский С. М. (1891–1974) — основатель издательства «Алконост». Был директором издательства Ленинградского союза художников.

128

Марин В. А. (1909–1970) — муж М. В. Машковой, зам. директора по хозяйственной части Публичной библиотеки. В годы блокады много сделал для спасения фондов и каталогов от гибели.

129

См. документы из Музея Дома Радио на первой вклейке.

130

Мэри Рид — сестра американского журналиста Джона Рида, автора знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир». Сотрудник Радиокомитета.

131

Больница Фореля — пр. Стачек, 156, как психиатрическая больница существовала до 1941 г.

Тишка — Н. Тихонов.

133

Прокофьев А. А. (1900–1971) — поэт. В мае 1945 г. выступил на Пленуме Союза советских писателей с резкой критикой О. Б., заявив, что в ее стихах звучит «исключительно тема страдания, связанного с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Ошибочно назвав поэму О. Берггольц «Твой путь» «Твоей победой», А. Прокофьев привнес тему, которая была развита недоброжелателями поэтессы (Ленинград. 1945. № 10–11. С. 26).

134

Матюшина О. К. (в девичестве Громозова, 1885–1974) — художница, писательница. Вторая жена художника М. В. Матюшина. В деревянном доме на Песочной ул., 10 (ныне ул. Проф. Попова, «Дом Матюшина»), где она жила, сейчас располагается Музей петербургского авангарда.

135

Франчески И. — см. о нем на с. 350 наст. изд.

136

Анк Ленька (Дьяконов Леонид) — журналист, знакомый О. Б. по работе еще в Алма-Ате. Один из тех, кто на допросах оговорил Берггольц и себя. См. с. 349 наст. изд.

137

Маяковский В. В. (1893–1930) — поэт, новатор поэтического слова. Покончил жизнь самоубийством («Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта. На тринадцатый поэт встал и человека убил». М. Цветаева).

138

Хлебников В. (1885–1922) — поэт-авангардист, реформатор поэтического языка, один из основоположников русского футуризма.

139

Гуро Е. Г. (1877–1913) — поэт, прозаик, художник. Первая жена М. В. Матюшина.

Работники Радиокомитета.

141

Исакович Ирина Владимировна (1917–1999) — окончила ЛГУ, в 1960–1970-х гг. была редактором «Библиотеки поэта». Рассталась с Г. Макогоненко в начале войны.

142

Начало стихотворения (1920) О. Мандельштама (сб. «Tristia»).

143

Из стихотворения Н. Гумилева «Слово» (сб. «Огненный столп»).

Фомиченко И. Я. — зам. начальника политуправления Ленинградского фронта, генерал-майор. Был редактором газеты «На страже Родины».

145

Кетлинская В. К. (1906–1976) — писательница, общественный деятель, в годы войны возглавляла ЛО Союза писателей.

Г. Пленкина.

147

Из стихотворения В. Ходасевича «Когда почти благоговейно…».

148

Роман «Падение Парижа» (1942).

149

Из стихотворения О. Мандельштама «Отчего душа так певуча…» Правильно: «…Неужели я настоящий…»

150

Из стихотворения А. Ахматовой «Все отнято: и сила, и любовь». Правильно: «…с каждым днем страшней…»

151

Правильно: приказ № 227 о создании штрафбатов и заградотрядов; последние должны были расстреливать отступающих солдат.

И. В. Сталин.

153

Вероятно, *Григорьянц Т. С.* (1917–1996) — в 1938–1939 гг. главный библиотекарь. Вела общественную работу.

154

Шишова З. К. (1898–1977) — поэт и прозаик. Поэма «Блокада» вышла год спустя в Москве, в издательстве «Советский писатель».

155

Широков И. М. (1899–1984) — с 1 мая 1942 г. председатель Радиокомитета, позднее секретарь горкома партии, снятый с должности постановлением ЦК ВКП(б) в августе 1946 г. Это спасло его во время «Ленинградского дела» в 1949 г.

Горин И. (1924—?) — актер, работник Радиокомитета.

157

Хузе О. Ф. (1909–1981) — переводчик, библиограф, знакомая О. Б.

Крон А. А. (1909–1983) — писатель, журналист.

159

Коонен А. Г. (1889–1974) — народная артистка РСФСР, актриса Камерного театра, жена основателя и режиссера Камерного театра А. Я. Таирова (1889–1974).

160

«Комсомольская правда» — газета, которая 5 июля 1942 г. первой опубликовала «Февральский дневник».

161

«Трансвааль, Трансвааль, страна моя, / Ты вся горишь в огне» — песня на стихотворение Г. Галиной «Бур и его сыновья» (муз. М. Губченко) (1899), популярная в первой половине XX в. Считалась народной.

Решетов А. Е. (1909–1970) — советский поэт.

163

Стихотворение К. Симонова, написанное в 1941 г. и сразу получившее широкую известность.

Рывина Е. И. (1910–1985) — советская поэтесса.

165

Печатается по: Знамя. 1991. № 3.

166

Очерки «Русская строчка» (Известия. 1944. 13 августа) и «Русская женщина» (Известия. 1944. 9 августа).

167

Имеется в виду соглашение о перемирии между СССР и Финляндией от 19 сентября 1944 г., по которому Финляндии пришлось принять ряд условий, в частности возврат к границам 1940 г.

168

«Коняга» — притча М. Е. Салтыкова (Щедрина) об истязаемом животном, которое «не живет, но и не умирает».

169

Два патефона и два велосипеда! Плащ из пластиката, часы, сандалии, крем ноч. *(Примеч. О. Б.)*

170

О том же рассказ Земсковой *(Примеч. О. Б.)*.

«Спросить — у П. П., как выселяли людей, разлагавших колхоз, и кто они были и что делали» *(Запись О. Б. на полях страницы)*.

171

Грибачев Н. М. (1910–1992) — поэт, одна из ведущих фигур официальной советской литературы.

172

Хутор в Новгородской области, где семья Берггольц жила летом 1925–1926 гг.

173

Кежун Б. А. (1914–1984) — поэт, переводчик, официозный общественный деятель.

174

Друзин В. П. (1903–1981) — критик, редактор журнала «Звезда», официозный общественный деятель, проработчик.

175

Дементьев А. Г. (1904–1986) — критик, литературовед, в конце 40-х гг. в Ленинграде активный участник борьбы с «космополитами». В Москве в конце 50-х основатель, первый редактор журнала «Вопросы литературы», затем многолетний сподвижник А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир», зам. главного редактора.

176

«Та самая полянка» — рассказ, вошедший в книгу О. Б. «Дневные звезды».

177

Из стихотворения А. А. Блока «Русь».

178

Блок А. А. (1880–1921) — поэт. К его творчеству часто обращается О. Б. в дневниках и прозе.

179

Есенин С. А. (1985–1925) — один из самых популярных русских поэтов, автор поэм «Страна негодяев», «Анна Снегина», «Черный человек». Покончил жизнь самоубийством.

180

Из стихотворения А. Блока «Осенняя воля» (1905).

181

Издательский иск по расторгнутому договору.

182

Макогоненко А. Г. (1940–1990) — сын Г. П. Макогоненко от первого брака.

183

Обязательный экзамен в системе партийно-политического просвещения.

Кривошеева А. И. (1893–1951) — писательница, литературовед.

185

Выдача паспортов колхозникам началась при Хрущеве. До этого они были ограничены в свободе передвижения (по сути, крепостное право).

186

Выражение «А героизм, что ж, пожалуйста. Героизма не жалко — не лошадь» *(Запись О. Б. на полях страницы)*.

187

Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) — первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890).

188

Калинин М. И. (1875–1946) — первый Председатель Президиума ЦИК СССР от РСФСР. Первый Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Номинальный глава государства. В народе его называли «всесоюзный староста».

189

Один из фронтовых корреспондентов О. Берггольц.

190

Марин В. А. В эти годы сотрудник дирекции Публичной библиотеки.

191

«Говорит Ленинград» — книга О. Б. (избранные выступления по радио в военные годы), в 1949 г. была отправлена в спецхран.

192

Кузнецов А. А. (1905–1950) — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии в 1945–1946 гг. Секретарь ЦК. Арестован по «Ленинградскому делу» (1949–1953), сфальсифицированному Маленковым и Берией, опасавшимися укрепления ленинградцев в парт-руководстве страны. Расстрелян.

193

Вознесенский Н. А. (1903–1950) — политический и государственный деятель, академик, экономист. Член Политбюро ЦК ВКП(б). Арестован по «Ленинградскому делу». Расстрелян через час после вынесения приговора.

И. В. Сталин.

195

Зиновьев Г. Е. (1883–1936) — государственный и политический деятель. На XIV съезде ВКП(б) (1925), поддержанный ленинградской организацией, выступил от имени «новой оппозиции» против Сталина. Был отстранен от руководства Ленсоветом и Исполкомом Коминтерна, выведен из состава Политбюро. В 1934 г. осужден по сфальсифицированному НКВД делу «Московского центра». В 1936 г. приговорен к расстрелу по делу Антисоветского троцкистско-зиновьевского центра.

196

Саянов В. М. (1903–1959) — поэт, прозаик. Воевал. Написал книги «В боях за Ленинград», «Нюрнбергский дневник» и др.

197

Териоки — нынешний Зеленогорск (с 1918 по 1940 г. — территория Финляндии), поселок в пятидесяти километрах от Петербурга.

Печатается по: *Берггольц О.* Встреча. СПб., 2003.

199

Так же называется цикл «тюремных» стихотворений О. Б.

200

Записи сделаны во время поездки по Сибири.

201

О. Б. и Н. Молчанов работают в Алма-Ате в газете «Советская степь». *Ленька* — Леонид Дьяконов.

202

В. Маяковский. «Про это». Правильно: «…кажется, вот только с этой рифмой развяжись, и вбежишь по строчке в изумительную жизнь».

203

Маршак С. Я. (1887–1964) — поэт, переводчик, детский писатель, прозаик, автор книги «В начале жизни».

Паустовский К. Г. (1892–1968) — прозаик, в частности автор «Повести о жизни» и повести «Золотая роза».

205

Твардовский А. Т. (1910–1971) — поэт, главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954; 1958–1970). Публикации, предпринятые Твардовским в журнале, во многом способствовали изменению морально-нравственного климата в стране. Автор поэм «Василий Тёркин», «Василий Тёркин на том свете», «За далью — даль».

206

Солоухин В. А. (1924–1997) — поэт, прозаик, в частности автор книг «Капля росы», «Письма из Русского музея».

207

Смуул Юхан (1922–1971) — эстонский писатель, автор «Ледовой книги».

208

Биэль Ж. — учитель литературы из Франции, приславший отклик на книгу «Дневные звезды» (приведен О. Б. в статье «Слово о гуманизме»).

209

Васильев С. А. (1911–1975) — советский писатель и поэт.

210

Из стихотворения О. Мандельштама «Образ твой, мучительный и зыбкий…».

211

Макарьев И. С. (1902–1958) — журналист, литературный критик. Репрессирован в 1936 г. После реабилитации работал в Москве, был секретарем Московской писательской организации.

212

Строка из стихотворения А. Блока «Скифы».

213

Баршев Н. В. (1888–1938) — ленинградский писатель, в конце 1920-х гг. входил в литературную группу «Содружество».

214

Лихарев Б. М. (1906–1962) — поэт, писатель, знакомый О. Б. с 1927 г., участник ВОВ, состоял в группе писателей при Политуправлении Ленфронта.

215

Город в Оренбургской области.

Юра — Г. П. Макогоненко.

217

Из стихотворения А. С. Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца».

218

Оксман Ю. Г. (1895–1970) — литературовед, известный пушкинист. С 1934 по 1946 г. провел в тюрьмах и лагерях. В 1960-е гг. вновь подвергся преследованиям как диссидент, его исключили из СП, отказывались печатать.

219

Стихотворение А. Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства»: «Тот город, мной любимый с детства / В его декабрьской тишине / Моим промотанным наследством / Сегодня показался мне».

Видимо, описка. Мадрид был сдан 28 марта 1939 г.

Мусатов И. Т. — следователь следчасти УНКВД ЛО.

О. Б. придумала шифры для связи с родными на воле.

223

Ошибочно. Из тюрьмы О. Б. вышла 3 июля 1939 г.

224

Из стихотворения А. Блока «О, весна без конца и без краю…».

225

Из стихотворения «Опять на поле Куликовом» (цикл «На поле Куликовом»).

226

Мерецков К. А. (1897–1968) — маршал Советского Союза (1944). Перед войной — начальник Генерального штаба РККА. В июне 1941 г. арестован. Осенью того же года возвращен (из тюрьмы) — в командующие армией. С декабря 1941 г. командующий войсками Волховского фронта. Провел Любанскую и Синявинскую операции 1942 г., окончившиеся безрезультатно и сопровождавшиеся огромными потерями. Под его руководством войска Волховского фронта прорвали блокаду Ленинграда (1943) и участвовали в операции 1944 г., когда усилиями двух фронтов — Волховского и Ленинградского — была окончательно снята блокада Ленинграда.

227

Видимо, К. М. Симонова (1915–1979) — тогда главного редактора (1954–1958) журнала «Новый мир».

228

XX съезд состоялся 14–25 февраля в Москве. В своем эпохальном докладе Н. С. Хрущев (1894–1971) осудил культ личности Сталина, который привел к глубокой деформации во всем обществе, сопровождался преступлениями против народа, огромными человеческими жертвами, духовно-нравственными потерями.

229

Горелов А. Е. (1904–1991) — писатель, литературовед, секретарь Союза писателей Ленинграда в 1934–1937 гг. В 1937 г. арестован. В 1954 г. полностью реабилитирован.

230

Вышедшая в 1965 г. книга стихотворений О. Б.

231

Коршунова М. И. (1900–1967) — герой Гражданской войны, врач. Сокамерница О. Б.

232

Первые строки стихотворения О. Мандельштама «Ахматова».

233

Зощенко М. М. (1894–1958) — писатель, участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1920–1930-е годы его рассказы, повести, фельетоны, книги пользовались широчайшей известностью. В Постановлении оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» подвергся (вместе с А. Ахматовой) грубой необоснованной критике и был исключен из Союза писателей. Многие годы был лишен возможности печататься. Постановление было отменено 20 октября 1988 г.

234

Довлатова М. С.

235

Пастернак Б. Л. (1890–1960) — поэт, автор романа «Доктор Живаго». В 1958 г. ему была присуждена Нобелевская премия «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Постыдный политический скандал вокруг романа и премии стоил поэту жизни.

236

Ул. Пестеля.

237

Штейн А. П. (1906–1993) — писатель, драматург. По его пьесе «Суд чести» был снят фильм (1948).

238

Збарский Б. И. (1885–1954) — биохимик, Герой Соц. Труда. Бальзамировал тело Ленина. Соавтор Штейна.

239

Раскин (Роскин) Г. И. (1892–1964), *Клюева Н. Г.* (1898–1971) — ученые-микробиологи, которые якобы передали на Запад секрет чудодейственного лекарства против рака в обмен на вакцину от туберкулеза.

240

«Слезой социализма» ленинградцы называли построенный в 1932 г. в стиле раннего конструктивизма дом на ул. Рубинштейна, 7, в котором жила О. Б. Официальное название дома «Дом-коммуна инженеров и писателей». В нем была коридорная система, отсутствовали кухни (одна общая), душевые располагались в конце коридоров. Так архитекторы воплотили идею «обобществления быта».

241

Шварц Е. Л. (1896–1958) — драматург, прозаик, автор пьес «Голый король» (1934), «Тень» (1940), «Дракон» (1944), «Обыкновенное чудо» (1954), сценариев ко многим фильмам. Друг О. Б.

242

Архитектор Е. Г. Ефремов, вместе с которым О. Б. спасала церковь Дивную (Успенскую) в Угличе, уникальный памятник древнерусского зодчества (1628).

Власти боялись острого языка О. Б., поэтому не допустили ее выступлений на похоронах ни Шварца, ни Зощенко.

244

Эйхенбаум Б. М. (1886–1959) — известный литературовед, текстолог. В 1947–1949 гг. стал жертвой «борьбы с космополитизмом». Его труды перестали издавать.

245

Андроников И. Л. (1908–1990) — литературовед, исследователь творчества М. Ю. Лермонтова.

246

Уланова Г. С. (1910–1998) — ученица А. Вагановой, выдающаяся русская балерина, народная артистка СССР. Солистка Кировского (Мариинского) театра в Ленинграде (1928–1944) и Большого театра в Москве (1944–1960).

247

Инбер В. М. (1890–1972) — советская поэтесса, прозаик.

248

Пристли Джон Бойнтон (1894–1984) — английский писатель и драматург. Его пьесы ставились в СССР, в частности в Ленинграде («Опасный поворот»).

249

Шварц Е. И. (1903–1963) — жена Е. Л. Шварца.

Банк Н. Б. — см. ст. наст. изд.

251

Колчак А. В. (1874–1920) — участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Один из руководителей Белого движения.

252

Спаси меня… — первая строка стихотворения «Обращение к поэме» (1949).

253

Ежов Н. И. (1895–1940) — нарком внутренних дел (1936–1938), генеральный комиссар госбезопасности (1937). Годы «ежовщины» связаны с началом Большого террора.

Сноска О. Б.: «А может быть, не стоило бороться?»

255

Строка из стихотворения Б. Пастернака «Гефсиманский сад».

256

Кетля — прозвище В. Кетлинской. Роман «Мужество» (1938) — о строителях Комсомольска-на-Амуре.

257

Антокольский П. Г. (1896–1978) — известный поэт, автор поэмы «Сын» (1943), друг О. Б.

258

Заболоцкий Н. А. (1903–1958) — поэт, переводчик, автор знаменитых «Столбцов» (1929). В 1938 г. арестован и осужден по сфабрикованному делу за «антисоветскую пропаганду». О пытках, которым его подвергали, рассказал в мемуарах «История моего заключения» (1956). В лагере закончил переложение «Слова о полку Игореве». Освобожден в 1946 г.

259

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. Пять писем декабря 1941 г. отправлены не были, адресат получил их, вернувшись с фронта в районе Ладоги. Письма Берггольц весны 1942-го присланы из Москвы, где она пробыла с 1 марта по 20 апреля.

Фуксы Фриц и Эрнст — австрийские политэмигранты, работники Радиокомитета (отдел контрпропаганды).

261

Мигель де Сервантес Сааведра (1547–1616) — испанский писатель, автор бессмертного романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

262

Алигер М. И. (1915–1992) — поэтесса, автор поэмы «Зоя» (о Зое Космодемьянской).

Шевелева Е. В. (1916–1997) — поэтесса.

Федор, пасынок А. Н. Толстого, сын Н. В. Крандиевской-Толстой.

265

Гусев В. М. (1909–1944) — поэт, драматург. В войну возглавлял литературный отдел Всесоюзного радиокомитета.

266

Ермилов В. В. (1904–1965) — одиозный советский литературовед, критик.

267

Славин Л. И. (1896–1984) — писатель, драматург, автор пьесы «Интервенция» и др.

Финн (Хальфин) К. Я. (1904–1975) — писатель, драматург.

269

Книга «Ленинградская тетрадь. Стихи» вышла в 1942 г. в Москве.

270

Строка из поэмы Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт».

271

О. Курганов (Эстеркин О. И.) (1907–1997) — журналист, драматург, сотрудник «Правды».

Храпченко М. Б. (1904–1986) — литературовед, академик.

273

Измайловский пр.

ЦГАЛИ СПб., ф. 221, оп. I, д. 9. Публикуется впервые.

275

Муж М. Довлатовой — А<ркадий> И. Аптекман (1900–1975). В послевоенные годы был секретарем писательницы В. Ф. Пановой.

Общие знакомые, умершие от блокадного голода (журналисты Л. Цырлин и Б. Зиссерман) — один в Ленинграде, другой в Москве.

277

Борис Довлатов (1938–1990), сын М. Довлатовой, двоюродный брат писателя Сергея Довлатова.

278

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

Оттен Н. Д. (1907–1983) — завлит Московского Камерного театра, театральный и кинокритик.

Письмо связано с постановкой пьесы О. Б. и Г. Макогоненко «Они жили в Ленинграде», осуществленной в 1945 г. под названием «Верные сердца».

279

Книга «Ленинградская поэма» вышла в Ленинграде в 1942 г.

280

Строки из поэмы «Февральский дневник». В окончательном варианте: «свободой бурною».

281

Правильно: «В степях Украины». Пьеса А. Корнейчука.

282

Роман Крестовского В. В. (1839–1895).

283

Печатается по: *Берггольц О.* Встреча. СПб., 2003 (с сокращениями).

284

Речь идет об отъезде А. Ахматовой в эвакуацию 27 сентября 1941 г.

285

Г. П. Макогоненко.

Н. Молчанов был призван, послан под Лугу, хорошо проявил себя, но в августе был комиссован по болезни и снят с воинского учета.

287

Беляев В. П. (1909–1990) — писатель («Старая крепость» и др.), журналист, сотрудник «Огонька», корреспондент Совинформбюро.

Спектор Л. С. — оператор звукозаписи фронтовой бригады, позже — главный инженер ленинградского Радиокомитета.

Блюмберг М. И. — руководитель фронтовой бригады репортеров. Погиб после войны, спасая тонущего сына.

290

Возле места на пл. Восстания, где до 1937 г. стоял памятник царю Александру III, названный Пугалом (Д. Бедный).

291

Речь идет о работниках завода «Электросила».

292

Ричардсон С. (1689–1761) — английский писатель, автор психологических романов в письмах; упоминается в «Евгении Онегине».

293

Говоров Л. А. (1897–1955) — маршал, командующий Ленинградским фронтом.

«Они жили в Ленинграде» (О. Берггольц, Г. Макогоненко).

295

Бирман С. Г. (1890–1976) — народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, режиссер, автор книг.

«Твой путь» (апрель 1945).

297

И. Гурская

298

Лозовский А. (С. А.) (1878–1952) — государственный и партийный деятель, председатель Совинформбюро в 1945–1948 гг. Репрессирован, расстрелян.

299

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

Б. Л. Пастернак — самый цитируемый в письмах и дневниках О. Б. поэт. Эпиграфы из его стихотворений стоят в ее книгах.

300

Речь идет о стихотворениях «Рождественская звезда», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Гамлет», позже вошедших в роман Б. Пастернака «Доктор Живаго».

301

Роман «Доктор Живаго». Пастернак неоднократно устраивал читки новых глав романа друзьям.

302

Поэма-трагедия «Верность».

303

Спасский С. Д. (1898–1966) — поэт, переводчик, прозаик, знакомый О. Берггольц.

304

Впервые полностью работа была опубл.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 год. СПб., 2010. В настоящем издании приводится сокращенный вариант.

305

Архив О. Ф. Берггольц находится в двух российских архивохранилищах. Одна часть архива хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в личном фонде 2888; 1408 ед. хр. Фонд был закрыт для исследователей по настоянию наследников. Первая публикация материалов из этого архива была предпринята в 2006 г. Т. М. Горяевой (см.: *Горяева Т.* М. Неизвестная Ольга Берггольц // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2006. Т. 2. С. 478–490). Известно, что в РГАЛИ хранится еще одно письмо Ольги Федоровны, предположительно адресованное отцу: имя адресата в письме не указано, документ датируется по содержанию декабрем 1941 г. и требует дополнительной атрибуции. См.: Там же, л. 1. Другая часть архива Ольги Федоровны хранится в Пушкинском Доме. Отдельные поступления архивных материалов Берггольц первый раз были приняты в РО Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в 1979 г. от Я. Л. Шрайбера, а затем в 1987 г. от М. Ф. Берггольц. В 2004 г. в Рукописный отдел ИРЛИ от племянника О. Берггольц — Федора Владимировича Янчина (1950–2009) поступил архив поэтессы, который образовал фонд 870, находящийся в настоящее время в предварительной научно-технической обработке.

306

См. письмо А. Я. Таирову от 5 апр. 1943 г. в сб.: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 548.

307

См. письмо Н. Д. Оттену от 17 марта 1943 г.

308

РО ИРЛИ, ф. 870. Лебединский М. Ю. (Записи к родословной).

309

Там же.

310

До революции — суконная и одеяльная фабрика Джеймса Торнтона, переименованная в 1922 г. в фабрику шерстяных изделий «Красный ткач». В 1927–1929 гг. рядом с «Красным ткачом» была построена фабрика технических сукон, которой в 1933 г. было присвоено имя Э. Тельмана. В 1936 г. фабрики были объединены в предприятие, называвшееся Объединенные фабрики «Красный ткач» и технических сукон им. Э. Тельмана. В 1938 г. предприятие было переименовано в Ленинградский государственный комбинат тонких и технических сукон им. Э. Тельмана.

311

Цит. по: *Берггольц О.* Встреча. М., 2000. С. 109.

Там же. С. 114.

313

В письме отцу 1 сент. 1924 г. дочь писала: «Мне так хочется, так страстно хочется, чтобы образ моего папы был в моем сердце чистым и светлым, а на него падают тени! Почему, папа, почему?» (РО ИРЛИ, ф. 870). В дневнике Берггольц 1928–1930 гг. также встречаются довольно резкие оценки образа жизни отца.

Берггольц О. Встреча. С. 139.

315

Текст Постановления Военного совета Ленинградского фронта об эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов опубл. в сб. документов: Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: Сб. документов / Отв. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 2006. С. 63.

316

См. с. 55–56 наст. изд.

317

См. с. 56 наст. изд.

318

РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 24 дек. 1941 г. к М. Ф. Берггольц).

319

См. с. 75 наст. изд. Из дневниковых записей Берггольц, сделанных в начале сент. 1941 г., следует, что первая попытка властей выслать ее отца, вменив ему 39-ю статью, относится к 2–5 сент. В более поздних документах, а именно в приведенной выше записи, а также в заявлении прокурору А. Н. Фалину (публикуется далее) Ольга Федоровна указывает на окт. 1941 г.

320

См.: *Земсков В. Н.* Спецпоселенцы в СССР: 1930–1960. М., 2005. С. 92.

321

См. с. 84 наст. изд.

322

См. с. 94–95 наст. изд.

323

РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 24–25 апр. 1942 г. к М. Ф. Берггольц).

Там же.

325

Берггольц О. Ленинграду // Правда. 1942. 30 июня. № 181. С. 2.

326

РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 7 июля 1942 г. к М. Ф. Берггольц).

327

См.: *Берггольц О.* Победоносное терпенье: Письма к родным времен блокады Ленинграда // Литературное обозрение. 1979. № 5. С. 106.

О пребывании в Ленинграде см. книгу очерков: *Фадеев А. А.* Ленинград в дни блокады. Из дневника. М., 1944.

329

РО ИРЛИ, ф. 870 (телеграмма от 18 нояб. 1942 г. к М. Т. Берггольц; на обороте — текст ответной телеграммы М. Т. Берггольц).

Цит. по: *Громова Н. А.* Эвакуация идет… 1941–1944. Писательская колония: Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. М., 2008. С. 25–26.

331

РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо О. Ф. Берггольц к М. Ф. Берггольц от 8–12 янв. <1943> г.).

332

РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 11 мая 1943 г. к М. Ф. Берггольц). Упоминаемый в письме партийный и государственный деятель *Жданов Андрей Александрович* (1896–1948) в годы войны был членом Военного совета Ленинградского фронта, первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии.

333

О *Фалине Анатолии Николаевиче* (1911–1972) известно немного. В 1934 г. он окончил ЛГПИ им. Герцена и до авг. 1938 г. преподавал историю в Морском техникуме. Затем работал в правоохранительной системе Ленинграда. В 1941 г. Фалин имел звание старшего лейтенанта госбезопасности и был начальником следственной части Управления Наркомата КГБ по Ленинградской области. В 1942 г. работал заместителем начальника отдела Управления НКВД ЛО; в этом же году за успешную операцию был награжден орденом «Знак Почета». Летом 1943 г. был назначен начальником Управления Наркомата юстиции РСФСР по Ленинграду, а с окт. 1943 по 1946 г. — городским прокурором Ленинграда. В 1946 г. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (см.: ЦГА СПб. ф. 7384, оп. 38, № 735, л. 39 об.; оп. 39, № 750, л. 8). С янв. 1946 г. Фалин работал прокурором Ленинградской области. 3 дек. 1948 г. решением бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) был освобожден от занимаемой должности, в дек. 1950 г. исключен из партии; восстановлен 16 июля 1954 г. Краткие сведения о Фалине и его фотопортрет см.: Знаменитые люди Санкт-Петербурга: Биографический словарь: В 15 т. СПб., 2008. Т. 6. С. 431; *Строганов П. П.* Щит и меч блокадного Ленинграда. СПб., 2009. С. 185.

334

См., например, в письме: «Переезжаем, — в квартире до первой бомбы будет очень уютно, но кажется, я уже так острила». РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 8 апр. 1943 г. к М. Ф. Берггольц).

335

См. с. 244 наст. изд.

См. с. 247 наст. изд.

337

Имеется в виду Акционерное общество Александро-Невской мануфактуры «К. Я. Паль», преобразованное в 1920-е гг. в Государственный всесоюзный прядильно-ткацкий комбинат им. Ногина.

338

РО ИРЛИ, ф. 870 (заявление О. Ф. Берггольц городскому прокурору А. Н. Фалину).

339

Берггольц О. Встреча. С. 227. Эпизод встречи с Фалиным, описанный Марией Федоровной с другими подробностями, см. также: *Берггольц О. Ф.* О ГУЛАГе невидимом: К публикации фрагментов дневника Ольги Берггольц / Публ. М. Ф. Берггольц // Апрель. М., 1991. Вып. IV. С. 144.

Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 575.

341

Слепцова А. М. — старшая медсестра амбулатории комбината тонких и технических сукон им. Э. Тельмана.

342

В Минусинск Ф. Х. Берггольц приехал в середине апр. 1942 г. и сразу же, больной, был помещен в больницу, из которой выписался в начале мая, а 16 мая выехал из Минусинска.

343

Молчанов Николай Степанович (1910–1942) — литературовед, журналист, второй муж Ольги Федоровны. Родился в Новочеркасске в семье учителей. В 1930 г. окончил факультет языкознания и материальной культуры Ленинградского государственного университета и вскоре уехал с Берггольц, ставшей его женой, в Алма-Ату, где работал в газете «Советская степь». В 1932 г. служил в РККА, но по болезни был комиссован. В 1938 г. защитил диссертацию на степень кандидата филологических наук «К проблеме Пушкина в 60-е годы». Работал в библиотеках города, читал лекции, занимался литературной деятельностью. В 1938–1940 гг. работал в Публичной библиотеке. Умер от истощения в блокаду. Его памяти Берггольц посвятила стихотворение «29 января 1942 года». Подробнее о Молчанове см.: *Башурова О. А.* Молчанов Николай Степанович // Сотрудники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т. 3: Государственная Публичная библиотека в Ленинграде — Государственная Публичная Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1931–1945. СПб., 2003. С. 397–398.

344

Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1986) — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Ленинградского государственного университета. Читал лекции по истории литературы XVIII и XIX вв., преподавал в 1946–1983 гг. Во время войны работал военным корреспондентом Радиокомитета. Третий муж Ольги Федоровны. Официально брак Макогоненко с Берггольц был заключен 20 февр. 1949 г., а расторгнут 3 февр. 1962 г.

345

Имеется в виду семья Н. С. Молчанова: его мать *Сысоева Мария Гордеевна,* сестры *Виктория, Ольга* и брат *Владимир.* Отец Молчанова, *Степан Николаевич Молчанов,* погиб в железнодорожной катастрофе в 1917 г.

346

Имеется в виду *Грустилина Анастасия Тимофеевна* (1891?—1942) — тетя Ольги Берггольц по материнской линии.

347

Дом по адресу: Шлиссельбургская часть, Палевский пр., 6 (ныне пр. Елизарова), принадлежал с 1901 по 1917 г. Христофору Федоровичу Берггольцу, а после национализации дома жильцы выбрали его домоуправом. В том же доме на 1-м этаже под квартирой Христофора Фридриховича жила семья Ф. Х. Берггольца. Во время блокады дом был разобран на дрова.

348

Иванова (урожд. Грустилина) Валентина Тимофеевна (1897–1987) — тетя Ольги Берггольц по материнской линии. Во время блокады работала телефонисткой.

Ивановы — семья Валентины Тимофеевны Ивановой.

Кувалдин — сослуживец Ф. Х. Берггольца.

351

Персонаж повести А. П. Чехова «Моя жизнь» (1896).

352

Речь идет об участии М. Берггольц в судьбе сестры и в освобождении О. Берггольц из тюрьмы, в которой она находилась с 14 дек. 1938 по 3 июля 1939 г. Комментируя стихотворение «Мне старое снилось жилище…». М. Ф. Берггольц писала: «Написано это стихотворение в тюрьме, в марте 39-го, в одиночке 17. Вот в таких страшных условиях душу держит детство. Тогда Бог умудрил меня, дал мне силы, я окликнула, позвала, помогла Ольге выйти из тюрьмы». См.: *Берггольц О.* Встреча. С. 233.

Имеется в виду сибирское село Идринское (Идра) на юге Красноярского края.

Сысоева Мария Гордеевна, дочь дьякона, учительница; перед войной жила в семье дочери — Ольги Молчановой. (Сведения даны на основании личного дела Н. С. Молчанова № 2738, хранящегося в делопроизводственном архиве РНБ.)

353

Неточная цитата из радиопередачи «Сентябрь сорок второго года». Ср.: *Берггольц О.* Говорит Ленинград. М., 1964. С. 49–50.

354

Над «Ленинградской поэмой» Берггольц начала работать в середине апр. 1942 г. Впервые напечатана: Ленинградская правда. 1942. 24 июля. № 174. С. 3; 25 июля. № 175. С. 2.

355

Цитаты из «Ленинградской поэмы» и упоминания о ней см. в письмах к О. Ф. Берггольц, опубл. А. Рубашкиным: Десять писем: К шестидесятилетию Ольги Берггольц. Вместо литературного портрета // Звезда. 1970. № 5. С. 173–180. Отзывы читателей о «Ленинградской поэме» см. также: *Берггольц О.* Победоносное терпенье… С. 108.

356

В личном фонде 870 Берггольц сохранилось выданное ей удостоверение № 9575 к памятному знаку «Защитник крепости Кронштадт в обороне Ленинграда 1941–1944 гг.».

357

Скорее всего, имеются в виду стихотворения «Сентябрь сорок второго года» («Печаль войны все тяжелей, все глубже…») и «Я хочу поговорить с тобою…», написанные и прочитанные по радио в сент. 1942 г.

358

Юбилейная поэма в окт. 1942 г. написана не была; к этому периоду относятся стихотворения «Ленинградская осень», «Отрывок». Поэмы «Памяти защитников» и «Твой путь» были написаны Берггольц позднее, в апр. 1944 и 1945 гг.

359

«Февральский дневник» опубл.: Комсомольская правда. 1942. 7 июля. № 156. С. 2. *Коонен Алиса Георгиевна* (1889–1974) — актриса Московского Художественного театра (с 1905), Камерного театра (1914–1949). Жена А. Я. Таирова. С окт. 1941 г. вместе с Московским государственным Камерным театром была в эвакуации в Сибири, сначала в Балхаше, а затем в Барнауле. В письме к Берггольц 1943 г. Таиров сообщал ей, что Алиса Георгиевна «читает сейчас Ваш „Февральский дневник“, читает очень и очень вдохновенно и хорошо <…>». См.: Из писем А. Я. Таирова // Театр. 1985. № 7. С. 92.

360

Решение об организации Пресс-бюро при Союзе писателей было принято 18 февр. 1942 г. на заседании Президиума ССП. 5 авг. 1942 г. было решено «реорганизовать Пресс-бюро из технического пункта по пересылке рукописей в один из основных отделов Союза писателей по организации творческой работы (всех писателей, находящихся на периферии) и ее реализации в печати». Цит. по: *Фадеев А. А.* Материалы и исследования. М., 1977. С. 243. В газетной заметке «Пресс-бюро писателей» отмечалось: «Задача Пресс-бюро — содействовать творческой работе писателей, членов ССП, в дни отечественной войны. Пресс-бюро консультирует писателей по всем творческим вопросам, устанавливает связь между работой писателей и радиовещанием, Советским Информбюро, центральной прессой, литературно-художественными журналами, издательствами, ТАСС, Комитетом по делам искусств и Комитетом по делам кинематографии». См.: Литература и искусство. 1942. № 32. 8 авг. С. 4. В состав Пресс-бюро вошли А. А. Фадеев (председатель), И. П. Уткин (зам. председателя), Ф. В. Гладков, А. М. Лейтес. Заниматься Ленинградским отделением «по линии получения и печатания художественной продукции» поручено персонально А. Фадееву.

361

Речь идет о работе Берггольц в качестве ленинградского корреспондента на американскую аудиторию. Особенно актуальной эта работа стала после того, как 7 авг. 1942 г. А. А. Фадеев обратился с радиограммой к Военному комитету писателей США с предложением установить взаимный систематический обмен литературными материалами об участии писателей в войне, а 17 авг. получил ответ, в котором приветствовалось «предложение обмена литературой как оружием свободы в войне против нацистской тирании». См.: *Фадеев А. А.* Материалы и исследования. С. 182, 243.

Е. М. — неустановленное лицо.

363

Бабушкин Яков Львович (1913–1944) — художественный руководитель ленинградского блокадного радио, друг Берггольц. Был уволен из Радиокомитета весной 1943 г., погиб на передовой. См. о нем: *Рубашкин А.* Голос Ленинграда. СПб., 2005. С. 194–198.

364

Мать О. Берггольц — *Берггольц Мария Тимофеевна* (1884–1957) находилась в то время в эвакуации в Чистополе.

365

Берггольц Мария Федоровна (1912–2003) — актриса, родная сестра О. Берггольц, хранитель и публикатор ее творческого и эпистолярного наследия.

366

Известно, что Берггольц высылала родителям «Ленинградскую поэму» (Л., 1942) с дарительной надписью на оборотной стороне обложки: «Дорогим моим папе и маме, милым и мужественным ленинградцам, в залог нашей скорой встречи в родном городе, — дарю эту книжку в день прорыва блокады, — с любовью — Ольга 18/1–43. Ленинград». РО ИРЛИ, ф. 870.

367

Имеется в виду сибирское село Идринское (Идра) на юге Красноярского края.

368

Сысоева Мария Гордеевна, дочь дьякона, учительница; перед войной жила в семье дочери — Ольги Молчановой. (Сведения даны на основании личного дела Н. С. Молчанова № 2738, хранящегося в делопроизводственном архиве РНБ.)

369

Лебединский Михаил Юрьевич (1931–2006) — по образованию инженер, экономист, действительный член Московского историко-родословного общества, сын актрисы Марии Федоровны Берггольц и писателя Юрия Николаевича Либединского. Его литературные произведения «Сонная сказка», «Телефонная сказка» опубл. под псевдонимом М. Грустилин в сб.: Материалы Лаборатории театра кукол: Тайна мерцающих огоньков. СПб., 2007. С. 136–138.

Среди лиц, от которых зависело разрешение на публикацию стихов или выпуск радиопередач, в дневниках 1942 г. Берггольц указывает несколько фамилий: секретаря горкома ВПК(б) — А. И. Маха-нова, редактора газеты «Ленинградская правда» — Н. Д. Шумилова, литературного критика, работника радио, а в послевоенные годы редактора издательства «Советский писатель» — Н. В. Лесючевского.

371

Скорее всего, имеется в виду семья *Виктории Степановны Молчановой* (ум. в 1978), которая с тремя детьми была в эвакуации в Сибири. См. письмо Берггольц к матери от 15 июня 1942 г.: «Я не высылала тебе денег, т<ак> к<ак> порядочно оставила Мусе с тем, чтоб она часть перевела тебе, и ей же посылаю еще 300 рублей. Надо ведь теперь и отцу подкидывать, и надо немного Колиной сестре, Торе (Виктория. — *Н.П.*), которая живет в Сибири с 3 детьми и дети почти голодают, т<ак> к<ак> заработка их не хватает на пропитание, а Коля их очень любил». Цит. по: *Берггольц О.* Победоносное терпенье. С. 106. Еще в одном письме к матери Берггольц вновь пишет: «…хочется хоть капельку помочь Колиной сестре — Торе, которая живет в Сибири с 3 ребятами, а работник у них один, и Ольга писала мне, что живут они крайне плохо, буквально впроголодь, т<ак> к<ак> там бешеные цены, и ребята ее не видят ни масла, ни яиц, ни т. п. А Николай очень любил и вспоминал их в бреду перед смертью, — все время. Хотя бы из-за этого я считаю себя обязанной хоть капельку помочь им, — много и не смогу». РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 29 июля 1942 г. к М. Т. Берггольц). Семья *Ольги Степановны Молчановой* была эвакуирована в Йошкар-Олу.

372

В ожидании ребенка и накануне зимы Берггольц осталась без теплых вещей и писала сестре: «Самые же существенные заготовки, которые мне может сделать мать — это шерсть. Вера Инбер говорит, что там у них шерсть есть. А я без всего теплого. Мне надо чулки, теплые штаны, платок (кажется, там и платок можно купить). Ведь надвигается вторая блокадная зима». РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от сент. 1942 г. к М. Ф. Берггольц).

373

Во время Великой Отечественной войны в Ташкент была эвакуирована Одесская киностудия, а «Ленфильм» и «Мосфильм» находились в эвакуации в Алма-Ате.

В Перми и Пермской области (тогда — Молотов и Молотовская область) находились в эвакуации представители разных творческих профессий: писатели, музыканты и художники. В Пермь были вывезены вузы и музеи обеих столиц, а также Ленинградский академический театр оперы и балета им. Кирова. Среди ленинградских писателей там были Ю. Н. Тынянов, В. А. Каверин, И. С. Соколов-Микитов, В. Ф. Панова и др.

Рина — неустановленное лицо.

См. с. 269–270 наст. изд.

377

Одновременно с этим письмом Берггольц писала сестре: «Надо подумать, сестра, что делать со стариками. Говорят, что в этом Чистополе, действительно, плохо. Но вот у меня сведения из других мест, из Новосибирска, где Маргарита Довлатова живет на площади в 10 метров 8 человек, и почти голодает, из Архангельска и т. д. — везде, брат, паршиво». РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 10 дек. 1942 г. к М. Ф. Берггольц). Упоминаемая в письме *Довлатова Маргарита Степановна* (1907–1975) — литературовед, редактор издательства «Молодая гвардия», тетя С. Д. Довлатова.

Макогоненко Мария Яковлевна (1890–1942) — учительница, до войны жила с мужем в Киеве, с 1938 г. была депутатом киевского горсовета. Умерла в эвакуации в Балашове Саратовской области.

379

Макогоненко Пантелеймон Никитич (1889–1969) — после окончания лесной школы работал лесничим, затем «дослужился до сотрудника правительства Украинской ССР, вместе с которым был эвакуирован в Балашов». После войны жил в Ленинграде. Сведения см.: *Дружинин П. А., Соболев А. Л.* Книги с дарственными надписями в библиотеке Г. П. Макогоненко. М., 2006.

380

Адрес, по которому проживал Ф. Х. Берггольц с Марией Тимофеевной и внуком: Татреспублика, Чистополь береговой, ул. Л. Толстого, 49.

381

18 янв. 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии и авиации Балтийского флота осуществили прорыв блокады. В ночь с 18 на 19 янв. Берггольц выступила с радиопередачей «Здравствуй, Большая земля!». 27 янв. 1944 г. блокада Ленинграда была полностью снята.

382

Реэвакуация в Ленинград проходила сложно. Берггольц писала сестре: «С въездом к нам все усложняется: реэвакуация будет совершаться по плану, утверж<денному> Совнаркомом. Партизанские походы к „отцу города“ Попкова пока что ни у кого не увенчались успехом. После нагоняя, который он получил от пр<авительст>ва за бардак первой недели реэвакуации, Попков и вообще наш Военный совет просто зверствует. Так, в нашем Союзе паника: около 15 чел<овек> наших лен<инградских> писателей подали список на возвращение семейств, этот список утвердил горком, а Воен<ный> совет дал разрешение выписать семьи только троим, остальным (в том числе Кетлинской) — отказано наотрез. Писателям, список кот<орых> утвержден еще в январе (Ахматовой и т. д.) до сих пор не посланы вызовы. Я должна включить мать во второй список, он пойдет а) в горком б) в Воен<ный> совет в) в НКВД, и после всего этого выяснится — дадут ли ей разрешение на въезд. Вообще, что-то странное с въездом к нам». РО ИРЛИ, ф. 870 (письмо от 8 апр. 1944 г. к М. Ф. Берггольц). Упоминающийся в письме *Попков Петр Сергеевич* (1903–1950) — первый секретарь ленинградской партийной организации в 1946–1949 гг.

383

Имеется в виду *Гаузнер Жанна Владимировт (Натановна)* (1912–1962) — прозаик, дочь Веры Михайловны Инбер. Родилась в Одессе, училась в Москве (1922–1928), затем в Сен-Жерменском лицее во Франции, куда уехала к отцу Инбер, Натану Осиповичу, работавшему там журналистом. В 1932 г. вернулась в Москву, занималась литературной деятельностью, училась в Литературном институте им. А. М. Горького. Знакомство с Ольгой Берггольц могло состояться в середине 1930-х гг. на почве совместной работы по изданию серии книг «Истории фабрик и заводов». В 1941–1942 гг. находилась в Чистополе, в Ленинград вернулась в 1945 г. В доме Гаузнер провела одну ночь М. И. Цветаева, приезжавшая в Чистополь из Елабуги 24–28 авг. 1941 г.

384

Возможно, имеются в виду артисты Большого драматического театра, который находился в эвакуации в Вятке (тогда — Киров) в 1941–1943 гг.

385

Имеется в виду *Гришечкина Анастасия Андреевна* — врач, личный друг Федора Христофоровича.

386

О прокуроре Ленинграда А. Н. Фалине см. с. 251 наст. изд.

387

Имеется в виду поездка в сент, — окт. 1944 г. в Севастополь. См. также примеч. 3 на с. 279 наст. изд.

Путиловский — сосед М. Т. Берггольц по квартире, заведующий крупным магазином.

389

«„Трясучка“ — словечко нашего отца, — писала М. Ф. Берггольц, — означающее паническое нагромождение действий, эмоций, намерений…» *(Берггольц О.* Из дневников // Звезда. 1990. № 5. С. 184).

390

Очерки «Ленинград — Севастополь», написанные в соавторстве с Г. П. Макогоненко, были напечатаны: Красный Балтийский флот. 1944. 24 нояб. С. 4; Известия. 1945. 3 янв. С. 3; 4 янв. С. 3. Полностью в кн.: *Берггольц О.* Говорит Ленинград. Л., 1946. С. 125–151.

391

Начальная строчка стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

392

Письмо написано карандашом, хранится в личном архиве О. Ф. Берггольц в РГАЛИ, ф. 2888, оп. 1, № 487, л. 2. Датируется по содержанию.

393

Одно время Ф. Х. Берггольц коллекционировал пуговицы.

394

Имеется в виду *Макогоненко Андрей Георгиевич* (1940–1990) — сын Г. П. Макогоненко от его первого брака с Рузиной Валентиной Владимировной, который жил в то время в семье Макогоненко и Берггольц.

395

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

396

Левин Л. И. (1911–1998) — литературный критик, участник ВОВ, журналист. Родился в Перми, затем жил в Ленинграде. После войны работал в Москве, в изд. «Советский писатель» (более полувека). Автор книг о поэтах В. Луговском, П. Антокольском, прозаике Ю. Германе и книг о современной литературе. Друг О. Берггольц, Ю. Германа, Ю. Либединского. Писал о них в воспоминаниях.

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

397

Крон А. А. (1909–1983) — писатель, журналист, участник ВОВ. Автор романов «Бессонница», «Дом и корабль», пьес «Глубокая разведка», «Офицер флота», «Раскинулось море широко» (совместно с А. Кроном и В. Азаровым). Один из друзей О. Берггольц. Писал о ней в романе «Дом и корабль».

Документальная повесть «Капитан дальнего плаванья» (1984) о подводнике А. Маринеско способствовала восстановлению в отношении него справедливости (за военный подвиг награжден звездой Героя Советского Союза посмертно).

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

Павловский А. И. (1926–2005) — литературовед, ведущий сотрудник Пушкинского Дома РАН, автор книг «Анна Ахматова», «Куст рябины» (о поэзии Марины Цветаевой), «Стих и сердце» (об Ольге Берггольц), «Русская советская поэзия в годы Великой Отечественной войны» и др.

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

399

Банк Н. Б. (1933–1997) — писала дипломную работу в ЛГУ по творчеству О. Б. (1956). Литературный критик, автор книг «Ольга Берггольц» (1962), «Нить времени» (1978) и др. Оставила воспоминания об О. Б. Многие годы была ее верным другом. В архиве Н. Банк в РНБ хранятся письма к ней О. Б.

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979.

400

Оконевская О. М. (р. 1940) — в Харьковском университете защитила дипломную работу по теме «Поэзия блокадного Ленинграда и творчество Ольги Берггольц». Работала учительницей. С 1964 г. близко общалась с О. Б. После 1990 г. опубликовала ряд статей, методических разработок и эссе о жизни и творчестве О. Б. Автор книги «…И возвращусь опять. *Страницы жизни и творчества О. Ф. Берггольц*» (СПб., 2005).

401

Абрамов Ф. А. (1920–1983) — уроженец с. Веркола, Пинежского района Архангельской области, защитник Ленинграда в дни блокады, доцент Ленинградского университета до 1959 г. Автор тетралогии «Братья и сестры», повести «Пелагея», других повестей, рассказов, дневников. Его проза стала основой спектаклей во многих театрах, особенно в ленинградском Малом драматическим (под руководством Л. Додина («Театр Европы»), Выступление Абрамова на похоронах О. Б. было проявлением гражданской смелости.

Печатается по: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. Дневниковая запись печатается по книге: *Абрамов Ф.* Так что же нам делать? СПб., 1995.

402

Грант Д. А. (р. 1919) — писатель, участник ВОВ, участник обороны Ленинграда в дни блокады. Автор романов «Искатели», «Иду на грозу», «Картина», эссе «Священный дар», «Страх», книг «Изменчивые тени», «Причуды моей памяти» и др. В соавторстве с А. Адамовичем им создана документальная эпопея страданий ленинградцев — «Блокадная книга». Основал Фонд им. академика Д. С. Лихачева. По его инициативе в Петербурге создан Институт Петра Великого.

Председатель комиссии по творческому наследию О. Ф. Берггольц. В протоколе заседания комиссии от 8 янв. 1976 г. (архив И. Банк в РНБ) записано, что Д. Гранин поднял вопрос о мемориальной квартире О. Б., но Г. Макогоненко, Д. Хренков и М. Дудин заявили о «нереальности этого замысла».

Текст приводится по книге «Изменчивые тени» *(Гранин Д.* Собрание сочинений: В 8 т. СПб., 2009. Т. 8).

403

Кураев М. Н. (р. 1939) — писатель, сценарист. Работал на студии «Ленфильм» четверть века, с начала 1960-х. Автор повести «Капитан Дикштейн», романа «Зеркало Монтачки» и многих других повестей, рассказов, сценариев. Участвовал в работе над фильмом «Первороссияне», по поэме и сценарию О. Берггольц.

Кузьмичев И. С., Гушанская Е. М. Редактирование художественной литературы. СПб., 2007. С. 263. В. Н. Орлов о рукописи кн. «Узел».

405

Печатается по: *Берггольц О.* Собрание сочинений: В 3 т. Л., 1988–1990; *Берггольц О.* Прошлого — нет! СПб., 2003; *Берггольц О.* Встреча. СПб., 2003.